ISSN 0130-6545

1.1999

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ГОНСАЛО ТОРРЕНТЕ БАЛЬЕСТЕР
Дон Хуан

ЮДЖИН О'НИЛ
Стихи

ДЖ. М. КУТЗЕЕ
Осень в Петербурге

«Russkaya klassika»

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

**Из общего тиража в 14 750 экземпляров
Институт «Открытое общество» ежемесячно
выкупает и безвозмездно направляет
в библиотеки России и ряда стран СНГ 4535 экземпляров.**

**Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует ЗАО КОНВЕРСБАНК (Акционерный банк Конверсии).**

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Н.А. БОГОМОЛОВА — заведующая отделом критики и публицистики
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — ответственный секретарь
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
ОСНОВАН В 1891 ГОДУ.
ДО 1943 ГОДА ВЫХОДИЛ ПОД НАЗВАНИЯМИ «ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ», «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА».
С 1955 ГОДА — «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1 **январь**

1999

СОДЕРЖАНИЕ

ГОНСАЛО ТОРРЕНТЕ БАЛЬЕСТЕР — Дон Хуан (*Роман. Перевод с испанского Н. Богомоловой*)..... 5
ЮДЖИН О'НИЛ — Стихи (*Перевод с английского В. Рогова*)..... 70

Литературный гид

«RUSSKAYA KLASSIKA»

ДЖ. М. КУТЗЕЕ — Осень в Петербурге (*Роман. Перевод с английского С. Ильина*)..... 76
КЭРОЛ РУМЕНС — Стихи (*Перевод с английского А. Кудрявицкого*)..... 187
СЬЮЗЕН СОНТАГ — Сцена письма (*Рассказ. Перевод с английского М. Гальпериной*)..... 188
ЕЖИ ПИЛЬХ — Монолог из норы (*Повесть. Перевод с польского К. Старосельской*)..... 199
ЖАН-КЛОД ПЕНСОН — Стихи (*Перевод с французского Е. Туницкой*).... 216
ДЖУЛИАН БАРНС — Вспышка (*Рассказ. Перевод с английского Л. Мотылева*)..... 218
ДОНАЛД БАРТЕЛМИ — В музее Толстого (*Рассказ. Перевод с английского С. Белова*).....225
ПОЛЬ РЕБУ, ШАРЛЬ МЮЛЛЕ — Из книги «В стиле...» (*Перевод с французского А. Богдановского*)..... 229

Статьи, эссе

ИГОРЬ ВОЛГИН — Из России — с любовью? *«Русский след» в западной литературе*..... 231

Галерея «ИЛ»

С. ФАЙБИСОВИЧ — Игра в бисер..... 240

Возвращаясь к напечатанному

АЛЕНА ЗЛОБИНА — Возвращение на землю..... 242

У книжной витрины..... 250

Курьер «ИЛ»..... 252

Авторы этого номера..... 254

© «Иностранная литература», 1999

В следующем номере «ИЛ»

Последний роман **Умберто Эко** «ОСТРОВ НАКАНУНЕ», действие которого разворачивается в XVII веке во время Тридцатилетней войны, написан в жанре авантюрно-политического детектива. Главные герои – старый немецкий священник и юный отпрыск аристократического итальянского рода – волею случая оказываются одни на борту корабля, дрейфующего меж двух островов в океане, и пытаются определить местонахождение «нулевого» меридиана, незыблемой линии перемены дат...

Русская революция, две мировые войны, Париж 20-х годов, отмена «сухого закона» в США, коронация абиссинского императора – калейдоскоп событий первой половины века в *Литературном гиде «XX ВЕК: СТОП-КАДР»*. Мозаичный портрет уходящего столетия складывается из репортажей, заметок и эссе **Мигеля де Унамуно, Джека Лондона, Эрнста Юнгера, Чеслава Милоша, Ивлина Во** и других известных писателей и журналистов.

Цветные иллюстрации номера — работы немецкого художника АЛЕКСАНДРА СТЕФФЕСА (род. в 1937 г.):

На 1-й стр. обложки — «Антон Чехов. В цирульне»
На 2-й стр. обложки — «Иван Гончаров. Обломов»
На 3-й стр. обложки — «Иван Тургенев. Собака»
На 4-й стр. обложки — «Иван Тургенев. Записки охотника»

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
«Летний сад» — ул. Б. Никитская, д.46

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://www.infoart.ru/magazine/inostran

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

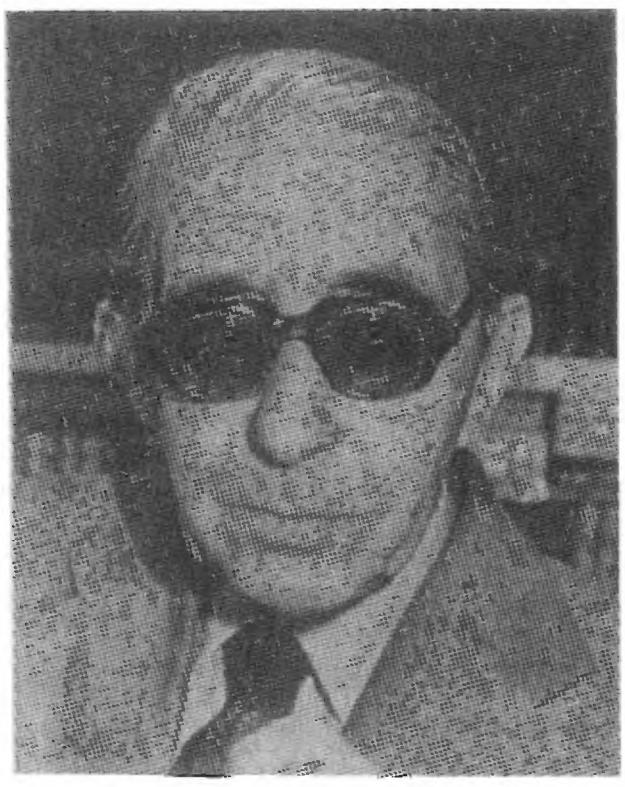
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 25.12.98. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,72. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,97. Заказ №3791.

Тираж 14 750 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



ГОНСАЛО ТОРРЕНТЕ БАЛЬЕСТЕР

Дон Хуан

РОМАН

Перевод с испанского Н. БОГОМОЛОВОЙ

Глава первая

1. Возможно, и в Риме существует какое-нибудь место, столь же привлекательное для людей определенного склада, как Сен-Сюльпис в Париже, но в Риме я никогда не бывал.

Если пройти от Сен-Жермен по улице Ренн, то пониже, напротив церкви, можно увидеть террасу кафе «Де маго», а на террасе — завсегдатаев бульвара, потомков тех, кого больше ста лет назад рисовали Гаварни, Домье и Бенжамин. Нынешние обитатели бульвара напоминают не то рыб неведомой породы, не то аэропланы — свобода их передвижения так же призрачна. Они могут пройтись, прогуляться, профланировать в пределах щедро отмеренного им участка, но за границы его если и рискуют переступить, то опасливо и даже, пожалуй, со страхом. Забавно наблюдать, как робко эти типы — профессионально дерзкие — ведут себя, попадая на обычные городские улицы. Смысл их жизни — экстравагантность, а здесь как раз она-то и мешает им, сковывает, держит в плену. На своей территории они могут делать все что угодно, за ее пределами им заказано то, что дозволяется нормально одетым мужчинам и женщинам. Когда на этих самых улицах щеголял зеленой шевелюрой Бодлер, он чувствовал себя гораздо свободнее. Зеленые волосы Бодлера были оскорблением как всем буржуа в целом — в лице каждого встречного, так и его добропорядочному отчиму в частности. Но с тех пор буржуа сильно переменились, и прежде всего переменилось их отношение ко всякого рода чудачествам. Экстравагантность перестала быть для них оскорблением, они равнодушно проходят мимо, успев про себя подумать, что, пожалуй, некоторые нелепые одеяния из принятых там, внизу, в летнее время по-своему удобны.

Окрестности улицы Сен-Сюльпис — это нечто вроде прогулочной площадки для экстравагантных личностей с Сен-Жермен, и главным образом — благодаря расположенному поблизости театру «Старая голубятня». Но надо заметить, что диковинные эти типы самым причудливым образом перемешиваются здесь с церковным людом, который снует по книжным лавкам, торгующим богословской литературой и культовой утварью. И на Сен-Сюльпис ныне редко кто вспоминает о Манон. По правде говоря, о Манон здесь вспоминаем только мы, иностранцы, любители классики, или какая-нибудь старая дева, тоже иностранка, если в молодости ей довелось услышать оперу. Манон — героиня не только не современная, но и не годная для осовременивания. Ее взгляд на любовь не имел успеха у философов, а кавалер де Гриё кажется нам сегодня слишком слезливым, слишком приторным, и мы даже слегка ненавидим его за это, ведь благодаря ему женщины узнали, насколько приторна и слезлива любовь всякого мужчины. В сотне метров от церкви Сен-Сюльпис целуются и обнимаются парочки и делают это самым откровенным, самым вызывающим — но с философской точки зрения безупречным —

© Н. Богомолова. Перевод, 1999

Роман печатается с сокращениями.

образом. Если задать им вопрос о природе их чувств, они ответят цитатами из «Бытия и ничто»[1].

Да, здесь, на Сен-Сюльпис, тень Манон и ее вышедшая из моды любовь — не самое главное. Лично меня сюда всегда влекли лавки с богословскими книгами. В этих лавках можно найти все, что написано немцами, французами, бельгийцами, англичанами и итальянцами о Боге и о Христе. Книги выстроились в шкафах, застыли на полках, словно манящие и недосягаемые яства. Сюда стекаются те, кто хотел бы узнать о Боге все, кто томим тоской и вечной жаждой поиска. Здесь они встречаются и с первого взгляда, без слов, узнают друг друга. Чаще всего на вид это люди тихие и безобидные. Надо уметь особым образом посмотреть им в глаза, чтобы понять, что́ творится в их душах. Когда руки их внешне спокойно тянутся к той или иной книге, когда они перелистывают ее со смесью любопытства и показной небрежности, когда книга наконец куплена и ее уносят с собой, — только тот, кто знает их и одержим той же страстью, может угадать, с каким тайным трепетом, тайным нетерпением они спешат укрыться в ближайшем кафе, забиться в укромный угол и — погрузиться в чтение.

Порядочный человек всегда неловок в обращении с девственницей, независимо от того, имел он отношения с другими женщинами или нет и есть ли у него любовный опыт. Точно так же раскрывают книги те несчастные, те одержимые, что покупают богословские сочинения на Сен-Сюльпис! Их руки сами по себе, независимо от воли и разума хозяина, могут суетливо разорвать не разрезанные еще страницы. Вроде человек и не замечает торопливых движений собственных пальцев, он даже может заглядеться на проходящую мимо красотку — руки знают свое дело. Но богословский текст — это как девушка, невинная и горячо любимая. От опыта и умения здесь проку мало. Пальцы путаются в страницах, рвут сгибы листов, не дождавшись, пока официантка принесет нож: а все потому, что книга, равно как и любимая девушка, способна изменить или бесповоротно разрушить судьбу такого человека. Он может воскликнуть: «Наконец!» Или не скажет ничего, отбросит книгу прочь, а вместе с ней и последнюю надежду.

Разумеется, в книжных лавках на Сен-Сюльпис легко встретить и людей совсем иного типа. Тот итальянец, по одежде похожий на английского слугу из хорошего дома, уж точно не принадлежал к породе книжников, томимых вечными вопросами, он был скорее из числа людей, ни в чем и никогда не сомневающихся. На вид я дал бы ему лет тридцать. Он поглядывал вокруг и улыбался бойко и самодовольно, как умеют улыбаться только севильские, неаполитанские или греческие уличные плуты. Облик его меня изумил, но одновременно и заинтриговал, потому что в облике этом сошлись, хотя до конца и не смешивались, две вроде бы противоположные традиции — не смешивались и тем не менее влияли одна на другую, шлифовали одна другую, уживались вместе. В незнакомце угадывался замечательный ум, но дай ему волю — он обрядился бы самым нелепым и вызывающим манером и при первом удобном случае — хоть бы и прямо посреди улицы — запел бы «Вернись в Сорренто», подыгрывая себе на мандолине. Правда, фетровая шляпа с широкими полями, жилет и прямые брюки без отворотов загоняют человека в некую систему с достаточно жесткими нормами, где немыслимы цветные платки и чувствительные напевы. Мы несколько раз сталкивались у книжных стеллажей, и я даже подумывал, не цыган ли он.

Нет ничего невероятного в том, что некий английский *butler*[2], настоящий английский *butler* — вроде описанного Хаксли — увлекается теологией, но субъект, о котором речь, настоящим-то *butler*'ом как раз и не был. Признаюсь, я стал склоняться к мысли, что он вообще не был настоящим, даже настоящим итальянцем, что он носил маску, выдавая себя за кого-то другого. Просматривая книги, он всем видом своим изображал крайнюю заинтересованность, но одновременно и некую высокомерную снисходительность, словно материя, составляющая предмет этих сочинений, для его ума оказывалась мелковатой. Он быстро и очень уверенно выбирал нужные тома, сваливал их в кучу,

---

[1] Философское эссе Ж. П. Сартра (1943). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Дворецкий (*англ.*).

просил принести что-то еще и иногда обменивался с молодым англичанином, монахом-доминиканцем, весьма разумными замечаниями по поводу современных трудов о тринитариях. Доминиканца удивило лишь то, что мирянин проявляет столь глубокие познания в сфере, связанной с проблемами едва ли не эзотерическими, но на разительный контраст между поведением итальянца и его внешностью он внимания не обратил.

Как-то раз мой друг-священник завел меня в протестантскую лавку. При лавке имелась большая комната, где в тот вечер некий немецкий теолог излагал свои мысли о Боге. Собралось человек пятьдесят, и публика была очень пестрой. Докладчик, сидевший в углу, раскрыл сочинение Кальвина, прочитал несколько абзацев и принялся их комментировать. Он говорил на правильном, понятном французском языке и Бога рисовал Существом капризным и жестоким.

— Нет, это выше моего разумения: как при подобных мыслях можно так спокойно жить в мире и говорить всякие красивые слова о Господе, на чью Волю человеку, выходит, абсолютно нельзя полагаться.

Сначала мне показалось, что это возмущался мой приятель-священник, но тот сидел справа от меня и с большой тревогой слушал докладчика, а голос доносился слева — ровный и даже чуть насмешливый. Слева от меня, на соседнем стуле, сидел тот самый итальянец, он повернулся ко мне и смотрел с улыбкой.

— Ведь вы католик, не правда ли? — спросил он.

— Да, разумеется.

— Поразительно. Почти все мы, здесь собравшиеся, — католики, за исключением пары атеистов и одной кальвинистки — супруги докладчика. Вон той некрасивой дамы, которая с восторгом ему внимает.

— Вы здесь всех знаете?

— О да! Я хожу сюда каждую пятницу. А вы попали впервые? Советую не пропускать этих лекций. Вы заметите, что протестантская теология — конечно, я имею в виду серьезную, настоящую теологию, — так и не сумела выбраться из мышеловки, в которую четыре столетия назад ее загнали Лютер и Кальвин. Хотя, пожалуй, сравнение с мышеловкой не слишком удачно, скорее подошел бы образ очень высоких крепостных стен. У мышей, оказавшихся внутри, есть два пути: либо делать подкоп, то есть устремиться вниз, в землю, либо прыгать вверх, к небесам. Вам не показалось, что наш докладчик как раз и пытается допрыгнуть до небес?

Но моего ответа итальянец ждать не стал, он опять повернул голову к выступавшему и принялся слушать. Время от времени он делал какие-то пометки в простенькой записной книжке с черной обложкой. И так до самого конца, словно никогда и не заговаривал со мной. Докладчик умолк. Мы вяло поаплодировали. Мой приятель, явно расстроенный, потянул меня к выходу.

— Извини, я тебя напрасно сюда привел.

— Не переживайте, сеньор священник, вера вашего друга настолько крепка, что ее не поколебать ни одному кальвинисту.

Итальянец стоял рядом с нами, в знак вежливости он снял широкополую шляпу и говорил на хорошем испанском. Священник переводил взгляд с него на меня, словно спрашивая его: «Кто вы?», а потом меня: «Кто этот тип?»

— Вас удивляет, что я так хорошо говорю по-испански? Это объясняется просто: я изучал теологию в Саламанке. Правда, довольно давно, но язык улицы не забыл.

— В Саламанке? Вы говорите — в Саламанке? — Теперь священник смотрел на него с симпатией. — Пожалуйста, наденьте шляпу, идет дождик.

— Спасибо, действительно... — Он надел шляпу, но лишь после того, как отвесил еще один быстрый поклон. — Я учился у ... — Он назвал шесть-семь имен. — О! Разумеется, я не разделяю всех их взглядов, но, спору нет, они дали мне базу, заложили основу моих теологических познаний. Одному знакомому, который занят этой же материей, я без конца повторяю: какой бы устаревшей ни казалась схоластическая доктрина, связи с ней лучше не порывать, даже если ниточка будет совсем тонкой, для нас она все равно

что якорь для корабля. Знаете, как бывает: канат натягивается, дрожит от натуги, вот-вот лопнет, но стоит чуть податься назад — и все в порядке.

Мой друг был схоластом, он начал было возражать, но итальянец вежливо его остановил:

— Прошу меня извинить, если я начну вам отвечать, мы не управимся и в несколько часов, а я должен вскоре встретиться с хозяином. Если угодно, мы продолжим в следующий раз. Ведь мы еще увидимся, уверен, мы еще увидимся!

Он раскланялся и исчез в уличной сутолоке.

Священник несколько мгновений смотрел на пустоту, которую итальянец оставил за собой, пройдя сквозь толпу. Затем спросил:

— Откуда ты его знаешь?

— Я несколько раз сталкивался с ним в лавках. Он покупает лучшие книги по богословию, самые дорогие и самые редкие.

— Знаешь, все эти учителя из Саламанки, которых он называл... они жили больше трех столетий назад! — И добавил, увидев мое изумление: — Если мне не изменяет память, все они читали там свои курсы в начале XVII века.

— Это какой-то шут.

— Ты так думаешь?

— Дело не только в теологии... Я уже несколько дней наблюдаю за ним. И у меня создалось впечатление, будто все в нем поддельное. Сперва я решил, что он под кого-то работает. А теперь вообще сомневаюсь в его реальности. Заставь меня придумать этому определение, я сказал бы, что мы разговаривали с призраком.

Священник засмеялся.

— Это не определение, это отговорка.

— Просто ты не веришь в призраков, а я верю.

2. Несколько дней спустя я снова встретился с итальянцем. Он шел вниз по бульвару Сен-Мишель, иначе по «буль-Мишу», в тот час, когда там собираются шумные толпы студентов. Должно быть, они хорошо его знали, во всяком случае, многие с ним здоровались, и он отвечал. Но поразило меня другое. То, как он шел. При каждом шаге он подпрыгивал — подпрыгивал в такт какой-то причудливой мелодии с ломаным ритмом и ей же в такт размахивал чем-то вроде трости, зажатой в левой руке. Одновременно правая его рука, будто играя, неспешно помахивала цветком. Ни тогда, ни сейчас я не могу себе объяснить, как ему это удавалось, ведь нет ничего труднее, чем заставить свои руки двигаться с совершенно разной скоростью и выполнять при этом разные задачи. В подобных фокусах есть что-то дьявольское, подумалось мне тогда, и уж просто виртуозностью такое точно не назовешь. К тому же он выделывал все это на оживленной парижской улице, значит, либо решил пошутить, либо хотел привлечь внимание к своей персоне. Честно говоря, я не знал, на каком объяснении остановиться, а итальянец не дал мне времени оправиться от изумления: он неожиданно вырос прямо передо мной, снял шляпу и поклонился с преувеличенной почтительностью.

— Как поживаете, сеньор... — Он назвал мое имя. — Рад вас видеть. Я пару раз звонил вам в гостиницу, но мне не везло, я вас не заставал. — И, увидев недоумение на моем лице, быстро добавил: — Да, конечно, мы не были представлены друг другу, но для уроженцев южных стран это ведь не так важно... Мой хозяин выразил желание познакомиться с вами, и вот... — Он сделал рукой жест, который довершил фразу.

— Кто же ваш хозяин?

— Позвольте мне пока не называть его имени. Но я могу показать вам моего хозяина, правда при одном условии: вы не будете пытаться с ним заговорить. Он здесь поблизости. Если сеньор согласится пойти со мной...

Почему я сделал это? Да разве мы знаем, почему поступаем так, а не иначе! Возможно, потому, что итальянец, не переставая улыбаться, начал мягко тянуть меня за со-

бой. Или потому, что его любезная улыбка выражала мольбу. Или мне стало любопытно. Или от скуки.

Он привел меня в ближайшее кафе. Но, прежде чем мы вошли, предупредил:

— Следуйте за мной и не смотрите по сторонам, пока мы не сядем. Мой хозяин с дамой и...

Он извинился за то, что шел впереди меня. Я двигался за ним. Это было самое обычное парижское кафе, маленькое и уютное. Может, я и сам когда-нибудь сюда забредал. Мы направились к столику, стоящему в самом углу, он сел спиной к залу, а мне указал на стул у стены.

— Отсюда вы можете его увидеть. Справа, стол у окна. Вон тот господин — мой хозяин.

Нельзя сказать, чтобы его хозяин показался мне человеком особенно примечательным или, наоборот, совсем заурядным. Я увидел подтянутого мужчину лет сорока, моложавого, в сером костюме, у него были седые усы и седина на висках. При слабом освещении мои бедные близорукие глаза больше ничего разглядеть не сумели. Еще я заметил, что он носит темные очки, впрочем, как и я.

— А девушка? Вам хорошо ее видно?

— Она сидит ко мне спиной.

— Она красивая, но сказать так о женщине в Париже все равно что не сказать ничего. Мне почему-то кажется, что вы с удовольствием взглянули бы на нее поближе.

Он изобразил руками в воздухе некие прелести, к коим я всегда был неравнодушен, и подмигнул мне.

— Моему хозяину тоже нравятся такие женщины. Только подумайте! Сколько совпадений! Вы отлично поймете друг друга.

В этот миг девушка начала подниматься, и я сумел разглядеть ее получше: высокого роста, стройная, в черных брюках и черном свитере. Она накинула на плечи серое пальто, надела перчатки. Господин тоже встал. Его движения, да и весь облик показались мне знакомыми, хотя утверждать, что жизнь когда-то близко сводила нас, я бы не рискнул. Он выглядел очень элегантно, ему была свойственна та редко кому доступная элегантность, когда костюм не столько одевает человека, сколько помогает выразить себя.

Девушка пошла к выходу — высоко подняв голову, глядя куда-то в пространство. Господин вежливо следовал за ней, но пылкой влюбленности в этой вежливости не замечалось.

— А теперь? Вы узнали его? — спросил итальянец.

— Нет.

— Жаль. Поверьте, мне и впрямь жаль. Я привел вас сюда, чтобы вы с первого же взгляда вспомнили его имя. Если бы вы сразу воскликнули: «Ах, да это же такой-то!», я бы ответил: «Да, разумеется!», а потом дал бы все необходимые объяснения. Но вы не узнали его, и тут я ничего не могу поделать. Клянусь, мне очень жаль. Ведь назови я вам теперь имя моего хозяина, вы расхохочетесь мне в лицо, примете за сумасшедшего или, что еще хуже, посчитаете, что над вами издеваются. Да, я весьма огорчен нашей неудачей, но придется подождать до следующего раза. Ах, знали бы вы, как мне неприятны такие ситуации! И конечно, я вечно в них попадаю. Но все логично, логично...

Он встал, взял трость и шляпу.

— Теперь или позже, но вы непременно все узнаете, и каким-нибудь более естественным способом, я хочу сказать — мягко, без шока, без ощущения абсурда, которое непременно возникает у всякого, кто находит разгадку самостоятельно. И это должно случиться очень скоро, ведь вы собираетесь покинуть Париж в ближайшие дни... Когда вы уезжаете?

— Не знаю.

— Задержитесь. Вы уже видели декорации, а всего через несколько дней состоится премьера замечательной пьесы, каких в вашей стране ставить не умеют. Подождите. Я пришлю вам билеты.

Больше он ничего не сказал, кивнул на прощание и выбежал на улицу. Я подошел к окну и увидал, как он удаляется той же прыгающей походкой, в ритме шутовского танца, только теперь трость и цветок поменялись местами.

Я почувствовал за спиной чье-то дыхание, услышал громкий стук сердца, но последнее, наверно, мне только показалось. Женщина, по виду официантка, тоже приблизилась к окну и смотрела поверх моего плеча, но вовсе не на итальянца, который уже успел исчезнуть за углом, она смотрела туда, где остановились девушка в черных брюках и ее спутник.

Ей, этой официантке, было лет тридцать, и она мне сразу понравилась. Она смотрела на девушку с отчаянием, с бешенством и даже что-то пробормотала, но я не разобрал что именно, ведь я хорошо понимаю французский, только когда общаюсь с иностранцами, которые владеют им так же дурно, как и я.

Но тон реплики и выразительный взгляд официантки привлекли мое внимание. Я вернулся за свой столик и принялся листать книгу, а на самом деле наблюдал за девушкой, которая удалилась в угол, сникшая и одновременно разъяренная. Прошло сколько-то времени, и я окликнул ее, желая расплатиться. Она ответила, не повернув головы:

— Спасибо, месье. Лепорелло уже заплатил.

3. Мне стало так смешно, что я едва сдержался, чтобы не расхохотаться, едва дотерпел до улицы, но на улице смеяться мне уже расхотелось. Первое впечатление — будто я столкнулся с какой-то запутанной и достаточно комичной интригой — быстро рассеялось, стоило мне сообразить, что я не просто столкнулся с этой интригой, а оказался в нее затянутым в лучшем случае как объект шутки. Имя Лепорелло, естественно, тотчас привело на память имя Дон Хуана Тенорио, и предположение, что Лепорелло был не столько шутом, сколько мошенником, я, само собой, распространил и на его хозяина, а также — во всяком случае, в тот миг — на спутницу хозяина и на официантку из кафе. Они дурачили меня, по крайней мере, собирались одурачить, хотя я не мог уразуметь, с какой стати они это делали и зачем. Легко вообразить, какой вид у меня был, когда, остановившись посреди тротуара, я, смущенный, огорошенный и достаточно сердитый, размышлял над этой загадкой. Если кто-нибудь из них следил за мной, он мог насладиться этим забавным зрелищем.

Наконец я сумел взять себя в руки и кинулся в сторону кафе, где имел обыкновение ужинать мой приятель, испанский священник. Не знаю, почему я сразу подумал о нем и почему так боялся не застать его на месте. Я даже взял такси. Священник еще не ушел. Он спокойно пил кофе.

— Знаешь, кем называет себя тот тип в шляпе с широкими полями? — спросил я.

Священник уже успел о нем позабыть.

— Ну тот, что изучал богословие в Саламанке... в начале XVII века.

— Твой призрак?

Я улыбнулся.

— Вот именно. Нет, он не призрак, он мошенник, как я сразу и подумал. Он говорит, что он Лепорелло.

— Это какой-то вздор.

— Думаешь, если два типа изображают из себя Дон Хуана и его слугу, это такой уж вздор?

— Я хотел сказать — розыгрыш.

— Розыгрыш, дорогой падре, тоже одна из форм жизненного поведения, наравне с прочими. Он имеет свой смысл и иногда бывает интересным и даже замечательным. Но когда речь заходит о мошеннике, то избранный им род розыгрыша говорит о многом.

— В таком случае человек, называющий себя Дон Хуаном Тенорио, мне малоприятен.

— А настоящий Дон Хуан тебе нравится?

Священник пожал плечами.

— Кто же знает, каким он был на самом деле! Но я встречал субъектов подобного

рода и всегда испытывал к ним неприязнь. Заурядные грешники, вульгарные бабники, людишки невысокого полета... Дон Хуан приукрашен поэтами, только и всего...

— Хотя придумал его теолог...[1]

К нам подошла официантка. Я заказал скромный ужин, без вина.

— Скорее всего, — продолжал я, — Дон Хуан — это не какой-то определенный человеческий тип, как ты считаешь, а личность, подражать которой абсолютно невозможно, точнее, личность в высшей степени исключительная, и любые сходства с ним — чистое совпадение.

— Мне это неинтересно.

— Но ведь для всякого теолога это одна из основополагающих проблем.

Священник глянул на меня с едва скрываемым раздражением.

— Вы, писатели, сующие нос в теологию, вечно желаете перевернуть все с ног на голову, а если говорить лично о тебе, то ты готов принять жалкого пустомелю за великого теолога. Дай мне сигарету! — Он закурил. — Человек, называющий себя Дон Хуаном, не может быть интересен ни драматургу, ни романисту, ни уж тем более теологу. Это просто дурак.

— Разве Лепорелло похож на дурака? Готов спорить, он понимает в богословии побольше тебя.

— А тебе не приходит в голову, что он может быть итальянским священником, лишенным сана, вот и все?

— Да хоть бы и так... Подумай, что должно твориться в душе человека, чтобы он додумался назваться Лепорелло!

— У меня не хватает фантазии.

— Зато у меня ее предостаточно. И если он и на самом деле бывший священник, во что верится с трудом, то это еще любопытнее.

Мой друг положил руку мне на плечо и сочувственно улыбнулся.

— Всегда считал тебя умным парнем, но, видно, ошибался. Ты несешь жуткую чушь. Это абсурд! Мне в голову приходит единственное разумное объяснение: тот тип, вернее, они оба хотят тебя подурачить.

— Вот только зачем?

— Не знаю. Но всякий на твоем месте сразу бы сообразил, в чем дело, и врезал бы итальянцу как следует. А теперь оставь меня в покое.

4. Вот чего не хватало мне самому — покоя. Всю ночь я проворочался в постели, меня мучили любопытство, досада, но больше всего — тревога. Даже если мне удавалось заснуть, я тотчас просыпался, пребывая в том смутном состоянии, какое бывает у человека, вернувшегося из иной, отличной от нашей реальности. Тишина и темнота пугали меня. Я снова и снова вспоминал Лепорелло, видел, как он идет по бульвару Сен-Мишель с тростью и розой — похожий на уличного фокусника. В моих кошмарных видениях мелькали то лицо какого-то испанского актера, декламирующего стихи, то отрывки из Моцарта, то вопли «про́клятых» в масках, то удивленная и раздраженная физиономия моего друга-священника, то декорации Дали к «дон Жуану». В миг просветления я решил, что все мои бредовые видения объясняются качеством и количеством выпитого вечером кофе. Наверно, так оно и было.

Я встал поздно, с больной и мутной головой. Принял душ, но это не помогло.

— Внизу вас ожидает какой-то господин, — сказала мне горничная, внося завтрак.

— Испанец?

— Кажется, да.

Это мог быть любой из двух-трех встреченных в Париже знакомых, которым я дал адрес гостиницы, или священник, иногда надевавший мирское платье.

---

[1] Имеется в виду Тирсо де Молина (наст. имя Габриель Тельес; 1571 или ок. 1583—1648) — автор драмы «Севильский озорник, или Каменный гость» (опубл. 1630). Тирсо де Молина был монахом-мерседарием, занимал высокие посты в ордене.

— Пусть поднимется.

Я опять лег в постель. В дверь постучали, я ответил по-испански, и в комнату быстро вошел Лепорелло. В руках он нес черный чемоданчик. Он посмеивался, правда весьма добродушно. Увидев мое изумление, гость развеселился еще пуще. Не спрашивая позволения, он уселся на краешек кровати.

— По словам Марианы, мое имя произвело на вас большое впечатление.

— Марианы?

— Да, вчерашней официантки. Она же — хозяйка кафе. Припомнили? И прошу вас, никогда больше не смотрите ни на одну француженку с таким наглым упорством, а уж коль вы себе это позволили, немедленно начинайте атаку! Хотя тут у вас ничего бы не вышло! Мариана влюблена в моего хозяина, и для нее еще не пришел час разлюбить его.

Он сделал рукой игривый жест.

— Все они одинаковы. Ужасная скука! Подумайте только, триста с лишним лет наблюдать одно и то же! Женская слабость — тоскливое, удручающее зрелище. Будь моим хозяином кто-нибудь другой, я бы давно от него ушел.

— Что вы от меня хотите?

— Чтобы вы познакомились с моим хозяином.

— Не горю желанием.

Лепорелло поднялся, подошел к окну и несколько мгновений стоял молча, спиной ко мне. Не поворачиваясь, он сквозь зубы отпустил пару замечаний в адрес какого-то прохожего. Потом без всякого перехода заметил:

— Я вам не верю. Ваш ответ — результат разговора, который случился у вас вчера вечером со священником, а также дурно проведенной ночи. А еще вы опасаетесь, что мы с хозяином вздумаем вас дурачить. Если испанцу кажется, что над ним насмехаются, он становится невыносимым, испанцы способны поднять дикий скандал из-за сущей ерунды. Мой хозяин сумел избавиться от этого недостатка, но, по правде сказать, с ним никто и никогда шуток не шутил. Вернее, одно лицо позволило себе сыграть с ним отличную шутку... но лицо столь высокого ранга, что об обиде речь тут идти никак не может.

Он резко обернулся.

— Хотите пойти со мной? Я изложу вам причины, по коим мой хозяин и я оказываем вам честь... — Он с улыбкой поправил себя: — Прошу прощения. Я хотел сказать: желаем пригласить вас на встречу.

— Нет.

— Вы боитесь?

Я вскочил с кровати.

— Когда вам угодно?

Лепорелло засмеялся.

— Вот последнее средство, чтобы заставить испанца что-то сделать. Вы никак не хотите понять, что между трусостью и отвагой есть много всяких промежуточных качеств — вполне достойных и весьма полезных: расчетливость, осмотрительность, благоразумие. Какие вы, испанцы, странные и симпатичные! Мой хозяин вел бы себя точно так же! Вернее, именно так он и вел себя всю жизнь. Страх прослыть трусом для вас сильнее любых здравых доводов.

Он приблизился и похлопал меня по плечу.

— Ладно, собирайтесь,

— Может, вы все же соизволите сообщить, откуда вам известно, о чем именно я спорил вчера со священником? И что ночью...

Он остановил меня резким жестом:

— Профессиональный секрет.

— А если я скажу, что пойду с вами только после того, как вы мне все объясните?

— Обещаю исполнить вашу просьбу, только не сейчас. Друг мой! Если понадобилось столько подсказок, чтобы вы догадались, кто такой мой хозяин, разве я могу вот так сразу сказать, кто такой я сам?

— Проходимец, выдающий себя за Лепорелло.

— А почему не за дьявола? Если уж говорить о розыгрыше... Но одно вам скажу: я не бывший священник, как предположил вчера ваш друг. Не был удостоен такой чести.

5. Он затолкнул меня в маленький красный автомобиль давно устаревшей модели, но хорошей марки.

— Вот на чем я езжу. У моего хозяина машина пороскошней, но такая же древняя, как и моя. «Роллс», знаете ли, двадцать пятого года. Вот это авто! Внушительное и респектабельное, как карета, салон обит бледно-голубым шелком. Женщины чувствуют себя там гораздо комфортнее, и, естественно, такая машина нравится им больше любых американских новинок — те впечатляют, но в них нет настоящего шика.

Мы мчались по левому берегу. Лепорелло оказался лихачом и, стараясь поразить меня своей удалью, то и дело нарушал не столько правила дорожного движения, сколько правила элементарного здравого смысла. Теперь автомобиль стал для него тем, чем вчера были трость и цветок, — предметом игры, а вернее сказать, инструментом игры с судьбой, он развлекался отчаянными виражами и упивался своим нелепым безрассудством. Но надо признать, в его манере управлять машиной не было ничего таинственного, ничего запредельного — как в игре с тростью и цветком, — скорее он поддался соблазну слегка припугнуть меня. Я же никакого страха не испытывал: меня внезапно захлестнула необъяснимая уверенность в его опытности. Замечу, что спокойствие мое абсолютно ни на чем не основывалось, мало того, именно оно, когда ко мне вернулась способность анализировать собственные ощущения, напугало меня больше, чем опасность, которой мы подвергались. Словно истинную угрозу таил в себе сам Лепорелло, а не его дорожные подвиги. Всякий раз, удачно справившись с очередным трюком, он смотрел на меня, точно ожидал одобрения, и я на самом деле одобрительно улыбался в ответ, пытаясь сделать улыбку по возможности спокойной, и, готов поклясться, такой она и получалась. Почему — не знаю, да только теперь это не имеет значения.

Мы оказались на острове Сен-Луи, и Лепорелло, немного покружив, затормозил у дома, который некто выстроил в XVII веке, чтобы другой некто из того же века — может, интендант, а может, и судья — там поселился. Именно этот дом и был нам нужен. Мы миновали ворота, внутренний дворик, потом по темной и роскошной лестнице — фантастически причудливому творению из резного дуба — поднялись на второй этаж. Лепорелло отпер дверь и пригласил меня войти.

— Хозяина нет дома. Но мы пришли, собственно, не для того, чтобы с ним повидаться, я хочу объяснить вам, почему...

— ...вы оказываете мне честь...

— Именно так.

Он закрыл дверь. В прихожей было темно. Лепорелло распахнул деревянные ставни на одном из окон, и на меня тут же накатило ощущение, будто я оказался на сцене, среди декораций. Разумеется, не в театре, но какая-то театральность во всем этом была, и в то же время я не видел вокруг ничего ненастоящего или поддельного, все дышало чистейшей подлинностью. Допустим, потомкам господина интенданта или господина судьи каким-либо немыслимым образом удалось сохранить в неприкосновенности вестибюль дома, но ведь и в комнатах все пребывало в изначальном виде: не только мебель, но прежде всего ее расстановка свидетельствовали о чем-то старинном. Современный дизайнер совсем иначе обращается с пространством.

Лепорелло пригласил меня в большую комнату, которая одновременно служила и библиотекой.

— Садитесь.

Он указал на стул. Стул выглядел совсем древним и потому ненадежным. Лепорелло понял, что я боюсь, как бы стул не развалился от первого прикосновения.

— Садитесь, садитесь, — повторил он. — Это достойный и крепкий стул с богатой историей. Его обивка помнит тяжесть самых великих задов, так что и вашему не стыдно будет на нем посидеть.

Пока я устраивался, он метнулся к книжным шкафам, которые находились за моей спиной.

— Знаете, меня вовсе не удивляет ваш ошарашенный вид, это так понятно. Скажем, идет человек по дороге, и — раз! — навстречу ему дон Кихот...

Я на самом деле был совершенно сбит с толку, да и вел себя по-дурацки: сидел, закрыв глаза, сжав ладонями виски, и пытался по звуку угадать, чем занят за моей спиной Лепорелло. Я чувствовал себя идиотом — мой мозг работал как-то странно, вернее, как-то странно не работал, к тому же в мозгу проносились бессвязные и нелепые образы, не имеющие никакого отношения к нынешней ситуации — ни к Лепорелло, ни к Дон Хуану. В ушах моих звучала песенка, которой я много лет назад выучился у одной чилийской девушки, певшей ее очень мило:

Надвинь на глаза сомбреро,
взгляни на меня украдкой.
Надвинь на глаза сомбреро,
взгляни на меня тайком.

— Вы, конечно, помните, что однажды написали статью о Дон Хуане? К черту песню!

— Я написал несколько статей об этом господине.

Лепорелло держал в руке большой лист бумаги с наклеенной на него вырезкой из журнала. Каждый абзац начинался с синей заглавной буквы.

— Остальные статьи получились менее удачными, а вот в этой есть одна фраза, которая пришлась нам по душе.

Фраза была подчеркнута красным карандашом.

— Дон Хуан искренне вас благодарит за комплимент, к тому же в нем таится верная догадка. Руки Дон Хуана и вправду хранили аромат женских тел, они пропитывались дивными запахами, словно побывали в корзине, наполненной розами. Прочитав ее, мы решили написать вам или даже нанести визит, но хозяин побоялся, что вы оскорбитесь, получив послание за подписью Дон Хуана Тенорио и Оссорио де Москосо... — Он ударил кулаком по столу, и этот жест показался мне в данной ситуации совершенно неуместным, даже нелепым. — Оссорио де Москосо! Вы знали, что это вторая фамилия Дон Хуана? Вернетесь в Испанию, поищите запись о его крещении, найдите там фамилию его матери доньи Менсии. В севильских архивах, разумеется.

— В Севилье никогда не было никаких Оссорио де Москосо.

— Поищите, поищите — и прославитесь в научном мире. А еще вы там обнаружите запись о бракосочетании указанной дамы с доном Педро Тенорио.

— Вам прекрасно известно, что Тенорио в Севилье жили до того, как были введены приходские регистрационные книги.

— Тогда не ищите. — Он забрал протянутый мною лист.

Я хотел встать. Лепорелло запротестовал.

— Вы торопитесь?

— Но ведь вы все мне объяснили. Разве не так?

— В общих чертах, в общих чертах...

— Ну вот.

— Я понимаю, если бы здесь находился Дон Хуан собственной персоной, это было бы убедительнее, но, как я уже сказал, он отлучился из дома. Наверно, повез Соню в Фонтенбло или куда-нибудь еще. Соня, — объяснил он, — это вчерашняя девушка. Шведка, и очень красивая, как вы могли убедиться. Обратили внимание на ее?.. — Он описал руками круги на уровне груди. — Редкая девушка! Но она зачем-то хранит невинность. И безумно влюблена в моего хозяина. А есть люди, утверждающие, будто северные женщины холодны. Не бывает холодных женщин, друг мой! Бывают только глупые мужчины, которые держат в руках гитару и не умеют на ней играть.

— А ваш хозяин, разумеется, виртуозный гитарист.

— Кто же станет спорить! Но, прошу заметить, его интересует только техническая сторона процесса, женщина для него — лишь инструмент. Поверьте, я не жонглирую

словами! И всем известно: женщины, попадавшие в руки моему хозяину, рождали совершенно неожиданные мелодии. У Дон Хуана много достоинств, но меня в нем больше всего восхищает то, что самый грубый инструмент начинает звучать у него божественно.

Я встал.

— До сих пор вы пичкали меня банальностями. А я рассчитывал хотя бы поразвлечься.

— Очень сожалею. — Он спрыгнул со стола и шагнул к двери. — Может, мы еще увидимся, а может, и не доведется. Хотите выпить со мной по рюмочке? Не здесь, за углом есть бистро. Мой хозяин пригласил бы вас с бóльшими церемониями и в более изысканное место, а я всегда предпочитал таверны и харчевни. У меня грубые вкусы. — Он замешкался в прихожей. — Ну, не хмурьтесь, не хмурьтесь. Вы все еще сердитесь? Мы с хозяином и не надеялись, что вы нам поверите, но посчитали своим нравственным долгом выразить вам благодарность, не скрывая наших имен. А вы вбили себе в голову, что вас мистифицируют... Неужели вы вот так сразу утратили чувство юмора?

6. Да. Я утратил чувство юмора. Я спустился в метро, ругая себя последними словами за то, что дал себя уговорить, за то, что мне польстило, когда Лепорелло упомянул мою статью и показал вырезку, но главным образом за то, что во мне крепла вера — совершенно нелепая, — будто это на самом деле могли быть Лепорелло и Дон Хуан Тенорио. Я готов был поверить в них, как верю, скажем, в привидения, в мертвых, которые возвращаются с того света, чтобы известить нас о чем-то, как верю во многое другое, и от этой веры мне никогда не удавалось до конца очистить самые темные закоулки своей души.

Я вернулся в гостиницу и устроил себе сиесту. Мне показалось, что я проспал очень долго, когда меня вырвал из сна телефонный звонок.

Говорил Лепорелло.

— Мне необходимо вас увидеть.

— Зачем?

— О, не спрашивайте! После случившегося нам совершенно необходимо объясниться.

Я так не считал, но Лепорелло с помощью самых убедительных и хитроумных доводов вырвал мое согласие. Мы условились встретиться в кафе у Марианы.

Когда я пришел в кафе, там было пусто. Мариана, услышав мои шаги, возникла откуда-то из-за стойки.

— Только что звонил Лепорелло. Он очень просит подождать его...

Лепорелло появился весьма скоро. Сел рядом со мной и начал говорить. Ну конечно же, он не был никаким Лепорелло, как и его хозяин — Дон Хуаном, они просто пошутили, решили таким образом позабавиться, но без всяких дурных намерений, просто дул попутный ветер и веселая эта затея полетела вперед на всех парусах. И лично он, и его хозяин просят у меня прощения и готовы загладить вину любым способом. Его раскаяние казалось искренним, он выглядел смущенным, словно хотел смирением смягчить мой гнев.

Подошла Мариана.

— Вас к телефону. Какая-то женщина.

Лепорелло взглянул на меня с невесть откуда вдруг явившимся выражением отчаяния, даже ужаса — но ужаса комического, переданного шутовской гримасой.

— Все полетело к черту! — воскликнул он и бросился к телефону.

— Кто это? С кем я говорю? Это вы, Соня?

Он повесил трубку. При имени Сони Мариана повернула голову и теперь с тревогой смотрела на Лепорелло.

— Что случилось?

Лепорелло мягко отодвинул ее.

— Без пули все-таки не обошлось, — сказал он мне. — Вы поедете со мной?

— Пуля? Стреляли в Соню?

— Нет. В Дон Хуана.

Мариана вскрикнула.

— Я еду с вами!

Она сняла передник, накинула пальто. Лепорелло помог мне надеть мое.

— Нет, Мариана. Вам лучше остаться здесь.

Они заспорили. Мариана желала увидеть Дон Хуана, желала непременно быть рядом, желала... Лепорелло протянул ей ключи.

— Отправляйтесь к нему домой и ждите там. Врача я извещу сам. Если он явится прежде нас, встретьте его. И приготовьте там чего-нибудь. Вы знаете, где там и что.

Он вышел, почти таща меня за собой. В машине объяснил:

— Мариана была нашей служанкой. Это кафе ей устроил мой хозяин, чтобы от нее отделаться.

— Куда вы меня везете?

— В «pied-à-terre»[1] Дон Хуана. У вас это называется холостяцкой квартирой или логовом. Да, вот у моего хозяина логово так логово! Оно все просто пропитано историей! Именно там жил один поэт, его друг. — Он помолчал, потом добавил: — Если мне не изменяет память, его звали Бодлер.

Я не успел ответить. Машина уже мчалась с безумной скоростью, пересекая незнакомые мне улицы, какие-то неведомые места, и от этого во мне стало расти раздражение. Некоторое время спустя Лепорелло обернулся, ехидно глянул на меня и бросил:

— Не бойтесь, я не собираюсь вас умыкнуть. Мне это ни к чему.

Машина остановилась на старинной улице, перед домом, который, если судить по фасаду, был построен в XVIII веке. У дома мы увидели черный «роллс» — внушительный, пустой. Лепорелло подошел к нему, открыл дверцу и стал в буквальном смысле обнюхивать все внутри. Потом зажег электрический фонарик, нагнулся, поднял что-то и протянул мне. На все это — на обнюхивание, поиски с фонариком, на то, чтобы нагнуться, — у него ушла уйма времени.

— Платочек Сони. А потом жалуются, что полиция раскрывает убийства. Какие замечательные у нее духи!

Я напомнил ему, что, возможно, в этот самый миг его хозяин истекает кровью.

— Да не беспокойтесь вы, он не умрет.

Лепорелло поднес платочек к носу и глубоко вдохнул. Казалось, он от всего отрешился, и если бы я не заметил хитрого огонька в его зеленых смеющихся глазах, я бы поверил, что в аромате духов он нашел свое счастье и хотел бы растянуть это мгновение на всю оставшуюся жизнь — а потом умереть.

— Вы только понюхайте, понюхайте. Вот она, тайна Франции — то, чему вы, испанцы, завидуете, потому что вам этого никогда не достичь. В этих духах — всё, хотя лично вы, надо думать, предпочитаете отыскивать тайну Франции в поэзии. Но ведь разницы-то нет никакой. Французская поэзия и французская парфюмерия — вот две формы, в которые вылился триумф алхимии. Он улыбнулся, словно извиняясь за невольную оговорку. — Я имел в виду химию.

— Ваш хозяин, верно, уж умер?

— Да нет, от лишней пули ему вреда не будет. В него столько раз стреляли... пулей больше, пулей меньше... А ведь он встретил бы смерть с радостью!

Не дожидаясь ответа, Лепорелло шагнул в ворота, а я, все больше досадуя на себя, последовал за ним, словно ворота были входом в сновидение, где все элементы по отдельности оставались реальными, но связь меж ними лишалась всякой логики. А досадовал я, вернее, даже негодовал, потому что во мне рушилось нечто очень важное, теряла опору и зависала над пропастью моя привычка стараться все уразуметь, во всем отыскивать причинно-следственные связи. Осмотр машины, рассуждения по поводу найденного платочка и, разумеется, время, потраченное на гимн духам, напомнили мне лири-

---

[1] Временное прибежище (*франц.*).

ческий дивертисмент или снимающую напряжение паузу, искусно введенную в острое и стремительное драматическое действие.

— В вашем сознании, друг мой, теперь столкнулись два уровня реальности, и даю вам совет: не пытайтесь понять тот, к которому вы пока не принадлежите. — Он тщательно выбрал из связки один ключ, вставил в замок и, чуть помедлив, отпер дверь. — А другую реальность, второй, если угодно, уровень просто примите как данность.

7. Логово Дон Хуана состояло из небольшой прихожей, куда выходили три двери, и двух расположенных под углом друг к другу комнат, которые — когда мы попали туда — освещались маленькими старинными светильниками. Меблированы комнаты были с самым изысканным романтическим вкусом: казалось, и здесь тоже никто и никогда не отваживался изменить расстановку предметов, и здесь тоже хранили верность тому чувству пространства, каким обладали наши предки. Всюду стояли цветы — совсем свежие, дорогие. Еще я увидал пианино и картины, много картин — очень хороших, среди которых обнаружил одного средних размеров Делакруа, рисунки Домье и пару этюдов Мане. Были также книги, но на них я взглянуть не успел, потому что во второй комнате на ковре, между софой и пианино, лежал Дон Хуан — неподвижный, в залитой кровью рубашке. Я бросился к нему, встал на колени и начал проверять пульс.

— Он жив.

— Еще бы!

— Но ведь надо позвать врача! Быстрее! Поторопитесь же!

— Да, врача позвать надо, но вот торопиться не к чему. В подобных случаях моему хозяину оказывает помощь доктор Паскали, некий итальянец с отвратительной репутацией, но он согласен не передавать сведений в полицию. — Лепорелло аккуратно опустился на колени и расстегнул на Дон Хуане рубашку. — Кажется, пуля задела сердце.

— Не говорите глупостей. Он умер бы на месте.

Лепорелло промолчал. Весьма небрежно перевернул тело хозяина и осмотрел спину.

— Вот выходное отверстие. Так-то лучше!

Дон Хуан остался лежать на полу лицом вниз, широко раскинув руки и ноги.

— Пистолеты — удобное изобретение, — продолжал Лепорелло. — Раньше обманутая женщина стояла перед неприятной необходимостью вонзить в обманщика кинжал, а это, согласитесь, дело не совсем женское. Или использовать яд, что неэстетично и мучительно. Или просить защиты у отца, брата, мужа, которым приходилось мстить за нее. Все так усложнялось, да и выглядело чересчур театрально. Теперь задача, как вы сами видите, упростилась: маленькая дырочка в груди, еще одна — в спине, и лужа крови. Короче, о том, что здесь случилось, стихов не сложишь.

— Откуда вам знать, что здесь случилось?

— Ах, откуда я знаю? Соня скупа на слова, болтливой ее никак не назовешь. Но уж очень рассеянна. Смотрите. — Он сунул руку под софу и достал пистолет. — Вот! Тридцать пятый калибр, бельгийского производства. Наверняка на нем остались отпечатки пальцев. Если я сейчас вызову полицию, не пройдет и часа, как Соня будет арестована.

— Почему же вы этого не делаете?

— Потому что Соня права. Да, и не смотрите на меня так! Она права.

— Вы позволите мне сказать несколько слов?

— Ну как же, как же! Я этого просто жажду. Но не стойте на коленях. Мы можем сесть и чего-нибудь выпить. Доктор Паскали не вернется домой раньше семи, а сейчас... шесть тридцать. Он живет в Нейи. Если мы выедем одновременно с ним, то я доберусь до места раньше. Моему хозяину все равно, где лежать — тут на полу или у себя на постели, но пока мы здесь, мы избавлены от сцен, которые станет разыгрывать Мариана: ведь она непременно будет падать в обморок, обнимать тело любимого или попытается покончить с собой, если ей покажется, что он помер. А так она ждет и сомневается, иными словами, чувствует себя несчастной и несказанно счастлива от смакования собственного горя. Вы не замечали, с какой ловкостью женщины превращают свои страдания в источник наслаждений?

— Я хотел бы поговорить с вами вовсе не об этом.

— Знаю-знаю. Вы не можете понять, на что же так сильно обиделась Соня. А мне-то хотелось порассуждать с вами об инстинкте счастья у женщин, о том, как по-разному он проявляется: с одной стороны, у воспитанной и образованной девушки, с другой — у полудикарки, то есть у Сони и Марианы. Соня — дочка стального магната, русского эмигранта, разбогатевшего в Швеции. Мариана — бедная девушка, служанка. — Лепорелло подошел к буфету, разлил что-то по рюмкам и одну протянул мне. — Испанский коньяк. А я предпочитаю сладкие вина.

Он перешагнул через тело хозяина, словно перед нами лежала околевшая собака, и снова пригласил меня сесть.

— В тот день, когда агентство по найму прислало нам Мариану, мне достаточно было увидеть ее глаза, услышать ее хриплый, страстный голос, чтобы понять — нам не миновать новой мелодрамы. Но заглянув в ее душу, я содрогнулся от радости: она сулила нам целый фейерверк развлечений.

— Там что, оказались петарды?

— Не валяйте дурака. Вы хотите посмеяться... надо мной? — И он тотчас переменил тон. — Я скажу вам, что там было. Вы когда-нибудь видели разрезанную курицу? Вас не поражала спрятанная у нее в животе гроздь яичек, больших и совсем крошечных, которые ждут своего часа? Любой, кто знает анатомию души так, как знаю я, умеет разглядеть в душах зародыши будущих поступков, они впитывают жизненные соки, медленно развиваются... совсем как яички в курице. И в один прекрасный день — хлоп!

— В один прекрасный день Мариана начинает кудахтать, но... преступление ей все же снести не удается.

— Точно. А вот Соня, в душе которой я никогда не видел зародыша убийства, кудахтать не кудахтала, но именно убийство и снесла.

— Вы сами себе противоречите.

— Все объясняется тем, что в дело замешан Дон Хуан. Дон Хуан, о котором говорили, что он бесплоден! Не помню, когда-то раньше, а может, вчера, мы с вами рассуждали о гармонии, которую Дон Хуан способен извлечь из женского тела. Я забыл добавить: он умеет делать и кое-что другое, благодаря ему в женской душе появляются, а потом и развиваются зародыши поступков, несовместимых с характером этой женщины. Он превратил Мариану в существо, готовое на самопожертвование, а Соню — в убийцу. Хороший романист, создав таких героинь, заставил бы Мариану совершить преступление, а Соня у него пожертвовала бы собой. Иначе критики бы его не пощадили. И, уж конечно, ни один романист не сочинил бы ничего похожего на то, что происходило здесь со вчерашнего вечера до сегодняшнего полудня. Или на то, что случилось несколько месяцев назад в нашем доме. Стоит ли говорить, как долго и тщательно готовились подобные сцены.

Он встал, весь словно раздувшись от торжественной важности, но прежде чем продолжить речь, сделал хороший глоток вина и, смакуя его, громко прищелкнул языком, что никак не вязалось с попыткой выглядеть внушительно.

— Открою вам один секрет: победами своими Дон Хуан обязан умению преображать женские души.

Я пожал плечами.

— А может, он прививает своим возлюбленным фальшивые, случайные свойства?

— Кстати, вы заметили, что сейчас говорите о моем хозяине, словно он и на самом деле Дон Хуан? — Он взглянул на часы. — Пора отвозить его на место. Не окажете ли любезность помочь мне? Впрочем, хотите подождать меня здесь? У вас будет возможность все хорошенько осмотреть. Предлагаю это не из вежливости, я и вправду желал бы этого. Я скоро вернусь.

Не ожидая моего ответа, он взвалил тело хозяина на спину и удалился. Через окно я наблюдал, как он затолкал его в машину, совершенно не опасаясь, что их кто-нибудь увидит. Не знаю почему, но у меня возникло ощущение, что видел их только я.

8. Какое-то время я не решался дать волю своему любопытству. Я сидел с сигаретой в руке перед рюмкой коньяка и думал: вот уже несколько дней, как определенная часть моих поступков зависит от желаний — а возможно, и помогает исполнению тайных замыслов — того, кто сам себя называет Лепорелло. Я ощутил себя игрушкой в его руках или литературным персонажем в руках бездарного романиста. Но теперь я не мог тратить время на подобные рассуждения. Желание разгадать тайну пересилило нерешительность, и я приступил к тщательному осмотру квартиры. Лепорелло отсутствовал два часа, ровно столько, сколько мне было нужно.

Квартира Дон Хуана не была холостяцким логовом в привычном смысле слова — я не обнаружил там ни сулящих наслаждение диванов, ни фривольных гравюр. Я бы назвал это жилищем, о котором мечтает каждый: затерянное в одном из тихих городских закоулков тайное убежище, где можно упиваться воспоминаниями, мечтать или просто радоваться тишине. Я видел не безликую комнату, обустроенную с оглядкой на модный образец или образец démodé[1], нет, все детали здесь находились в таком согласии друг с другом, что, принадлежа конкретному лицу с конкретной судьбой и своими привычками, комната могла служить и кому-то другому, даже многим другим, и никто не почувствовал бы себя в ней неуютно. Точно так же слова поэта могут выражать очень личное чувство, но настолько глубоко, что ими охотно пользуются другие люди — чтобы максимально точно передать свое собственное состояние. В этой квартире можно было написать шедевр, пережить великую любовь или, замкнувшись в одиночестве, шаг за шагом подбираться к пониманию того, что жизнь человеческая соткана из времени.

Я зажег все огни, прошелся по комнате, но несколько минут не мог решиться и приступить к осмотру, потому что чувствовал себя здесь как у себя дома, где мне всегда было хорошо, где просыпались многие забытые желания, уснувшие мечты и даже многие похороненные мною люди, они заполняли мое сердце, зажигали в нем пылкий восторг — стремление вместить в себя весь мир, всю жизнь целиком. Не помню, как мне удалось очнуться и сколько длилось затмение рассудка. Знаю только, что этот вихрь жизненной энергии в одно мгновение лишил меня воли и рассеял остатки благоразумия, загнав мой рассудок в тесный закуток, в чулан, где хранится ненужное барахло. И уже не я осматривал то, что было вокруг, а оно завладевало мной, заполняло меня. Должно быть, мистические откровения — это нечто подобное и столь же потрясающее, неописуемое и светозарное. Как-то очень естественно, без дедуктивных усилий — когда разум непременно отыскивает обоснование фактам и только потом делает выводы — я почувствовал рядом присутствие, почти осязаемое, тех женщин, которые когда-то здесь побывали, которые пережили здесь долгие часы любви и исчезли, пропитав дом своим присутствием. В самом состоянии вещей, в самих вещах мне виделись, подобно ауре или эманации, женские образы, но образы совершенно особенные и ни с чем не сравнимые. В комнатах Дон Хуана женщины впадали в экстаз, схожий с моим, но потрясение их было сильней моего — они любили и *становились* собой, выплескивали свою исключительность, суть своего «я», как это должно происходить в Раю.

...В смятении я открыл дверь в спальню, куда до тех пор не заходил. В ней стояла кровать, на низких столиках — светильники, рядом со светильниками — пепельницы. Я оглядывал все словно в горячке, лихорадочно переводил взгляд с предмета на предмет.

— Ну что? Теперь вы понимаете?

Лепорелло стоял за моей спиной — не сняв шляпы, еще более насмешливый, более глумливый, чем обычно.

— Нет, все равно не понимаю.

— Я ведь вам уже говорил: в вас сосуществуют два уровня реальности, но только один из них доступен вашему разуму. Теперь перед вами рабочий инструмент профессионального соблазнителя. И совершенно очевидно, что им никогда не пользовались. Но вы отказываетесь в это поверить.

---

[1] Вышедший из моды (*франц.*).

Я плюхнулся на софу.

— Извините. У меня немного закружилась голова. У меня...

— С вами все в порядке. Ваше головокружение — своего рода разрядка. — Он указал на полуоткрытую дверь спальни. — Ну теперь-то вам ясно, почему Соня хотела убить моего хозяина?

— Вы хотите сказать...

— Не хочу, потому что вы уже и сами это знаете. Дон Хуан не способен сделать своих возлюбленных любовницами. Не смотрите на меня так. Сколько раз вам доводилось читать о его импотенции... А объясняется все очень просто: он родился в Севилье в 1599 году, то есть почти триста семьдесят лет назад. Надеюсь, вы понимаете, — продолжал Лепорелло, — Дон Хуан отнюдь не всегда вел себя таким образом. В былые времена ни одна женщина не могла бы обвинить его в мужской несостоятельности. Его действительно называли Обманщиком, но совершенно по другой причине, собственно, тогда он и не был, как нынче, настоящим Обманщиком, прозвище возвещало скорее будущие подвиги. И не могу не добавить: никогда его особый и совершеннейший способ любви не достигал таких вершин, как нынче. Да, сегодня Дон Хуан достиг совершенства в искусстве сделать женщину счастливой, беда в том, что неизбежно наступает некий момент, когда счастье требует еще и плотского воплощения, чего, к счастью, Дон Хуан дать не может... — Он запнулся и изобразил руками нечто двусмысленное. — ...скажем, из-за своего почтенного возраста. Но будь он в силе, женщины этого не выдержали бы. — Он снова замолк и повторил прежний жест. — Человеческая природа, друг мой, устанавливает пределы степени или накалу наслаждения, и то наслаждение, которое мог бы дать женщинам мой хозяин, стало бы для них гибельно. Но они-то этого не ведают, они жаждут полноты... И вот в миг высшего взлета их желаний мой хозяин, как тореро, ловко делает обманный взмах плащом — и... бык проносится мимо, хотя иногда и задевает тореро рогом... тогда приходится тащить его в больницу. — Он вкрадчиво засмеялся. — Что я только что и сделал. Оставил его на руках Марианы и под присмотром доктора Паскали. — Он помолчал и добавил: — Мой хозяин ведет себя безрассудно. Вечно впутывается во всякие истории, но о практических последствиях не задумывается. Теперь я должен срочно добыть денег, а где, скажите на милость, их взять? Только в казино... Эх, не миновать греха — придется жульничать... Хотите пойти со мной?

9. Я проводил его до дверей казино и уже успел откланяться, когда Лепорелло вдруг окликнул меня.

— Вам теперь нечем будет заняться. Если останетесь в одиночестве, увязнете в мыслях, и заснуть они вам не дадут. Мой вам совет: примите вещи такими, как они есть, и, главное, не ищите всему объяснений. Так поступают благоразумные люди, хотя вы, на беду, к их числу не относитесь. Но я все-таки хотел бы вам помочь, я тут пораскинул мозгами... — Он сделал паузу. — У вас есть в Париже подружки?

— Нет.

— Ужасная ошибка! Ведь для чего нужны женщины? Чтобы помочь человеку отдохнуть и забыться! Сегодня вам необходима женщина. — И, увидев мою улыбку, добавил: — Да я не о том! Можно по-разному нуждаться в женщине, и даже вполне целомудренно, хотя от такого варианта проку меньше всего. Но у вас сегодня особый случай. Вам надо перестать думать о себе, надо попытаться понять другого человека, чтобы помочь ему, а может, даже спасти. Скажем, помочь несчастной женщине, соблазнительно, знаете ли, несчастной... Я имею в виду Соню...

— Я с ней незнаком.

— Это к лучшему. Есть ситуации, когда незнакомый человек вызывает больше доверия, чем близкий друг. Отнесите-ка ей платок и пистолет. Вот адрес.

И тут он словно испарился. А я остался стоять на незнакомой мне, довольно мрачной парижской улице и в одной руке держал пакет, чье содержимое очень не понравилось бы полиции, в другой — бумажку с адресом. Окажись поблизости река, я наверня-

ка бросил бы все это в воду и поскорее бежал бы прочь. Но реки, как на грех, не было, и я мечтал поскорее выбраться из этого неприветливого места, мечтал избавиться от пистолета. Я увидел такси, остановил его и назвал адрес Сони. Ехать пришлось долго. Жила она на тихой и просторной улице с элегантными домами, кажется, это был XVI округ. У тротуаров тут и там застыли дорогие машины. У подъезда Сониного дома стоял двухместный спортивный автомобиль — красный с черным верхом.

— Да, это здесь,— подтвердил привратник. — Шестой этаж налево.

Он указал на лифт. Соня жила на последнем этаже. Я не сразу решился позвонить. Сердце мое бешено колотилось, и мне хотелось повернуть назад, не ввязываться в очередную авантюру. Но я вызвал в памяти образ Дон Кихота, а также вспомнил о пистолете, спрятанном в кармане пиджака. И нажал кнопку звонка.

— Вы из полиции? — спросила Соня слегка дрогнувшим голосом.

Но сначала мы несколько мгновений молча смотрели друг на друга.

— Нет. Я не из полиции.

— В таком случае...

— Я принес вам вот это.

Я протянул ей пакет. Она тотчас узнала пистолет.

— Где вы его взяли?

— Под софой. А платок — в машине.

— Как, и платок?

— Да.

Она провела ладонью по лбу.

— Спасибо.

Я хотел попрощаться. Она остановила меня.

— Подождите. А он?

— Он жив.

— Войдите, прошу вас.

Она распахнула дверь. Я еще колебался. Она повторила:

— Пожалуйста, войдите. Разве вы не понимаете... — Я вошел, она закрыла дверь и встала, прижавшись к ней спиной. — Я хочу знать...

Она начала всхлипывать. Плакала она долго, а я не знал, что делать, и стоял неподвижно, молча, не пытаясь ее успокоить. Я глядел на нее, рассматривал ее, а заодно краем глаза рассматривал и помещение, где мы находились: маленький холл, устланный ковром, мягкий свет, узкий диванчик, очень красивая акварель Дюфи, старинное зеркало в темной раме. За моей спиной что-то колыхалось, и это что-то бросало на стену длинную и расплывчатую тень.

На Соне были серая юбка и зеленый свитер, шею украшали мелкие, тоже зеленые, бусы. Она оказалась довольно высокой, чуть выше меня...

Теперь мне трудно вспомнить, что я тогда о ней подумал, ведь мы виделись и после, а первые впечатления обычно смешиваются с более поздними, заслоняются ими. Но, помнится, она не слишком понравилась мне, по крайней мере с первого взгляда, и не потому, что была некрасивой, нет, я сразу отдал должное ее привлекательности, просто я воспринимал ее как несчастную возлюбленную Дон Хуана, и меня интересовало прежде всего то, что было оставлено в ней Дон Хуаном, то, что он сотворил и преобразил в ее душе. Рыдания Сони могли пронять кого угодно, что уж говорить обо мне, человеке по натуре сентиментальном. Да вот только в тот миг мне представилось, будто рядом со мной не живое существо, а литературный персонаж. Соня была обманутой возлюбленной человека, который выдавал себя за Дон Хуана и вел себя до определенного предела соответствующим образом: и меня как раз интриговал оттенок, вносимый вот этим «до определенного предела», я готов был засыпать Соню вопросами, на которые она наверняка не сумела бы ответить. Нынешняя проделка Обманщика показалась мне по сути своей не только новой, но и весьма оригинальной, именно ею была теперь занята моя голова. После разговора с Лепорелло самозванец целиком и вопреки моей воле завладел моими

мыслями, это походило на наваждение. Да, именно вопреки моей воле, вопреки моим словам и поступкам, что-то менялось в моем сознании, и если честно признаться, в глубине души я был рад, что впутался в эту историю.

— Давайте выпьем по рюмочке! Мне надо спросить вас кое о чем.

Это сказал не я, эти слова произнесла Соня, мягко взяв меня за руку и потянув за собой. Мы вошли в комнату, довольно большую, и она сразу показалась мне знакомой, хотя я никогда здесь не бывал. Что-то роднило ее с квартирой Дон Хуана, но — как бы выразиться поточнее? — здесь все звучало глуше, было чуть смазано, словно обитавший здесь человек самый отчетливый отпечаток своей личности оставил в другом доме. В целом же комнату по виду можно было назвать и кабинетом и гостиной (хотя, наверно, она служила и спальней), где жила богатая студентка с хорошим вкусом. Из вежливости я похвалил какую-то картину и розы на столе.

— Каждое утро мне их доставляли из Испании. По его заказу.

Мы сели. Соня больше не плакала. Она вытерла слезы и, пока я говорил банальности о красоте испанских роз, кисточкой припудрила покрасневшие веки.

— Дайте сигарету.

Я протянул ей свои «Монтеррей».

— Он курит такие же.

Я ждал вопросов. И вопросы посыпались — самые обычные: в каком *он* состоянии, оказана ли ему нужная помощь и так далее. Его имени она не произносила.

Потом Соня спросила, кто я такой и почему принес ей платок и пистолет. Я весьма бегло описал свои отношения с Лепорелло и то, как оказался замешан в эти события. Я старался поменьше говорить о себе и тоже избегал имени Дон Хуана.

— То есть вы его не знаете?

— Нет.

— А хотите услышать, почему я решила его застрелить? Знаете, ведь за несколько минут до вашего прихода я всерьез подумывала о самоубийстве...

— Кажется, для этого нет оснований.

— Я чувствовала себя виноватой, я до сих пор чувствую себя виноватой, но теперь начинаю сомневаться в мере собственной вины. Правда, и в свою способность рассуждать здраво я тоже пока не верю.

— А в мою? Я готов помочь вам разобраться в себе.

— Именно это мне и нужно, чтобы продолжать жить дальше, — знать, какова на самом деле мера моей вины. Стреляя, я считала, что права. Потом, уже здесь, одна, я разрушила систему собственной защиты и почувствовала себя разом и преступницей и жертвой... Во всем этом столько противоречий, я совершенно запуталась. Эта страсть была случайным и не слишком долгим периодом в моей жизни, теперь я начинаю приходить в себя. Пожалуй, слово «страсть» не слишком подходит, но лучшего я подобрать не могу. Возможно, это были колдовские чары или что-то вроде того. Я всегда была — и, надеюсь, останусь — холодной женщиной.

— Но все же полчаса назад вы плакали.

— И снова буду плакать! Многие вещи мне трудно будет забыть, они останутся в памяти навсегда. Знаете, за все это время слово «любовь» ни разу не прозвучало. Я хочу сказать — в обычном смысле, как любовь мужчины и женщины.

— А чем же еще это могло быть?

— Не знаю.

Соня помолчала. Потом встала, порылась в лежащих на столе бумагах и протянула мне переплетенные в тетрадь машинописные листы. Я прочитал название: «Дон Жуан. Анализ мифа».

— Это моя диссертация. Я защитила ее в Сорбонне два месяца назад.

Я принялся листать рукопись. Соня снова села и несколько минут не открывала рта. Затем поднялась, наполнила рюмки и, не спрашивая, взяла у меня сигарету. Я молча наблюдал за ней. И вдруг сообразил, что до сих пор не позволял себе увидеть в ней жен-

щину. Теперь, разглядывая ее, я вполне оценил достоинства, о которых говорил Лепорелло, и открыл новые. Мало того, я уже начал чувствовать силу ее чар.

— Я не знаю, кто вы, да это и не имеет значения, — заговорила Соня. — Будь вы моим другом или хотя бы знакомым, я бы не стала вам ничего рассказывать. Вы наверняка католик и легко поймете причину — ведь для исповеди вы охотнее выбираете незнакомого священника. К тому же хорошо, что вы испанец. В ваших странах, насколько мне известно, еще ценят так называемую женскую чистоту, а если и не ценят, то, по крайней мере, не презирают женщин, не имеющих любовного опыта. Моему соотечественнику никогда не пришло бы в голову спросить, девственница ли я, но скажи я «да», он расхохочется мне в лицо. И будет смеяться еще громче, узнав, что я храню девственность по доброй воле, а предрассудки или комплексы тут ни при чем. В этом смысле я спокойна: мое сексуальное поведение не подчинено какой-то темной силе или клубку смутных причин, которые так интересуют психоаналитиков. В детстве я была верующей, а когда перестала верить, главное различие между мной и подругами заключалось в том, что они мечтали достичь семнадцати лет и завести друга, а я не спешила. Должна признаться, холодный темперамент мне в этом помогал; любые сведения о сексе я воспринимала равнодушно, и когда позднее мне захотелось отыскать внебиологический смысл девственности, то, честно говоря, я его не обнаружила. Я, как и все, могла выйти замуж и вовсе на собиралась оставаться старой девой. Но замужество не входило в мои ближайшие планы, как и любовные или просто сексуальные отношения. Повторяю, мой темперамент позволял мне обходиться без этого, что с профессиональной точки зрения было весьма полезно. Любовь и секс крадут слишком много времени у женщины, которая решила заниматься наукой.

Наверно, я рассмеялся или просто улыбнулся. Она помолчала.

— Вам это кажется странным?

— Да. Но вы до сих пор не объяснили мне еще одной вещи. Почему вы выбрали дон Жуана в качестве предмета научного исследования?

— Кьеркегор, Моцарт, потом Мольер и еще один поэт. Интеллектуальное любопытство.

— Никогда не поверю, что какая-нибудь женщина может испытывать к Дон Жуану чисто интеллектуальное любопытство.

— Ну, если и было что-то еще, то это что-то таилось глубоко в подсознании и до сих пор там остается. Уверяю вас, у меня никогда не было каких-то особых догадок касательно личности Дон Жуана или мифа о нем. Моя диссертация не содержит ничего нового: компиляция, систематизация, сопоставление никогда раньше не сводимых вместе материалов. Я привожу все в систему, выявляю новые связи, переклички. Современная научная работа.

Она шутливым жестом указала на тетрадь.

— А он мне сказал, что диссертация никуда не годится.

Впервые за весь вечер в словах ее прозвучала любовь, таким тоном девушки обычно произносят, смежив веки: «Он открылся мне в любви».

— Он сказал это в тот самый вечер, когда я защитила в Сорбонне диссертацию. Народу собралось мало, но он сидел в зале, сидел с таким скучающим видом, точно думал поразвлечься, да ошибся адресом. Он смотрел на меня, и я все время гадала, кто бы это мог быть — кто-то из круга моих друзей или просто знакомый, с которым я однажды поболтала и тотчас вычеркнула из памяти? Никто из зала меня не поздравлял, меня не ждал возлюбленный, с которым мы вместе пошли бы отпраздновать мой маленький триумф. Я осталась в аудитории одна, и тогда он подошел ко мне и, словно это было совершенно в порядке вещей, заговорил, и беседа наша длилась невесть сколько времени, и я не нашла тут ничего странного, как не удивило меня и его приглашение поужинать вместе и продолжить разговор. Сначала я приняла его за иностранца, занимающегося дон Жуаном, или, скажем, за преподавателя литературы, который знает больше меня о том, в чем я мнила себя большим специалистом. Но стоило нам сесть в ресторане за столик, как мне

стало с ним легко, словно со старинным и самым близким другом. Именно тогда он сказал, что моя гипотеза неверна, что настоящий Дон Хуан Тенорио абсолютно не был похож на того субъекта, чей нравственный облик я обрисовала в диссертации. И мне было приятно слышать это и даже лестно... — Вдруг она спросила: — А вы были когда-нибудь влюблены? — Но ответа ждать не стала. Резко поднялась с софы и, все более загораясь, продолжала рассказывать, помогая себе жестами. Порой слова ее трепетали от нежности. — Я слушала не столько то, что он говорил, сколько то, как он говорил. Тон, манера смотреть на меня, мимика, движения, что-то невыразимое, окружавшее его, словно аура, — все это сладко ранило меня, ранило исподтишка, ведь как мне тогда казалось, я улавливала лишь рассуждения о дон Жуане, а остальное, не вызывавшее головного интереса, проплывало мимо. Тем не менее я впитывала ласку его голоса. И, видимо, отвечала ему, улыбалась, поддерживая разговор, но на самом деле мои реплики и улыбки рождались чем-то новым во мне, глубокой жаждой счастья, неведомой и ошеломительной.

Она повторила вопрос:

— Вы были когда-нибудь влюблены?

— Да.

— Именно так это и начинается?

— И так тоже.

— Но такое начало обычно или же исключительно?

— Именно так влюбляются все на свете.

Например, я сам. Вот уже несколько минут, после того как Соня встала и слова ее сделались именно ее словами, как смех или слезы, а не сухим изложением абстрактных умственных построений, я испытывал смущение и растерянность, я начал влюбляться.

— Клянусь, я могу вспомнить каждую минуту, каждое слово, и душа моя затрепещет от воспоминаний — но так сживаешься с судьбой героя в пьесе, с которым на два-три часа соединяешься и чью историю хочешь примерить на себя.

— Иными словами, внутри вас возникла новая женщина, от которой теперь не осталось и следа?

— Вовсе нет. Это была все та же я. Все было моим и до сих пор остается моим — но так принадлежит человеку украденная вещь.

Я засмеялся. Не потому, что сравнение показалось мне очень уж смешным, нет, мне нужно было засмеяться или сделать что-нибудь нелепое и таким образом замаскировать волнение, в которое приводила меня близость Сони. Со мной происходило именно то, что она так педантично и точно описывала. Но мой смех ее не задел, кажется, она его и не заметила.

— В тот вечер я без малейшего смущения сама назначила ему встречу — на следующий день. Я была им совершенно околдована и, когда мы расстались, даже не сразу почувствовала одиночество. Да я и не была одна, впервые в жизни я не была одна. Вот здесь, укладываясь спать, я разговаривала с ним и, вдруг обнаружив это, расхохоталась над своим безумием, но говорить не перестала, пока не заснула, наверно, так разговаривают во время молитвы с Богом. Весь следующий день мы провели вместе. И следующий, и следующий. Через четыре дня он сказал, что дела заставляют его уехать из Парижа и мы какое-то время не сможем встречаться. В этом не было ничего странного, но как я грустила, как тосковала... Я физически ощущала ход часов, я сама растворялась в потоке времени и впервые поняла, что такое одиночество. Когда вечером он позвонил мне, я разрыдалась в трубку.

Я перебил ее:

— А вас не удивило его имя?

— Имя? Почему вы об этом спрашиваете? Я не знаю, как его зовут, но до сих пор не замечала этого. — Она растерянно присела на краешек стола. — Я никогда не спрашивала, как его зовут, да и не было нужды спрашивать, имя ничего бы не прибавило.

— Когда Иаков сражался с ангелом, он спросил его об имени, а один из пророков, насколько мне помнится, вопрошал о том же Иегову.

— Но ведь Иаков не был слит воедино с ангелом, а пророк — с Богом, как мы с ним.

— С кем — с ним?

— С ним, с ним... — Она поднесла ладони к щекам, изумленная, сбитая с толку. — Ах, теперь я должна узнать его имя, потому что чары рассеялись! Скажите мне его!

— Я не знаю.

Она повернулась ко мне спиной, шагнула к окну и прижалась лбом к стеклу. Я видел, как блики от башенного прожектора вспыхивали на ее помрачневшем лице.

— Я хочу, чтобы вы поняли,— сказала она, не глядя на меня, — мне не нужно было знать его имя.

— Зачем же это должен понять я?

— Потому что тогда и я сама смогу понять.

— Когда любишь, имя становится помехой. Любимая — это «она». И когда-любимая принадлежит тебе, когда по-настоящему становится твоей, ты придумываешь ей сокровенное имя, и в этом имени — тайна любви.

Она быстро обернулась.

— Вы знаете это по опыту?

— Нет, из книг.

Я вырос бы в ее глазах, сославшись на собственный опыт, ссылка на чужой ее разочаровала. Она снова подошла ко мне, но душой оставалась где-то далеко.

— Мы никогда не говорили о любви. Сначала его манера ухаживать показалась мне странноватой, но потом я перестала обращать на это внимание. Само понятие ухаживания я всегда находила вульгарным, а потому неуместным. Словно оно принадлежало к тому миру человеческих отношений, который я, увлеченная новым знакомым в мир отношений высшего порядка, покинула. Он никогда не говорил мне о любви. Уже на второй день после знакомства я сказала, что не верю в Бога, и он улыбнулся. Я спросила, верующий ли он, и он ответил, что католик. «Как вам кажется, это дурно, что я не верую?» — «Нет, нет. Это естественно!» — «А я нахожу естественной вашу веру». Мы дружно рассмеялись и оставили эту тему. Но на другой день, как бы ненароком, он стал расспрашивать меня о моем атеизме и о том, как я понимала мир, человеческую жизнь в целом и свою собственную. Я не столько опасалась, что он примется обращать меня, сколько ждала этого, потому что мечтала иметь с ним как можно больше общего, но не дождалась. Напротив, он начал объяснять мне, что такое Ничто и Материя, и спросил, верю ли я, будто Материя явилась из Ничто, чтобы потом опять стать Ничто, или считаю, что Материя вечна. Я растерялась: он рассказывал об этих вещах чужими для меня словами, я их едва понимала. Наконец я решилась спросить, к чему нам такие разговоры. Он ответил: «Я должен отточить ваш нигилизм и научить вас видеть его последствия в чистом виде». — «Но для чего?» — «Только чтобы раскрыть неведомые богатства, которые таятся в вашей душе». В последующие дни мы только об этом и говорили. Но, прошу заметить, мы вели свои разговоры именно в таких местах, которые обычно выбирают влюбленные: в парках, в тихих кафе, в безлюдных переулках. И ходили мы неизменно взявшись за руки, а иногда даже обнявшись. Он начал увозить меня на своей машине за город и показывал незнакомые мне места. Наконец, пригласил к себе домой. Он обладал особым даром, сродни поэтическому, и все, что нас окружало, сразу оживало, обретало душу, участвовало в наших беседах и чуть ли не в нашей жизни. Сигарета или бокал вина выглядели в его руках по-новому, казались чем-то неведомым и обольстительным. Он все вокруг ставил в зависимость от меня, так что я почувствовала себя неким центром, излучающим живительную энергию, но в то же время подчиненной тому Ничто, которое он открывал мне, и я оказывалась связанной с Ничто теми же мистическими узами, которыми окружающая жизнь связывалась со мной.

— Если я правильно понял, его уроки... это что-то вроде индуизма, мистицизма индуистского толка.

Соня вдруг вышла из себя:

— Почему надо это как-то называть? Вы нашли подходящее имя, но мне-то оно ничего не дает, мне оно ни к чему. Я называла это любовью.

Я извинился и в душе обругал себя за очередной промах.

— И вот понемногу начали проявляться, пользуясь его словами, богатства моей души. Благодаря его объяснениям, самому его присутствию, я теперь жила в центре мира, порождением которого себя считала и с которым почему-то жаждала соединиться. Я сказала ему об этом, но в ответ услыхала, что еще рано, еще предстоит преодолеть много ступеней... — Вдруг она с неожиданной злостью хлопнула по столу. — Сплошная ложь! Ложь! Не с космосом я мечтала соединиться, с каким там космосом, я хотела лечь с ним в постель, как всякая девчонка со своим возлюбленным. — Она зарыдала и сквозь рыдания с трудом проговорила: — Как всякая любящая женщина! Ведь я такая же, как все остальные!

Она сумела взять себя в руки. Я предложил ей сигарету, она закурила. Я пододвинул ей рюмку.

— Да, я мечтала о нем, но не только в обычном смысле. Мне казалось, что, соединившись с ним, с его помощью я смогу перешагнуть за некие пределы, достигну того сверхчеловеческого счастья, о котором он говорил и к которому заставил меня стремиться. Поэтому я с такой готовностью слушала его и покорялась ему. Он стал оставлять меня одну в своем доме по вечерам, и так случалось не раз, и я была там счастлива, счастлива благодаря тому, что окружало меня, и тому, что у меня появилась надежда на надежду.

— А вы заметили, что в том доме до вас и, возможно, так же, как вы, побывали другие женщины?

— Нет! — ответила она недоверчиво, широко раскрыв заплаканные глаза.

— Сегодня вечером я провел там пару часов. Один. Я не доверяю всяким таинственным ощущениям, но тут могу утверждать: мне явились — как именно, не сумею описать или определить — разные женщины, я почти что слышал их, мог коснуться, и вы были среди них. Войдя сюдя, я словно узнал вас, но, честно признаюсь, в этой комнате вы показались мне иной, более обычной.

— В собственном доме я никогда не жила так, как жила в его квартире. Тот дом стал для меня храмом. Когда я оставалась там одна, я творила нечто вроде молитвы, видимо, я именно молилась. — Замолчав, она сделала несколько шагов в глубину комнаты и остановилась в самом темном месте. — Вчера он повез меня к себе. И говорил много часов подряд, не знаю сколько, потому что заснула, видно, он захотел, чтобы я заснула. Утром я проснулась одна. И, как всегда, не нашла в этом ничего особенного. Я ждала его. Кажется, что-то поела, а может, не ела ничего, я бродила словно в беспамятстве. Он вернулся ближе к полудню, сказал «Привет!» и сел за рояль. Я слушала. Он не произносил ни слова, только играл, играл, а я чувствовала, как музыка обволакивает меня. Осязаемая, пронзающая насквозь музыка. Ах, на самом-то деле она была вульгарной и невероятно знакомой, но тогда я воспринимала ее по-особому. Я чувствовала, как неспешные и трепетные волны подкатывают к моему телу, накрывают меня, проникают внутрь, зажигают что-то внутри, это что-то разгорается, обжигает, затягивает мое притихшее «я» в черный огонь. В душе моей открылись мрачные каналы: под воздействием музыки я входила в них, бежала по ним, ступала уверенно и незряче — незрячие глаза и хмельная кровь, пылающая кровь; я словно восходила на вершину горы, и царивший там непроглядный мрак пугал меня и манил; я восходила к вершине, которая выросла у меня внутри, — там сливались воедино блаженство, Вечность и Ничто. И я достигла вершины — задыхающаяся, истерзанная. Постепенно мои нервы потеряли чувствительность и начали вибрировать, как струны рыдающей гитары, пока сама я, уже коснувшись руками Ничто, не сделалась целиком музыкой и рыданием — в готовности разбиться последним гибельным аккордом. Все. Это был предел. Я уже не пылала, уже не слышала тока крови, и то, чего я невольно ожидала, вдруг обрушилось на меня непередаваемым, бесконечным наслаждением. Это был первый настоящий сексуальный опыт в моей жизни, и я приняла его ошеломленно и самозабвенно, отдалась ему целиком, словно бросившись в пропасть. Когда наваждение рассеялось, музыка звучала по-прежнему, все так же обволакивала меня, обнимала своими длинными безжалостными руками. Но все уже стало другим. Я стояла перед ним голая. Я

опустила руку ему на плечо и сказала: «Иди же». А он перестал играть, взглянул на меня, улыбнулся и ответил: «Для чего? Оденься». И только услышав его слова, я вдруг обнаружила, в каком я виде, хотя не помнила, кто меня раздел. Вихрь утих, и я пришла в себя, но желание еще было сильнее меня, я повторила: «Иди». Он не ответил. Он снова начал играть и засмеялся. Я почувствовала стыд, непередаваемый стыд, унижение, но страсть продолжала клокотать в венах. Я снова кинулась к нему. Кажется, закричала, умоляя: «Иди же!» Он взглянул на меня. Впервые за два долгих месяца он снял темные очки, и я разглядела его глаза — насмешливые, холодные, но только вот смеялись они вовсе не надо мной, смотрели вовсе не на меня, а на то, что находилось где-то сзади, бесконечно далеко. И я тотчас поняла — не знаю, по какой-то искре во взгляде или по выражению лица, — что была для него пустым местом, даже не объектом насмешки. Я укрылась за роялем. Тогда он, не переставая играть, не глядя на меня, произнес: «Там, прямо у тебя под рукой, пистолет». И действительно, моя рука нащупала пистолет. Я выстрелила. Увидела, как он падает. Не помню, закричала я или думала только о бегстве. Мне нужно было одеться, и, пока я что-то натягивала на себя, ко мне начало по капле возвращаться сознание. Я подошла к нему и убедилась, что он жив. И мне чудилось, что это не я ранила его, что я не имею никакого отношения ни к самой себе, ни к тому, что здесь только что произошло, и в то же время меня уже начинали одолевать угрызения совести. Тогда я стала звонить в разные места, пытаясь отыскать слугу, пока не нашла его. Вот и все.

10. Соне Назарофф — имя стояло на первой странице рукописи — было лет двадцать пять. Высокая, стройная, белокожая блондинка. Свои светлые мягкие волосы — смесь золотистого с пепельным — она гладко зачесывала назад и собирала на затылке в узел. Мне нравились нежные черты ее лица, меньше нравились глаза — бледно-голубые и скорее круглые, чем продолговатые, с короткими ресницами. Она их не подкрашивала. Соня двигалась легко, изящно, но вместе с тем как-то слишком раскованно: всякий раз, садясь, она демонстрировала мне свои ноги гораздо выше того места, где заканчивались чулки, что превращалось для меня в сущую пытку. Ногти у нее были короткие, как у пианистки или машинистки. Что же касается тех достоинств ее фигуры, относительно которых мои вкусы совпадали со вкусами Дон Хуана, то здесь, если судить по тому, что открывалось взору — открывалось, но не навязывало себя, — царил, я бы сказал, стиль романтический, а уж никак не классический. Груди ее рвались вперед вызывающе и даже дерзко, но в то же время казались нежными, словно спящие горлицы (весь их романтизм, собственно, и сводился к контрасту между этими определениями). И все же, как бы ни оценили знатоки целое — не забудем, что Дон Хуан остановил на ней свой выбор, а это уже само по себе гарантировало качество, — главным в Соне была ее манера, одновременно и естественная и сдержанная, двигаться или застывать в неподвижности, а также голос — почти сопрано, богатый оттенками и тонкими переливами. Короче говоря, я совсем потерял голову.

А она ждала ответа, широко открыв глаза, протянув ко мне руки. И так как я медлил, переспросила:

— Вам нечего сказать мне?

— Сейчас нет. Но я хотел бы задать вам несколько вопросов.

Это была уловка. На самом деле в голове у меня было пусто, ни одной мысли, и нужные слова не спешили являться на мой тоскливый зов.

— Я рассказала все, — промолвила она.

Она стала другой. Во время последней части своего рассказа, несмотря на дьявольски интеллектуальные обороты речи, несмотря на четкость и внятность выражения мыслей, Соня сильно волновалась, голос ее дрожал, воспоминания всколыхнули ее. И мне казалось, что мы стали ближе друг другу, что я могу помочь ей, хотя совершенно не представлял, о какой помощи тут может идти речь.

— Итак, вы увидели его без темных очков и именно тогда обнаружили, что не были предметом его любви?

— Наверно, так.

— А тайна? Когда и как вы почувствовали, что здесь есть тайна?

— Как только он начал играть. Меня словно что-то заставляло пуститься в путь по дороге, манившей именно своей темнотой.

— Что-то?

— Что-то! И все. — Вдруг она слегка вскрикнула. — Теперь я знаю! Меня словно бы подталкивали к смерти. Любовная разрядка заставила меня возжелать смерти как высшего счастья, я захотела соединиться с ним, чтобы умереть в его объятиях.

— Умереть? Но почему?

— Не знаю. Я вдруг поняла, что счастье в самоуничтожении. Я вам об этом уже говорила. Стать ничем — вот блаженство, о котором я мечтала, пока тело содрогалось.

— Вы словно заново родились и стали другой.

Соня улыбнулась.

— Это метафора. Мне стыдно даже подумать, что я когда-нибудь встречусь с ним, буду молить его о любви. Нет! Этого я не сделаю никогда.

— Все равно бы ничего не вышло...

Она гордо вскинула голову, словно услышав оскорбление.

— По-вашему, я больше не могу ему нравиться? Мне не раз говорили, что я красивая.

— Дело в другом.

Я достал из папки визитную карточку, написал на ней свой адрес и положил на стол.

— Мне пора. Если я вам понадоблюсь...

Соня быстро поднялась.

— Нет, спасибо. Вы мне больше никогда не понадобитесь. Вы вели себя благородно, были очень добры, но... — Движением рук, выражением глаз она договорила остальное.— Я не желала бы вас больше видеть.

Я с улыбкой кивнул, помнится, с моих губ даже слетело что-то вроде «Разумеется!», но сам я отыскивал какую-нибудь уловку, чтобы вынудить Соню опять обратиться ко мне за помощью. И найти такую зацепку надо было сейчас же, пока мы не попрощались. Уже в дверях я еще и еще раз повторил все положенные формулы вежливости, уже выйдя на лестницу, попросил огня, чтобы зажечь сигарету, потом вспомнил, что забыл перчатки... Именно тогда на подмогу мне явился некий ангел!

— Подождите.

— Вы забыли что-нибудь еще? — с иронией спросила она.

— Да. Я забыл сказать вам, что того человека зовут Дон Хуан.

Я захлопнул дверь лифта и нажал на кнопку. Мне показалось, что лифт спускался чертовски медленно: я боялся, что по лестнице она спустится вниз быстрее и будет ждать меня там, а потом даст пощечину — за то, что я скрывал это раньше.

Я уже выходил из ворот, когда услышал, как она, перепрыгивая через ступеньки, мчится вниз. Я бросился бежать и, прежде чем она выскочила на улицу, нырнул в первый же боковой переулок. Я слышал, как она звала меня...

Едва я добрался до гостиницы, как дежурный сообщил:

— Вам звонила какая-то девушка. Пять раз за последние пять минут.

— Скажите, что я еще не вернулся. Повторяйте это, сколько бы она ни звонила. —И я разъяснил, что меня преследует некая назойливая особа и что я хочу спать. — А вот если позвонит один господин, итальянец...

Лепорелло не позвонил. Он явился в гостиницу на следующее утро и ждал в холле, пока я спущусь.

— Что вы сделали с Соней? Она разбудила меня бесчеловечно рано и потребовала, чтобы я привез вас к ней.

— Прямо сейчас?

— Сразу после обеда.

Было чуть больше половины двенадцатого.

— Тогда у нас есть время перекусить и побеседовать.

— Да, вполне. Я вас приглашаю. Ну позвольте мне сделать это! Я знаю один итальянский ресторан, где готовят лучшие в мире спагетти.

— Как дела у вашего хозяина?

— У Дон Хуана? Вы имеете в виду Дон Хуана?

— А у вас есть и другие хозяева?

Лепорелло хитро усмехнулся.

— Нет. В данный момент нет. Дон Хуану гораздо лучше. Утром ему сделали переливание крови. Свою кровь, разумеется, предложила Мариана... Бедняжка была так счастлива!.. Она изрекла нечто вроде того, что «Если уж нашей крови не суждено смешаться в наслаждении, пусть смешается в несчастье».

— Вот ужас!

— Нет, это трогательно. И даже красиво! Знаете, пожалуй, она стала мне нравиться. Женщина, умеющая так любить, заслуживает счастья.

— Но с Дон Хуаном она вряд ли его найдет.

— А со мной? Обо мне вы не подумали?

— Но любит-то она его.

— Это проще простого — осуществить некую любовную рокировку. Да вы ведь и сами не далее как вчера вечером сумели заинтриговать бедную Соню, пустив в ход театральный эффект, и, должен признать, сделали это весьма ловко. Но для чего? Тоже решили провести рокировку?

Мы дошли до Марсова поля, которое располагалось совсем недалеко от моей гостиницы. Лепорелло кивнул на пустую скамейку.

— Если вам охота поспорить, сядем. Сегодня у меня не то настроение, чтобы прогуливаться. Я чувствую себя не в своей тарелке. Любоваться весенними деревьями у реки — это ваше дело, меня они раздражают. Ненавижу весну, по-моему, так это просто дьявольская выдумка протестантов. В наших средиземноморских странах весны не бывает, не бывает всяких там промежуточных состояний — они только смущают душу, изматывают нервы... Сплошная маета...

— Для меня — нет.

— Ваше дело. Я говорю о себе. Итак, зачем вы подкинули бедной Соне эту приманку? Ну? Вам было мало ее откровений? Из них вроде вполне ясно, какими приемами пользуется мой хозяин... И как они вам?

— Совершенное барокко. Зачем столько накручивать? То, чего он добивался два месяца, призвав на помощь Космос, другой бы получил через две недели, без всякой мистики и метафизики. Разве не понятно, что Соня просто созрела...

— Нынче мой хозяин испытывает склонность к барокко, а вот раньше он предпочитал строгую классику. Ну ладно, обстоятельства меняются, и теперь он забавляется собственной виртуозностью. Это артист, ему нравится снова и снова доказывать свое всесилие. Вы когда-нибудь видели скрипача, который на одной струне исполняет Крейцерову сонату и заставляет пианиста аккомпанировать ему на одной клавише? Таков и мой хозяин.

— Подобные вкусы — явный признак упадка. Произведение искусства, в котором на первый план выносятся технические приемы, всегда декадентство: так маскируется бессилие воображения и творческое бесплодие.

Лепорелло расхохотался во всю глотку. Он смеялся так громко, что дамы, которые сидели неподалеку, приглядывая за белокурыми детишками, сердито оглянулись и поспешно встали.

— Ну и чушь вы сморозили. Вы заслужили...

Дамы удалились, а Лепорелло бросил на меня презрительный взгляд.

— Впрочем, заслужить-то вы заслужили, но меня такой вариант никак не устраивает. И мы никогда в жизни не избавимся от Сони! Открою вам секрет: я остановил свой выбор на вас по разным причинам. Мне понравилось ваше увлечение теологией — это обычно характеризует человека с лучшей стороны, а мой хозяин признателен вам за те прекрасные слова, которые вы ему посвятили. Но есть и главный резон. Я так настойчи-

во навязывал вам свою дружбу и даже открыл бóльшую часть великой тайны в первую очередь, чтобы вы занялись Соней после того, как мой хозяин даст ей отставку. Я твердо полагал, что вы в этом преуспеете.

Я кисло улыбнулся. Сухо поблагодарил его и поднялся.

— Да не обижайтесь, не обижайтесь!— воскликнул он и схватил меня за полу пиджака, стараясь снова усадить рядом. — Не разыгрывайте мне здесь испанские обиды! В конце концов я и сам стал подумывать о Мариане и надеялся, что вы займетесь Соней. Помилуйте, чего тут обидного? Будто вы сами не начали к ней подкатываться! Соня — прекрасная девушка. Должен признать, таких обычно не бросают, хотя — как правило — ни одна из брошенных моим хозяином женщин такого обхождения не заслуживала. Среди женского племени они были лучшими из лучших. В былые времена любовь Дон Хуана выжигала на их судьбах трагическую печать, теперь нравы не те, да и хозяин мой стал неторопливее и тщательнее разрабатывает план атаки. Но, одерживая победу, — по-своему, разумеется! — он одновременно учит их быть счастливыми и в других руках. Вот в чем, друг мой, смысл его колоссальной творческой силы! Думаете, Соне суждено было бы стать счастливой, не узнай она его? Соня так и осталась бы интеллектуалкой — сухой, как виноградная лоза, — ведь, дожив до двадцати пяти лет, она даже из любопытства не завела интрижки. А теперь? Она словно едва распустившийся цветок, который открывается каплям утренней росы. Представьте, как прекрасен будет ее первый поцелуй. Если вы отказываетесь от нее из-за национальных предрассудков, значит, я в вас ошибся и вы — набитый дурак.

— У меня только один вопрос: кто ваш хозяин?

— Дон Хуан Тенорио.

— Чушь!

— Но если он не Дон Хуан, то кто же тогда?

— Обычный донжуан.

— Ох, не верю, не верю я подражателям, и вы не верьте.

— Бывают люди одного типа, и они отнюдь не подражают друг другу, они причастны общей идее.

— Но Дон Хуан — не человеческий тип, это конкретная личность, уникальный характер, совершенно неподражаемый. Те, кого называют донжуанами, — вульгарная подделка, они гоняются за юбками, им важно только количество побед. Ведь вы сами убедились, друг мой: чтобы быть тем, кто он есть, и реализовать себя в высшей степени, моему хозяину не нужно прибегать к некоторым крайностям.

— Он просто не может.

— Ему просто не нужно.

— Смешно: Дон Хуан использует обходные пути — пускай очень оригинальные и сложные, — чтобы подвести своих возлюбленных к тому, что Соня называет... своим первым настоящим сексуальным опытом.

— А вам не приходит в голову, что он таким образом оберегает их от физиологической катастрофы?

— Я все равно считаю его импотентом.

— Вывод грубый, примитивный и вас недостойный. Ведь раньше вы верили, что для Дон Хуана соблазнение женщины никогда не было самоцелью, всегда только средством, — как вы можете теперь?..

— Для Дон Хуана, но не для вашего хозяина.

— Так ведь мой хозяин — Дон Хуан.

— А вы тогда кто?

— Я? — Он снова зашелся смехом, но на сей раз смеялся совсем как злодей из мелодрамы. — Как-то раз я намекнул вам: ну а вдруг я бес?

Он встал и глянул на меня — так важно и торжественно, как только мог глянуть Лепорелло. Потом церемонно снял шляпу и отвесил мне поклон.

— Теперь готов утверждать: я — бес.

Я тоже встал и поклонился не менее церемонно.

— Очень приятно. А почему бы вам не заняться бесовщиной? Ведь вам, скажем, ничего не стоит дунуть и перенести меня на вершину вон той башни.

— Я бы это сделал, если бы мог. Неужели непонятно?

— Ну тогда какой же вы бес? Ведь бес, как вам, знатоку теологии, хорошо известно, имеет власть над телами.

— Послушайте, некоторыми привилегиями мне пришлось поступиться. Я отказался от них в обмен на право любить. Но будь у вас нюх на чудеса, вас бы давно поразила моя поистине дьявольская осведомленность: скажем, о ваших мыслях или о мыслях других людей. Вы, например, не задались вопросом, откуда мне в подробностях известно все, что произошло вчера между Соней и моим хозяином или между Соней и вами?

— Если может существовать рациональное объяснение, зачем искать его в сфере сверхъестественного?

Лепорелло, отдуваясь, рухнул на скамейку.

— Ну и упрямец! Но хоть в качестве рабочей гипотезы, вы согласны считать меня бесом?

— Ради чего?

— Я расскажу вам одну историю... Я расскажу вам... — Он чуть помедлил. — Я расскажу вам, как и почему я свел знакомство с Дон Хуаном. Никто на свете не знает этой истории.

— Вы полагаете, мне это будет интересно?

— Если вы мечтаете дознаться, какой же на самом деле была жизнь Дон Хуана, мое повествование послужит вам чем-то вроде пролога.

Он снова похлопал меня по спине — как-то очень вкрадчиво.

— Ну-ну, решайтесь. Спагетти, приправленные моим рассказом, — диво, а не обед! Никогда в жизни вам не попробовать итальянских макарон под таким соусом! К тому же вы узнаете, как жизнь Дон Хуана связана с небом и с преисподней.

— Наверное, как и все прочие жизни.

— Но у него все иначе.

Не дожидаясь моего ответа, он кинулся к дороге и остановил первое же такси, потом принялся делать мне знаки и, когда я подошел, чуть ли не силой, но достаточно вежливо заставил меня сесть в машину. Он назвал какую-то улицу и номер дома, и мы оказались в кафе, где несколько рабочих-неаполитанцев ели свои макароны. Мы вошли в отдельный кабинет. Мой спутник заказал еду и вино.

— И прошу вас, сделайте сегодня исключение, ради меня, — попросил он, — эта вода, которую вы пьете, — жуткая отрава.

Спагетти источали изумительный аромат. Лепорелло начал рассказывать свою историю, которую он назвал «Историей Черного Боба»...

Глава вторая

Рассказ Лепорелло

1. Отчего его прозвали Черным Бобом, что на деле-то не лучше Паршивой Овцы, а не, скажем, Зеленым Горошком, как бы ему хотелось? История эта случилась назад тому тысячи и тысячи лет, во времена, когда и сами бобы едва появились на свет, и имеет она прямейшее отношение к проблеме: что было ранее — индивид, род или вид... К тому же к истории этой примешано столько небылиц, что с точностью говорить о чем-то затруднительно, достоверно известного маловато, а посему восстановить ее можно лишь примерно и опираясь скорей на домыслы, чем на факты. Словом, история эта будто нарочно создана для поэтов и весьма приманчива для их воображения. Однако поспешим оговориться: тот, кого звали Черным Бобом, берясь за очередное дело, под именем своим

никогда не работал, а придирчиво подбирал себе новое прозвище или же присваивал имя страдальца, чьим бренным телом вынужден был воспользоваться. К тому же этот самый Черный Боб издавна — ежели только в разговоре о нем уместно пользоваться какими-либо временны́ми категориями — слыл докой по части «последнего гвоздя». Он, как тореро, выходил на арену под самый конец, когда подручные уже успевали разыграть бо́льшую часть боя. Тут он и подыскивал себе подходящее тело среди близких умирающего пациента — тело родственника, соседа или друга, — дабы родство, дружба или соседство позволяли ему беспрепятственно бывать в нужном доме, кружить рядом, помогать выхаживать больного. Он глаз не спускал с нужного человека и усердствовал, на иной взгляд, сверх меры. Зато как скоро приходила пора, и умирающий, отменно подготовленный, слабел душой, Черный Боб наносил свой коронный удар, вернейший удар, так что новопреставленный без лишней волокиты и дотошных разбирательств мог отправляться прямехонько в преисподнюю. С тех пор как за Черным Бобом укрепилась слава мастера, он и участвовать стал лишь в самых громких корридах, брал на себя лишь самых свирепых быков, словом, занимался персонами известными, особо ценимыми в преисподней, где весьма пеклись о качестве новых поступлений и любили покичиться победой, ежели удавалось заткнуть за пояс Противную Сторону, отбив у нее в тяжком бою завидную добычу.

Да, Черный Боб сделался искуснейшим мастером, но со всем тем не отпускала его одна тайная мечта. Ведь до сей поры ни разу не случилось ему попользоваться сто́ящим человеческим телом, чтобы было оно ему в радость и принесло хоть каплю удовольствия. На долю его выпало немало громких дел, какими не зазорно похвастаться любому бесу, но вот беда — раз за разом вселялся он в тела немощные, неказистые или совсем уж грубо скроенные. К примеру сказать, как-то отправили его спешно в Рим с приказом взять на попечение занемогшего кардинала Риччи, и Черный Боб лелеял надежду, что дозволят ему воплотиться в тело прекрасной Катарины, которая вертелась поблизости. Куда там! Была ему уготована безобразная оболочка старого слуги, вдобавок скрюченного ревматизмом и посему терпевшего муки, сравнить которые возможно только с муками адовыми. А время спустя довелось Черному Бобу слетать во Флоренцию — похлопотать об известной куртизанке и покровительнице искусств Симонетте, в доме которой, согреваясь ее любовью, собирались именитые мужи для изысканных бесед. Стоит ли говорить, что успеха ради вселился Черный Боб в шута, поскольку больная всячески того привечала — только он своими выходками умел рассеять ее меланхолию. Шут же был от роду крив, да к тому же горбат, а умом и вовсе убог.

Наконец, тому лет двадцать, велели Черному Бобу заняться монахом-августинцем и великим теологом падре Тельесом, решивши, что тот вот-вот испустит дух. Бес-то в спешке и юркнул в тело некоего монаха из немцев, Иеронимуса Вельчека. Так этот самый падре Вельчек страдал язвой желудка и питался протертыми кашами. И как назло, в расчетах преисподней случилась в тот раз промашка, и падре Тельес после тяжкой болезни стал поправляться и благодаря стараниям еврейского врача-безбожника сделался живей прежнего — несмотря на почтенные свои семьдесят с хвостиком и ощутительную телесную немощность. И двух месяцев не прошло, как вернулся он в университет Саламанки и, поднявшись на свою кафедру, продолжил курс лекций о Святой Троице. А Черный Боб, рассудив, что больше ему тут делать нечего, воротился в преисподнюю, да только там, внизу, полагали, что теолога-августинца без пригляда оставлять не годится, и Черного Боба вновь отправили в Саламанку — до той поры, пока падре Тельес и вправду не помрет.

Так вот и протекли помянутые нами двадцать лет. И влачил Черный Боб жалкую монастырскую жизнь, не смея позволить себе наималейших развлечений, ибо имел строгое предписание: никакими нечестивыми поступками или веселыми похождениями не пятнать добрую славу монаха, в чье бренное тело он, к вящему своему неудовольствию, вселился. На первых порах помаялся Черный Боб тоской и недугами, а потом от скуки взялся изучать теологию, заделавшись учеником падре Тельеса. И стоит принять в соображение, что явилось это курьезнейшим эпизодом в истории преисподней.

Черный Боб — в облике падре Вельчека — слыл в Саламанке за чудака. В университете занимал он должность адъюнкта, и студенческая братия, люто его ненавидя, еще и выказывала ему презрение — за то, что рабски повторял он мысли падре Тельеса. Словом, на всем, что исходило от сего монаха, лежала печать ума посредственного и тусклого.

2. Случилось так, что в одну из ночей Черный Боб, совсем изнемогши от боли и чуть усмирив резь в желудке корочкой хлеба, поспешил употребить передышку на размышления над одним темным местом касательно внутренних отношений меж Тремя Божественными Ипостасями. Саламанка спала, и сквозь открытое окно слышно было, как шумит река и как ветер, играя, поет в вязах. Больные глаза Вельчека устали от света. В подобных случаях Черный Боб позволял себе некоторые вольности — ведь счастливого дара, умения читать в темноте, его никто не лишал. Вдруг он услыхал шаги на галерее, и в дверь его постучали.

— Войдите.

В келью скользнула робкая тень.

— Не стряслось ли чего? Не захворал ли отец-настоятель? — спросил Черный Боб, вскочивши со стула, так что куча книг, в которых он рылся, обрушилась на пол.

— Меня послали за вами, падре Вельчек, — произнес незнакомый голос. — Но сделайте милость, зажгите лампу. — И, помолчав, добавил: — Вот странно! Здесь пахнет серою!

— Это от лампы. Я лишь недавно потушил огонь.

Ему довольно было просто прикоснуться к фитилю, чтобы келья осветилась, но, боясь смутить гостя, операцию эту он проделал, загородивши лампу спиной.

— Падре, прошу покорно простить за неурочный визит, но дело не терпит отлагательств, и пославшие меня желали бы видеть вас незамедлительно, — промолвил гость, на котором Вельчек не без страха разглядел одеяние служителя инквизиции.

В ответ монах скорчил кислую гримасу.

— Я тут как на грех занемог, нельзя ль обождать до завтра?

— Отец-настоятель извещен и дал свое соизволение.

— Что ж, коли так, я готов. Холодна ли ночь?

— Довольно тепла.

— И плащ не надобен?

— Боюсь, в казематах сыро и холодно.

— В казематах? — Тело падре Вельчека против воли Черного Боба содрогнулось, а бес подумал, что, ежели начнется следствие, монаха он убьет и пыток терпеть не станет.

После легкого препирательства — кому выйти из кельи первым — они оказались на галерее, а затем и на улице. Посланец шел молча, словно язык прикусил, бес же горестно размышлял над таким поворотом дел: слишком многого не успел он постичь в богословии, и навряд ли когда еще подвернется ему столь удобный случай.

Город окутывала легкая дымка, и две их тени, быстро скользившие по улице, походили на тени пришельцев из иного мира, отчего какой-то запоздалый прохожий, завидев их издали, даже спрятался за колонну и спешно перекрестился. Крестное знамение обожгло Черного Боба почище пули. Он охотно надавал бы по шее чересчур боязливому путнику, но шедший впереди посланец сильно торопился, и отставать от него — из уважения к инквизиции — не подобало.

Во дворец святой инквизиции они проникли через маленькую потайную дверцу и, миновав две крытые галереи и два коридора, натолкнулись на ожидавшего их монаха-доминиканца. Потом спустились по мрачным лестницам и попали в подземелье, которое, судя по сырости, располагалось под дном реки. В полутемной зале заседал священный трибунал, члены коего в черном облачении сидели за столом.

— Подойдите ближе, падре Вельчек, — произнес кто-то на латыни. — Подойдите ближе и присядьте. Мы нуждаемся в вашей помощи и просим об услуге.

Один из инквизиторов встал и указал куда-то в угол.

— Взгляните на этого фламандца, он недавно прибыл в Саламанку, и мы подозреваем, что явился он распространять лютеранские сочинения и что сам он — тоже еретик. Но он изъясняется на каком-то дьявольском наречии... Вот мы и подумали, что коль скоро ваше преподобие немец...

— Я никого не вижу, — сказал Вельчек, желая досадить инквизиторам, хоть сразу разглядел не только лежащего в углу фламандца, но и затаившегося у того внутри беса.

Взявши светильник, Вельчек подошел к пленнику и пнул его ногой.

— Кто ты такой и что тебя привело сюда? — спросил он по-фламандски.

— Я — Надоеда. Явился переговорить с тобой...

— И лучшего способа найти не сумел...

— Никогда не думал, что монахи бывают такими лютыми... Пособи, будь другом, может, они отступятся. Назавтра мне нужно воротить тело в целости и сохранности, а эти вон как его изметелили.

Вельчек доложил замершим в ожидании инквизиторам:

— Это фламандский купец, его зовут Рёйсбрук[1].

Потом снова заговорил с фламандцем:

— Слушай, Надоеда, давай-ка притворимся, будто ведем беседу, времени это много не займет, а потом они тебя небось отпустят.

Фламандец слегка приподнялся. Раздался стон.

— Что желают знать святые отцы?

— Не еретик ли ты.

— Для них, видать, еретик, я исповедую кальвинизм.

— Это как же? — спросил опешив Черный Боб.

— Да, несколько лет я провел в теле одного французского гугенота, и он обратил меня в свою веру.

— Шутить изволишь? Мы, бесы, исстари были католиками.

— Так то раньше. Но потом Лютер объяснил поразительные вещи. Хотя лютеранство, конечно, не по нам — чересчур уж сентиментально. Но вот логика Кальвина безупречна! Никому из наших с ним не потягаться. Эх, а как он рассуждает о Дьяволе!

Черный Боб взглянул на него с презрением.

— Ты бы послушал падре Тельеса. Вот у кого логика так логика!

— Католицизм устарел,— со вздохом обронил Надоеда. — С точки зрения нашего дела от новых ересей проку больше!

— Случись в аду инквизиция, я бы на тебя непременно донес!

И падре Вельчек повернулся к инквизиторам.

— Преподобные отцы, я обнаружил в этом человеке изрядное знание катехизиса. Полагаю, это верный раб Господень. Он — францисканец-терсиарий.

Инквизиторы посовещались.

— Мы благодарим вас, падре Вельчек. Ступайте с Богом.

Черный Боб заспешил было к двери, но, услыхав позади голос Надоеды, приостановился.

— Ты что, вздумал бросить меня тут?

Черный Боб взглянул на несчастного.

— Монахи подлечат тебя. Наверно, завтра и выпустят. Ты знаешь, где меня отыскать.

— Нет, на это я не согласен, нет у меня больше терпения!

— И что ты намерен делать?

— Умереть.

Купец громко застонал и затих. К нему подбежали монахи, и кто-то изрек:

— Он мертв.

Все чинно перекрестились. А один из инквизиторов, опустившись на колени, принялся читать молитву за упокой души новопреставленного раба Божиего.

---

[1] Автор использует имя известного нидерландского теолога-мистика и писателя Яна ван Рёйсбрука (Doctor ecstaticus, 1293—1381).

3. Вельчек успел уж добраться до выхода, когда его нагнал дух Надоеды, иль, верней сказать, сам Надоеда, каковой духом-то на самом деле и был. А явился он зловещим дуновением — ледяным порывом ветра, который бьет в затылок и от которого начинают дрожать поджилки.

— Подожди, давай прежде выйдем, — бросил ему Вельчек по-немецки. Потом августинец выбрался на улицу и больше не проронил ни слова, пока не оказался на порядочном расстоянии от дворца инквизиции. Спеша найти укромное местечко для беседы с бесом-посланцем, направился он к мрачной башне монастыря иезуитов, которая в эту пору заслоняла собой лунный свет.

— Теперь говори, что там приключилось, зачем ты тут?

— Мне велено сообщить, что тебе дается новое поручение.

— Все у них там шиворот-навыворот! Тут падре Тельес помрет со дня на день...

— Да в преисподней о нем уж не тревожатся, с ним вроде и без того ясно. А для тебя подвернулась настоящая работенка.

— Кто там еще собрался на тот свет?

— На сей раз до смерти далеко, тебе велено быть неотлучно при некоем молодом человеке весьма знатного рода.

— Ох, не охотник я валандаться с желторотыми.

— Но того, о ком теперь идет речь, ждет, думается, судьба незаурядная.

— Вот пускай и приищут для него кого другого. И ты мог бы...

— Я не гожусь.

— Отчего же?

— Я гугенот, а потому не верю, что нужно усердие бесов, дабы помочь кому-то погубить свою душу. Пойми ты, всяк человек рождается с готовой судьбой! И Он изрекает: мол, этот, тот и тот — для Меня. А нам оставляет всякую дрянь да ветошь.

Черный Боб вздрогнул всем своим монашеским телом.

— Ты полегче с новомодными-то идеями! Окажись все по-твоему, мы без работы останемся.

— Ну и что?

— Надоеда, приятель, Творение — это Космос, как всем известно, Порядок, где каждый дудит в свою дуду ради мировой гармонии. Нам при раздаче определили роль искусителей и мучителей.

Будь у Надоеды в сей миг хоть самое жалкое тело, он бы всем видом своим выказал Черному Бобу презрение.

— Ты отстал. Творение — вовсе не Космос, а Каприз. И Другой сотворил все так, как ему заблагорассудилось, и сотворил множество существ бесполезных и нелепых, и дудят они в свои дудки фальшиво, не умея подладиться друг под друга, отчего все спутывается во вселенскую неразбериху. Да и сам Господь — воплощение разлада.

— Чушь!

Они помолчали.

— Ладно!— выдавил наконец Черный Боб. — Так что за птичку должен я упрятать в клетку?

— Очень скоро ты его увидишь.

— И мне опять оставаться в шкуре монаха?

— Полагаю, пользы от того будет мало. Тебе надобно быть рядом с тем человеком до самой смерти его, читать мысли и вести учет поступкам. Но главное, ты должен усле-живать, как и что происходит в душе его под влиянием Благодати, точнее, увериться, что ничегошеньки не может там перемениться, раз уж предначертано ему вечное спасение. А затеяно все вот ради чего: когда Другой распахнет пред ним небесные врата, ты возопишь: «Нет у него на то права!» Словом, должен ты доказать, что человек сей несвободен в выборе и было заранее ему уготовано вечное спасение.

— А теперь растолкуй, каков тут смысл.

— Речь идет о споре между вами и нами, католиками и протестантами, и человек этот поможет уяснить, кто из нас прав.

— Ладно, одно утешение — работы не больно много. А есть ли указания, как поступить с телом монаха?

— На сей счет никаких указаний нет...

— Тогда...

Черный Боб радостно вскрикнул, и бездыханное тело Вельчека рухнуло на плиты.

— Пропади ты пропадом! — крикнул Боб, вылетая из ненавистной оболочки.

— Ты что, так и бросишь его тут?

— Отчего же нет?

— Это не годится, да и предначертан ему был иной конец.

Надоеда оглядел распростертое тело с чувством, похожим на сострадание, хоть и имело это чувство иную природу: так смотрят на произведение искусства, кое могло бы стать шедевром, но по недомыслию художника иль по его злой воле оказалось безвозвратно испорченным.

— Сразу видно, что ты католик, да еще из самых твердолобых, — пробормотал он, — тебе все одно: что эдакая смерть, что иная, пускай противоречит это любым законам метафизики. У нас — иначе. И один из наших великих поэтов уже придумал максиму, которой суждено произвести революцию в морали. «Будь верен себе самому», — сказал он. Доводилось ли тебе слыхать что-либо более новое и вдохновенное? А смысл таков: все в тебе предопределено, будь верен своему предназначению. Или так: когда рождается человек, в самом событии рождения уже таится весь жизненный путь его, включая смерть. Само собой, каждому должно на пути своем принимать решения, делать выбор, и, не спорю, иной раз возникает видимость, будто человек свершает что-то своею волей, да в иные моменты он и впрямь достигает некоей свободы; но кто воистину глубоко постиг себя, непременно выберет то, что ему и положено выбрать, — равно так умелый драматург повелевает персонажами, опираясь на закон естественной необходимости. А того, кто делает скверный выбор, следует сравнить со скверным поэтом: результат — иначе говоря, вся жизнь его — ошибка, фальшивая нота. Вообрази человека, коего инстинкты толкают к убийству, блуду иль воровству, а он вознамеривается вести жизнь святую. Его энтелехия, как вы выражаетесь, — стать идеальным бандитом или, скажем, законченным распутником, и, ставши таковым, он осуществил бы предначертанное ему. Но тут он встречается на пути с кем-то, кто говорит ему: «Вот, сын мой, Божий закон. Подчинись ему», и тот тщится жить праведно, и — обречен на несовершенство, что есть величайший из грехов.

— Так мыслят протестанты? — недоверчиво спросил Черный Боб.

— Нет, пока они до этого не дошли, но вот-вот дойдут. И изрекут, что каждый человек несет в себе собственную смерть и умереть иной смертью — подлог, величайший обман, величайший оттого, что непоправимый. Вот отчего мне так грустно видеть это брошенное тело. Он должен был умереть иной смертью. Но еще не поздно.

— Да, — глухо произнес Черный Боб. — Еще не поздно.

— А утром тебе надлежит отыскать Лепорелло, вселиться в него, изгнав из тела его собственную душу, и поступить на службу к Дон Хуану Тенорио. Но ты еще можешь блеснуть: пусть монах умрет с именем Господа на устах и потом скажут — как настоящий святой, может статься, еще и канонизируют.

— Что ж, я и впрямь блесну, но на свой лад. — Он с ненавистью глянул на тело августинца. — Я провел там, внутри, двадцать лет. Как я страдал! И добро бы я мог утешиться хоть плодами ума его, так нет, ведь и умом-то он был наделен ничтожным. Я не больно преуспел в своих познаниях, не сумел стать великим богословом. Так и остался всеми презираемым попугаем. Вот и весь прибыток: муки телесные и бесконечное унижение моего личного достоинства! А виной всему — этот монах.

И он снова юркнул в тело Вельчека.

— Вечно ты затеваешь всякие гнусности, — бросил Надоеда.

Монах поднялся с земли, потом притопнул, подпрыгнул и стремительно умчался по воздуху. За ним остался лишь светлый след, как от метеора, да и тот мгновенно растаял. А любители понаблюдать за ночным небом заметили, что той ночью над Саламанкой прошел звездный дождь.

4. Чтобы чуть успокоиться и собраться с мыслями, Черный Боб позволил себе немного попорхать в вышине — привилегия, положенная архангельскому чину. Но передышка оказалась краткой, ибо ветер отнес его на самую окраину города, туда, где нашло приют веселое заведение Селестины.

Час стоял поздний, и посетители успели разойтись, за исключением пары студентов, которые никак не могли расстаться со своими подружками и тешились последними всплесками их любви. Прочие же девушки по велению Селестины собрались на молитву и сонными голосами тянули «Аве Мария», сдабривая ее зевками. Тут-то и послышался шум на кухне, и хозяйка погнала одну из девиц взглянуть, что там приключилось.

— Ох, свалилось там невесть что, да прямо на печь, — отчиталась та. — И котел опрокинулся, и дрова порассыпались, а уж вонь какая стоит — и сказать нельзя.

— Небось проделки студентов...

Но тут стало твориться и вовсе невиданное: очертания дома будто поплыли, стали сворачиваться и свиваться. Слова молитвы вдруг сделались словно резиновыми, зазвучали вязко и тоже вроде как закручиваясь иль оползая; сиденья у стульев размякли и провисли, половые доски стали податливыми и тянучими, и всем померещилось, что пол хоть и помаленьку, но поплыл вниз, время же обрело студенистую густоту и захлебнулось в своем течении. Воздух потерял звонкость, верней сказать, комната спешно выдавливала наружу чистые звуки, наполняясь воздухом ватно-глухим, в коем слова увязали и расплющивались, так что до ушей доходил лишь шепот.

Да, таким вот торжественным манером обставил свое явление Черный Боб. И предстал пред ними весь перепачканный в саже, с подпаленными полами рясы. И для шику возник он снизу, выросши из стола — сперва голова, словно была она головой Крестителя, потом из стола же всплыли грудь и руки, коими он тотчас замахал во все стороны, а затем уж и все прочее. Девицы со страху попадали в обморок, и только сама Селестина и глазом не моргнула.

— Вечер добрый, — брякнул Черный Боб.

— Ну и что надобно святому отцу в такое-то время в нашем доме? — Селестина встала перед монахом уперев руки в боки. — И что за манера являться, словно привидение, не постучав в дверь, как подобает людям добропорядочным, христианам?

— Никакой я не христианин и не добропорядочный. Я колдун и хочу попользоваться твоим товаром. А являюсь я так, как мне угодно, — вот и весь сказ.

Тут Селестина взглянула на гостя попристальней и тотчас его признала.

— Ладно, падре, может, вы и колдун, дело ваше, мне в это нос совать незачем, но коли вы монах и напала на вас охота поразвлечься, у меня для таких надобностей имеется особый дом, от посторонних глаз укрытый, специально для людей осторожных и деликатных, кто бежит огласки.

— Да ведь мне как раз огласку и подавай, — возразил падре Вельчек.

— Не туда дорожка привела, падре. Нам это не годится.

Тут Вельчек расхохотался, да так громко, так нечестиво, да и не по-людски вовсе, что смекнула Селестина: монах-то водится с дьяволом.

— Сдается мне, святой отец, что надобно нам сперва потолковать с глазу на глаз, а уж потом видно будет. — Тут велела она девушкам удалиться и добавила: — Хочу я вас, ваше преподобие, упредить: ежели служите вы дьяволу, о чем догадалась я по верным знакам, то и я с ним дружбу вожу, и дал он мне слово в обмен на мою душу никогда делам моим помехи не чинить, и договор наш верно исполнял, посему душу мою по праву получить должен. Вот и выходит, святой отец, мы с вами вроде как с одного поля ягода и не след нам друг другу пакостить. Пришла вам охота позабавиться да посканда-

лить, а мне назавтра расхлебывай. Дьявол-то из любой беды меня вытянуть сумеет, а вот инквизицию ему не пересилить. Да и стара я для их обхождения. Давайте уж лучше поладим по-дружески.

— Да я дружбу-то от веку ни с кем не водил. И до твоего интереса мне дела нет. Я сюда пришел, потому что так мне вздумалось, и твои опаски меня не остановят. Вот уж двадцать лет как веду я праведную жизнь, нынче ночью назначено мне умереть, и желаю я попробовать, каковы на вкус вино да женщины, а после умертвить попакостнее проклятого монаха.

В архивах святой инквизиции, в тех бумагах, где излагаются обстоятельства смерти Вельчека, и до сей поры хранится рассказ Селестины, собственноручно ею изложенный и подписью удостоверенный:

«И тогда начал он творить чудеса и выказывать бесовскую силу. И принудил меня созвать девушек, и велел доставить тех, что задержались до той поры со студентами, и студентов самих тоже; а последние были без верхней одежды, в непотребном виде. И колдовством своим сделал он так, что явилось множество кувшинов с вином, и попивал он из них и тем, кто при сем находился, тоже пить велел, пока и сам не опьянел и их не напоил допьяна, но только не меня, ибо я-то пить не пила, а исхитрилась вино через плечо выплескивать. И, охмелев, совершал он всякие непотребства, а затем вроде как унялся и подступил к студентам с расспросами об их познаниях, и в беседе не раз принимался восхвалять вино и говорил, что не ведает, что лучше — вино иль женские груди, о каковых покуда суждения своего не имел. Потом принялись они судить да рядить, кто-де сочинил Песнь Песней — Соломон ли, нет ли, и он утверждал, что нет, и даже обозвал Писание пустою книгою, и спросил одного из студентов, полагает ли он за правду, будто Валаамова ослица заговорила. А как студент заявил, что сему верует, снова сильно рассерчал и тотчас велел девушкам раздеться и показать груди свои; и встали бедняжки перед ним, до поясу оголившись, а он их все щупал да щупал — и не так, как то делают мужчины, а как желторотый юнец, а после того молвил, что женщины-де малого стоят и вино ему больше по нраву. Дабы как-то усмирить его буйство, в кое он все пуще впадал, предложила я ему выбрать самую пригожую из девушек и возлечь с нею и потом уж выносить суждение, столь ли ничтожна плоть, как он о том судит, и оглядел он девушек и выбрал одну; но в опочивальню отправляться с нею не пожелал — мол, хочет он проделать все прямо тут, на глазах у прочих. Но случилось так, что, сколь он ни старался, сколь девушки его ни раззадоривали, естество его в должное состояние не приходило, и ничегошеньки он не добился. И начал он тогда кричать, и ругаться, и браниться таким манером: «Падре Вельчек, что это у тебя за никчемное тело, не годится даже на то, с чем любой уличный пес легко управляется? На что растратил свои силы ты, поганая пробка, ежели теперь приходится умирать, не отведав женщины?» И тем временем пил он и смаковал вино, и причмокивал языком, и порой выливал остатки на ту иль иную из девиц. И под конец молвил, что теперь ему осталось только кого-нибудь убить, чтобы набрать уж грехов сполна, и поймал он прямо из воздуха колоду карт и велел нам вытаскивать каждому по одной, объявивши, что убьет того, кто вытянет самую старшую карту. Но прежде принялся расписывать, как станет он жертву свою убивать... Тут все мы стали в страхе кричать и молить, чтобы сам он умирал поскорей и от нас отвязался; он же, услыхав наши вопли, вроде бы от задуманного отступился и стал рассуждать о судьбе человеческой да о свободе и предложил нам на выбор: либо карту вытягивать, либо богохульствовать. И тогда я, увидавши, что дело приняло дурной оборот, решилась пойти на хитрость: готовы, мол, мы богохульствовать, полагала же я при том, что всякий станет это делать, в душе храня верность Господу нашему и восхваляя Его, и что совершим мы этот грех, только чтоб спастись от проклятого монаха. И, согласившись на то, начал он дирижировать нами, словно хором, чтобы мы поносили Господа нараспев, и так оно и было; но тут опять случилось чудо — все слова говорили мы на латыни, хотя, как разъяснил уж после один из студентов, несли вещи непотребные; и словно кто нам указывал, что должны мы петь и как; из чего заклю-

чила я, что Господь принял нашу хитрость, и услыхал мои молитвы, и сделал так, что не мы богохульствовали, а богохульствовал злой дух, что пользовался устами нашими, совершая это. И продолжалось так долгое время, и в довершение сего помчались мы вскачь вкруг стола, и стол тот тоже плясал, и все прочие вещи в комнате — тоже; и так до прихода дня, и тогда падре Вельчек, выкрикнув последние хулы, но уж на нашем языке, прокляв небо и все силы небесные, свалился замертво, притом изо рта у него текли пена, кровь и вино. И тогда поспешила я явиться в святую инквизицию».

5. Да. Именно так все и было. Он умер с приходом дня. Чуть раньше намеченного срока. Черный Боб, высвободившись из тела Вельчека, взобрался на светильник и глядел, помирая со смеху, на последние всплески оргии. Потом вылетел на улицу. Воздух оказался таким чистым и свежим, что ему доставило бы удовольствие вдохнуть его в легкие, имей он таковые.

— А теперь — на поиски Лепорелло!

Он покружил меж крышами, примериваясь к обстановке, пока не обнаружил того, кем отныне ему предстояло быть. И первое знакомство весьма его обнадежило. Лепорелло спал крепким сном, каким спят здоровые молодые парни, а дух его витал над телом и, пользуясь сном хозяина, бился над некоей нравственной задачей. Черный Боб вошел в плоть Лепорелло и быстро огляделся: все работало на славу, лучше некуда. Так что он поспешно оборвал нить, которая соединяла тело с витающим над ним духом. Стоило ему освоиться в новом обиталище, как на него нахлынуло странное, сперва даже смутившее его чувство — оно напоминало былое и уж забытое ощущение счастья. (Столько веков успело пройти!) Он ощущал спокойный и величественный ток крови в сильном спящем теле. На какой-то миг он сосредоточился на себе, задумавшись о жизни, которая становилась отныне его жизнью: воздух раздувал легкие и нес кислород в кровь; рождались миллионы новых клеток; артерии и вены, гибкие, даже изящные, получали размеренные потоки крови и несли ее дальше без задержки, без сбоя. И все происходившее в теле совершалось так же безупречно. Он задействовал мозг, предложив ему силлогизм, который был бы не по зубам падре Вельчеку, и Лепорелло быстро пришел к нужным выводам. Затем Черный Боб скользнул в воспоминание о кое-каких фривольных эпизодах недавней оргии в доме у Селестины, и новая плоть его отозвалась незамедлительно и с такой готовностью, что Боб опешил.

— Вот что значит мужчина! Вот что значит человек! А мы только и думаем, только и замышляем, как бы его погубить! Видно, нас просто гложет зависть и душит обида. Лучше бы нам у них чему можно поучиться. Вот только мера этого самого «чему можно», на беду, весьма невелика. Суть человека таится в его теле, и выражается она совершенно особым образом. То, что зовется жизнью, наверно, наделяет человека иным взглядом на вещи, для нас абсолютно непостижимым. Ведь не случайно Сатана так упорно скрывал от своего воинства, что такое здоровое тело. Доведись всем бесам поголовно узнать ту жизнь, какая открылась мне, в преисподней случился бы бунт. Но Сатана отлично знает: начни я описывать свой опыт, никто мне не поверит. Но теперь-то я времени терять зря не стану. Во-первых, поскорей примусь за богословские проблемы, которые прежде мне были не по зубам. И ежели будет мне отпущен достойный срок, попытаюсь постигнуть суть человеческую и, возможно, пойму, почему же дьявол так много внимания уделяет тем, кого я полагал не более чем разумными букашками. До сей поры самым совершенным человеком из тех, кого мне довелось узнать, был падре Тельес, да только он не мог и шагу ступить без костылей. А ведь уметь резво прыгать, наверно, не менее важно, чем измышлять хитроумные теории, ибо — приятнее!

У него как-то само собой вдруг возникло желание проверить, сколь верна эта мысль, и он, выпрыгнув из постели, принялся подскакивать, делать сальто-мортале и иные акробатические фокусы. Тело беспрекословно слушалось, и казалось, мускулы и сами наслаждались собственной упругостью и силой.

— Лепорелло!

Голос раздался откуда-то из внутренних покоев, и почти тотчас же дверь отворилась: появился Дон Хуан Тенорио.

— Лепорелло! Рехнулся ты, что ли?

Черный Боб мигом застыл, немного пристыженный, но вместе с тем несказанно довольный.

— Без размину с утра никак нельзя, сеньор.

6. Дон Хуан оказался юношей едва ли не того же возраста, что и Лепорелло, притом весьма красивым. Правда, был он повыше ростом и сложением покрепче, движения его отличались изяществом и уверенной легкостью, так что облик его тотчас обращал на себя внимание и производил впечатление поразительное и неизгладимое.

Одет Дон Хуан был в черные короткие штаны и белую расстегнутую на груди рубаху, взамен башмаков — мягкие туфли. В руках держал он две шпаги. И одну из них, выходя, кинул на постель Лепорелло. Слуга торопливо оделся.

— Сеньор, я готов.

— Входи же, не мешкай.

Лепорелло вошел и огляделся. Комната Дон Хуана походила скорее на келью. В ней имелось два окна, сквозь кои било теперь яркое солнце. Кроме кровати, тут были полки с книгами, стол и одежный шкаф. Книги по большей части содержали сочинения мыслителей и поэтов. Одежда в шкафу была богатой, но неизменно черного цвета. Над кроватью висело старинное распятие, неподалеку лежали и четки.

— Нынче мы запоздали. Придется управиться побыстрей, а то не поспеем на первые лекции. В позицию!

Но тут послышался стук в дверь. На пороге вырос священник-иезуит. Дон Хуан отпрыгнул назад, изящно взмахнувши шпагой в знак приветствия. Лепорелло словно ненароком скопировал жест хозяина, ведь был он по натуре еще и шутом-пересмешником.

— Да ниспошлет вам Господь премного добрых дней, Дон Хуан!

— С чего бы им быть дурными, падре Мехиа. Что привело вас сюда?

По знаку хозяина Лепорелло удалился, но, бросивши тело слуги на топчан в передней, Черный Боб поспешно скользнул обратно.

Дон Хуан и его гость сели, при этом хозяин разместился на кровати, и иезуит начал говорить, кружа вокруг да около и постепенно приближаясь к главному: некий священнослужитель из их ордена только что прибыл из Севильи и привез дурные вести касательно отца Дон Хуана — дона Педро Тенорио, вот уже несколько дней, как лежит тот прикованный к постели тяжелым недугом. Лет ему немало, и худшего можно ожидать со дня на день. В свете этих вот печальных обстоятельств иезуит явился предложить свои услуги.

— Ведь, как нам известно, вы полагаете посвятить себя служению Богу.

— Пока я решения не принял, — ответил Дон Хуан.

— Такой шаг делается лишь после долгих размышлений, но намерение похвальное. К тому же за вами уже укрепилась репутация студента, наделенного острым умом, и мы вправе ожидать от вас умственных подвигов, но книги и научные труды требуют несуетной жизни — так можно ли найти что-либо лучше нашего ордена?

Дон Хуан почтительно проводил монаха до двери и по дороге заверил, что непременно поразмыслит над его предложением.

Иезуит вышел, и Дон Хуан приказал:

— Скорее завтракать. Я получил дурные новости об отце, нам придется нынче же отправиться в путь.

Глава третья

1. — Ну и что вы об этом думаете? — спросил Лепорелло, губы его жирно поблескивали, а глаза лучились сытостью и легким опьянением.

— Ничего особенного. И хотя я отнесся к вашему рассказу исключительно как к фантастическому повествованию, позволю себе заметить: присутствие беса...

— ...одного из бесов, — поспешно поправил Лепорелло.

— Пусть так. Присутствие беса лишает эту историю оригинальности, делает слишком похожей на историю Фауста. Один мой старый друг, тонкий литературовед, говорил, что нынешние писатели если и выдумывают в очередной раз Дон Хуана, то делают из него либо нового Фауста, либо нового Гамлета. Вы предпочли нового Фауста.

Лепорелло тряхнул головой. Потом отхлебнул вина и вытер рот тыльной стороной ладони, заметив:

— В семнадцатом веке мы к салфеткам-то не слишком приучены были.

— Вы уклоняетесь от темы.

— А зачем ее продолжать, ежели вы не желаете видеть дальше своего носа. Разве можно сравнивать мою роль в истории Дон Хуана с ролью моего коллеги Мефистофеля — которого, кстати сказать, на самом деле не существовало — в истории Фауста? Я никогда не был искусителем, нет, всего лишь свидетелем, а начиная с определенного момента — и с какого момента, друг мой! — я стал не более чем другом и верным слугой. Признайте хотя бы, что такого беса можно назвать оригинальным. А если вы сами не способны понять, в чем моя оригинальность, извольте, объясню: я — бес, возмечтавший сделаться подобным человеку, и будь то в моей власти, я бы и вправду превратился в человека — и, само собой, обрек бы себя на смерть...

Лепорелло достал трубку, тщательно набил ее и, пока занимался этим, поглядывал в мою сторону смеющимися глазами.

— А вам хотелось бы узнать всю историю целиком?

Я скосил глаза на часы.

— Боюсь, через несколько минут сеньорита Назарофф начнет терять терпение.

— Об этом не беспокойтесь! Я же не собираюсь рассказывать вам эту историю прямо сейчас. Нет. Вы сможете увидеть ее, она будет развиваться у вас перед глазами, вернее, перед вашим умственным взором. Сможете, но должны заработать на это право.

— И какова же цена?

— Избавьте нас от Сони.

Он выпустил в воздух облачко дыма. Но прежде расстегнул жилет и ослабил ремень. Он выглядел вполне довольным — и обедом, и самим собой.

— Только не думайте, что это будет просто. Как бы не так! Я, разумеется, безмерно ценю и вас, и ваши таланты, но в успехе дела сильно сомневаюсь. Вы должны бросить вызов Дон Хуану и одержать над ним верх — в сердце, воображении и даже в физиологии сеньориты Назарофф. — Лепорелло откровенно зевнул. — Извините. В это время я обыкновенно устраиваю себе сиесту. Так что? Ударим мы по рукам или нет? Вся повесть о Дон Хуане — целиком и полностью — в обмен на Соню Назарофф. Победителю двойная награда: дивная история и замечательная девушка.

— А если я дам вам ответ после сегодняшней встречи с Соней?

— О! Вы можете теперь сказать «нет», завтра — «да», а потом снова переменить решение, и снова... Мне слишком понятны метания человеческого сердца, я взираю на них с полным сочувствием. Уж я сам найду способ узнать, на чем вы остановились.

— А та история...

— Она такая длинная, что за один присест ее не расскажешь. Можете считать, что я стану платить свой долг в рассрочку. Пролог вам уже известен.

2. Лепорелло предупредил Соню, что я опоздаю на полчаса. Я вышел из такси за несколько кварталов до ее дома и поднялся вверх по улице, намеренно замедляя шаг, потому что мне самому не были ясны ни мои цели, ни мои желания.

Главной проблемой, ближайшей проблемой, из-за которой я вдруг остановился на углу, у витрины, рядом с оградой небольшого сада, а потом останавливался еще несколько раз, была теперь сама Соня. Она мне нравилась: глупо было бы лгать себе самому. Но, признав сей факт, я никак не мог определить ни истинный характер этого «нравилась», ни того, куда оно может меня завести: к мимолетной интрижке или глубокому чувству. В

данный момент интрижка меня соблазняла, а любовь — пугала. Хотя, правду сказать, по-своему пугала и интрижка, ведь за ней могла притаиться любовь.

Я добрел до ворот Сониного дома, прошел мимо и, не отваживаясь войти, закурил сигарету. В какой-то миг я даже решил позвонить по телефону и, извинившись, отменить встречу. Я отшвырнул окурок, но тут настроение мое переменилось: я ощутил прилив уверенности, и меня кольнула дерзкая мысль, что одержать победу над воспоминанием о Дон Хуане — это все равно что одержать победу над самим Обманщиком...

Соня тотчас появилась на пороге. Возможно, она ждала меня в прихожей, потому что открыла дверь, едва я прикоснулся к звонку. Она была не причесана, под глазами — темные круги, поверх пижамы надет длинный халат, в руке — полуистлевшая сигарета.

— Вы поступили жестоко, — сказала она.

Руки мне она не протянула. Заперла дверь и подтолкнула меня в сторону гостиной.

Комната, так тщательно убранная накануне вечером, теперь казалась развороченной берлогой. В углу стояла незаправленная постель со скомканным бельем; на столе поднос с грудой чашек и тарелок. Во всех пепельницах — окурки, повсюду разбросаны книги, посреди комнаты на ковре — туфли, на спинке стула — чулки, на софе — серая юбка и свитер. Было еще что-то — белое, небольшое и тонкое, что Соня поспешно схватила и куда-то сунула.

— Сейчас я приготовлю вам кофе.

Занимаясь кофе, она ни разу не взглянула на меня, а снова и снова повторяла одни и те же вопросы. Я подождал, пока она сделает паузу, и тогда ответил ей. Я сказал, что, говоря по совести, знаю о Дон Хуане меньше ее — только вот имя...

— Mais, c'est stupide, cet affaire-lá![1]

Я пожал плечами:

— Не спорю.

Она не ответила. Молча налила мне кофе, свой кофе выпила стоя.

— Больше вам ничего не приходит в голову? — Она произнесла это таким презрительным тоном, с таким пренебрежением во взгляде, что я почувствовал, как краснею.

— Прежде всего я хотел бы знать, что вы хотите от меня и чем я могу вам служить?

— Ничем. Извините меня. Я совершила ошибку. Если вы не знаете, кто такой Дон Хуан и почему он так себя называет, я потребую объяснений у него самого.

— Думаете, это возможно? Смею предположить, что вы его больше никогда не увидите... Да и вообще, вы сердитесь, вы взвинчены... Попробуйте взять себя в руки, и все предстанет перед вами в ином свете. Почему бы вам, скажем, не отправиться на прогулку? Способ примитивный, но порой помогает.

— Я боюсь успокаиваться. Боюсь того, что обнаружится, когда гнев схлынет.

— Вы боитесь признаться себе, что влюблены в Дон Хуана?

— Вот именно. — Она села передо мной прямо на пол, в угол между софой и креслом, положила руки на колени и спрятала в них лицо. — Я безумно влюблена и безумно несчастна.

Печаль, прозвучавшая в ее словах, тронула меня, а их наивная простота заставила дрогнуть мое сердце. Я встал и пересел на софу — поближе к ней.

— Послушайте, мадемуазель. Я книжный человек и с женщинами имел дело не так уж часто. Вам нужно утешение, а я не знаю, как вас утешать. Вчера мне было легче: я выслушал вас и понял, что именно тут произошло. Сегодня все иначе. Вчера моя роль была куда определенней: Дон Хуан сделал вас жертвой некоего литературного опыта, а литература — моя сфера. Но слезы влюбленной женщины — вещь слишком реальная... Извините.

Я поднял было руку, чтобы погладить ее по голове, но не осмелился. Рука так и застыла в воздухе, и жест этот очень точно выразил мое состояние. Я ненавидел себя и думал, что надо наконец-то решиться, надо сегодня же вечером сесть на поезд и никогда больше не возвращаться в Париж.

---

[1] Но вся эта история выглядит глупо! (*франц.*)

— Извините, — повторил я и поднялся.

— Прошу вас, подождите. Разве вы не понимаете, что при любом раскладе вы — единственный человек, на которого я могу положиться?

Видимо, улыбка моя была совершенно идиотской, но тем не менее она смотрела на меня мягко и даже протянула руку, чтобы я помог ей встать. Веки ее покраснели — только они и не нравились мне в ее лице, только к ним я не мог привыкнуть. Мне даже пришло в голову, что накладные ресницы спасли бы положение. А что, если спросить ее: «Скажите, Соня, а почему вы не носите накладные ресницы?» Как бы она отреагировала? Правда, можно это сказать не так резко, а половчее: «От плача могут пострадать ваши глаза» и так далее. Да, длинные и светлые ресницы.

— Я сейчас.

Она схватила в охапку разбросанную повсюду одежду и выскочила из комнаты. Я в задумчивости подошел к окну. Я был в растерянности, события никак не желали идти в нужном мне направлении. Для завязки галантного приключения тут недоставало фривольности; для завязки страстного чувства — трагичности. Да, немного трагического накала только украсило бы сцену, а для меня прежде всего еще и упростило бы ситуацию. Возвышенные и прекрасные слова, никак не дававшиеся мне вчерашней ночью, теперь просто рвались с губ, теперь — когда они прозвучали бы нелепо, когда не для кого было их произносить.

Соня вернулась, и я подумал, что пора немедленно проводить мои теоретические построения в жизнь — потому что в новом платье она стала просто неотразимой.

— Пошли? — бросила она мне.

— Куда?

— Если вы будете так любезны и согласитесь сопровождать меня, я хотела бы посетить гарсоньерку Дон Хуана.

Мы вышли. Спортивная черно-красная машина принадлежала ей. Соня села за руль. По дороге я спросил, как мы попадем в квартиру. У Сони, по ее словам, имелся ключ.

В квартире было темно и тихо. Соня двигалась осторожно и торжественно, словно попала в церковь. Потом распахнула окно. Бледные солнечные лучи упали на крышку открытого рояля. Здесь все было по-прежнему, ничего не переменилось. Только кровь на ковре успела превратиться в засохшее бурое пятно. Но на него Соня даже не взглянула. Она обвела взглядом комнату — удивленная и огорченная разом.

— Боже мой!

Она поспешила в другую комнату, я услыхал, как она и там открывает окно, как мечется, повторяя: «Боже мой!» Я тоже смотрел вокруг во все глаза. Накануне я больше двух часов провел в этих стенах, среди этих вещей; их волшебное очарование, их магия потрясли меня, пленили. Теперь взору моему предстала самая заурядная комната, где все дышало отменным вкусом и царил идеальный порядок. Никто ничего не успел тронуть, сдвинуть с места, но что-то исчезло, что-то, чего, возможно, на самом деле здесь никогда и не было. Я почувствовал, как внутри у меня закипает бешенство, вдруг мне почему-то захотелось коснуться клавиши рояля — и звук получился чудовищно фальшивым. Соня вскрикнула. Она вбежала в комнату в страшном возбуждении.

— Разве так бывает? — Она шагнула ко мне и в тщетной мольбе протянула дрожащие руки, с которых забыла снять перчатки. — Разве так бывает? — повторила она. — Все осталось по-прежнему, и в то же время... — Она закрыла лицо руками. — О!

Я усадил ее и постарался успокоить. Протянул ей сигарету.

— Наверно, как вы, так и я, мы просто стали жертвами колдовских чар, а теперь чары рассеялись. Хотите, мы взглянем поближе на ваш алтарь? — Я поднялся, потянул ее за собой к двери спальни, зажег свет. — Кровать, которой никогда никто не пользовался. А вот... — Меня словно озарило. Я рывком сорвал с кровати покрывало, и нашим глазам открылся ярко-красный в желтоватую полоску матрас. — Кровать, которой никогда и не собирались пользоваться. Кровать-обманка. Ведь в любой кровати самое волнующее — то, что придает ей интимность и человеческое тепло, — это простыни. Взгляните-ка — здесь их нет.

А на подушке не было наволочки.

— Итак: вот холодная, обычная комната, где сердца никогда не трепетали от любви.

— Вы забыли о моем сердце.

Я подошел к роялю и сыграл гамму.

— Разве могла из такой развалины вылетать вчерашняя музыка?

— Ради бога! — взмолилась она.

— Простите мое упорство. Но рояль — факт объективный: он расстроен, звучит отвратительно.

— Пойдемте отсюда.

Больше она не произнесла ни слова — и пока мы спускались по лестнице, и в машине. Только когда мы отъехали достаточно далеко, она не поворачиваясь спросила:

— Вы знаете, где живет Дон Хуан?

— Приблизительно. — Я назвал район.

— Я хочу побывать там. И прошу вас поехать со мной. Только покажите мне нужный дом.

Но нужного дома мне найти не удалось. Не помогли и расспросы. Соня решила позвонить по телефону и направилась в какое-то кафе. Она долго не появлялась. Наконец она вышла, но выглядела совершенно сбитой с толку.

— Я раз сто пыталась набрать этот номер, но потом мне объяснили, что в Париже такого просто не существует.

Она села в машину, положила руки на руль, голову опустила на руки и заплакала. Изгиб ее затылка был необыкновенно красив.

3. Мы отправились в кафе Марианы, но и там нас ждала неудача. Заведение было закрыто, и объявление гласило, что хозяйка уехала на неопределенное время. Мы стояли посреди Латинского квартала — уставшие, сникшие, а я еще и очень голодный.

Я предложил зайти в ресторан. Соня согласилась и даже снизошла до того, что показала мне некое заведение, которого я не знал и где довольно хорошо кормили. В этот час ресторан был заполнен студентами. Сначала я почувствовал себя там неуютно. У всех посетителей без исключения был мрачно-похоронный вид, и они напоминали героев трагедии, которые устроили себе краткий антракт, дабы успеть отдать дань еще и эротике. Во всяком случае, такое впечатление оставляла их манера одновременно обедать и решать любовные дела. Они словно говорили: «Как только завершим трапезу, тотчас же покончим счеты с жизнью, а краткий миг между одним и другим посвятим любви. Но на любовь у нас времени мало: либидо не должно помешать нашим последним размышлениям о *Ничто*». Скорее всего, настроение Сони совпадало с настроением завсегдатаев ресторана, хотя одежда ее выбивалась из общего стиля. Правда, я бы предпочел, чтобы не совпадали ни настроение, ни одежда.

— Итак, вы считаете, что Дон Хуан сбежал?

— Да.

— Но в данном случае в этом не было нужды. Ни отец, ни брат, ни муж не попытаются за меня отомстить.

— Вы разве забыли, что сами всадили в него пулю?

— Ах да... — Но она тотчас продолжила свою мысль: — Разумеется, я выстрелила в него. Но почему? Разве такое приходило мне когда-нибудь в голову? У меня и пистолета-то не было. Все бы развивалось своим чередом: сначала я, обнаружив, что стою перед ним голая, спряталась бы за рояль, потом быстро оделась бы и убежала, но он сам сказал: «Вон там пистолет!» Кто же его туда положил? Он. Для чего? Чтобы я выстрелила. А зачем ему это было надо?

— Чтобы придать всей авантюре трагический финал. Дон Хуан — любитель трагических финалов.

— Ах! Перестаньте молоть чепуху. Вы все сводите к эстетическим теориям, а они вряд ли теперь уместны. Ну, напрягитесь же, и давайте вместе отыщем тут какой-нибудь смысл!

— Мне придется повторить вам еще раз то, что я уже неоднократно говорил: Дон Хуан, то есть человек, который так себя называет и держит в слугах действительно весьма любопытного типа, выдающего себя за беса, — это некто, кого ранняя импотенция свела с ума или, скажем так, довела до невроза. Но он не утратил своего природного дара — быть неотразимым в глазах женщин. При этом он наделен богатым воображением и придумывает не вполне обычные, надо признать, методы совращения, хотя конец один — ноль.

— А я все понимаю совсем иначе.

Но она не стала тут же пускаться в объяснения, я же был занят едой. Она смотрела на меня взглядом, до смысла которого мне не хотелось докапываться. И вдруг спросила:

— Вы верите в Судьбу? Наверно, верите, ведь вы южанин.

— И все-таки — не верю.

— Я тоже не верила, но теперь, после таких очевидных доказательств... — Она немного помолчала, а потом, с трудом подбирая слова, продолжила: — Определенные события моей жизни, раньше вроде бы не имевшие меж собой связи, эту связь обрели. Какие-то события теперь воспринимаются как база для того, чтобы другое событие, самое важное, могло произойти, а что-то еще вытекает уже отсюда. Тут есть сцепление, которое вы назвали бы эстетическим, а я называю... — она снова замолчала, взгляд ее стал растерянным, словно ей было стыдно, — а я называю религиозным. И вы, как католик, должны признать мою правоту.

— Я верю в свободу, а не в Судьбу.

— Но ведь я вполне свободно принимала все свои решения.

— Ну хорошо, что же дальше? Мы признаем существование Судьбы с большой буквы, но кто же такой Дон Хуан?

— О! Конечно — Дон Хуан! Настоящий Дон Хуан!

— Родившийся в Севилье в 1599 году, как считает Лепорелло. Дон Хуан Тенорио де Москосо, человек, который, по всей видимости, наделен бессмертием. Хотите, я сейчас поднимусь и крикну всем этим людям, что среди нас ходит бессмертный человек? Представляете, как они будут смеяться? Помните, какие нынче в моде философские слоганы: скажем, «Быть ради смерти». «Человек — это существование ради смерти, — вот что сразу же скажет нам вон тот паренек со светлой бородкой, который выглядит так, словно стоит на краю могилы. — Тот, кто не умирает, не человек». Нам придется признать: логика тут непреложная. И я буду вынужден пожать руку бородачу. А потом вернусь к вам и скажу: «Сеньорита, вы ошибаетесь: человек не может быть бессмертным».

— Почему же?

Я сделал отчаянный жест.

— Если вы спрашиваете меня всерьез, ответа у меня нет.

— А вы попробуйте спросить у юноши со светлой бородкой, что он думает о Боге. Он скажет, что Бога нет.

— У меня есть свои основания для веры в Бога.

— А у меня — для веры в Дон Хуана. Признаю: ваша вера достойней моей, ведь вы никогда не видели Бога, а я ходила голой перед Дон Хуаном.

Я почти закричал:

— Перед сумасшедшим! Перед шутом!

— Почему вы так реагируете? — спросила она спокойно. — Вон на нас уже смотрят. — Она подвинула мне рюмку с вином. — Выпейте и успокойтесь. Можно подумать, что вы ревнуете.

Это меня задело. Соня улыбалась и смотрела на меня ясными голубыми глазами, как, наверно, смотрят матери на непослушных и упрямых детей.

— Вы ошибаетесь. С чего бы мне ревновать? Нет, просто меня бесит, когда разумный человек упрямо верит в подобную ерунду.

Неожиданно Соня взяла меня за руку.

— Вы не представляете, как я вам благодарна за ваше тогдашнее сообщение, — ска-

зала она с каким-то восторгом в голосе. — Что было бы со мной сейчас, считай я себя жертвой обычного соблазнителя? Но, открыв мне имя Дон Хуана, вы словно заронили семя в мое лоно. Теперь я чувствую, как внутри у меня живет дитя, чувствую его толчки; оно будет расти, заполнит меня всю, останется со мной, и так мы пребудем вместе Навсегда.

— Вплоть до Ничто, если говорить по-вашему.

Она либо не услышала меня, либо моя ирония не заслуживала ответа. Ее задумчивость, ее молчание позволили мне внимательно вглядеться в нее и сделать некоторые сравнения. Она напоминала мне Деву Марию в «Благовещенье» у ранних голландцев. И тотчас я увидел себя самого — с крыльями, парящим под потолком шумного ресторана. И снова меня уколола мысль: в недрах этой истории было нечто кощунственное.

4. Все было кончено. Я оставил Соню у ворот ее дома. Я простился с ней навсегда. Мне было грустно видеть, как она идет к лифту, не столько медленно, сколько величаво — руки прижаты к животу, словно оберегают дитя; мне было грустно, потому что призрак одержал надо мной победу. Мне было больно, потому что эта девушка, которая очень мне нравилась, поверила в фарс, впуталась в него и сама стала участницей представления. Мысленно я обозвал ее дурой, но тотчас раскаялся в собственной грубости.

Когда я добрался до гостиницы, я чувствовал только усталость и досаду на себя. И решил уехать в тот же вечер. Собрал чемоданы, сходил поужинать и, хоть до отхода поезда оставалось более часа, двинулся на вокзал. Я добрался до вокзала гораздо быстрее, чем рассчитывал, и мне пришлось долго прогуливаться в одиночестве, пока состав наконец не подали к перрону. Быстро разместив свой багаж, я спустился на перрон и опять стал прогуливаться в нелепой надежде, что Соня появится и не даст мне уехать или хотя бы скажет, что все ее признания были шуткой... За пять минут до отхода поезда я поднялся в вагон и вошел было в купе, но тут увидал в конце коридора Лепорелло, который пробивался ко мне, расчищая себе путь локтями. Я хотел было спрятаться, но он уже заметил меня. Весь вид его выражал крайнее негодование, и от спешки он совсем запыхался.

— Вы, дурень несчастный! Где ваш багаж?

Я ничего не ответил, но он догадался сам. И мои чемоданы были переправлены на перрон. Все случилось так быстро, так чертовски быстро, что я не оказал никакого сопротивления. Прозвучал гудок, и поезд тронулся. Лепорелло толкнул меня в сторону выхода.

— Да быстрей же!

Я выпрыгнул из вагона на ходу, или, лучше сказать, меня вытолкнули, а я не противился, потому что, по правде говоря, только об этом и мечтал.

— Отнесите чемоданы к красной «бугатти», она стоит у выхода, — бросил он носильщику. — Ну а вы... — добавил Лепорелло, глядя на меня в бешенстве. — Клянусь, вы заслужили, чтобы я дал вам уехать!

Я не ответил. Он схватил меня за плечо и потянул за собой через толпу людей, которые махали платками и все еще кричали слова прощания уезжающим, хотя тех уже не было видно.

— Садитесь.

Он сам сунул в машину чемоданы, заплатил носильщику и повез меня, не забывая проделывать весь набор отчаянных фокусов, в логово Дон Хуана.

— Я вас доставил сюда, — объяснял он, пока мы поднимались по лестнице, — потому что, по моим предположениям, у вас нет ни франка и потому что вашу комнату в гостинице уже наверняка успели сдать, а сейчас поздно бродить туда-сюда в поисках пристанища.

Едва мы переступили порог комнаты, я опустился на софу. А Лепорелло, прежде чем отправиться вниз за чемоданами, налил мне виски со льдом, словно все было заранее подготовлено, и оставил меня одного. Дверь за ним закрылась, и я невольно вздрогнул: *дом уже не был*, как совсем недавно — еще сегодня днем, — обычным логовом,

лишенным всякой тайны. Возможно, на меня подействовали ночь и тишина или то, что все произошло так внезапно и я не успел переключиться на новую реальность. Зато в виски не было ничего мистического, и я отдал ему должное. Когда Лепорелло вернулся с чемоданами, он налил мне вторую порцию, и от разлившегося по телу приятного тепла мне стало легко и весело.

— Больше не пейте, — бросил Лепорелло. — Вы мне нужны с трезвой головой, в полном порядке. И вообще я не люблю толковать с пьяными.

Он открыл дверь в спальню, вошел туда и распахнул дверцы шкафа. Я последовал за ним.

— Зато я считаю, что мне совершенно необходимо еще немного выпить, потому что сейчас у нас с вами может случиться драка, а без подогрева я вряд ли решусь ударить вас.

Лепорелло в этот момент согнулся над чемоданом. Он как-то косо взглянул на меня и расхохотался.

— Порой я начинаю сомневаться, что имею дело с умным человеком.

— Вы что, не верите, что я могу залепить вам в ухо? Или хотя бы попытаюсь сделать это — даже ради того, чтобы не стыдно было перед самим собой?

— Только ради этого?

— Только ради этого. Из моральных соображений.

— Ну тогда ударьте меня и больше не беспокойтесь о самоуважении. — Он встал передо мной и, не сняв шляпы, подставил щеку — с той же невозмутимостью, с какой предлагают сигарету. Я дал ему крепкую оплеуху — но он и глазом не моргнул, с его лица даже не стерлась улыбка.

— Успокоились? Или хотите повторить?

— Для полного удовлетворения мне хотелось бы врезать и вашему хозяину.

— Ах, и моему хозяину? Знаете ли, на сей раз ему не повезло. Рана воспалилась. Он теперь в клинике доктора Паскали. Но не ищите ее в телефонном справочнике, это подпольная клиника.

Я присел на край кровати.

— Надеюсь, как только ваш хозяин придет в себя, он не откажется встретиться со мной в безлюдном месте.

— Коли вам угодно... Но, спешу заметить, ведете вы себя ничуть не оригинально. Всякий раз, когда хозяин соблазняет женщину, находится господин, готовый по тем или иным причинам убить его.

— Вы говорите «соблазняет»? Вы ему льстите! А я бы назвал его либо торговцем мистикой с доставкой на дом, либо специалистом по гипнотическим оргазмам для одиноких дам. Может, и то и другое разом. В любом случае забавный тип.

— И обманщик, не так ли? — Он предупредительно поднял руку. — Да не кипятитесь вы, ради бога! Даю слово, мой хозяин никогда не собирался обманывать вас или насмехаться над вами, а я тем более. Мало того, эту девушку, Соню, он тоже не хотел обманывать, хоть ей и кажется...

— Она говорила с вами?

— Ну, некоторым образом...

— Послушайте, можно только одним образом разговаривать с людьми.

— Хорошо. Признаюсь, я подслушал ее мысли. Только поэтому и отправился за вами на вокзал.

— Вы хотите сказать, что мне надо снова увидеться с Соней?

— Но должны же вы помочь мне, нельзя допустить, чтобы Соня тронулась умом.

Он сложил мою одежду в шкаф. Теперь в руках у него были пара простыней и одеяло. Знаком он велел мне встать с кровати. Я отошел в дальний угол и смотрел, как он крутится вокруг постели, стелет простыни — торжественный и серьезный, в плотно нахлобученной на лоб шляпе. По правде говоря, зрелище он являл собой презабавное.

— Это долгий разговор, — ответил я.

— Вот и потолкуем завтра. И ложитесь спать — в восемь утра придет femme de

ménage[1], и вам придется открыть ей дверь. На кухне вы найдете все необходимое, только прошу, виски больше не пейте. В ванной комнате тоже есть все что надо. Считайте, что вы у себя дома.

— Спасибо.

— Вот только денег у вас нет, но...

— Надеюсь, вам не придет в голову?..

Он отмахнулся:

— Не придет, не придет! Завтра у вас будут деньги, и заработаете вы их сами.

Он попрощался и вышел — быстро, дьявольски быстро. Я побежал следом и запер дверь на задвижку, потом обошел квартиру, заглянул в шкафы и под кровать, ощупал стены в поисках потайной двери, но ничего не обнаружил, я зажег все лампы — но страх все равно не отступал.

5. И вдруг — впервые за последние два часа — я почувствовал, что обретаю равновесие и способность хоть в малой мере контролировать свои поступки. Из чего следует, что все, что случилось дальше, я делал по собственной воле. По своей же, разумеется, воле я, не вставая с дивана, принялся осматривать гостиную, а потом пошел обследовать и вторую комнату. Стоит ли повторять, что в квартире ничего не изменилось: гостиная была все той же обставленной в романтическом стиле залой, к тому же горели все лампы, а посему трудно объяснить дальнейшее воздействием на меня, скажем, таинственного полумрака. Нет, все, что случилось потом, было связано только со мной, с моим душевным состоянием. Трудно описать, что же это было и как это было: больше всего это напоминало — в физическом смысле — мерцание неоновых ламп перед тем, как им зажечься, именно так что-то замерцало у меня внутри, два-три раза слабо вспыхнуло и потухло. Каждый человек сталкивался хоть раз в жизни с чем-то подобным, и, наверно, именно на такого рода опыт опирался Платон, утверждая, будто наши души способны переселяться. Но во мне мерцало, то вспыхивая, то мягко затухая, чувство иного рода — уверенность, будто я не просто посетил когда-то этот дом, нет, но жил здесь в минувшие времена, возможно очень и очень далекие; это была мгновенная вспышка узнавания. Мгновенная, но все же открывшая мне, что кое-какие вещи изменили свое местоположение, и что лампы в ту пору были иными, и что свет теперь стал чрезмерно ярким. А еще я уловил отголоски не изреченных Лепорелло слов, запоздалые обрывки некоего разговора, в котором я сам принимал участие в роли *хозяина дома.* Гостей было трое, в том числе одна женщина.

Я совершенно уверен: по природе своей испытанное мною относилось к области воспоминаний, оно всплыло именно из памяти, а не возникло в результате мистических контактов, как в прошлый раз. Более того, вновь родившиеся смутные воспоминания относились ко временам гораздо более ранним: тогда в доме Дон Хуана еще не успели побывать все эти женщины. Что я понял сразу, чисто интуитивно, и весомых доказательств тут не требовалось.

Я встал и еще раз осмотрел комнату. Сначала при полном свете, потом погасив часть ламп. И при ярком свете, и в полумраке, и даже в полной темноте — то есть на ощупь и на нюх — как сама комната, так и все, что тут находилось, предстали мне в неведомом доселе виде: не было ни мистической тайны, как во время первого визита, ни кричащей вульгарности, поразившей меня нынче днем. Зато на меня наплывало ощущение, даже уверенность, будто тут постоянно обитал некто, чьи привычки отличались не только от моих собственных, но вообще от обычаев нашей эпохи; некто с совершенно иным складом ума. Более того, образ жизни и душа его пребывали в полном согласии с позднеромантическим стилем меблировки, а линии и цвет на картинах и рисунках казались ему смелыми или новомодными. Человек этот — на миг я даже уподобил себя ему, но только на миг — теперь принимал друзей, которые пили не виски, но шампанское; которые не позволяли себе разваливаться в креслах, но сидели так, как предписано этикетом; кото-

---

[1] Приходящая домработница (*франц.*).

рые говорили не на нынешнем нашем наукообразном языке, но на французском, искрящемся остроумием и светлой музыкой. У женщины был заметный креольский акцент.

Если душа может раздвоиться, то с моей именно это и приключилось. Одна ее половина, воспринимающая, уподобившись сухой губке, жадно впитывала мои новые впечатления, в то время как другая оставалась начеку — анализировала, делала выводы, судила да рядила. При этом она ни в малой степени не заражалась тем трепетным волнением и — почему бы и нет? — сладким ужасом, которые испытывала первая. Такая раздвоенность не была для меня внове. Обычно, чем-то загораясь, я старался, чтобы некая часть моего существа не поддавалась порыву. Благодаря этой привычке, которую можно счесть и достоинством, я умел, когда нужно, взять себя в руки или остудить себе голову. Итак, я закончил осмотр комнаты и перешел к вечерним омовениям. Ванная комната была обустроена вполне современно. Я глянул в зеркало и ничего неожиданного не обнаружил — никакого особенного романтического налета: лицо мое оставалось вполне обычным моим лицом.

Я быстро заснул. Мне тотчас начал сниться сон, который перепевал круговерть минувшего дня. Мне приснилось, что в какой-то закоулок моего мозга снаружи заталкивали нечто вроде куриного яйца, внутри яйца кто-то скребся, как это делают цыплята, вылезая из скорлупы; царапанье звучало отчетливо и казалось мне пронзительно громким (так и должно оно было восприниматься в тиши моей головы), а я ждал появления тоненькой лапки, но она все никак не высовывалась, отчего я начал тревожиться. Но тут обнаружилось, что за время ожидания яйцо превратилось в подобие полого цилиндра, какие используют для своих трюков фокусники. Цилиндр свисал с потолка и был пуст. Лепорелло, во фраке и с волшебной палочкой в руке, предложил мне своими глазами убедиться — внутри цилиндра никто не прятался; потом он накрыл его двумя кусками бумаги и зажал их обручами. Тут послышалась далекая барабанная дробь, и Дон Хуан, разрывая бумагу, выпрыгнул на арену с криком «Опля!», а потом бросился со всех ног за кулисы. И тут я снова заглянул внутрь цилиндра, но получалось, будто я высовываю голову в окошко, через которое могу наблюдать *картину воспоминаний, мне не принадлежащих*. «Ну что? — воскликнул Лепорелло. — Кто скажет, что я не держу слова? А вот вы чуть не улизнули!» Обращался он ко мне, но слова его составляли часть концертного номера — самый финал представления. Лепорелло раскланялся, и публика восторженно захлопала в ладоши. Пока Лепорелло кланялся, появились униформисты и стали менять декорации, тут я проснулся и сказал себе:

— Жанна оставила бокал на краю стола, а Лизетта рассеянна, она разобьет его.

Я сказал это и сам услыхал свои слова. Я протянул руку, чтобы зажечь свет, но рука искала отнюдь не выключатель, а спички: пальцы скользили по холодному мрамору, пока не нащупали их, я зажег спичку, а уж с ее помощью — свечу в канделябре, который стоял на ночном столике. Освещая себе путь, я направился в гостиную, чтобы убрать бокал, забытый Жанной на краю стола, но на столе никакого бокала не оказалось. Только тогда я осознал, что с момента пробуждения до сего мига *жил чужой жизнью*. Точнее говоря, с момента пробуждения кто-другой жил во мне, это он помнил об оплошности Жанны и неловкости Лизетты, теперь он покинул меня. Однако что-то у меня внутри он оставил, и это что-то было связано с отрывочными воспоминаниями, которыми угощал меня Лепорелло, потому что, открыв дверцу буфета, я увидал там бокал, за судьбу которого опасался. Бокал стоял чуть в стороне от других, и на дне осталось шампанское. Я сразу узнал его.

Спать мне больше не хотелось. Я сел на табурет перед роялем и поставил локти на клавиши. Клавиши ответили изумительно чистым и гармоничным звуком (а ведь еще недавно рояль был совершенно расстроен!), звук поплыл по комнате, кружа вокруг меня, и постепенно сделался таким ощутительно плотным, что буквально затягивал меня в свое кружение. И душа моя отозвалась на сей звук собственной музыкой — все более и более быстрой, почти головокружительной. Но внезапная гармония эта прожила недолго, и вскоре растаяла; только я к тому времени уже стал другим.

Я утратил способность управлять своей волей, и доселе неуязвимая сердцевина моей души оказалась задетой. Всякая тяга к осмыслению испарилась, да и вообще мыслительные способности мои словно скукожились, на их место толпой хлынули воспоминания, до краев заполнив собою душу. Сначала они казались смутными и расплывчатыми, потом выстроились в некоем порядке. В то же время я постепенно утрачивал четкое представление о себе самом, хотя оно все еще соединялось со мной тоненькой ниточкой памяти, и если я тогда не стал относиться к себе как к другому человеку, то, видно, лишь оттого, что этот другой человек с незнакомым мне именем уже перетек в меня, сделался мною, и на протяжении нескольких часов жизнь его вспоминалась мне явственно и неотвратимо. Иначе говоря, мир моих воспоминаний был подменен воспоминаниями кого-то другого. *Это случилось в тот вечер. Я только что вернулся из Мюнхена, где несколько дней назад — 10 июля 1865 года — Рихард Вагнер дал премьеру «Тристана и Изольды». Ко мне в гости пришли трое друзей — милый Шарль со своей любовницей Жанной, которая вечно оставляла бокал на краю стола, а также некий мужчина, удивительно высокомерный, чьего имени мне не удалось запомнить. Я по мере сил рассказывал им об опере Вагнера. Шарль попросил меня, чтобы я для примера сыграл им какой-нибудь фрагмент, если память мне позволяет, тогда я сел за рояль и как мог воспроизвел некоторые темы: мелодии Тристана и мелодии Изольды. Шарль сказал:*

— Dans la musique de Wagner, chaque personnage est, pour ainsi dire, blasonné par mélodie qui représente son caractère moral et le rôle qu'il est appelé à jouer dans la fable[1].

— Вы хотите сказать, что по тем мелодическим отрывкам, которые я только что показал вам, могли бы понять, как любили друг друга Тристан и Изольда?

— Naturellement, mon vieux![2]

Милейший Шарль начал рассуждать о любви, а я разглядывал его. За время моего отсутствия он изрядно постарел, у него тряслись руки, дрожали веки, и какая-то общая дряхлость словно предвещала скорое и непоправимое разрушение. Но взгляд его светлых глаз не утратил холодной и печальной пронзительности, слова же свидетельствовали, что и всегдашняя острота мысли не покинула его. Жанна тоже немного постарела, движения ее сделались чуть скованней, чуть замедленней, ибо она как следует не оправилась после паралича. Шарль время от времени замолкал, нежно глядел на нее и порой касался ее смуглой руки. Все, что Шарль говорил о любви Тристана и Изольды, скорее походило на откровенное описание его собственных чувств к Жанне; и меня всегда огорчало, что человек его ума позволил поработить себя женщине духовно весьма мало развитой, хотя физически на диво соблазнительной. Кое-кто из наших общих друзей находил этому извинительное объяснение: на их взгляд, подобная зависимость давала Шарлю нужный импульс, отчего ум его и восприимчивость достигли такой остроты, какой не найти ни у одной живой души в нынешнем веке. Но я-то держался иного мнения: Жанну навязал Шарлю сам Господь Бог, руководствуясь лишь Ему одному ведомыми резонами, и мне они были непонятны. Только подумать, сколько бы нового Шарль открыл нам, сколько бы еще сотворил, не попади он в любовное рабство к Жанне! Теперь он, войдя в роль Тристана, описывал их любовь как самое глубокое и полное воплощение счастья — что-то вроде дьявольского счастья Адама и Евы после того, как они дали обмануть себя змею. Но уж об этом я был осведомлен лучше любого другого.

— Ну а вы в любовь не верите, не правда ли? — внезапно спросил Шарль, и казалось, будто его светлые зрачки вот-вот просверлят мои глаза, которые уже тогда были тусклыми, словно их угнетала старость.

— Верю, но на свой манер.

— Для вас это лишь чувственная забава?

— Нет, прежде всего — вызов Богу, — ответил я, рискуя раскрыть тайну своей

---

[1] В музыке Вагнера каждый персонаж, так сказать, изъяснен мелодией, которая выражает его внутренний облик и роль, отведенную ему в сочинении (*франц.*).

[2] Разумеется, старина! (*франц.*)

личности, и тотчас добавил: — Вернее будет сказать, такою представлялась мне любовь в юные годы.

— Но я-то осведомлялся о вашем нынешнем отношении к любви.

— Для меня это технически отшлифованный навык, хоть суть и осталась прежней.

— Вы относите это к способам усилить наслаждение?

— К наслаждению я равнодушен. Я имею в виду способ завоевания женщин.

— О, пожалуйста, расскажите нам о нем! — раздался голос Жанны, в котором была знойная пряность, словно она воспылала желанием тотчас же пасть жертвой моего искусства. — Это так любопытно!

— Думаю, мне будет затруднительно понять вас, — возразил Шарль. — Я в своей жизни знал только один-единственный способ и применил его к единственной женщине. Это — полная отдача. Потому прочие женщины оставались мною недовольны, либо — я ими.

— Просто вы любите, а я не любил никогда, — заметил я.

— И вы находите возможным жить так?

— Я открыл для себя чувство более глубокое, нежели любовь, а равно цель более высокую, нежели женщина.

— Pourtant, vous êtes un homme à femmes, mon vieux![1]

— Клянусь, женщины играют в моей жизни не более чем вспомогательную роль, это только инструмент.

— Инструмент наслаждения?

— Да нет же! Никогда. Разве я только что не сказал вам, что наслаждение мне безразлично?

— Так что же?

— Позвольте мне пока не раскрывать своей тайны.

— Я всегда предполагал в вас человека загадочного, но теперь уверился, что загадка существует на самом деле. И вы скрываете свое подлинное имя!

— О, Шарль, дорогой, какие глупости приходят тебе в голову! Помолчи и позволь ему объяснить нам свои приемы. Я умираю от любопытства.

Шарль взглянул на нее с нежностью. И тотчас подчинился. Мы улыбнулись друг другу. Моя улыбка означала, что я готов выступить ему на помощь. Он своей улыбкой благодарил меня.

— Жанна права. Что может быть занимательней секретов покорителя женских сердец!

— ...даже если это секреты не столько покорителя, сколько насмешника или обманщика.

Но тут окно воспоминаний захлопнулось, образы прошлого рассеялись. Тот, кто заполнял собой мое существо, исчез, и я вернулся к себе самому, словно влекомый тем словом, к которому испытывал особую неприязнь. Я встал и почувствовал себя человеком, посетившим иной мир, где глаза мои освоились с чудесами. Все было по-прежнему, вокруг стояла все та же тишина, но мне почему-то сделалось холодно.

— Но разве я мог когда-то играть отрывки из «Тристана и Изольды»? — спросил я себя. — Играть на рояле музыку Вагнера!

И, прежде чем лечь в постель, попытался припомнить мелодии, которые слушал Шарль. Напрасный труд. Я никогда не помнил музыки из «Тристана».

6. Я проснулся оттого, что кто-то обрывал звонок и одновременно бешено колотил в дверь. Это была Лизетта, но стоило мне открыть, как она принялась извиняться за то, что прервала мой сон. Я снова лег, а она под самыми разными предлогами еще несколь-

---

[1] Тем не менее вы из числа любителей женщин, старина! (*франц.*)

ко раз заглядывала в спальню и при этом просто пожирала меня глазами, словно я был неведомой диковинкой. Наконец она принесла завтрак, но спальни не покинула, теперь она просто молча в каком-то диком восторге стояла передо мной. Не знаю, что меня больше смущало: неотступность ее взгляда или неуместное выражение блаженства на ее лице, ведь до сих пор ни одна женщина никогда так на меня не смотрела и ни у одной от созерцания моей физиономии лицо не сияло таким счастьем. Я решил, что она околдована каким-то воспоминанием и взор ее на самом деле обращен вовсе не ко мне. Я протянул ей пустой поднос, она взяла его, но с места не двинулась.

— Что с вами? Что-нибудь случилось?

— О нет, месье, но вы так хороши собой!..

Она поспешно скрылась на кухне, а я и вовсе растерялся. И даже стал прикидывать, не сон ли это, и кинулся под холодный душ, который помог мне очухаться. Во время бритья затмение окончательно рассеялось, я смог собраться с мыслями да еще и посмеялся над собой. Наверняка во сне я возомнил о себе невесть что, и в результате наружу выплеснулись какие-то ущемленные, загнанные вглубь желания.

Я остался один и принялся перебирать в памяти события минувшей ночи, но не как реальные, а как пригрезившиеся во сне. Я и мысли не допускал, что такое могло случиться на самом деле. Однако сны редко запоминаются так отчетливо. Но главное — и это сбивало меня с толку больше всего — какая-то часть меня вопреки воле, вопреки доводам разума вплетала их в цепочку реальных событий, словно они самым естественным образом предшествовали нынешней ситуации.

«Это какая-то болезнь», — только и пришло мне в голову.

И тут явился Лепорелло. Резкий звонок в дверь, словно вихрь, сдул непрошеные воспоминания.

— Доброе утро, — произнес он, не снимая шляпы. — Как спалось?

— Спал я нормально и здесь вполне освоился...

Я спросил про Дон Хуана, и улыбка тотчас слетела с его губ.

— Я за него очень тревожусь. Знаете... — Он только теперь снял шляпу и извинился за рассеянность. — Возникло редчайшее осложнение. Душа моего хозяина за минувшую ночь раза два покидала тело.

— Подумать только! И это вы, такой знаток по этой части, толкуете о душе, словно о банальном воздушном шарике, который может взять да и улететь.

— О душе, друг мой, нам ведомо весьма мало, почти ничего; но речь теперь не о том. Скверно, очень скверно, что Дон Хуан долгое время провел без своей души. — Он сел и отер ладонью со лба несуществующий пот. — Вспомнить не могу без ужаса. Его уж сочли за покойника. Но я-то, я-то знал, что умереть он не может, и, само собой, сцепился с врачом. Только под утро, часика эдак в три, он снова подал признаки жизни.

— Каталепсия?

— А вам все охота отыскивать легкие объяснения для вещей необъяснимых... Но я кровно заинтересован, чтобы Дон Хуан побыстрее выкарабкался, иначе сорвется наша поездка в Испанию. Нам непременно надо выехать дней через восемь-десять. Мы посещаем Испанию каждый год, чтобы увидеть новые представления о Тенорио.

А что, интересно, делает сейчас Соня? Холит и лелеет в душе своей семя Дон Хуана? Все так же заворожена мыслью о мистическом материнстве, которое она для себя выдумала?

— Что вы намерены сегодня делать? — спросил вдруг Лепорелло.

— Ничего. Я вообще не понимаю, почему и зачем я тут.

— Ну, прежде всего, чтобы помочь Соне.

— Соне? Ах да, той девушке!

Лепорелло расхохотался.

— Точно так же ответила мне сегодня утром и она, каких-нибудь полчаса назад, когда я упомянул о вас: «Ах да, тот господин!» Но Соня говорила искренне, а вот ваше безразличие напускное. Ведь вы только что думали...

Я в бешенстве грохнул кулаком по столу.

— Катитесь ко всем чертям! Я сыт по горло вашими играми в чтение чужих мыслей! Знайте, ни малейшего восторга у меня эти фокусы не вызывают. Мало того, не так давно в Мадриде я посетил одну ясновидящую, бедную женщину, жалкую, как бездомная кошка, так вот, она подробно рассказала, о чем я думаю, только ей и в голову не приходило устраивать из этого спектакль.

— Знаю я ее, — невозмутимо бросил Лепорелло. — Она живет на улице Виктора Прадеры, в доме номер восемьдесят семь, а зовут ее Соледад. И нет ничего удивительного, что вас к ней занесло: среди ее клиентов полно интеллектуалов. Да, она обладает великим даром.

— У вас есть одно преимущество — вы умнее.

— Это точно, куда как умнее. Благодарю.

— Но если вы опять вздумаете намекать, что вы бес, я не стану с вами больше разговаривать.

— Так вы действительно в это не верите?

— Разумеется, нет.

— И вам действительно трудно в это поверить?

— Мне — трудно.

Лепорелло прошелся по комнате, не глядя на меня, будто пытаясь перебороть горькое разочарование. Потом скрылся в гостиной, исчезнув из поля моего зрения, но я слышал его шаги, шум передвигаемых вещей, еще какие-то звуки. Вдруг его физиономия показалась в двери. Он снова надел шляпу, на лице его застыла маска комического отчаяния.

— А если мы примем молчаливый уговор: вы сделаете вид, что верите, а я сделаю вид, что верю, будто вы верите?

— Нет!

— Ну и бог с вами!

Он подтолкнул меня к софе и мягко усадил. Он опять сумел подчинить меня своей воле, но справедливости ради замечу: улыбка его была при этом не торжествующей, а покорной, почти заискивающей.

— Я хотел бы изложить вам кое-какие соображения о связи между понятиями «быть» и «верить»... Очень важно, чтобы вы меня поняли правильно... вернее, чтобы вы нас поняли. То есть хозяина и меня.

— Да разве вам есть что сказать в свое оправдание?

— Мы не собираемся оправдываться, речь идет о другом — о смысле всей этой комедии. Допустим, мы с ним два притворщика или, по-вашему, два мошенника... Разве вам не было бы любопытно услышать некую теорию на этот счет?

— Нет.

— Ну хотя бы одну фразу, и прекоротенькую, одну мыслишку?

Во взгляде его было столько униженной мольбы, что я сдался. Казалось, он вот-вот встанет передо мной на колени и начнет просить, молитвенно сложив руки, лобызая мои ботинки. Я даже испугался, что именно так он и поступит, испугался, что своим унижением он унизит и меня.

— Валяйте.

Он радостно хлопнул меня по плечу.

— Вот это другое дело! Так-то лучше! И между прочим, задумайтесь — до чего легко сделать ближнего счастливым. А как бы я был счастлив, поверь вы, что я — Черный Боб, вселившийся в тело Лепорелло. Ладно, утешусь, стало быть, хотя бы шансом объясниться. —Он чуть отошел от меня и замер, облокотившись на рояль. Взгляд его устремился в пространство, а руки пришли в движение. — Сам по себе человек — ничто. Одинокий человек — ничто. Человек — это всего лишь то, что думают о нем другие. Вы скажете, что нас с хозяином двое и нам достаточно верить друг в друга, чтобы обойтись без третьего лица, чья вера вполне может оказаться не больно крепкой. Но на самом-то деле нас

вовсе не двое. Мы — два одиночки, каждый сам по себе. Ведь общение двоих непременно должно держаться либо на заблуждениях, либо на обманах, мы же с хозяином знаем друг о друге всю подноготную. Так что я не могу заставить его поверить, будто я — бес, а он не может убедить меня, будто он — Дон Хуан. Но ежели в это поверит кто-либо другой, я и вправду сделаюсь бесом, а он — Дон Хуаном... Вы сейчас скажете... что я прекрасно мог сам поверить, будто я — бес, как Дон Хуан мог поверить, будто он — Дон Хуан, но это означало бы самодостаточность, то бишь гордыню. Драма Сатаны именно в том и состоит, что он возжелал убедить себя самого, что он — Сатана, и не преуспел... Потому что...

Я снова перебил его:

— А вы, разумеется, и о драме Сатаны все знаете? Информация из первых рук?

Лепорелло схватил стул и уселся прямо передо мной. При этом он не сводил с меня глаз. Затем снял шляпу и швырнул на ковер.

— Теология, сеньор. Теология плюс знание человеческой натуры... и дьявольской. Итак, летим далее. Богу ведомо, что он — Бог, потому что он не только Один, но и Триедин. Но ежели ты один, как Сатана или любой обычный человек, и хочешь поверить, будто ты то, чем желал бы быть, ты должен раздвоиться и уверовать в себя как в постороннее лицо. Но вот беда: именно такая внутренняя вера и ведет к разрушению, когда ты раскалываешься на взаимозависимых субъекта и объекта веры: на существо-которому-нужно-чтобы-в-него-верили-чтобы-существовать и на существо-нужное-чтобы-верить-в-себя-самого. Так вот: одна часть человека, та, которая живет чужой верой в себя, верит только в то, во что верит кто-то другой (то есть вторая половина), но при условии, если тот, другой, реален как личность — если он верит в себя самого. Но и второй половине, чтобы существовать, в свою очередь нужна вера первой половины. Иначе говоря, между двумя половинами, на которые распадается индивид, должна возникнуть непрерывная система взаимной веры, непрерывная, как система зеркал, когда одно зеркало отражается в другом. Я верю в себя (то есть в тебя), потому что ты (то есть я) веришь в меня (то есть в тебя)...

Я не выдержал:

— Лепорелло, ради пресвятой Богородицы! Вы совсем заморочили мне голову!

Он словно получил удар ногой под дых: резко согнулся пополам и чуть не упал.

— Умоляю! — выдавил он жалобным голосом. — Никогда больше не упоминайте при мне об этой Сеньоре!.. Обещайте...

— Раз это на вас так действует... Мне не трудно...

Он вроде бы слегка успокоился. Даже выдавил из себя улыбку. Но в глазах еще жила тревога.

— Ладно, мне не удалось ничего вам объяснить... Но уверяю, тут нет моей вины. Вы не в курсе современной философской терминологии, потому и не можете уразуметь, о чем идет речь. Жаль. Но я все же скажу, почему вы нам не верите: просто вы вообще не верите в бесов. И точно так же вы не верите, что Дон Хуан на самом деле Дон Хуан и на нем лежит проклятие оставаться Дон Хуаном вечно, потому что вы не верите в вечную жизнь, как не верите и в Ад. Иначе с чего бы вам отрицать, что на хозяине лежит вечное проклятие?

— Да ведь вы никогда об этом не упоминали, — возразил было я. — Вы только говорили...

— Согласен. Ложь не была полной, но хорошая ложь и должна подаваться порциями, постепенно, на манер искусно выстроенного повествования. Так вот: расскажи я вам все сразу, погрешив против элементарных эстетических законов, вы бы и слушать меня не стали. Да, друг мой, вам пора подумать о том, насколько искренна, усердна и глубока ваша вера... Вот вы якобы верите в дьявола, но встреться он вам на улице, никогда не признаете, что это дьявол; вы якобы верите в преисподнюю и вечное проклятие, но покажи вам про́клятого человека — вы обзовете его шарлатаном. Раз Дон Хуан умер, будучи Дон Хуаном, таким ему и оставаться на веки вечные, и в этом будет состоять наказание,

проклятие. По справедливости, он так и должен пребывать в мире, множа свои подвиги. Вы теперь думаете, что мертвые вот так просто по земле не ходят, но почем вам знать, где ходят мертвые? Всякий истинно верующий должен без каких-то доказательств допускать, что человек, севший рядом с ним в автобусе, может оказаться про́клятым грешником, несущим бремя своего проклятия.

Я снова прервал его:

— Ладно. К чему вы клоните? Что вам от меня нужно?

— Мне? Помилуйте, абсолютно ничего. Я сдаюсь и признаю свое поражение. Но и вы проявите снисходительность и позвольте мне напоследок чуть потрепыхаться. Не знаю, не знаю, что уж с нами будет дальше...

— С вашим хозяином и лично с вами?

— Нет, друг мой, с людьми.

— Что будет с вами, не знаю, что касается меня, то, скорее всего, сегодня же вечером я сяду в поезд и отправлюсь в Ирун.

— Не делайте этого. Не уезжайте. Вы много потеряете в собственных глазах. Вам пора жениться. Конечно, вы можете этого не делать, но одна история, когда холостяком остается мужчина, который не встретил «свою» женщину, и другая — когда встретить-то он ее встретил, да вот своей сделать не сумел.

Он налил еще одну рюмку виски и протянул мне.

— Ну же, решайтесь. А пока сообразим что-нибудь насчет денег. Я бы вам предложил некоторую сумму в долг, но, зная вашу щепетильность, предпочитаю указать путь, как можно их заработать. Помните вчерашнее казино?

— Вы полагаете, я пойду играть на те гроши, что у меня остались?

— Я полагаю, что мы устроим вам боевое крещение. Сколько у вас денег? Я вам даю столько же — и прибыль делим пополам. Нам с хозяином тоже нужно пополнить кассу.

— Я никогда в жизни не играл.

— Вот сегодня и попробуете. Новичкам всегда везет. Ну, чем вы там располагаете?

Он достал свой бумажник и принялся пересчитывать содержимое; я в свою очередь глянул, сколько оставалось у меня. Я снова начинал ощущать, как меня обволакивала, подчиняла себе его воля, подталкивая к тому, что он желал от меня добиться.

Выйдя из казино с выигрышем в кармане, я двинулся куда глаза глядят, но за первым же поворотом натолкнулся на красную машину Лепорелло, словно он специально поджидал меня там.

— Садитесь, садитесь, — бросил он, а когда я устроился рядом с ним, протянул руку. — Пятнадцать тысяч франков — мои.

Я отдал ему деньги, он их спрятал.

— Но учтите, выиграл-то эти деньги на самом деле мой хозяин.

— Ваш хозяин? — Я расхохотался.

— Ничего смешного тут нет! Душа моего хозяина, покидая его тело, вселяется в ваше. Поэтому вы и выиграли...

— Ну разумеется! А теперь душа Дон Хуана вернулась обратно.

— Совершенно верно. О чем я сожалею, и, поверьте, искренне сожалею, — без его помощи вам будет трудно завоевать Соню Назарофф.

Я снова рассмеялся. Беззлобно и без тени обиды: ситуация по-прежнему забавляла меня.

— Но тогда можно обойтись и без меня. Любой уличный бродяга справится с делом, если только в его плоть вселится непоседливая душа Дон Хуана.

— Ну а дальше?

— Что дальше?

— Вот именно, дальше-то что, я вас спрашиваю? Вы полагаете, что мы можем отдать Соню в руки любого уличного бродяги? За кого вы принимаете моего хозяина? —

Лепорелло завел мотор и, пока машина ехала, хранил молчание. — Вчера я сказал вам, что хозяин выбирает преемников очень и очень тщательно.

Он глянул на меня, но умудрился проделать это не поворачивая головы, и мне почудилось, будто в то время, как один его глаз обратился в мою сторону, другой продолжал следить за дорогой. Впечатление было отвратительное. Но тут его немыслимым образом скошенный глаз вернулся в нормальное положение, а меня отвлекло кое-что другое. Этим кое-чем был двухместный автомобиль Сони.

Лепорелло остановил машину.

— Вот мы и прибыли.

— Вы на самом деле думаете, что я отправлюсь к Соне?

— Это уж на ваше усмотрение. Я вас покидаю, и, возможно, мы больше никогда не увидимся. Жить в квартире хозяина можете сколько угодно, но при одном условии: вы беретесь спасти Соню. Ежели отказываетесь — освобождайте квартиру и отправляйтесь в Испанию. Ежели решите остаться — я позабочусь обо всем необходимом. К тому же — пойду и сыграю на те деньги, что выиграли вы, и половину полученного отдам вам, ровно половину, ни на сантим больше: вам этого с избытком хватит на то, чтобы жить в праздности и пригласить куда-нибудь Соню. И сделайте милость, забудьте ваши мелкобуржуазные предрассудки, которые запрещают тратить деньги, не заработанные честным трудом. Почувствуйте себя хоть на несколько дней богатым человеком. Разве не об этом втайне мечтает каждый обыватель?

Он резко вытолкнул меня на тротуар. Не успел я глазом моргнуть, как от машины его и след простыл.

7. В тот миг из всего сказанного им напоследок до меня дошло лишь одно: мы больше никогда не увидимся, и, по правде говоря, мне как-то сразу взгрустнулось, я вдруг понял, что успел привязаться к нему, и я даже бросился было вслед за машиной и прокричал, чтобы он вернулся, мол, нам нет нужды расставаться, мы, конечно, частенько ссорились, но это не помешает нам в любой день снова встретиться и съесть вместе блюдо спагетти. Стоит ли говорить, что и бежал я, и кричал напрасно — слишком поздно спохватился, и он не мог меня услыхать.

И вот я снова стоял перед Сониным подъездом, стоял и не знал, на что решиться. Рядом с подъездом застыл открытый двухместный автомобиль, и в тот момент он представился мне красноречивым символом — символом того, что сам я никогда не смогу дать Соне. Ведь если поразмыслить, все случилось по воле некоего праздного человека, скорее всего весьма богатого, который, подобно героям романтических сочинений, мог позволить себе тратить все свое время без остатка на любовные приключения — даже на столь причудливые и хитроумные, как история с Соней; но с другой стороны, только такая женщина, как Соня, тоже очень богатая, могла угробить два месяца целиком на роман с каким-то безумцем — безусловно, только благодаря регулярным денежным переводам от отца, шведского стального магната. Соня занимала элегантную квартиру в XVI округе, имела в своем распоряжении дорогую машину, и весь ее образ жизни свидетельствовал о том, что она не знала ни малейших материальных затруднений. А я? Я был скромным интеллектуалом из страны, где интеллектуалы зарабатывают мало, к тому же принадлежал к нации бедной и гордой, чьи нравственные законы зиждились на чувстве независимости и бедности. И законы эти повелевали мне сказать: «Машина куплена не мною, поэтому она оскорбляет меня».

Кажется, с тех пор как меня закрутило в эту историю, я только теперь в первый раз крепко задумался о реальной ситуации и о том, во что конкретно эта ситуация могла бы вылиться. По логике вещей теперь, соизмерив обстоятельства, я должен был зашагать прочь вниз по улице, зажав в углу рта сигарету и напевая про себя прощальную песню. Но я так не поступил. И не потому, что второй вариант — надежда найти рядом с Соней свое счастье — показался мне вполне досягаемым, нет, просто вдруг, без всякой видимой причины, я почувствовал себя сильным и дерзким, почувствовал внутреннюю го-

товность сразиться с любыми трудностями, ко мне даже пришла уверенность, что я способен заработать достаточно денег, чтобы подарить Соне скромный автомобиль. Можете мне поверить, в тот миг грудь моя самонадеянно выпятилась, я гордо и вызывающе вскинул голову — словом, имел вид фанфарона, который нетерпеливо поглядывает кругом в поисках повода для драки. Но, увы, когда я шагнул в вестибюль Сониного дома, там не оказалось ни души.

Соня открыла мне дверь. На ней были черные брюки и зеленая шелковая блузка, волосы свободно падали на спину. Она была очень красива. Увидев меня, Соня улыбнулась и, кажется, впервые улыбнулась не просто в моем присутствии, а именно мне, лично мне. Улыбнулась с очаровательной искренностью и совершенно доверчиво.

— Вы? —И отступила, пропуская меня в квартиру. — А я думала, что вы уже уехали!

— И радовались этому?

— О нет! Просто я так думала.

В гостиной на сей раз все было прибрано, даже стояло два или три свежих букета.

— Знаете, а я рада вас видеть! И это удивительно! Я почти не вспоминала о вас, а вот теперь... — Она смотрела на меня. Впервые смотрела именно на меня как на человека, который что-то для нее значил или начинал что-то значить. — А вот теперь... хотя это легко объяснимо. Только вы знаете мою тайну.

— Вы уверены, что я пришел, чтобы говорить о ней?

— А зачем же еще?

Я замялся. Сел, зажег сигарету, а Соня ждала ответа, глядя на меня без тени досады, с любопытством.

— Я пришел спасти вас от Дон Хуана!

— А я не желаю, чтобы меня спасали! Теперь я вполне счастлива. Взгляните. Все приходит в порядок, и сама я тоже прихожу в порядок. Я поняла: раньше в моей жизни чего-то не хватало, теперь я это что-то обрела. — Она скрестила руки на груди и опустила глаза. — Оно у меня в сердце. Никому не под силу отнять это у меня.

— Я сделаю это. Прежде всего чтобы завоевать вас для себя. Такие поступки совершаются либо ради любви, либо не совершаются вовсе.

Она взглянула на меня с изумлением.

— Так вы... меня любите?

— Да.

— Ах, мне очень жаль! Но я не могу полюбить вас, не могу.

Как ласково она произнесла эти слова, как боялась причинить мне боль! Она опустилась на ковер, встала на колени — но в позе ее не было мольбы, видно, она просто к ней привыкла — и протянула ко мне руки в знак полной своей искренности.

— Вы должны понять. Я влюблена. Трудно объяснить, но для меня это совершенно новое чувство, и я открыла: по-настоящему живешь, только когда живешь ради другого существа.

— Но не ради призрака! Очень скоро вы обнаружите, что выдумали себе любовь, чтобы исцелить раненое самолюбие.

Она засмеялась.

— Нет! Я вовсе не самолюбива. Да и все это слишком сложно для меня. Я просто люблю, люблю... как любит обычная девушка.

— Спешу вам сообщить, что нынче утром Лепорелло признался мне: они с хозяином — два фигляра. Все, что они говорили и что делали, — плутовство, обман.

— Но ведь все, что пережила я, — самая настоящая правда и случилось на самом деле.

— Разумеется. Ваши восхитительные чувства были реальными, потому что сами вы восхитительны. Но вот причина, их пробудившая...

— Причина? Неотразимый мужчина. Мужчина, которого мне не суждено больше увидеть, хотя он и сделал меня счастливой на всю оставшуюся жизнь. От этого, от счастья, желаете вы меня спасти? Зачем?

— Потому что вы нужны мне.

Боже мой! Я слушал себя и не верил собственным словам, тому, с каким спокойствием, с какой уверенностью я отвечал на взгляд Сони и оспаривал неоспоримые доводы. Видно, со мной случилось что-то удивительное. В нормальном состоянии я вел бы себя совсем иначе. Я очень робок и, главное, остерегаюсь навязывать свое мнение другим. Мое нынешнее поведение абсолютно не вязалось с моим нравом, и, поняв это, я в душе устыдился: ведь и внешность моя, надо думать, теперь тоже была чужой. Я припомнил слова Лепорелло. А что, если и вправду душа Дон Хуана перелетела из его тела в мое и, обосновавшись тут, передала мне его решительность и самоуверенность? Допустив подобный вариант, я почувствовал острое желание вновь сделаться самим собой и произносить мои собственные, пусть и не такие гладкие, фразы. Ведь я по-настоящему любил Соню, и для меня было унизительно пользоваться взятыми напрокат словами. Но я не знал, как опять стать самим собой. Из-под маски внешней самоуверенности начал пробиваться голос моего отчаяния: так каторжник ударяет цепями о камни, но из железа летят лишь бесполезные искры. И тут в какой-то тайной глуби, куда, видно, не добралась та перелетная и вездесущая душа, родилась идея.

— Послушайте, мадемуазель!

Кажется, я сказал это очень властным и резким тоном, совершенно мне чуждым, так что Соня опешила и даже слегка испугалась.

— Я прошу вас выслушать меня. Я должен кое-что вам объяснить и прошу простить, если слова мои прозвучат бесцеремонно. Вы быстро поймете, к чему я клоню.

— Говорите, я слушаю.

— Вспомните, пожалуйста. Вспомните, какое впечатление я на вас произвел пару дней назад, что вы обо мне думали до сих пор? Разве вы не отнеслись ко мне как к некоему предмету, который случай — или, если угодно, судьба — бросил на вашем пути?

— Вы правы.

— А несколько минут назад, когда вы открыли мне дверь и улыбнулись очаровательной улыбкой, так по-человечески, как вы улыбались только Дон Хуану, почему вы это сделали?

— Не знаю.

— Вы заметили какую-то разницу между человеком, который вчера вместе с вами искал Дон Хуана, и сегодняшним гостем?

Соня отпрянула, отступила на несколько шагов назад, стала вглядываться в меня с нарастающим изумлением, тихо вскрикнула.

— Вы стали другим, правда?

— Вот именно. Но в какой-то мере я остался и самим собой.

Я поднялся и шагнул к Соне, почти приперев ее к подоконнику. Она смотрела на меня удивленно, едва ли не испуганно.

— Да не бойтесь вы. Мои жесты и весь этот внешний лоск наверняка мне не принадлежат, но слова-то остались моими, и говорю я то, что хочу.

— Что вам нужно?

— В первую очередь чтобы вы не поддавались на обман и сумели отличить во мне фальшивое от настоящего.

Ответ поразил Соню настолько, что она рассмеялась.

— Но если дело обстоит так, зачем вам понадобилось меня обманывать?

— Мне это не нужно. Все сказанное до сих пор — чистая правда: я люблю вас и хочу спасти от Дон Хуана. Но говорилось это... словно устами другого человека. Выслушайте меня до конца, не перебивайте. Всего полчаса назад мне сообщили, что душа Дон Хуана переселилась в мое тело, а вместе с ней в меня перелились и кое-какие из его выдающихся достоинств. Не в моей воле избавиться от этого морока, зато я могу рассказать вам обо всем, предупредить, что на самом деле я не такой — отнюдь не дерзкий, не сердцеед, — напротив, уж на кого на кого, а на Дон Хуана я похож меньше всего...

Эффект от моих слов оказался сильней, чем я мог ожидать. По мере того как я гово-

рил, словно колдовские чары обволакивали Соню. Речь моя завораживала ее и точно притягивала ко мне. Когда я замолчал, она положила руки мне на плечи. И руки ее делались все нежнее, а в глазах запылал огонь, и лицо озарилось светом, какого я на нем до сих пор не видел. Словно она уже успела полюбить меня. Это было так неожиданно, так стремительно... Я смутился. Что не помешало мне вполне трезво просчитать: ее внезапный порыв явился точно в момент, когда я достиг вершины вдохновения и должен был выглядеть особенно привлекательным. В такой четкой синхронности мне почудился некий наигрыш, и я начал прикидывать, не подстроено ли все заранее, нет ли здесь какого злого умысла. А вдруг Соня участвует в их комедии... Тогда все вставало на свои места: не только эта неправдоподобная влюбленность, но и предыдущие эпизоды, вся очевидная странность некоторых ее мыслей, явная литературность событий. И мне в пьесе отводилась роль простака и шута.

Я решил держаться начеку. И дальше продолжать играть свою роль, но не забывая, что это была именно роль, а потом сделать неожиданный финт, спутать им все карты и устроить совсем иной финал.

— Великолепно, — сказала Соня.

— А теперь прошу вас — отойдите, ведь это не ко мне протянуты ваши руки.

Она отпрянула. И как-то смешалась.

— Вот они — мои руки, а вот — ваши плечи. Мои руки лежали на ваших плечах, а я стояла перед вами. И пожалуй, вот-вот пала бы к вам в объятия. Разве вы не сказали, что любите меня?

— Сказал.

— Разве любовь ваша стремится не к этому?

— Но не таким путем.

— А каким?

— Чтобы утром вам никогда не пришло в голову спросить: а тот ли самый человек проснулся рядом с вами, что заснул вечером на вашем плече. Я хочу, чтобы и в самое первое утро, и в каждое следующее, и в каждый следующий день вы убеждались: я лучше Дон Хуана, но главное, я совсем не похож на него.

Она хотела было снова приблизиться ко мне, но я жестом остановил ее.

— Нет. Я ухожу и больше сюда не вернусь. По крайней мере, пока не смогу завоевать вас своим собственным оружием. Я, мадемуазель, никогда не собирался заменять собой Дон Хуана.

Я вышел, оставив ее с новым вопросом на устах. По правде сказать, я не вышел, а выбежал, и, спускаясь по лестнице, чувствовал, что остатки мужества покидают меня, что я трус и слабак, рохля и недотепа, каким был всегда.

Я съел в каком-то ресторанчике дешевый ужин и на такси добрался до своего временного пристанища. Медленно одолевая лестницу, я вдруг снова ощутил, как существо мое преображается. Но теперь я становился вовсе не задиристым петушком, каким был несколько часов назад. Нет, на меня опять волной накатили чужие воспоминания, они теснились в моей памяти, как, наверно, теснятся образы в голове умирающего человека. Они переполняли меня и властно требовали, чтобы я рассказал о них. Я бы никогда не подумал, что возьмусь за это, и тем не менее повиновался: в тишине романтической гостиной, где плавали ароматы минувшего, я сел за стол, за которым, наверно, и писал великий поэт — тот, кого я преданно любил и кто тоже жил в мире воспоминаний. Не знаю, сколько времени выполнял я роль *медиума*, чьей рукой водили потусторонние силы, не сумел бы сказать и когда именно закончил писать, когда лег спать. Утром, разбуженный Лизеттой, я кинулся к письменному столу и нашел на нем аккуратную стопку — в ней было несколько дюжин листов, исписанных моей рукой. Первые строки гласили: *«У меня больше воспоминаний, чем было бы, проживи я тысячу лет» («J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans».) Строку я позаимствовал у моего друга Бодлера, с которым слишком поздно познакомился: он уже успел написать прекрасное стихотворение о моем сошествии во ад и размышлял над драмой, которую написать не успел, — о моей*

смерти. Для моего друга Бодлера я был человеком скучающим и меланхоличным, хотя и симпатичным...» Таким вот было вступление, оно занимало еще несколько строк, а потом я начинал повесть о роде Тенорио из Севильи.

Глава четвертая

1. «У меня больше воспоминаний, чем было бы, проживи я тысячу лет». Строку я позаимствовал у моего друга Бодлера, с которым слишком поздно познакомился: он уже успел написать прекрасное стихотворение о моем сошествии во ад и размышлял над драмой, которую написать не успел,— о моей смерти. Для моего друга Бодлера я был человеком скучающим и меланхоличным, хотя и симпатичным. Сам же Шарль настолько нравился мне и ум его был столь остр, что я так и не рискнул открыть ему свое истинное лицо, хоть он принадлежал к числу тех немногих, кто мог бы меня понять: я не открылся ему только потому, что хотел, чтобы он и впредь верил, будто я умер так, как он себе это вообразил, и что мое сошествие во ад происходило именно так, как он это описал:

Mais le calme héros, courbé sur sa rapière,
regardait le sillage et ne daignait rien voir[1].

Да, именно так все и было бы. Если бы было. Вот только врата ада затворены для меня крепко и неумолимо — как и врата небесные. Однажды я намекнул Шарлю, что, возможно, Дон Хуан вовсе не умер. На что он ответил: Дон Хуан нес смерть в самой душе своей, он не был Вечным Жидом и, ежели существовал на самом деле, непременно попал в преисподнюю. Но смею вас уверить, Дон Хуан, придуманный Бодлером, это был сам Бодлер; и смерть, которую он мне приписывал, была его собственной смертью. Он полагал — или боялся, — что погубил свою душу, а оттого и Дон Хуана причислял к про́клятым на веки вечные. По правде же говоря, трудно отыскать двух более непохожих людей, чем Бодлер и я. Различия коренятся уже в нашем происхождении. Я — отпрыск самого знатного в Севилье рода. Мы, Тенорио, и отвоевывали Севилью, за что король пожаловал нам изрядные владения, приличные положению нашего семейства, ведь к той поре мы уже звались кабальерос и с незапамятных времен имели родовое гнездо в Галисии. Бодлер же был буржуа, и такими, как он, аристократы пренебрегали; но он сумел возвыситься — благодаря духу своему, а не крови, благодаря неудержимому стремлению к утонченности, благодаря мудрости и высокомерию. Так что он был в своем роде конкистадором, первопроходцем, я — наследником.

Есть еще одно отличие: Шарль в раннем детстве потерял отца и жил под ревностной материнской опекой. Моя мать, Донья Менсиа Оссорио, умерла родами, произведя меня на свет, и детство я провел при отце, который любил меня, конечно, но на свой манер, так и не сумев простить смерть супруги. Пожалуй, именно поэтому Шарль всю жизнь гонялся за юбками, оставаясь рабом плоти. Я же, напротив, никогда не покорился ни одной женщине. Его любовный опыт настолько отличался от моего, что, беседуя о женщинах, мы с трудом понимали друг друга, словно каждый вел речь о чем-то своем. И все же Шарль хоть и по-своему, но постиг глубокую и мучительную тайну человеческого тела.

Однажды я спросил его: как он представлял себе исходную точку в судьбе Дон Хуана? Он ответил, что никогда об этом не задумывался и, скорей всего, начало там было самое заурядное. Но я хотел, чтобы он все же поразмыслил над этим, и два-три дня спустя он сказал: «Дон Хуан был влюблен в свою мать». Иными словами, он объяснил себя самого, собственное донжуанство. Я заметил: «Возможно, так оно и было» — и спорить не стал.

Меня по-настоящему опечалило, когда помрачился этот яснейший из умов, опеча-

---

[1] На шпагу опершись, герой глядел на волны,
не удостаивая взглядом никого.
(*Перевод В. Левика*)

лила смерть этого замечательного человека, но я еще и позавидовал ей. На погребении кто-то рядом со мной обмолвился, что безумие и смерть явились ему карой Господней за гордыню. Но я-то знаю: это была не кара Божия, а милость, ибо таких людей, как Шарль, Господь лишает рассудка, когда они подступают к черте, за коей начинается постижение самой сокровенной тайны бытия, лишает рассудка, дабы уберечь от ужаса при столкновении с Истиной. Годы спустя нечто подобное случилось с Фридрихом Ницше.

Удивительно, что Шарль без должного внимания отнесся к истокам моей истории. Он намеревался описать лишь драму моей гибели. Вообще-то поэтов всегда манил этот эпизод — мое фанфаронство, когда я пригласил к себе на ужин Командора. Но тут надобно прояснить одну деталь: фанфаронством это выглядело в глазах того, кто меня придумал, и тех, кто ему следовал. На самом деле бахвальством там и не пахло, а вот дерзости было предостаточно. И началось все не с приглашения, а с вопроса. Приглашение невольно сорвалось у меня с языка: я уже успел позвать на ужин друзей и счел неучтивым обойти вниманием Командора только потому, что он умер. Вежливость — моя вторая натура, порой я могу совершать дурные поступки, но никогда не выказывал себя невежей, хотя в этом нет ни грана эстетства.

Мой отец, как я уже упомянул, не мог простить мне, что своим рождением я отнял жизнь у матери. Он любил ее глубокой и спокойной любовью, какой умеют любить честные и благородные люди, и обрел в ней тайное и запретное счастье, единственную радость своей жизни. Потому сам вид мой причинял ему боль, и часто, сталкиваясь со мной в коридорах или на галерее нашего дома, он проходил мимо с притворно блуждающим взглядом, словно не замечая меня. Можно было ожидать, что вместе со мной в душе моей станет расти и чувство вины, но этого не случилось, ибо семени вины никто туда не заронил. Я восхищался отцом. Не скажу, что любил его, но уважал безмерно, и прежде всего как одного из Тенорио — члена славного рода, к коему принадлежал и я, оттого восхищение мое отцом в той или иной мере оборачивалось и на меня самого, ведь мне предстояло сделаться его преемником.

Вот в чем отец мой проявлял горячее усердие, вот чем занимался только сам — он лепил из меня своего наследника. О нашем роде он толковал либо как об огромном теле, неподвластном смерти, либо как о многоликом существе, частью которого мы с ним являемся и которому обязаны лучшим, что в нас есть. Это взыскательное существо дало нам имя, а вместе с именем и свой закон, сотканный из запретов. «Ты — это ты, а раз так, раз ты тот, кто ты есть, тебе не дозволяется то-то, то-то и то-то. Ведь ты — это ты, ты — Тенорио». Вот в чем состояла главная доблесть — надобно было блюсти себя в тесных рамках, куда загоняло нас имя, и только в этих границах мог я созидать свое счастье, случись мне о нем возмечтать. Но, по правде говоря, о счастье отец мой никогда не заговаривал, ибо после смерти супруги не помышлял о нем. Видно, в глубине души он полагал, что она умерла в наказание за грех — позволив себе быть с ним счастливой. Люди, скроенные на манер отца, могут желать сделаться хорошими, но никогда — счастливыми. Счастье для них — прегрешение против избранничества, лишь низкие души могут не таясь искать счастья. И, познав его хоть однажды, следует скрывать сей опыт, словно проказу или постыдный грех.

Отец говорил мне: «Погляди на всех этих людей, у них темные глаза, кожа оливкового цвета, они суетятся, болтают без умолку. А ты? Глаза у тебя голубые, лицо — бледное в голубизну. Они — мавры и цыгане, ты — гот. Предки твои явились с севера, ты — конкистадор, завоеватель. Они могут жить как бог на душу положит, ты — нет. Жизнь твоя подчинена всевластному закону, но не тому, который постановлен королями — короли нам ровня, и воля их не трогает наших сердец, — мы следуем закону, назначенному нам делами предков». Это был закон гордости. И я рос, понимая себя отличным от цыган и мавров, но равным некоторым сеньорам, что порой посещали наш дом, — тоже белокожим, с голубыми глазами. Они ласково гладили меня по голове, называли Дон Хуаном, невзирая на мой нежный возраст, и почитали за своего.

Войн, которые вел король, мы не одобряли, поэтому по исполнении десяти лет меня

отправили в Саламанку. Смею заподозрить, что отец, снедаемый изнутри тоской и одиночеством, не мог более выносить подле мое присутствие. К тому же в Саламанке последний из Тенорио скорее сделается взрослым человеком, прибавив к прочим достоинствам еще и ученость. В Саламанку со мной был послан домашний наставник. Звали его дон Хорхе, по-гречески говорил он лучше, чем по-испански, и был сведущ в литературных новинках. Когда, несколькими годами позже, он умер, я прочел его секретные записи, хранившиеся в ящике стола, и узнал, что был он бесстыдником, вел двойную жизнь и в Бога не веровал. Так вот, дон Хорхе не только обучил меня мертвым языкам и помог постичь тайны поэзии Гонгоры, который в ту пору обретал в Саламанке известность, но наставлял меня и в делах религии.

Дон Хорхе в душе оставался человеком честным, но на свой лад. Ему платили за обучение, вот он и обучал — по своей вере. Верил он в реальность аористов[1] и мне свою веру внушал. Не верил в реальность Credo и учил меня в символ веры не верить. От дона Хорхе получил я сведения о Боге, Христе и Церкви. Они предстали мне незримыми Реальностями, с которыми я был связан столь же таинственными узами, как и с умершими родичами, хотя суть связи была иной. Но ежели отец открыл мне, что я — часть клана Тенорио, дон Хорхе научил меня, что принадлежу я к Христову миру. А так как уроки отца и дона Хорхе получал я по отдельности, никто не озаботился тем, чтобы приладить одно к другому, так что знания эти мирно прижились во мне, не чиня друг другу неудобств, но и не сплавлялись воедино — словом, пребывали на разных полюсах.

После смерти дона Хорхе я взял к себе на службу Лепорелло, который тоже был паскудником и продувной бестией — но уже не таясь. Мы вместе ходили на лекции, ели за одним столом, и он сопровождал меня повсюду; вечерами же, не хлопоча о приличиях, чéстно объявлял, что заводится на кутеж, и это меня забавляло, но в соблазн не вводило. Затрудняюсь сказать, христианские ли чувства отвращали меня от ночных похождений или убежденность, что человеку моего звания не пристало пускаться в разгульную жизнь, словно простолюдину. Я ни разу не сунул носа ни в один притон, не завел к себе украдкой веселую девицу, не кружил ночами под окнами возлюбленной, да и вообще избегал запретных удовольствий. В двадцать три года я оставался девственником, и, как ни странно, ни общение с женщинами, ни мысли о них не пробуждали во мне волнения, не заставляли мечтать о плотских радостях. Порой Лепорелло спешил сообщить, что некая сеньора поглядывает на меня или некая благородного рода девица справлялась обо мне, но я в ответ только смеялся. Я был поглощен науками; лишь на учебу и тренировку тела тратил я размеренно и безмятежно молодые силы. Не менее, чем теология и стихи, влекло меня фехтовальное искусство: во всей Саламанке трудно было сыскать человека, равного мне в этом деле. Правда, до Севильи докатились лишь слухи о моих богословских успехах.

2. Знакомство мое с Гонсало де Ульоа завязалось вскоре после кончины отца. Никто и никогда не придавал должного значения той роли, какую сыграл он в моей жизни, и никто никогда не сумел достоверно описать, за что и как я убил его. Речь заходила даже об эдиповом комплексе! Мне грех жаловаться на поэтов, с ними мне повезло, но вот ученых мужей я бы благодарить поостерегся — не за что. Те, кто видит в убийстве дона Гонсало символическое повторение смерти моего отца — к тому времени он уже был предан земле, — тасуют пустые гипотезы. Сколь пристально ни всматриваюсь я в минувшее, не нахожу там и следа сексуальных комплексов, как, кстати, не нашел их и один психоаналитик, который изучал мое прошлое, не зная, правда, кто я таков. Я убил Командора, потому что он был мне гадок. Нынче я не стал бы убивать его — нынче я куда лучше знаю людей и стал куда снисходительней к ним, нежели в двадцать три года, да и с иллюзиями относительно человеческого благородства я уж давно расстался.

---

[1] Аорист — форма глагола, обозначающая мгновенное или предельное действие (в греческом, старославянском и других индоевропейских языках).

А Ульоа сыграл роль орудия судьбы, не более того, но не в час моей предполагаемой смерти, а в самом начале истории, сразу после похорон отца. Случилась же скорбная церемония сразу по моем прибытии в Севилью, мартовским утром, в самый разгар Великого поста, очень жарким мартовским утром. Катафалк был сооружен преогромнейший, так что помпезность его и размеры фальшивой нотой звучали в белой и очень маленькой, как-то по-женски изящной церкви, которую отец мой поддерживал своими щедротами. Собралась там вся городская знать, но притекло и множество бродяг да мошенников, коих отец подаянием тоже никогда не обходил. Церемония длилась два часа: сдается мне, ни одного усопшего не отправляли на небеса с такими долгими славословиями. По окончании ее я принялся раздавать милостыню золотом; и всякий раз, как рука моя доставала из кошеля монеты и они звякали друг о друга, друзья покойного, окружавшие меня, вздрагивали и жадные взоры провожали горсть с дублонами; я же творил милостыню лишь во исполнение воли отца, а отнюдь не уповая на то, что усилит она действие заупокойных молитв. Отец слыл человеком безмерно добродетельным, так что Господь, несомненно, уже принял его к себе. «Никогда в жизни не видал столь напрасных подаяний», — пробормотал рядом со мной некий надутый сеньор. Я улыбнулся, словно соглашаясь с ним. В ответ он пообещал вскорости навестить меня и назвался Командором.

Я воротился домой с верным Лепорелло и заперся в своих покоях. Нет, я не слишком горевал, просто того требовал обычай: надобно было уединиться, отдавая тем самым дань уважения памяти отца. Я объявил слугам, что принимать никого не стану. Делать мне было совершенно нечего, и я попробовал вообразить, какой прием клан Тенорио окажет на своих отдельных небесах душе моего новопреставленного батюшки. Я не оговорился, именно так — на небесах, особо для них сотворенных. За главную добродетель там почитается несокрушимая верность своему роду и дворянской чести, а посему попасть туда могли и осужденные Господом, ведь мы, Тенорио, не признавали над собой даже Его закона. Вот я и представил себе, как отец мой возносится на это небо, вернее, душа его, столь же горделивая и надменная, как и сам он при жизни, и все Тенорио встречают его стоя, в торжественном молчании. Самый старший за руку подводит отца к неудобнейшему креслу, где ему предстоит сидеть вечно — правда, рядом с моей матушкой.

После полудня жара сделалась нестерпимой. Я велел открыть окна залы, выходившие на тенистую улочку, и сел у оконной решетки, держа в руках книгу, читать которую у меня не было никакой охоты. Тут вошел Лепорелло и объявил, что Командор де Ульоа почтил меня своим визитом и настаивает на встрече, ссылаясь на свою дружбу с покойным.

Дон Гонсало де Ульоа, когда я увидал его вблизи и с вниманием выслушал, показался мне актером, и пожалуй, даже великим актером, но из тех, кто полагает, будто жизнь в том и состоит, чтобы личность заменить личиной, а потом приноровиться к маске и жить по ее указу. Одет он был в черное, и в костюме его, уже по-весеннему легком, самой броской деталью был крест Калатравы. Он сразу кидался в глаза, и всякому становилось понятно — крест мог заменить собой Командора, по крайней мере так хотелось бы дону Гонсало. На мой же взгляд, не менее важным дополнением к кресту служило и лицо — оплывшее, багровое, толстогубое, с огромным носом и свирепым взором. Именно такое лицо полагалось иметь Командору, и дон Гонсало терпеливо лепил его, доводил до совершенства, чтобы оно соответствовало высокой должности. Так, во всяком случае, мне подумалось. Лицо огромной куклы, напыщенной и важной, годной на то, чтобы держать бразды правления, вышагивать во главе разного рода процессий и председательствовать на заседаниях трибунала по проверке чистоты крови. Туловище у него тоже было огромным, с огромной же головой. Руки, которые он протянул ко мне, привели меня в ужас, а от объятия его у меня перехватило дыхание.

— Любезный сын мой, Дон Хуан!

Голос его дрогнул, и он зарыдал, сокрушаясь по поводу кончины дона Педро. Нет, он, конечно же, не дозволял себе усомниться в том, что отец мой заслужил вечное спасение. Нет, слезы его были о другом: о свалившемся на него сиротстве...

— Поверь, сын мой, другом, истинным другом умел быть твой отец. Да каким верным! Случались тяжкие времена, когда лишь благодаря тайной щедрости его мог я вести достойный моего положения образ жизни.

Он говорил, расхаживая по зале, но внезапно смолк, уставившись на одну из картин.

— Неужто Тициан?

— Право, не знаю.

— По мне, так Тициан — достаточно взглянуть. Целое состояние! А вон там — Эль Греко. И натюрморт талантливого юноши по имени Веласкес, теперь прибившегося ко двору. Отец твой знал, на что потратить деньги.

И Командор принялся все осматривать и обнюхивать, и все находил превосходным, и все-то стоило громадных денег — мебель, ковры, гобелены и даже мраморные плиты, покрывавшие пол.

— Твое наследство потянет тысяч эдак на двести в дукатах. Да рента на столько же в мараведи. Эх, что тут толковать, жениться, немедля жениться!

— Теперь я мечтаю лишь о прохладе. Меня словно заживо поджаривают на костре.

— Вольно же тебе в такое пекло оставаться здесь! В твоей усадьбе на Гвадалквивире веет ветерок. А ближе к вечеру там будет сущий рай.

Кажется, он знал о моих владениях больше меня: где располагались апельсиновые сады, а где — оливковые рощи или виноградники, сколько они давали в год доходу и кто покупал урожай.

— Та усадьба, что у Гвадалквивира, — для отдыха, летом твой отец имел обычай наезжать туда вечерами. Место славное! А отчего бы нам теперь же туда не отправиться?

Спорить с ним не было никакой возможности. В мгновение ока он отдал распоряжения кучерам и слугам. Лепорелло весело поглядывал то на него, то на меня и не мог ничего уразуметь. Я же только улыбался: что еще мне оставалось?

— В путь, в путь! Нам надобно добраться засветло. Ах, как славно сидеть под лимонами, когда нещадно палит солнце. А ведь дороги туда всего минут тридцать.

Когда мы добрались, до захода солнца оставалось еще около часа. Дом был выстроен на холме, а склон холма мягко переходил в берег реки. Дом не отличался большими размерами — в два этажа, беленый, с зелеными ставнями и решетками. Внутри царили полумрак и прохлада. Я рухнул в кресло, стоявшее в углу передней комнаты. Сбросив камзол, я остался в одной рубашке и предложил Командору последовать моему примеру.

— Ну что, мальчик мой, небось охота вздремнуть? — спросил он. — Поспи, поспи, а я пойду разведаю, что здесь да как.

Я и вправду заснул. А когда пробудился, солнце уже почти скрылось и едва виднелись последние его лучи. Командор стоял передо мной, держа в руке канделябр. Лицо его пламенело от возбуждения.

— Какие богатства, мальчик мой! Тебе и невдомек, сколько добра ты получил! Только собранное в этом доме потянет на тридцать тысяч дукатов. Сплошь серебро, все лучшее из лучшего! Да ты самый богатый наследник в Севилье!

Я сидел прикрыв глаза и с улыбкой слушал его. Для Командора все в мире, и прежде всего в моем доме, имело свою цену. Он подсчитывал стоимость мебели, ковров, посуды и даже кухонных котлов, которые, по видимости, тоже были какими-то диковинными. Меня начала утомлять болтовня этого сеньора, который, кажется, ошибся в выборе профессии, ему надлежало бы сделаться оценщиком.

Уже опускались сумерки, и старый Гвадалквивир там, внизу, поманил меня к себе. Я стоял и смотрел, как бежит вода. Она была прозрачной и порой завивалась крошечными водоворотами. Я видел гальку на дне, быстро плывущие мелкие растения. Вдруг мне захотелось обнажить руку и опустить ее в воду. Какое блаженство — чувствовать кожей мягкий напор воды и в шуме широкого потока улавливать еле приметные звуки! Я задумался: какой смысл имело все это и отчего сердце мое наполнялось счастьем? Но ответа не нашел. Теология учит, что счастье — состояние человека пред лицом Бога; но тут были лишь моя рука да вода — и ударенья воды о руку, и легкий шум. И разумеется, была еще

луна, которая уже всплывала на небеса, и были воздух и цветы — но это уже во-вторых. Я не находил ответа, что вовсе не огорчало меня, ведь от руки моей блаженство разливалось по всему телу, верней, по всему существу моему. В некий миг я вдруг ощутил себя продолжением реки, частью воздуха, стал растворяться в аромате цветов... Словно из моего существа начали пробиваться корни и жаждали укрепиться в том, что меня окружало, — дабы мог я стать одним огромным целым с миром окрест меня. И счастье мое достигло вершины, и по телу моему пробежала неведомая доселе дрожь.

Когда по возвращении домой я рассказал о случившемся Командору и Лепорелло, дон Гонсало спросил меня:

— И как это было?

— Точно мурашки пробежали по всему телу.

— А долго ли продолжалось?

— Пока я не очнулся и не понял, что я — не вода, не воздух и не аромат. Что я — это только я, Дон Хуан Тенорио. И оттого почувствовал себя глубоко несчастным.

В глазах старика блеснула искра догадки, и лицо его озарилось торжествующей улыбкой, которую он поспешил упрятать поглубже. Наверняка именно так смотрел он на серебряный поднос, прикидывая в уме его стоимость.

— Мой дорогой Хуанито! Позволь обнять тебя!

Я снова оказался зажатым в его огромных ручищах.

— Отчего это вы так возрадовались?

— Из твоего рассказа я вывел, что ты еще совсем юнец, и мне придется многому научить тебя, пока ты сделаешься настоящим мужчиной. — Он потащил меня к скамье и усадил рядом с собой. — То, что испытал ты у реки, со мной случилось давным-давно, но то же самое испытывает однажды каждый. К тебе, хвала Господу, это пришло в должный срок. А успей ты принять духовный сан, все могло бы обернуться бедой.

По правде говоря, я был смущен, и, видимо, на моем лице отражалось это смущение либо даже оторопь.

— Послушай, сейчас я попытаюсь растолковать, что с тобой приключилось. Скажи-ка, а неохота ли тебе теперь вскочить на коня и скакать, скакать хоть ночь напролет неведомо куда, чтобы с первыми лучами солнца повалиться на цветущий луг и проспать долго-долго?

— Да. Именно так.

— А не чувствуешь ли ты теперь прилива щедрости, когда можно отдать свое состояние первому, кто о том попросит, и отдать даже жизнь, ежели она кому-то понадобится?

— Да! И это тоже!

— А не было ли и так, что впервые почудилось тебе, будто ты одинок, вернее, будто чего-то тебе недостает, будто отняли от тебя половину?

Я пылко закивал головой, потому что Командор каждым выстрелом своим попадал точно в цель.

— Да! Да! Я все это чувствую! Но отчего так?

— Оттого что природа требует своего, сын мой. Природа — старая самовольница, и рано или поздно мы попадаем в ее ловушку.

Я вспомнил свои богословские познания и ухватился за них, как за соломинку, желая заставить его замолчать.

— Господня благодать уберегла нас от власти природы и помогает нам жить превыше ее.

Он вдруг расхохотался, безудержно загромыхал, разинув рот от уха до уха, так что все лицо его уподобилось хохочущей маске.

— Вот-вот, благодать! А скажи-ка, можешь ли ты прожить без еды? Ну-ка набери хоть мешок индульгенций — и пускай заменят тебе яичницу с картошкой! — Он вдруг сделался серьезным и положил мне руки на плечи. — Природа ждет своего часа затаившись, неспешно, ибо знает: пренебречь ею нельзя. В ее руках наши жизнь и смерть, и коли ей заблагорассудится, может она сыграть с нами одну из своих шуток, как вот с то-

бой давеча. Не стану спорить, в твоей воле попытаться спастись от нее, скажем, отправиться в пустыню и уподобиться отшельникам былых времен. Да только толку от того не будет. Ведь и в пустыне тешилась она на славу над святыми мужами.

— Но я по-прежнему не пойму, о чем вы ведете речь.

— Я мог бы объяснить тебе или, вернее, указать тот путь, что поможет тебе понять это. Но не знаю, пришло ли время.

— Да разве стоило тогда затевать весь разговор?

Он многозначительно помедлил с ответом, сверкнув на меня краем глаза.

— Может статься, тут потребно время...

— Почему же не теперь?

— Ты только что схоронил отца.

— Но при чем тут отец? Он на небесах, а я здесь, на земле.

Дон Гонсало снова взглянул на меня.

— Нужно соблюдать приличия, — сказал он снисходительно. — Иначе что скажут в Севилье?

— Что за дело мне, Командор, до мнения севильцев! В жизни я ничего не таил, да и жизнь эта принадлежит только мне.

— Ну коли так...

Видно, подобных слов он и ожидал, к ним меня и подталкивал. Теперь же поспешно поднялся и сказал:

— ...позволь я отдам распоряжения кучеру.

И приказал запрягать. Когда мы сели в коляску, он высунул голову в окошко и крикнул:

— В «Эританью»!

3. Мы ехали молча. Я испытывал волнение и смущение разом. Через окошко я смотрел на деревья, виноградники и белые домики, окутанные сумеречным светом. Командор, шумно дыша, сидел рядом. Под конец, когда уже показались какие-то огоньки, он сказал мне:

— Должен тебе признаться: есть некое моральное основание, коим я пренебрегаю. Надобно только поступать осмотрительно. И если подумать, то кто усмотрит особую странность в том, что томимый жаждой кабальеро стремится жажду эту утолить.

Коляска остановилась. Навстречу нам тотчас сбежались слуги, а как скоро увидали, какого мы звания, выказали большое почтение. Командор послал их за хозяином, и тот не замедлил явиться. Они о чем-то пошептались, и речь явно шла обо мне — я заметил, с какою миной трактирщик взглядывал на меня, кивая в лад речам Командора. Потом он, подскочив, вознамерился было поцеловать мне руку и затараторил о том, как счастлив видеть у себя сына столь почтенного родителя.

Под эти разговоры мы дошли до потайной двери и поднялись наверх по лестнице, очутившись в комнате с балконом, откуда видны были сад и река. Впереди лежала Севилья, отделенная от нас широким небом, высвеченным луной. Я вышел на балкон и залюбовался. А тем временем Командору уже поднесли напитки, так что он приблизился ко мне, держа в руке бокал.

— Не желаешь ли хересу?

— Нет, пить мне пока не хочется.

— Да неужто вино придумано для утоления жажды?

— Право... я не пью вина.

— Ну-ка, давай — одним махом, устрой телу свадебку с винцом, ведь с ним мало что на свете может сравниться. Выпей и тотчас поймешь: на самом деле жажда тебя мучила, давным-давно мучила.

Под его неотвязным взглядом я сделал глоток и попробовал разобраться во вкусе вина.

— Недурное.

— Выпей-ка до дна.

Во мне словно разом вспыхнул огонь, словно какое-то ликование родилось у меня внутри. Я протянул Командору пустой бокал, но он рассудил за лучшее забрать его и унести прочь. Мне не следовало пить больше на пустой желудок, посему он велел подавать ужин.

Балкон украшали горшки с гвоздиками. Я сорвал цветок и понюхал. Казалось, запах его соединялся с ароматом, который впитал я в себя совсем недавно у реки. Но там меня окружала тишина, а тут, на балконе, я различал приглушенные голоса мужчин и женщин, разговаривавших в саду. Где-то играла гитара. Кто-то пропел коплу. Воздух дышал ароматами, ночь была нежной, и от влажной земли поднимались густые испарения. Вино несло свой жар по венам и полыхнуло в голову. Все казалось мне прекрасным, все рождало восторг и виделось в новом свете — и я опять почувствовал, как жизнь перетекает из меня в окружающий мир, чтобы срастись, соединиться с ним. На соседнем дереве запела птица, и пение ее резануло меня по коже непритворной болью. Из горла моего вырвался стон...

Время остановило свое течение, будто все застыло недвижным кристаллом, где в плену оказались луна, птица и я сам. Тут кто-то постучал в дверь, и волшебство рассеялось. Я неохотно бросил «Войдите!», потому что меня лишали счастья. В комнату вошла девушка, ей пришлось открыть дверь плечом, потому как руки ее были заняты подносом. Поставив поднос на стол, она огляделась, заметила меня и приблизилась.

— Дон Хуан!

Я услыхал голос — хрипловатый, резкий, каким поют канте хондо, он хлестнул меня, как если бы вместо «Дон Хуан!» она сказала «Я хочу умереть!».

— Что вам надобно?

— Я та, кого вы ждали.

— Ах да! Ветчина! Поставьте куда-нибудь.

Ответа не было. Она стояла против света, и я мог различить лишь ее силуэт.

— Вы что-то хотите?

— Я? Нет. Это вы... Тот человек велел...

— Какой человек?

— Старик... с крестом.

— А! Так тебя прислал Командор.

— Да, он отыскал меня, пощупал грудь, поглядел ноги и послал сюда, чтобы я была в вашем распоряжении.

Я не мог уразуметь, какая нужда мне в этой девушке. Я шагнул в освещенную часть комнаты. Она последовала за мной.

— Ты умеешь играть на гитаре? — спросил я.

— К чему вам это, сеньор?

— Я только что слышал, как играют в саду, и мне захотелось, чтобы музыка звучала для меня одного.

— Велите позвать гитариста — чего уж проще! — бросила она равнодушно.

— А ты — не можешь?

— Я не по этой части. Я проститутка.

Наверно, лицо мое сделалось изумленным, потому что она тотчас добавила:

— А вы что ж, и не знаете, что это такое?

— Да нет, некоторое понятие имею...

Я шагнул к ней. Она смотрела на меня деловито и спокойно, словно оценивая. Бьюсь об заклад, именно так смотрел Командор на мебель или картину, прежде чем определить их стоимость в золоте.

— Прошу вас, сеньорита, присядьте.

— Послушайте, сеньор, оставили бы вы свои церемонии. Меня зовут на ты и по имени. А коли хотят, чтобы я села, усаживают тычком, а то и хуже.

— Как тебя звать?

— Мариана.

— Красиво. И ты тоже красивая.

Она и вправду была красива, как падшие женщины с картин у алтаря — красотой драматической: губы презрительно поджаты, а в глазах мерцает огонь отчаяния.

Я мягко подтолкнул ее, понуждая сесть.

— Ты пришла по своей охоте?

— Я пришла, потому что этим зарабатываю на жизнь. Пропади она пропадом такая жизнь! Чего только не приходится терпеть и кого только! Вон тот, с крестом Калатравы, ударил меня шпагой, чтобы проверить, крепки ль у меня ляжки.

— Что ж, разве ты не по доброй воле этим занимаешься?

Мариана пожала плечами.

— Так мне на роду было написано, иначе и быть не могло. Выбора-то мне никто не давал.

— А чем бы ты хотела заняться, дай тебе выбор?

Лицо ее просветлело, но лишь на краткий миг.

— Торговать цветами в Триане.

— И если я подарю тебе денег, ты этим займешься?

— Куда там, для таких женщин, как я, сеньор, — либо смерть, либо в монахини, на покаяние. Другого люди не потерпят, вот что.

— Ты хочешь сказать, что ничего хорошего в твоем ремесле нет и из него один путь — в монастырь?

— Так и есть, сеньор.

— А как же наслаждение?

— Радость — для них. А ты — все равно что бревно, лишь бы вытерпеть.

По причине моей наивности и любопытства разговор наш затянулся. А тем временем случилось нечто, чего я не заметил. Я понравился этой продажной женщине. В каких-то сокровенных глубинах ее души затеплилась приязнь ко мне. А я все донимал ее вопросами, пытал о всяких глупостях, она же отвечала. Пока не вскочила вдруг со стула и не устроилась у меня на коленях.

Много позже мне довелось не единожды участвовать в сходных сценах, но уже подстроенных мною самим, разыгранных по моей воле, и теперь я могу легко вообразить, что случилось тогда с Марианой. Но в ту пору понятия о таких вещах я не имел. Тогда я словно оглох. Кровь прилила к голове, и рассудок мой помрачился — я покорился чужой воле. Но горячая волна шла не снаружи, губы Марианы подняли ее внутри меня. Я ощутил неодолимое желание соединиться с ней; не просто соединиться — слиться. Я вновь почувствовал то же томление, что и на реке, то же, что ощущал чуть раньше на балконе. Я мечтал раствориться в Мариане, а через нее — в окружающем мире, в том, что так тревожило меня, куда-то влекло, — воздух, луна, аромат цветов, музыка и ночной мрак. Я обнимал ее, и руки мои казались мне деревьями, чьи бесчисленные ветви прорастали в сокровенные пласты жизни. Каким ликованием вспыхнуло мое сердце при виде ее нагого тела! Словно тело это сделалось средоточием вселенной, словно тело Марианы было орудием Господа.

Едва прикрытая Мариана лежала рядом со мной, смежив глаза и приоткрыв губы. Она притихла и будто погрузилась в себя, к чему-то прислушиваясь. Еще недавно она вела меня за собой, и от каждой ее ласки тело мое пробуждалось — руки, ладони, щеки, — точно я долго проспал и Мариана выводила меня из глубокого забвения; а сам я в полном изумлении следил за процессом собственного пробуждения. Каждое новое содрогание становилось открытием, ибо плоть моя была мне неведома. Я и сам решился на робкие ласки и, касаясь пальцами ее лба, ее век, ее шеи, открывал для себя истину чужого тела — нежного, теплого, живого. Все, что обнаруживали мои пальцы, было иным и новым, чарующим и прельстительным. Выходило так, что видеть женщину и прикасаться к ней — не одно и то же. Женщина сразу становилась иной, трудно сказать, какой именно — хорошей, красивой или ужасной, — но иной. Пока я глядел на Мариану и чувствовал ее рядом, прежде чем рассудок мой затмился, в некий миг просветления я

понял, что искал в ее теле. И тотчас вспышка страха пронзила меня: этого нельзя было предугадать, никогда и никому не удалось описать это так, чтобы истинная суть сего мгновения вместилась в слова.

Наверно, в мире нет ничего другого, на что человек мог бы больше уповать и что несло бы ему большее разочарование. Сам я испытал это сполна: никогда не чувствовал себя больше самим собой — загнанным в клетку собственного тела, — чем в те высшие мгновения. Я сжимал в объятиях женщину, стонавшую от счастья, но от своего счастья, как я — от своего. Хлыст наслаждения загнал каждого внутрь себя же. Я не достиг бесконечного единения, коим грезил, и руки мои сжимали ее непостижимое тело. Мы были недоступны друг для друга и далеки друг от друга. К счастью, все быстро кончилось. Я почувствовал себя обманутым, я почувствовал грусть, внезапно мне захотелось пинками прогнать ее прочь. Я удержался, потому что она ни в чем не была виновата и потому что я был кабальеро.

Мариана мало-помалу пришла в себя, возвратилась из своего заповедного мне рая, прижалась ко мне и пылко заговорила. Прежде из ее уст вылетали только банальности. Теперь она сумела помочь мне воспрянуть духом и снова швырнула в бездну, заставив возжелать того, о чем мечтал я раньше, — сердце мое возжелало вечного, дух мой посягнул преодолеть положенные мне преграды и раствориться в Мариане. Я хотел почувствовать ее наслажденье и слить со своим; хотел, чтобы наши две крови сделались одной общей кровью. Это не было прихотью, этим питалась моя страсть, выплескиваясь наружу неукротимой стихией.

Меня снова постигло разочарование, но на сей раз я принял его покорно, даже кротко, может, потому, что поражение не было полным, ведь и разочарование тоже чем-то обогащало. Я шагнул к балкону. Ломоть большой луны плясал у горизонта, а с другой стороны над гладью реки занимался рассвет. Севилья спала во мраке. От земли поднимались сильные запахи. Я жадно вдохнул их, стремясь напитать ими кровь. Наверно, то был аромат земной души, но со всем тем душа эта оставалась для нас тайной.

Я сел верхом на край железной решетки и следил взглядом, как в тусклом свете окрест меня возрождалась жизнь: далекие и близкие предметы являли свои еще слепые и мерцающие очертания. Я оставался равнодушным к ним многие годы, а теперь — вот они предо мной, и они влекли меня к себе. Рассвет был дивен! Совсем как золотистое тело Марианы, затихшей, молчаливой, улыбающейся полуоткрытыми губами. Какая-то часть моей души раздумывала над вопросом: что есть тело женщины? И именно в сей части моей души запечатлелся той ночью огненный след тайны.

(Окончание следует)

ЮДЖИН О'НИЛ

Стихи

Перевод с английского В. РОГОВА

Имя Юджина О'Нила, основоположника американской драмы, давно приобрело мировую известность. Его пьесы «Косматая обезьяна», «Император Джонс», «Любовь под вязами», «Траур к лицу Электре», «Долгое путешествие в ночь», «Продавец льда грядет», да и другие, ставились и ставятся не только в Соединенных Штатах, но и по всему свету. В родной стране, где на долю О'Нила выпало немало превратностей судьбы, творческие достижения его были отмечены четырьмя Пулицеровскими премиями — случай исключительный. В 1936 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе.

Если лучшие пьесы О'Нила вошли в золотой фонд литературы XX века и признаны современной классикой, то о его поэтических опытах мало кто знает. Правда, и сам автор невысоко ценил свои стихи, однако по тем или иным причинам в разные периоды жизни испытывал потребность обратиться именно к поэтической форме высказывания. Более того, начиналась его литературная деятельность именно со стихов.

О'Нил писал их с 1907 года, задолго до того, как обратился к драматургии, о которой в то время он, видимо, даже не помышлял: его первый драматургический опыт датируется 1913 годом. Эти ранние стихи никогда не публиковались. По свидетельству исследователей, они очень несамостоятельны и отражают литературные пристрастия молодого О'Нила, увлекавшегося Бодлером, Оскаром Уайльдом, Ницше, Суинберном.

Первые опубликованные стихи О'Нила относятся к 1912 году, когда он стал сотрудником провинциальной газеты «Нью-Лондон телеграф». В этом издании за три с небольшим месяца он опубликовал около тридцати стихотворений. Стихи эти, как правило, юмористического характера и выдержаны в тех стихотворных формах, которые легко могли узнать читатели; нередко тексты эти имеют и прямые отсылки, например «С извинениями перед Бобби Бернсом». Среди его «адресатов» были Вийон, Киплинг, Лонгфелло и ряд других английских и американских поэтов, ныне забытых, но пользовавшихся популярностью в начале века. Чаще всего поводом к написанию таких текстов служили какие-то не очень значительные события, но встречаются и лирические зарисовки, в которых угадывается подлинный художественный темперамент, слышны отголоски раздумий о мире и о бытии. Примером может служить стихотворение «Звезды» (1915).

Вторая половина 10-х годов отмечена наивысшей социальной активностью О'Нила, считавшего себя анархистом. В это время он сближается с американскими радикалами, в том числе с Джоном Ридом, сотрудничает с радикальными изданиями. В его стихах усиливаются мотивы социальной критики, нарастают бунтарские настроения. Ими проникнуты лучшие его стихотворения раннего периода, до 20-х годов, когда О'Нил надолго расстался с поэтической формой, например «Революция» (1916) и «Субмарина» (1917).

Вновь О'Нил обратился к стихам лишь в начале 40-х годов и продолжал писать их до 1943 года, когда неизлечимая болезнь положила конец всем его литературным занятиям. Созданные им в это время стихи носят более интимный, исповедальный характер, и хотя в них чувствуется ирония, подчас граничащая с сарказмом, доминирует, однако, трагический настрой, определенно связанный с началом второй мировой войны. Эту глобальную катастрофу О'Нил переживал необычайно болезненно. Его мрачные размышления о судьбах человечества нашли отражение как в последних драматургических шедеврах, так и в стихах.

М. КОРЕНЕВА

© В. Рогов. Перевод, 1999
© М. Коренева. Вступление, 1999

Фрагменты

***

Я — тихий человек;
Очевидно,
Я жажду уединения,
Исступленно за ним гоняюсь
Даже в кабинетах врачей —
Жду, себя ощущаю старым,
Устарелым, словно журналы.
Говорю, удостоен Лицезрения:
«Ах, доктор, я болен».
«Вы?
(Добрая улыбка.)
Возможно, болен ваш мозг,
Или желудок,
Или почки,
Или нервы.
Да, я вижу: вы нервничаете,
Но в наши дни
Мы способны вылечить и рассудок.
Медицина прогрессирует.
Она дает рассудку ответы,
Которые, к несчастью, иные упрямцы
Принимают за вопросы».
«Ах, доктор, может быть, это —
Душа».
«Душа?
(Улыбка — все еще добрая,
Но с еле заметной
И плохо скрываемой снисходительностью.)
Ах, стало быть, это душа
Вас беспокоит?»
«Да, доктор, я ночью лежу
И не могу заснуть,
Испытываю мучения».
«Вот вам рецепт на
Безвредный барбитурат.
Многие страдают, как вы:
Дело в войне.
Каждый теперь нервничает».

Ухожу с таблетками.

***

Грязные
Кирпичи
Зданий!
Пожелтевшие
Осенние занавески!
Даже коты

Вопят,
Призывая свободу
На задворках.

Кальсоны
На веревках
Между
Пожарных лестниц
Теряют им присущее
Мимолетное
Очарование.

Ах, Любовь,
Неприличная,
Прекрасная,
До чего ж я по тебе тоскую!

***

Внушено газетной заметкой
об аресте старухи
по обвинению в пьянстве
(декабрь 1942 г.)

Пьяная?
Да, я была пьяная.
Теперь я, видите ли, старая.
Мне девяносто два года.
Стало быть, очень я старая,
Стало быть, знаете, очень я старая.

Помер мой муж
Давно — шестнадцать лет назад.
Видите ли, я его любила.

Долгие, долгие были годы.
И потому
Для провождения времени,
Для заполнения пустого, одинокого времени
Стала я пить.

А если много выпью,
Катаюсь на трамваях,
Днем и вечером,
Взад и вперед,
Никуда,
Просто для провождения времени.
Когда я устану
И озябну —
А вчера я очень озябла, —
То в парке завернусь в газеты
И сплю на скамейке.
Иногда
Я очень, очень зябну,

Однако не жалуюсь,
Потому что к холоду я привыкла,
Пока долгие, долгие годы
Ждала,
Убивала время
И стала слишком старой.

Звезды

Звезды катятся вниз
Над слепящими вспышками шрапнели,
Над развороченными полями
И развороченными телами,
Как мирный, забавный фейерверк,
Пущенный ради смеха
И удивленья детей.
Звезды катятся вниз —
Безвредные, добрые звезды.

Наверно, боги, пресыщенные
Кровопролитьем и вонью,
Справляют карнавал
И вовсю швыряются конфетти.

Субмарина

Моя душа — субмарина,
Мои стремленья — торпеды,
Я скроюсь, незримый,
В глубину бытия,
Подстерегая суда,
Скучные, тяжело нагруженные торговые суда,
Изъеденные ржавчиной, чумазые галеоны коммерции,
Идущие вразвалку с самонадеянностью ожиревших,
Настолько отупелые, что не в силах пугаться и удивляться;
Их провожают насмешки волн
И плевки презрительной пены.

Я уничтожу их,
Потому что море прекрасно.

Вот почему я таюсь
Угрожающе
В зеленых глубинах.

Революция

Тигр, тигр!
Какой ты красивый!
Какой ты на вид могучий!
Какой ты сонный!

Ты проверил решетки твоей клетки,
Нашел их слишком крепкими
И потому дремлешь?

Смотри, толпы
Наблюдают за тобой
Робкими, любопытствующими глазами!

Тигр, тигр!
Ты гордишься полосками —
Но ты вправду ли тигр
Или всего-навсего переросток,
Кот с помойки?

ЛИТературный гид

«Russkaya klassika»

Достоевский считал, что «Дон Кихот» Сервантеса сумеет послужить человечеству оправданием на Последнем суде. Не заглядывая так далеко, как это делал великий русский писатель, можно с большой долей уверенности утверждать: доведись народам мира сравнивать свои достижения за долгую историю цивилизации, классическая литература России — главная заслуга нашего отечества перед людским родом.

Русская светская культура, отстав от культур Европы на несколько столетий, начиная с XVIII века росла и мужала, словно царевич из сказки Пушкина — «не по дням, а по часам», «сдавая» пропущенные периоды художественного развития экстерном, — «...в начале XIX столетия был в России момент, когда величайший из ее художников, не «стилизуясь» и не подражая, а естественно и непроизвольно, единственно в силу внутренней необходимости возродил само Возрождение», — так писал о «Гавриилиаде» Владислав Ходасевич.

Превращение русской литературы всего за два-три поколения писателей из окраинной и провинциальной во властительницу дум — взлет действительно головокружительный. Без ложной скромности можно сказать, что русский золотой век вывел все человечество на качественно новый уровень эстетического, нравственного и философского самопознания.

И все человечество в долгу не осталось: тому подтверждение — множество переводов, исследований, философских работ, театральных инсценировок, позже — экранизаций: от серьезных, как, например, «Идиот» Акиры Куросавы, до пародийных, вроде «Любви и смерти» Вуди Аллена. Но прежде всего, конечно, сознательная и благородная литературная учеба у русских классиков — вот дань уважения зарубежных писателей нашему искусству и признание его ценности, не музейной, а насущной и животрепещущей поныне.

Предлагаемый «Литературный гид» посвящен отклику на русскую литературу в современной литературе зарубежной. Эта сотня-другая страниц, разумеется, никак не претендует на полноту ознакомления с темой. Перед читателем — скорее беглый и поневоле поверхностный обзор нынешней иностранной литературы применительно к интересующему нас предмету.

Некогда прозвучавший и звучащий до сих пор голос русской литературы породил под сводами мировой культуры эхо. Оно время от времени возвращается к нам; подчас изначальный звук почти неузнаваем — и все же. Прислушаемся.

ДЖ. М. КУТЗЕЕ

Осень в Петербурге

РОМАН

Перевод с английского С. ИЛЬИНА

1

Петербург

Октябрь 1869 года. По петербургской улице, лежащей невдалеке от Сенного рынка, медленно едут дрожки. Перед высоким доходным домом извозчик натягивает вожжи.

Сидящий в дрожках господин с сомнением оглядывает дом.

— Ты уверен, что это здесь? — спрашивает он.

— Шестьдесят третий нумер по Свечной, как приказывали-с.

Господин ступает на мостовую. Это человек на исходе средних лет, бородатый, сутулый; высокий лоб и густые брови сообщают ему выражение спокойное и сосредоточенное. На нем темный сюртук несколько старомодного покроя.

— Подожди меня,— говорит он извозчику.

За ободранными, облупившимися фасадами старых домов в окрестностях Сенной еще сохраняются остатки прежней изысканности, хоть большею частью дома эти вмещают теперь меблированные комнаты, сдаваемые мелким чиновникам, студентам и мастеровым. В проемах между домами выросли, местами стена в стену, кривоватые деревянные постройки этажа где в два, где в три — муравейники комнат, комнаток, комнатушек, в которых ютится самая жалкая беднота.

Такие вот строения и подпирают с обоих боков шестьдесят третий нумер, дом из старых. Паутина балок и подпорок пересекает посередке его фасад, отчего дом кажется взятым деревянными строениями в плен. Птицы понавили гнезд в изгибах его пилястров, запятнав пометом фасад.

Несколько ребятишек, забравшихся на подпорки, чтобы кидать оттуда камни в уличные лужи и затем, спрыгивая на мостовую, подбирать их, прерывают игру и разглядывают чужака. Трое из них, те, что поменьше, мальчики, четвертая, видимо главная, — девочка со светлыми волосами и замечательно темными глазами.

— Добрый вечер, — говорит он детям. — Не знает ли кто из вас, где проживает Анна Сергеевна Коленкина?

Мальчики не отвечают, смотрят насупленно, неприступно. Девочка же, поколебавшись, раскрывает, роняя камни, ладонь.

— Идемте, — говорит она.

На третьем этаже шестьдесят третьего нумера прямо с лестничной площадки открывается длинный проход. Следуя за девочкой, господин идет темным, кривым, пропахшим капустой и вареной говядиной коридором, мимо открытых дверей уборных, к двери закрытой, выкрашенной в серую краску. Девочка пинком растворяет ее.

© 1994 by J. M. Coetzee
© С. Ильин. Перевод, 1999

Они попадают в длинную, низкую комнату, с тусклым светом из единственного окна, пробитого в стене на высоте головы. Тяжелые, как бы парчовые обои на длинной стене словно усугубляют мрак. Женщина в черном встает, поворачиваясь к нему. Ей за тридцать, те же темные глаза и густые брови, что у девочки, только волосы черные.

— Простите, что вхожу к вам так, без доклада, — говорит он. — Мое имя... — он колеблется. — Сколько я знаю, сын мой был вашим жильцом.

Он извлекает из чемодана нечто, обернутое в белую салфетку, разворачивает. Это портрет мальчика, дагерротип в серебряной рамке.

— Здесь его можно узнать, — говорит он, не давая портрета ей в руки.

— Это Павел Александрович, мама, — шепчет девочка.

— Да, он снимал у нас комнату, — говорит женщина. — Мне очень жаль.

Наступает неловкое молчание.

— Он жил у нас с апреля, — продолжает она. — Вещи его так и остались в комнате, мы ничего не трогали, полиция только забрала кое-что. Желаете взглянуть?

— Да, — хрипло отвечает он. — Если сын вам задолжал, я, разумеется, заплачу.

В комнате сына, хоть это, в сущности говоря, клетушка, отгороженная от остальных жилых покоев, имеется собственный вход и глядящее на улицу окно. Кровать опрятно застлана; что до иной обстановки, она состоит из комода, стола с лампой и стула. В изножье кровати лежит чемодан с тиснеными инициалами П. А. И. Чемодан знакомый — он сам подарил его Павлу.

Он подходит к окну, выглядывает. Дрожки так и стоят на улице.

— Не окажешь ли любезность? — обращается он к девочке. — Скажи извозчику, пусть едет, и заплати ему.

Девочка берет у него деньги и уходит.

— Если вы не против, я хотел бы побыть здесь один, — говорит он женщине.

Дождавшись, пока она выйдет, он первым делом откидывает на постели покрывало. Простыни свежие. Он опускается на колени и зарывается в подушку лицом — нет, ничего, только запах мыла и солнца. Он выдвигает ящики комода один за другим. В ящиках пусто.

Он снимает с кровати чемодан. Поверх прочих вещей в нем лежит старательно сложенная белая сюртучная пара. Он прижимается к ней лбом. И наконец улавливает чуть слышный запах сына. Он впивает этот запах, думая: дух сына, войди в меня.

Придвинув к окну стул, он садится и сидит, глядя на улицу. Наступили сумерки, темнеет. Улица пустынна. Время тянется, мысли его остаются недвижными. *Думы* — вот самое верное слово, приходит ему в голову. Тяжесть в голове, тяжесть в глазах — точно свинец налили в душу.

Женщина, Анна Сергеевна, и дочь ее ужинают, сидя за столом против друг дружки, между ними стоит лампа. Когда он входит, обе замолкают.

— Вам известно, кто я? — спрашивает он.

Она поднимает на него взгляд, ожидая продолжения.

— Я хочу сказать, знаете ли вы, что я не Исаев?

— Да, Павел рассказал нам свою историю.

— Прошу вас, ужинайте, не обращайте на меня внимания. Вы позволите оставить пока чемодан у вас? Я заплачу до конца месяца. Собственно, я, с вашего разрешения, заплачу до конца ноября. Я хочу сохранить комнату за собой, если она никому не обещана.

Он протягивает ей деньги, двадцать рублей.

— Вы не станете возражать, если я буду по временам заходить к вам под вечер? Днем кто-нибудь дома бывает?

Она мнется. Обменивается взглядом с девочкой. Уже, подозревает он, появилась у нее задняя мысль. Конечно, лучше будет, если он заберет чемодан и больше у них не появится, тогда и о мертвом постояльце можно будет забыть, и комната освободится. К чему ей этот скорбный человек, словно бы источающий мрак? Ан поздно — деньги были предложены ей и ею приняты.

— Матреша после полудня дома, — негромко произносит она. — Я дам вам ключ. Только, я вас попрошу, проходите туда через отдельный вход. Дверь между комнатой жильца и нашей не запирается, но мы ею обычно не пользуемся.

— Прошу извинить. Я не подумал об этом.

Матрена. С час примерно он бродит по знакомым улицам Сенного околотка. Потом, перейдя Кокушкин мост, возвращается в трактир, где еще утром занял комнату, назвавшись Исаевым.

Голода он не испытывает. Не раздеваясь, ложится, скрещивает на груди руки и пытается заснуть. Но мысли его упрямо возвращаются в шестьдесят третий нумер, в комнату сына. Занавески раздернуты. Луна освещает постель. Вот он, стоит, трудно дыша, у двери, не отрывая глаз от стула в углу, ожидая, когда мрак сгустится, обратясь во мрак иного рода — мрак присутствия.

Он шепотом повторяет имя сына, стараясь заклясть его. Но кого — призрак, себя самого? На ум приходит Орфей, шаг за шагом отступающий пятясь, шепчущий имя умершей женщины, которую он выманивает из глубин ада; имя жены в погребальных одеждах, идущей, выставив перед собою, точно сомнамбула, вялые руки и не отрывая от него мертвых, невидящих глаз. Ни флейты, ни лиры, только слово, одно только слово, повторяемое раз за разом. Когда смерть разрешает от всех уз, остается лишь имя. Крещение: совокупление души с именем, которое она понесет с собой в вечность. Едва дыша, он снова складывает слоги: «Па-вел».

Голова начинает кружиться.

— Я сейчас пойду, — шепчет он или ему кажется, что шепчет. — Но я вернусь.

«Я вернусь» — обещание, данное им, когда он впервые отвез мальчика в школу. «Я тебя не брошу». И бросил.

Он засыпает. Во сне он летит вдоль долгого-долгого водопада в омут и отдается падению.

2

Кладбище

Они встречаются на переправе. Он раздражается, увидев в руках Матрены цветы. Цветы маленькие, белые, скромные. Были ль у Павла любимые цветы, он не знает, но розы, чего бы ни стоили они в октябре, алые, как кровь, розы — вот самое меньшее, чего заслуживает его сын.

— Я подумала, что мы сможем их посадить, — говорит женщина, словно прочитав его мысли. — Вот, и совок с собой взяла. Это лядвенец, он цветет поздно.

Действительно, видит он, корни цветов обернуты влажной тряпицей.

Маленький паром перевозит их на Елагин, которого он не посещал уже много лет. Две старухи в черном да они — вот и все пассажиры. День стоит холодный, мглистый. При их приближении по пристани принимается, поскуливая, метаться туда-сюда седой, искалеченный пес. Паромщик замахивается на него багром, и пес отбегает на безопасное расстояние. Собачий остров, думает он; не целые ли стаи их кроются между деревьев, ожидая, когда удалятся скорбящие, чтобы можно было разрыть еще мягкую землю?

В сторожку привратника заходит для наведения справок Анна Сергеевна, которую он все еще зовет про себя «квартирной хозяйкой», — сам он ожидает снаружи. Потом они долго идут по аллеям мертвых. Он начинает плакать. Почему именно сейчас? — думает он, сердясь на себя. И все же он, пожалуй, рад слезам, их мягкая пелена отделяет его от внешнего мира.

— Вот здесь, мама! — окликает Матрена.

Перед ними могильный холмик, один из многих холмиков с воткнутыми в них крестами из колышков, к которым прибиты дощечки с написанными краской номерами. Он пытается сосредоточиться на одном-единственном номере, на *его* номере, но, едва завидев эти семерки и четверки, ловит себя на мысли: «Никогда больше не стану ставить на семь».

Вот самая та минута, когда ему следует пасть на землю ниц. Но все происходит так вдруг и земляной холмик этот выглядит настолько чужим, что сердце его не отзывается никаким содроганием чувств. Да и не питает он доверия к череде безразличных рук, через которые прошло тело его сына, пока сам он был еще в Дрездене и ведать ни о чем не ведал, точно баран. Он не готов пока принять роковую связь юноши, продолжающего жить в его памяти, с именем на свидетельстве о смерти и с этим вот номером на дощечке. *Преходящие*, думает он: окончательных, верных номеров не бывает, все преходящие, иначе игра давно бы закончилась. А так, колесо крутится, номера приходят в движение, все снова будет хорошо.

Объемом и даже очертаниями холмик схож с лежащим навзничь телом. Он, собственно, и состоит не из чего иного, как из сырой земли, вытесненной деревянным ящиком с рослым молодым человеком внутри. Что-то такое есть в этом, чего он не способен додумать, что-то отталкивающее от себя. Мысль эту замещают саднящие воспоминания о том, чем он занимался в Дрездене, в то время как здесь, в Петербурге, бесчувственное тело тащили в морг, нумеровали, забивали в ящик, везли по городу, опускали в землю. Почему в дрезденском воздухе не явилось и тени предвестия? Или до́лжно погибнуть толпам, прежде чем небеса содрогнутся?

На одной из картин, вновь нахлынувших на него, — он сам в ванной комнате на Лерхенштрассе, подстригающий, глядя в зеркало, бороду. Мерцают латунные краны умывальника, лицо поглощенного делом человека в зеркале кажется лицом незнакомца из прошлого. Вот я и постарел, думает он. Приговор был уже вынесен, и отправленное мне письменное уведомление о нем все приближалось, переходя из рук в руки, да только я ничего о том не знал. «Радость жизни твоей позади», — вот что значилось в приговоре.

«Квартирная хозяйка» выкапывает маленькую лунку в изножье холмика.

— Позвольте, — говорит он, взмахивая рукой, и она отступает.

Расстегивая пальто, расстегивая сюртук, он опускается на колени и неловко клонится вперед, пока не ложится ничком на землю, вытянув руки над головой. Теперь он плачет безудержно, из носу у него течет. Он трется лицом о мокрую землю, зарываясь в нее.

Когда он поднимается, земля остается в его бороде, в бровях, в волосах. Девочка, на которую он не обращает внимания, изумленно глядит на него. Он отряхивает лицо, сморкается, застегивается. Что за жидовский спектакль! — думает он. Да пусть ее смотрит! Пусть видит, что человек не камень! Пусть знает, что нет у него предела!

Некая искра пролетает из его глаз в ее; она в замешательстве отворачивается, прижимается к матери. Назад, в гнездышко! Страшная злоба изливается из него на все живое, а всего пуще на живых детей. Если бы здесь случился сейчас новорожденный младенец, он вырвал бы его из материнских рук и размозжил голову его о камень. Ирод, думает он: как я понимаю Ирода! Да истребится всякий род!

Он поворачивается к ним спиной и уходит. Скоро, оказавшись за пределами новой части кладбища, он бродит между старых надгробий, средь давних мертвецов.

Когда он возвращается, цветы уже посажены.

— И кто станет за ними ухаживать? — угрюмо спрашивает он.

Женщина пожимает плечами. Не ей отвечать на этот вопрос. Теперь его черед, это он должен сказать: «Я буду приходить сюда каждый день», или: «Бог о них позаботится», или же: «Никто за ними ухаживать не станет, они погибнут, и пусть их гибнут».

Мелкие белые цветочки весело колышутся на ветру.

Он стискивает руку женщины.

— Его здесь нет, нет, — говорит он, и голос его ломается.

— Конечно нет, ведь он не умер, Федор Михайлович.

Тон ее будничен, ободряющ. Более того, в эту минуту она полна материнских чувств не только к дочери, но и к нему и к Павлу.

Руки у нее маленькие, пальцы тонки и кажутся детскими, но тело округлое. Нелепо — он рад был бы склонить голову к ней на грудь, ощутить эти пальцы в своих волосах.

Невинность рук, вечно рождающаяся заново. Мелькает воспоминание: прикосно-

венье руки, такое интимное в темноте. Но чьей? На свет дневной руки являются, как животные, без стыда, без воспоминаний.

— Я должен записать номер, — говорит он, избегая ее взгляда.

— У меня записан.

Откуда вдруг взялось вожделение? Острое, пылкое: ему хочется схватить эту женщину, заволочь ее за сторожку привратника, задрать ей подол и совокупиться с нею.

Он думает о том, как на поминках люди накидываются на еду и вино. В своем роде восторг, бахвальство пред лицом смерти: что, нас-то не получила!

Они возвращаются к пристани. Пес с опаской — за ними. Матрена хочет его приласкать, но мать ей запрещает. Что-то неладное с этим псом: по спине идут от хвоста открытые, воспаленные язвы. Время от времени пес тихо повизгивает или вдруг садится и вгрызается в струпья.

Завтра я ворочусь, обещает он, приду один, мы поговорим. В мысли о возвращении, о том, как он переправится через реку, отыщет дорогу к могиле сына и останется наедине с ним в тумане, таится глухое обещание приключения.

3

Павел

Он сидит в комнате сына, разложив на коленях белую пару, тихо дыша, стараясь освободиться от себя, стараясь вызвать дух сына, определенно еще не покинувший этих пределов.

Проходит время. Из смежной комнаты доносятся сквозь перегородку приглушенные голоса женщины и девочки, звуки, указывающие, что там накрывают на стол. Он откладывает сюртучную пару, легонько стукает в дверь. Голоса обрываются. Он входит.

— Я сейчас пойду, — говорит он.

— А мы, видите, ужинать садимся. Останьтесь, откушайте с нами.

Пищу она предлагает простую: суп, картошка с маслом и солью.

— Как вышло, что сын стал вашим жильцом? — спустя несколько времени спрашивает он. Он по-прежнему старательно называет покойного сыном, зная, что стоит ему попытаться произнести имя, как его затрясет.

Женщина мешкает с ответом, и он понимает почему. Она могла бы сказать: «Павел был приятный молодой человек, вот мы его и приняли». Но слово «был» мешает ей, оно словно валун поперек тропы. Она не может, глядя ему в лицо, и выговорить это голое слово — ищет окольных путей.

— Его рекомендовал прежний жилец, — произносит она наконец. Что ж, тоже выход.

Она поражает его своей сухостью, сухостью бабочкина крыла. Словно между кожей ее и нижней юбкой, между кожей и черными чулками, которые она, без сомнения, носит, лежит тонкий покров белого пепла, так что, если спустить ей платье с плеч, дальше оно уже само соскользнет на пол.

Он хотел бы увидеть ее обнаженной, эту женщину, в последнем цвету ее молодости.

Образованной ее, разумеется, не назовешь, и все же редко доводилось ему слышать столь чистую русскую речь. Словно птица бьется во рту: мягкие перья, мягкие взмахи крыльев.

В дочери нет и следа мягкой сухости матери. Напротив, в ней ощущается нечто текучее, нечто от юной лани, доверчивой, но пугливой, тянущейся, чтобы обнюхать незнакомую руку, и уже подобравшейся, чтоб отмахнуть в сторону. Как это вышло, что мать, столь темноволосая, породила такую белокурую дочь? И при всем том знаки родства их бросаются в глаза: маленькие, почти бесформенные пальчики, темные глаза, блестящие, как у византийских святых, чистые лепные очертания лба, даже общее выражение странной переменчивости.

Замечательна эта способность ребенка сообщать совершенство чертам, которые в родителе его начинают казаться слабой копией!

Девочка на миг поднимает глаза, встречается с его изучающим взглядом и в смущении отворачивается. Его охватывает гневный порыв, желание схватить ее за руку и с силой встряхнуть. «Смотри на меня, дитя! —- хочет выкрикнуть он. — Смотри и учись!»

Он роняет нож на пол. И с чувством благодарности сгибается, нащупывая его. Ему все кажется, будто с лица его содрана кожа, будто он против собственной воли принуждает своих собеседниц смотреть на жуткую кровоточащую маску.

Женщина вновь нарушает молчание:

— Матрена с Павлом Александровичем были большие друзья, — сдержанно, но твердо произносит она. — Он ведь учил тебя, верно?

— Да, по-французски и по-немецки. Больше по-французски.

Матрена: имя ей не подходит. Имя старухи, старушонки со сморщенным, точно слива, личиком.

— Я буду рад, если ты возьмешь себе что-нибудь из его вещей, — говорит он. — На память.

И снова девочка поднимает на него недоуменный взгляд, изучая его, как собака изучает незнакомца, вряд ли даже слыша, что он говорит. Что с ней такое? Ответ находится сразу: ей никак не удается представить меня отцом Павла. Она пытается разглядеть во мне Павла, да все никак не может. За этой мыслью приходит другая: для нее Павел еще не умер. Он продолжает жить в ней, дышать сладким дыханием юности. А моя чернота, это заросшее лицо, эта костлявость, должно быть, так же отвратительны ей, как сама старуха с косой. Смерть, с ее костлявыми бедрами, с зубами в полвершка, с коленками, лязгающими на ходу.

Ему не хочется рассказывать о сыне. Слушать рассказы о нем — да, но не рассказывать. Арифметически говоря, после смерти Павла прошло десять дней. И с каждым из этих дней воспоминания о нем — еще плывшие, быть может, по воздуху, точно осенние листья,— втаптывались в грязь или, подхваченные ветром, возносились в слепящие небеса. Только он один и желал собрать и сохранить их. Все остальные держались смертного чина: сначала скорбь, потом забвение. Сказано ведь: не будь забвения, мир быстро обратился бы в огромную библиотеку. Но даже мысль о том, что Павел будет забыт, приводит его в ярость, обращает в старого быка, гневливого, злого, опасного.

Ему хочется слушать рассказы о Павле. И девочка, точно случается чудо, приступает к такому рассказу.

— Павел Александрович, — она бросает взгляд на мать, ища подтверждения, что ей дозволено произносить это мертвое имя, — говорил, что пробудет в Петербурге еще недолго, а после уедет во Францию.

Девочка умолкает. Он раздраженно ждет продолжения.

— Почему ему так хотелось во Францию? — спрашивает она, обращаясь теперь к нему одному. — Что в ней такого, во Франции?

Во Франции?

— Ему хотелось не столько во Францию, сколько прочь из России, — говорит он. — Молодому человеку вообще свойственно гневаться на все, что его окружает. Гневаться и на отечество свое, потому что отечество кажется ему устарелым, отсталым. Новые идеи, новые мысли увлекают его. Он думает, что во Франции, или в Германии, или в Англии его ожидает будущее, которого собственная его страна не даст ему, потому что слишком глупа и безрадостна.

Девочка хмурится. Он говорит «Франция», «отечество», а она слышит нечто иное, нечто скрытое за словами — озлобление.

— Образование мой сын получил скудное, — говорит он, обращаясь уже не к дочери, а к матери. — Мне пришлось раз за разом переводить его из одной школы в другую. Причина тут простая: он не умел вставать поутру. Его невозможно было добудиться. Я, может статься, слишком уж напираю на это. Но и то сказать, не закончив в школе, в университет не поступишь.

И ведь нашел же о чем говорить в такое время! Тем не менее он, снова обращаясь к Матрене, продолжает:

— А французский язык его был далеко не хорош, да ты, верно, и сама это заметила. Быть может, он для того и хотел ехать во Францию — подучить французский.

— Он очень много читал, — говорит мать. — Случалось, что лампа у него так и горела всю ночь.

Голос ее остается негромким, ровным.

— Мы не возражали. Он был очень серьезный молодой человек. Мы обе любили Павла Александровича, не правда ли? — лицо ее, обращенное к дочери, освещает улыбка, которая кажется ему похожей на ласку.

Был. Вот и сказала.

Она сдвигает брови.

— Но вот чего я все-таки не понимаю...

Наступает неловкое молчание. Он не пытается его разрядить. Напротив, он ощетинивается, будто оберегающий своего детеныша волк. Остерегись, думает он, не подвергай себя опасности, не произноси ни слова ему в осуждение! Я — его мать и отец, я его всё и даже более всего! Он готов с громким криком броситься на защиту — но на защиту чего? И кто тот враг, которому он изготовился бросить вызов?

Из глубины его горла прорывается звук, которого он больше не в силах сдержать, — протяжный стон. Он закрывает руками лицо, слезы текут по пальцам.

Он слышит, как женщина встает из-за стола. Он ждет, что и девочка уйдет тоже, но она не уходит.

Погодя он вытирает глаза, сморкается.

— Прости, — говорит он девочке, по-прежнему сидящей напротив, склонив над тарелкой голову.

Он уходит в Павлушину комнату. Прости? Нет, правда в том, что никакой вины он за собою не знает. Напротив, его душит воспаленный гнев на всякого, кто остался жить после смерти его ребенка. И прежде всего на эту девчонку, которую он готов разорвать в куски за одну лишь кротость ее.

Он прилегает на кровать, складывает на груди руки, учащенно дышит, стараясь изгнать беса, который его одолевает. Он сознает, что походит больше всего на труп, что этот его так называемый бес, быть может, не что иное, как собственная его душа, впустую бьющая крыльями. Но в продолжающемся течении жизни ощущается в эту минуту нечто тошное. Лучше быть мертвым. Более того — уничтоженным, истребленным.

Что до жизни потусторонней, в нее он не верит. Он полагает, что вечность ему предстоит коротать на берегу какой-то реки, среди бесчисленного скопища других мертвых душ, ожидающих барки, которая не приплывет никогда. Воздух будет холодным, сырым, черные воды будут плескать о берег, одежды истлеют на нем и спадут к ногам, и сына он больше никогда не увидит.

На холодных перекрещенных на груди пальцах он сызнова пересчитывает дни. Десять. Стало быть, вот что ощущаешь по прошествии десяти дней.

Поэзия могла бы вернуть сына назад. В нем бродит чувство поэмы, которая смогла бы сделать это, ощущение музыки ее. Но он не поэт, скорее собака, потерявшая кость и теперь роющаяся в земле наугад, то там то сям.

Он ждет, когда под дверью погаснет свет, затем тихо покидает квартиру и возвращается в свое пристанище.

Ночью ему снится сон. Он плывет под водой. Синеватый, тусклый свет. Движется он плавно, поворачивает легко и изящно; шляпы на голове нет; в черном своем сюртуке он ощущает себя черепахой, огромной старой черепахой в ее прирожденной стихии. Вода над ним зыблется, но здесь, в глубине, все спокойно. Он плывет между пучков подводной травы, вялые щупальца водорослей поглаживают его плавники, хотя плавники ли это?

Он знает, что́ ищет. Плывя, он по временам открывает рот и испускает нечто подобное крику или призыву. При каждом из них рот заполняет вода, каждый произнесенный им слог заменяется слогом воды. Он все грузнеет, грузнеет, и в конце концов грудь его начинает взрывать донный ил.

Павел лежит на спине. Глаза его закрыты. Волнуемые течением волосы мягки, как у младенца.

Последний вопль, похожий скорее на лай, вырывается из черепашьего горла. Он устремляется к юноше. Он хочет поцеловать его лицо, но, приникая к губам сына, он уже не питает уверенности, что это поцелуй, а не укус.

Тут он просыпается.

Утро он, повинуясь старой привычке, проводит за столиком в своей комнате. Когда приходит, чтобы прибраться, служанка, он взмахом руки отсылает ее. Но на бумаге так и не возникает ни единого слова. Нет, это не паралич. Сердце его бьется ровно, ум ясен. Он готов в любой миг взять перо, и тогда бумагу покроют слова. И все-таки он боится, что написанное может оказаться твореньем безумца — отвратительным, непристойным, бешеным, и так страница за страницей. Он думает о безумии, струящемся по жилам его правой руки, стекающем на бумагу с кончиков его пальцев, с пера. Безумие льется ровным потоком, так что ему не приходится даже окунать перо в чернила, ни разу. То, что изливается на бумагу, это не кровь, не чернила, но нечто едкое, черное, отдающее на свету в противную прозелень. Оно не высыхает на странице, и если провести по нему пальцем, получишь ощущение сразу и жидкостное, и электрическое. *Так* написанное сможет прочесть и слепой.

После полудня он возвращается на Свечную, в комнату Павла. Он закрывает внутреннюю, ведущую в квартиру дверь, подпирает ее стулом. Затем расправляет на кровати белую пару. При дневном свете видно, как замызгались манжеты. Он внюхивается в подмышки — резкий запах, не ребенка — мужчины. Снова и снова втягивает он в себя этот запах. Сколько раз его можно будет вдохнуть, прежде чем он иссякнет? Если поместить сюртук в стеклянный ящик, удастся ли сохранить и запах тоже?

Он раздевается, облачается в костюм Павла. Сюртук великоват, да и брюки слишком длинны, и все же он не ощущает себя шутом.

Он ложится, складывает на груди руки. Поза театральна, но он готов повиноваться любому позыву, куда бы тот его ни привел. Хотя, в сущности, он ни в какие позывы не верит.

Ему представляется Петербург, широко раскинувшийся под низкими, безжалостными звездами. По небу расстелен свиток со словом, написанным древнееврейскими буквами. Он не может прочесть его, но знает, что в нем — осуждение, проклятие.

За сыном замкнулись врата, окованные семикратно железными полосами. Открыть их — вот труд, возложенный на него.

Мысли, чувства, видения. Верит ли он им? Они приходят из глубины его сердца, но разумных причин для доверия сердцу существует не больше, чем причин для доверия разуму.

Я отступаю, думает он, непонятно откуда, непонятно куда, и когда отступленье закончится, что останется от меня?

Он представляет себе, как возвращается назад, в яйцо, по крайности во что-то такое же гладкое, прохладное, серое. Нет, может быть, не яйцо: возможно, это душа, возможно, так вот душа-то и выглядит.

Что-то шуршит под кроватью. Мышь, что ли, отправилась по своим делам? Пусть ее. Он переворачивается на живот, натягивает белый сюртук на лицо, вдыхает запах.

С того дня, как пришло известие о смерти сына, что-то все угасает в нем, что-то, обозначаемое им словом «крепость». Это ведь я умер, думает он; или, вернее, я умер, а смерть моя где-то подзадержалась. Он чувствует, что тело его сохраняет силу, здоровье, что добровольно оно не сдастся. Грудь словно бочка с прочными скрепами. Сердце, еще долго способное биться. И тем не менее он вырван из времени человеческого. Поток, который нес его, продолжает движенье вперед, поток сохранил направление, даже цель, однако целью этой уже не является жизнь. Мертвый поток тащит его мертвыми водами.

Он засыпает. Просыпается он в темноте, посреди безмолвного мира. Зажигает спич-

ку, пытаясь собраться с разбредшимися мыслями. За полночь. Где же это он был?

Он забирается под покрывало и погружается в урывчатый сон. Поутру, направляясь в уборную, смрадный, всклокоченный, он сталкивается с Анной Сергеевной. На ней платочек, большие боты, ни дать ни взять торговка с рынка. Она глядит на него с изумлением.

— Я заснул, очень устал за день, — объясняет он.

Впрочем, причина ее изумленья не в этом. Причина в белом костюме, которого он так и не снял.

— Если не возражаете, я поживу до отъезда в комнате Павла, — продолжает он. — Всего несколько дней.

— Сейчас говорить об этом не время, — отвечает она. — Я спешу.

Ясно, что предложение ей не по душе. Она не дает согласия. Да только он заплатил, и тут уж она бессильна.

Это утро он проводит за столом в комнате Павла. Он уже не притворяется, будто занят сочинительством. Мысли его устремлены к смертной минуте Павла. И невыносимейшая среди них — мысль о том, что в последнюю, в малейшую долю последнего мига падения Павел отчетливо сознавал, что ему уже не спастись, что он погиб. Он хочет верить, что от этого сознания, более ужасного, чем даже сама гибель, Павла защитили стремительность, смятение полета, способность разума дурманить себя, защищаясь от всего, что в огромности своей невыносимо. Всем сердцем он жаждет уверовать в это. И в то же самое время понимает, что жаждет этой веры, дабы одурманить себя и защититься от сознания того, что Павел, падая, сознавал все.

В такие минуты он уже не отличает себя от Павла. Они сливаются в одного человека, и человек этот — ни больше ни меньше как мысль: Павел, мыслящий в нем, он, мыслящий в Павле. Мысль сохраняет Павла живым, заставляя его повиснуть в воздухе.

Вот от чего хочет он защитить своего сына — от знания, что тот мертв. Пока я живу, думает он, пусть я буду тем, кто знает! Каких бы движений воли это ни требовало, пусть именно я буду рассекающим воздух мыслящим существом.

Сидя с закрытыми глазами и стиснутыми кулаками за столом, он пытается оградить Павла от смертельного знания. Он воображает себя Тритоном с пьяцца Барберини в Риме, тем, что прижимает к губам раковину, из которой вечно бьет хрустальная струя. День и ночь он вдыхает жизнь в воду. Отлитые в бронзе жилы на шее его напряжены до звона.

4

Белая пара

Наступил ноябрь, лег первый снег. Небо наполнили стаи птиц, летящих на юг.

Он перебрался в комнату Павла и за несколько дней влился в жизнь этого дома. Дети больше не прерывают игр, чтобы оглядеть его, проходящего мимо, но голос все еще понижают. Они знают, кто он. А кто он? Неудачник, отец неудачника.

Каждый день он повторяет себе, что должен поехать на Елагин навестить могилу. Однако не едет.

Он пишет в Дрезден, к жене. Письмам его, полным заверений, недостает истинного чувства.

Утра он проводит в комнате, совершенно пустые утра, что, впрочем, понемногу начинает доставлять ему разлагающее, мертвящее удовольствие. После полудня он бродит по улицам, избегая близких к Мещанской и Вознесенскому проспекту мест, где его могут узнать, сидит по часу в чайной, всегда одной и той же.

В Дрездене он пристрастился к чтению русских газет. Но теперь интерес к наружному миру утрачен. Его мир сузился и целиком умещается у него в груди.

Чтобы не досаждать Анне Сергеевне, он возвращается на квартиру лишь после наступления сумерек. Пока его не зовут к ужину, он тихо сидит в комнате, принадлежащей и не принадлежащей ему.

Он сидит на кровати, разложив на коленях белую пару. Никто его здесь не видит. Ничто не переменилось. Он ощущает идущие от сердца его к сердцу сына нити любви так явственно, почти физически, как если б они свились в веревку, которую можно потрогать руками. Он чувствует, как эта веревка тянет и выкручивает его сердце. Он громко стонет. «Да!» — шепчет он, приветствуя боль, ему хочется, чтобы выкручивание длилось и дальше.

Дверь за его спиной отворяется. Сминая руками одежду Павла, он испуганно оборачивается, сгорбленный, безобразный, со слезами на глазах.

— Хотите поесть? — спрашивает девочка.

— Спасибо, я лучше побуду сегодня один.

Погодя она возвращается.

— Может быть, чаю? Я могу принести.

Она приносит чайник, сахарницу, чашку, торжественно расставленные по подносу.

— Это Павла Александровича костюм?

Он откладывает сюртучную пару в сторону, кивает.

Матрена стоит перед ним на расстоянии вытянутой руки, наблюдая, как он пьет чай. Его в который раз поражают чистые линии лба и скул, темные, влажные глаза, темные брови и белокурые, почти льняные волосы. Он ощущает прилив чувств противуположных, как будто две волны плещут одна о другую: потребность защитить эту девочку и потребность наотмашь ударить ее за то, что она жива.

Хорошо, что я прячусь, думает он. Такому, как сейчас, мне среди людей делать нечего.

Он ждет, когда Матрена что-нибудь скажет. Ему хочется услышать ее голос. Конечно, предъявлять требования к ребенку — поступок непозволительный, но он их все-таки предъявляет. Он поднимает на нее взгляд. Ничего прикровенного нет в этом взгляде. Полная обнаженность.

Ей удается выдержать этот взгляд один только миг, затем она отворачивается, неуверенно отступает, приседает в странном, неловком реверансе и выскакивает из комнаты.

Он сознает, даже с самого начала этого эпизода, что не забудет его и, быть может, когда-нибудь вставит, переиначив, в одну из своих книг. Нечто подобное стыду пронзает его — стыду, впрочем, поверхностному и недолгому. Сначала в сочинениях его, а там и в жизни стыд, похоже, утратил былую свою силу, сменившись пустым, безнравственным безволием, которого никакие крайности не страшат. Вот как если бы он видел краем глаза тучи, летящие на него с ужасающей скоростью грозовые тучи. Они способны смести все, что преградит им путь. И он испуганно, но тоже и возбужденно ждет, когда разразится гроза.

В одиннадцать по его часам он без предуведомления выходит из комнаты. Ниша, в которой спят Матрена с матерью, занавешена, но Анна Сергеевна еще не легла, она сидит за столом и что-то шьет при свете лампы. Он переходит комнату и садится напротив нее.

Ловкие пальцы, точные движения. В Сибири он выучился шить, нужда заставила, но не с таким плавным изяществом. В его пальцах игла выглядит диковиной, стрелою из Лилипутии.

— Свет, пожалуй что, слабоват для такой тонкой работы, — негромко произносит он.

Она наклоняет голову, как бы говоря: «Я слышу», но также: «Что ж тут поделаешь?»

— Матрена — единственное ваше дитя?

Она взглядывает ему прямо в лицо. Ему нравится эта прямота. Нравятся ее глаза, нимало не ласковые.

— У нее был братик, но он умер совсем маленьким.

— Значит, вы знаете.

— Нет, не знаю.

Что она хочет сказать? Что смерть младенца сносится легче? Она не объясняет.

— Если позволите, я куплю вам лампу посильнее. Грех так рано портить глаза.

Она снова кивает, словно отвечая: «Спасибо за участие, но я не стану ловить вас на слове».

Так рано: а *он* что хотел этим сказать?

Он уже несколько времени ясно сознает, что не станет удерживать слов, которые приходят следом:

— Меня мучает потребность поговорить о сыне, — произносит он, — а еще пуще — послушать, как о нем говорят.

— Он был милым юношей, — отзывается она. — Жаль, что я знала его так недолго. — И словно поняв, что этого мало: — Обычно он что-нибудь читал Матрене перед сном. А она так целый день ждала этого. Они очень нежно относились друг к дружке.

— А что они читали?

— Помнится, «Золотого петушка», Крылова. Заучивали французские стихи. Она и посейчас помнит одно-два стихотворения.

— Хорошо, что у вас в доме есть книги, — он поводит рукой в сторону полки, на которой стоит двадцать-тридцать томиков. — То есть хорошо для подрастающего ребенка.

— Муж был печатником. Работал в типографии. Он много читал, это был его отдых. Тут только часть его книг. Пока он был жив, в квартире, случалось, повернуться из-за них было негде. У нас просто нет места, чтобы держать столько книг. — И, нерешительно помолчав, она прибавляет: — У нас и ваша была. «Бедные люди». Муж ее очень любил.

Повисает молчание. Лампа начинает мигать. Женщина приворачивает фитиль, откладывает шитье. Дальние углы комнаты тонут во мраке.

— Мне как-то пришлось попросить Павла Александровича не собирать у себя друзей вечерами, — говорит она. — Теперь я жалею об этом. В тот раз мы никак не могли уснуть, они все разговаривали и пили до поздней ночи. Среди его друзей попадались люди довольно грубые.

— Да, в дружбе он был демократом. Умел разговаривать с простыми людьми о том, что им близко. Ведь простые люди жаждут новых идей. Он никогда не говорил с ними свысока.

— Как и с Матрешей.

Свет еще тускнеет, фитиль начинает чадить. Словесный бальзам, думает он, который втираешь в язву. Вот только хочу ли я исцелиться?

— Павел, — спешит продолжить он, — при всей его молодости, был человек положительный. Он размышлял о России, об обстоятельствах русской жизни. Его заботило многое из того, что важно для простого народа.

Долгая пауза. Дань, думает он, я отдаю дань, пусть недостаточную, пусть запоздалую, и домогаюсь подобной же дани от нее. Да почему бы и нет!

— Мне все не дают покоя ваши слова, позавчерашние, помните? — задумчиво произносит она. — Зачем вы вдруг стали рассказывать нам о необычайной сонливости Павла?

— Зачем? Затем, что, какой бы мелочью это теперь ни казалось, она-то и испортила ему жизнь. Оттого, что он подолгу спал по утрам, мне пришлось несколько раз забирать его из одной школы и отдавать в другую. Вот он и не получил аттестата. И в конце концов оказался здесь, в Петербурге, как-то прибился к студентам, с которыми истинно общего у него было мало и к которым он, в сущности говоря, не принадлежал. И причиной тут вовсе не лень его. Его просто невозможно было растормошить ничем — ни криком, ни тряской, ни угрозами, ни мольбами. Все равно что медведя будить, впавшего в спячку медведя!

— Это я понимаю. Есть дети, совсем не способные прижиться в школе. Но я, собственно, о другом хотела спросить. Простите мои слова, но, когда вы все это рассказывали, меня поразило, что вы, кажется, продолжаете сердиться на него.

— Как же мне не сердиться! Мать его умерла, когда ему было пятнадцать, не забывайте. Легко ли было растить сына одному? Или у меня дела другого не было, как уговаривать мальчишку вылезти из кровати? Если бы Павел закончил школу, как остальные, ничего бы этого не случилось.

— Этого?

Он раздраженно взмахивает рукой, словно отметая квартиру, Петербург и даже огромный темный полог ночи над ними.

Она глядит на него спокойно и твердо, и под взглядом ее он постепенно постигает смысл своих слов. Дрожь пронизывает его, начинаясь в правой руке. Он встает и, сцепив за спиною руки, принимается мерить шагами комнату. Нечто подступает к нему, нечто такое, чего он старается не определять. Он пытается заговорить, но голос звучит, точно у удавленника. Веду себя совершенно как персонаж из книги, думает он. Но и насмешка над собой не помогает. Он вжимает голову в плечи. И начинает беззвучно плакать.

Происходи все это в романе, женщина отозвалась бы на его горе приливом сострадания. *Эта* не отзывается. В мерцающем свете она сидит за столом с шитьем на коленях, отвернув в сторону лицо. Поздно уже, никто их не видит, девочка спит.

Чертово сердце! — говорит он себе. Чертова чувствительность! Не сердце его пробный камень и не чувства, бушующие в нем, но смерть и чувства мертвого мальчика!

И в этот миг его посещает яснейшее из видений: Павел, улыбающийся ему, его раздражительности, его слезам, его театральности и тому, что за нею кроется. В улыбке Павла нет презрения — напротив, дружелюбие и прощение. Он знает! — думает он. Знает и ничего не имеет против! Волна благодарности и восторга омывает его. Уж теперь-то определенно будет припадок — такова его следующая мысль, однако он оставляет ее без внимания. Уже не сдерживая слез, он ощупью добирается до стола, обхватывает руками голову и, мерно подвывая, дает волю своему горю.

Никто не гладит его по голове, никто не шепчет на ухо утешительных слов. Но когда он наконец поднимает, нащупывая платок, лицо, перед ним, внимательно вглядываясь, стоит Матрена. На ней белая ночная рубашка, расчесанные волосы лежат по плечам. Взгляд его невольно задерживается на ее едва припухлой груди. Он пытается улыбнуться ей, но выраженье ее не меняется. И она тоже знает, думает он. Знает, где правда, где притворство, или же хочет узнать, проникая в него взглядом.

Он собирается с мыслями. Глаза, застланные последними слезами, прикованы к девочке. В этот миг что-то проходит меж ними — что-то, от чего он дергается, точно пробитый каленым железом. Но мать обнимает ее за плечи, они обмениваются несколькими тихими словами, и девочка возвращается в постель.

5

Максимов

— Доброе утро. Я желал бы получить (он сам удивляется ровности своего тона) вещи моего сына. В прошлом месяце он стал жертвой несчастного случая, и кое-что из вещей его было взято полицией.

Он разворачивает расписку, протягивает ее через барьер. Расписка датирована днем смерти Павла или следующим — зависит от того, до или после полуночи испустил он дух; в ней обозначены просто «письма и иные бумаги».

Письмоводитель с сомнением оглядывает расписку.

— Октября 12-го. Это ведь меньше месяца тому. Дело еще не закрыто.

— Сколько же времени потребуется, чтобы его закрыть?

— Месяца два, может быть, а то и три. Оно от обстоятельств дела зависит.

— В этом деле нет никаких обстоятельств. Преступления совершено не было.

Держа расписку в вытянутой руке, письмоводитель покидает приемную. Возвращается он с выражением куда более серьезным.

— Фамилия ваша, сударь?..

— Исаев. Отец.

— Ну да, господин Исаев. Будьте столь любезны, присядьте, вами скоро займутся.

Сердце его падает. Он надеялся просто забрать имущество Павла и уйти отсюда. Меньше всего ему хотелось бы привлекать к себе внимание полиции.

— Долго я ждать не могу, — отрывисто сообщает он.

— Да-да, сударь, следователь по этому делу скоро вас примет. Вы присаживайтесь, располагайтесь поудобнее.

Он смотрит на часы, опускается на скамью и в притворном нетерпении оглядывается по сторонам. Час ранний, кроме него в приемной находится еще одно только лицо — молодой человек в покрытом пятнами балахоне маляра. Сидит это лицо прямо, словно аршин проглотило, и по видимости спит. Глаза закрыты, челюсть слегка отвисла, из горла истекает негромкий рокочущий звук.

Исаев. Тревога, охватившая его, не стихает. Не оставить ли ему эту глупую выдумку теперь же, пока он в ней не увяз? Но как объясниться? «Прошу меня извинить, сударь, произошла небольшая ошибка. Дело не совсем таково, каким кажется. Я, видите ли, не то чтобы Исаев. Настоящий Исаев, имя которого я принял по причинам характера частного, причинам, в кои я в эту минуту и в этом месте входить не желаю, — причинам, впрочем, более чем достойным, вполне достойным; настоящий, стало быть, Исаев, скончался тому назад несколько лет. Я же вырастил Павла Исаева как своего сына и люблю его, как если бы он был собственной моей плотью и кровью. Вот в этом смысле мы с ним носим одно имя или должны были бы носить. Немногие бумаги, оставшиеся после него, для меня драгоценны. Поэтому я к вам и пришел». Положим, он сделает это непрошеное признание и оно никаких подозрений не пробудит. Но что, если они намереваются с минуты на минуту вернуть ему бумаги, а выслушав его, пойдут на попятный? «Эге, это как же получается? Получается, что в деле имеются обстоятельства, нами не замеченные?»

Пока он сидит так в душной комнате с горящей в углу печкой, не зная, на что решиться — признаться ли или и дальше исполнять принятую роль, — извлекая то и дело часы и сердито на них поглядывая, стараясь походить на нетерпеливого поверенного в делах, его понемногу охватывает предчувствие припадка, и в то же время он сознает, что припадок был бы уловкой, да и самой детской к тому же уловкой, которая, впрочем, позволила бы ему выпутаться из теперешнего затруднительного положения, а между тем где-то пообок этой мысли ложится тень мучительного воспоминания: определенно он уже был здесь прежде, вот в этой самой приемной или в похожей, и был тоже припадок или обморок! Но отчего этот эпизод помнится ему так смутно? И какое имеет отношение к воспоминанию запах свежей краски?

— Нет, это слишком!

Восклицание его отзывается в комнате эхом. Дремлющий маляр подскакивает, письмоводитель смотрит в удивлении. Он старается скрыть свое замешательство:

— Я, собственно, о том, — говорит он уже не так громко, — что не могу больше ждать, у меня назначена важная встреча. Я вам, помнится, говорил.

Он встает, надевает пальто, но тут письмоводитель окликает его:

— Вас желает видеть советник Максимов, сударь.

В кабинете, куда его проводят, скамьи с высокой спинкой нет. Если не считать большого обитого клеенкой дивана, вся обстановка состоит из безликой казенной мебели. Советник Максимов, судебный следователь по делу Павла, лысый человек с расплывшейся бабьей фигурой, очень суетится, усаживая его поудобнее, затем открывает лежащее перед ним на столе пухлое дело и несколько времени читает, покачивая головой и негромко повторяя как бы про себя: «Грустная история... грустная».

Наконец он отрывает глаза от бумаг.

— Примите искреннейшие мои соболезнования, господин Исаев.

Исаев. Пора на что-то решиться!

— Благодарю вас. Я пришел просить о возвращении мне бумаг моего сына. Я понимаю, дело еще не закрыто, однако не вижу, какой интерес могут представлять частные бумаги для вашего департамента и что в них может быть важного для... для следствия.

— Да, разумеется, разумеется! Частные бумаги, как вы изволили выразиться. Однако скажите, что вы разумеете, в точности то есть, когда говорите «бумаги»? Что их, так сказать, образует?

Глаза Максимова отливают каким-то жидким водянистым блеском, ресницы белые, точно у кошки.

— Как же я могу вам сказать? Их забрали из комнаты моего сына, я их покамест не видел. Ну, письма, документы...

— Вы их покамест не видели, а между тем уверены, что интереса для нас они не представляют. Что ж, понимаю. Понимаю веру отца в то, что бумаги его сына есть дело частное или, по крайности, семейное. Разумеется! Тем не менее производится следствие — простая формальность, быть может, но, однако ж, возбужденное законным порядком, стало быть, от него так просто, прищелкнув пальцами, не отмахнешься, и бумаги эти суть часть следственного дела. Так что...

Он составляет кончики пальцев крышей, опускает голову и, по всей видимости, погружается в глубокие размышления. Когда он вновь поднимает лицо, улыбка на нем отсутствует, ее сменило выражение чрезвычайной решимости.

— Сдается мне, — говорит он, — да, сдается, я отыскал выход, который и нас удовлетворит, и вас устроит. Поскольку дело не закрыто — а по правде-то сказать, еще и не открыто толком, — вернуть вам бумаги как таковые я не могу. Однако я позволю вам просмотреть их. Потому что, тут нельзя не согласиться с вами, отнять их у семьи, переживающей такую трагедию, значит поступить не по совести, совсем не по совести.

Резким, пугающим жестом, точно игрок, выкладывающий карту, которая бьет все остальные, Максимов выхватывает из дела один-единственный листок и кладет его перед собеседником.

Это список фамилий, русских фамилий, написанных латинскими буквами, все начинаются на А.

— Здесь какая-то ошибка. Это писал не мой сын.

— Не ваш сын? Хм-м, — Максимов забирает листок назад, разглядывает его. — А нет ли у вас, господин Исаев, каких-либо мыслей относительно того, кто это мог написать?

— Рука мне незнакома, это не рука моего сына.

Максимов вытягивает из самого низа дела другой листок и подвигает его по столу.

— А это?

Этого ему и читать не нужно. Как глупо! — думает он. Голова вдруг начинает кружиться. Откуда-то издалека он слышит собственный голос, произносящий:

— Это письмо от меня. Я не Исаев. Я просто принял его имя...

Максимов помахивает ладошкой, отгоняя, будто муху, его слова, требуя, чтобы он замолчал, но он, совладав с головокружением, завершает свое объявление.

— Я принял это имя, чтобы не усложнять дела — иных причин не было. Павел Александрович Исаев — мой приемный сын, единственное дитя моей покойной жены. Однако для меня он — мой сын. Кроме меня, у него никого в мире не было.

Максимов берет из его ослабевших пальцев письмо, перечитывает. Это последнее, посланное из Дрездена письмо, письмо, в котором он корит Павла за чрезмерные траты. До чего унизительно сидеть здесь и смотреть, как это письмо читает человек посторонний! Унизительно было даже писать его! Но как может знать человек, *как он может знать,* какой именно день будет последним?

— «Твой любящий отец Федор Михайлович Достоевский», — бормочет следователь, поднимая на него взгляд. — Стало быть, вы, выражаясь со всей определенностью, отнюдь не Исаев, а Достоевский.

— Да. Это была уловка, ошибка, глупая, но безвредная, и я о ней сожалею.

— Понимаю. И тем не менее вы пришли сюда, выдавая себя — впрочем, так ли уж нужно нам прибегать к слову столь некрасивому? Хорошо, давайте покамест на краткий срок воспользуемся им за неимением лучшего, но, так сказать, с осторожностию, — выдавая себя за отца покойного Павла Александровича Исаева, с прошением вернуть вам принадлежавшую ему собственность, между тем как вы, по справедливости говоря, совсем не тот человек.

— Я уже сказал вам, это было ошибкой, о которой я горько сожалею. И все же покойный — *мой* сын, да и по закону я являюсь его назначенным должным порядком опекуном.

— Хм. Из бумаг видно, что при кончине пасынка вашего ему был двадцать один год, двадцать два без малого. Так что, строго говоря, судебное решение об опекунстве силу уже утратило. Человек двадцати двух лет сам себе господин, не правда ли? Вольная птица, с точки закона.

Насмешка окончательно выводит его из себя. Он встает.

— Я не для того пришел сюда, чтобы обсуждать с посторонним человеком дела моего сына, — звенящим голосом произносит он. — Если вам угодно держать эти бумаги у себя, так и скажите, я предприму другие шаги.

— Держать у себя? Разумеется, нет! Да вы сядьте, сударь, прошу вас, сядьте! Разумеется, нет! Совсем напротив, я только рад буду, коли вы их просмотрите, оно и вам на пользу пойдет, и нам тоже. Вы ведь нас можете на путь, так сказать, наставить, а мы это ценим, и высоко ценим. Давайте-ка вот с этих начнем.

Максимов раскладывает перед ним с полдюжины исписанных кругом листков — полный список имен, которого первую страницу, на «А», он уже видел.

— Стало быть, не вашего сына рука?

— Нет.

— Нет, это мы сами знаем. А чьей она может быть, никаких соображений не имеете?

— Рука мне незнакома.

— Это написано молодой женщиной, ныне пребывающей за границей. Имя ее значения не имеет, хотя, если я его назову, вы, пожалуй, удивитесь. Она состоит в друзьях и помощницах у господина по фамилии Нечаев, у Сергея Геннадиевича Нечаева. Это имя вам о чем-нибудь говорит?

— Лично я с Нечаевым не знаком и очень сомневаюсь в том, чтобы и сын мой водил с ним знакомство. Нечаев — заговорщик и бунтовщик, цели которого я полностью отвергаю.

— Вы говорите, что лично с ним незнакомы. И однако ж вы с ним встречались.

— Нет, не встречался. Я присутствовал на одном открытом конгрессе в Швейцарии, в Женеве, там выступали многие и Нечаев в их числе. Мы с ним находились в одном зале — к этому наше знакомство и сводится.

— Это когда же было?

— Осенью шестьдесят седьмого года. Конгресс был организован Лигой мира и свободы, как именуют себя эти люди. Я отправился туда не таясь, как русский патриот, из желания услышать, что могут сказать о России все стороны. То обстоятельство, что я выслушал речь этого молодого человека, Нечаева, вовсе не делает меня его сторонником. Напротив, я, позвольте повторить, отвергаю все, за что он ратует, о чем я и высказывался неоднократно, как публично, так и частным образом.

— Вы, стало, и счастье народа отвергаете? Разве Нечаев ратует не за счастье народа? Не за него борется?

— Я не понимаю смысла вопросов ваших. Нечаев ратует прежде всего и главным образом за насильственное уничтожение всех общественных институтов во имя принципа равенства — равного счастья для всех, а не получится счастья, так равного ничтожества. Как-то обосновать этот принцип он даже и не пытается. Он, как мне представляется, вообще отрицает всякого рода обоснования, почитая их за пустую трату времени, бесполезное умствование. Прошу вас, не ищите связей между Нечаевым и мной.

— Хорошо, выговор ваш я принимаю. Хоть я, должен прибавить, несколько удивлен — я не назвал бы вас таким уж ревнителем принципов. Но к делу, к делу. Перед вами лежит список имен — вам из них знакомы какие-нибудь?

— Некоторые знакомы. Но таких совсем немного.

— Это список людей, которых, как только будет подан сигнал, надлежит уничтожить именем «Народной расправы», а это, как вам, полагаю, известно, созданная Нечаевым подрывная организация. Убийства эти предположительно подстрекнут всеобщий бунт и приведут тем самым к ниспровержению государственной власти. Загляните в конец, там есть дополнение, в котором перечислены целые классы людей, подлежащие истребле-

нию после падения государства. Вся высшая судебная власть, все офицеры полиции, служащие Третьего отделения от капитана и выше. Список этот найден среди бумаг вашего сына.

Сообщив эти сведения, Максимов откинулся в кресле и дружески улыбнулся.

— И отсюда следует, что мой сын был убийцей?

— Нет, разумеется! Да и как бы он мог быть им, если никто еще не убит? Перед вами лежит, так сказать, черновик, умозрительный прожект. По правде говоря, мое мнение — мнение частного то есть лица — таково, что любой молодой человек, за что-то разобидевшийся на общество, способен был бы состряпать подобный же список, потратив на это занятие не более одного вечера, — из желания, быть может, покрасоваться перед весьма юной особой, которой он его надиктовал, выказать перед нею свою власть над жизнью и смертью, власть вполне фантастическую. Тем не менее покушение, заговор с целью покушения, угрозы в адрес официальных лиц — это все дела серьезные, вы не находите?

— Весьма серьезные. Ваш долг совершенно ясен, и в советах моих вы не нуждаетесь. Если Нечаев когда-нибудь возвратится на родину, вы обязаны арестовать его. А сын мой — что вы с ним можете сделать? Арестовать и его?

— Хе-хе! Шутить изволите, Федор Михайлович! Нет, арестовать его мы не можем, даже ежели бы и захотели, поскольку он удалился теперь в лучший мир. Однако кое-что он в этом оставил и нам. Бумаги, и в количествах гораздо больших, чем вправе себе позволить любой уважающий себя заговорщик. Остались также кое-какие вопросы. Такой, к примеру: почему он лишил себя жизни? Позвольте мне вас спросить, что вы об этом предмете думаете: почему он лишил себя жизни?

Комната плывет перед его глазами.

— Мой сын не лишал себя жизни, — шепчет он. — Вы ничего в нем не поняли.

— Разумеется, нет! Ни в пасынке вашем, ни в превратностях жизни его я ничегошеньки не понимаю и понять не претендую. Что я надеюсь понять, в смысле существенном, в следовательском то есть смысле, так это причины, приведшие его к смерти. Скажем, угрожал ли ему кто-нибудь? Быть может, кто-то из сообщников пригрозил, что выдаст его? Или боязнь последствий до того его умучила, что он наложил на себя руки? А может быть, он этого и не делал вовсе? Не исключено ведь, что по причинам, о коих мы пока не осведомлены, его сочли изменником делу «Народной расправы» и убили столь решительно неприятным способом? Вот какие вопросы у меня в голове-то вертятся. Я оттого и ухватился за приятную возможность побеседовать с вами, Федор Михайлович. Ведь если вы его не знаете, вы, его приемный отец и давнишний попечитель, в отсутствие настоящих-то родителей, то кто же тогда?

Ну-с, и потом, имеется еще вопрос о пьянстве его. Всегда ли он пил помногу или пристрастился недавно, не выдержав гнета, так сказать, заговорщицкой жизни?

— Не понимаю. О каком пьянстве вы говорите?

— Да ведь он в ночь своей смерти очень много выпил. Вы не знали?

Он немо качает головой.

— Да, Федор Михайлович, я вижу, вы многого не знаете. Давайте говорить начистоту. Я, как услышал, что вы явились требовать бумаги пасынка вашего, в самое, можно сказать, логово льва вступили, так и уверовал, или почти уверовал, что у вас и подозрений даже о чем-либо неподобающем не имеется. Потому что, знай вы о связи между вашим пасынком и нечаевской шайкой, вы бы уж точно к нам не пришли. А когда бы и пришли, то, по крайней-то мере, с самого начала определенно бы и объявили, что вам только переписка между вами и пасынком нужна, более ничего-с. Вы понимаете?

— Да...

— Ну-с, а поскольку письма от пасынка вашего и так уже у вас, стало быть, нужны вам только письма, вами писанные. Но почему же...

— Письма, да, письма и все прочие бумаги частного характера. Ведь сына моего вы все равно теперь преследовать не в состоянии.

— Ваша правда... Такая трагедия... Но вот о бумагах этих, «частного», как вы изволили выразиться, характера. Сдается мне, в нынешних обстоятельствах уж и не понять, что это, собственно, такое означает — «частного характера». Разумеется, мертвых должно уважать, и права вашего пасынка, которых сам он уже отстоять не может, нам теперь защищать надлежит — в настоящем случае право на частную жизнь. Каждый из нас, пожалуй, поежился бы, представив, как после кончины нашей некто, нимало нам не знакомый, принимается копаться в наших пожитках, ящики в столе выдвигать, ломать печати, читать интимные письма. С другой же стороны, в некоторых случаях мы, пожалуй, и предпочли бы, чтобы службу эту, неприятную, но необходимую, сослужил бы нам человек посторонний и никакого интереса к нам не питающий. Легко ли помыслить, что самые потаенные наши делишки вылезут на свет божий, когда чувства близких наших еще растревожены, и предстанут во всей их красе перед ничего не подозревавшей женой, или дочерью, или сестрой? В некоторых отношениях оно и лучше было бы, если б ими занялся человек сторонний, которого мы оскорбить не можем и потому, что мы для него звук пустой, и потому, что он, по роду занятий своих, с оскорблениями обвыкся.

Все это, разумеется, праздный в некотором смысле разговор, потому как в окончательном-то итоге распоряжается закон, закон наследования: тот, кому надлежит наследовать имущество, тот и получает и частные бумаги, и все прочее. А ежели человек умирает, о наследнике не распорядившись, тогда в силу вступает кровное родство, и уж оно определяет все, что определить надлежит.

Стало быть, семейные письма, как мы с вами согласились, это бумаги частные и потому обращения требуют самого осмотрительного. Иное дело, что заграничную переписку да еще и переписку характера подстрекательского — тот же список людей, намеченных для убийства, — частными бумагами никак уж не назовешь. Но вот, однако... минуточку-с... вот случай совсем уж прелюбопытнейший.

Он принимается перебирать в деле какие-то листки, неприятно барабаня пальцами по столу.

— Прелюбопытнейший случай, прелюбопытнейший, — бормочет он, перебирая бумаги, и вдруг объявляет: — Рассказец-с! Как нам с рассказом прикажете поступить, с плодом, так сказать, литературной фантазии? Частное это дело или не частное, рассказец-то, как оно, по-вашему?

— Да, уж конечно, частное, и даже до чрезвычайности, — частное дело автора, пока сочинение его не станет достоянием публики.

Максимов бросает на него лукавый взгляд и подталкивает через стол то, что перед этим просматривал. Это школьная, с линованными листами тетрадь. Он с первого взгляда узнает клонящийся почерк, длинные завитки и тире. «В девственной снежной пустыне...» — читает он и сразу испытывает желание переправить эту избитую фразу. Что-то о человеке, бредущем под открытым небом, о холоде. Покачав головой, он закрывает тетрадку.

Максимов тянется и мягко отнимает ее. Полистав, он находит нужное ему место и вторично подвигает тетрадь через стол.

— Прочтите отсюда, — говорит он, — всего страницу-другую. Наш герой — молодой человек, осужденный за участие в противоправительственном заговоре и сосланный в Сибирь. Из каторги он бежит и в дальнейшем попадает в дом некоего помещика, там его прячет и кормит молодая крестьянка, кухонная прислуга. Как-то вечером помещик, этакий, знаете, вульгарный сластолюбец, принимается грубо за нею ухаживать. Вот это-то место я и прошу вас прочесть.

Он снова качает головой.

Максимов тянет тетрадку к себе.

— Зрелище становится для молодого человека невыносимым, он покидает свое укрытие и вмешивается в происходящее.

Максимов начинает читать вслух.

— «Карамзин» — это помещик — «повернулся к нему и прошипел: "Ты кто таков

есть? Что здесь делаешь?“ Тут он разглядел серую куртку и разбитые ножные кандалы. ”А, ты из этих! — воскликнул он. — Так я же с тобой управлюсь!“ Он вскочил и повалил прочь из комнаты». Хорошее словцо нашел, «повалил», мне нравится. Помещик у него изображен человеком с бульдожьей физиономией, этакий скот с волосатыми ушами и короткими, жирными ножками. Неудивительно, что юный герой наш оскорбился: уродливая старость тянет лапы к девственной красоте! Он хватает стоящий за печью топор. «Со всей силой, содрагаясь от отвращения, он опустил топор на бледный череп старика. Колени Карамзина подломились. Громко, точно животное, всхрапнув, он рухнул лицом на выскобленный кухонный пол, широко раскинув руки с подергивающимися пальцами, и затих. Сергей» — таково имя нашего героя — «стоял, точно прикованный к месту, с окровавленным топором в руке, неспособный поверить в то, что он совершил. Но Марфа» — а это, стало быть, героиня — «с присутствием духа, для него неожиданным, схватила мокрую тряпку и подсунула ее под затылок убитого, чтобы не растекалась кровь». Недурственная реалистическая черта, вы не находите?

Далее идут все больше обрывки, я их читать не стану. Вероятно, после устранения непристойного Карамзина вдохновение автора стало иссякать. Сергей с Марфой выволакивают тело и спускают его в заброшенный колодец. Затем они уходят вдвоем в ночь — «полные решимости», так прямо и сказано. Не вполне понятно, намереваются ли они удариться в бега или нет. Позвольте, однако ж, упомянуть последнюю частность. Топора Сергей не бросает. Напротив, берет с собой. Для чего? — спрашивает Марфа. Ответ его я вам процитирую. «Для того, что это оружие русского народа, орудие нашей защиты и нашей мести». Окровавленный топор, народная месть — намек, кажется, такой, что яснее и некуда, не правда ли?

Он изумленно глядит на Максимова.

— Ушам своим не верю, — шепчет он. — Так вы и вправду намереваетесь построить на этом доказательства виновности моего сына — на рассказике, на фантазии, записанной им в уединении его комнаты?

— Да что вы, батюшка, Федор Михайлович, опять вы меня не поняли! — Максимов, с показным огорчением покачивая головой, откидывается в кресле. — Мы и в мыслях не имели преследовать (если воспользоваться выражением вашим) вашего пасынка. Его-то дело закрыто, в том то есть смысле, который один только и существенен. Я прочитал вам эту фантазию, как вы о ней отнестись изволили, с тем лишь, чтобы показать, какое влияние на него имели нечаевцы, и без того уж сбившие с пути бог весть сколько впечатлительных и легковерных молодых людей, особливо здесь, в Петербурге, и ведь многие из хороших фамилий происходят. Сущая моровая язва эта нечаевщина, эпидемия, я бы так сказал. Эпидемия или, может статься, мода.

— Только не мода. То, что вы зовете нечаевщиной, всегда существовало в России, разве под другими именами. Нечаевщина — явление такое же русское, как разбой. Но я пришел сюда не для того, чтобы рассуждать о нечаевцах. Я пришел ради простого дела — забрать бумаги сына. Могу я их получить? А если нет, могу ли удалиться?

— Удалиться вы, натурально, можете, вы человек свободный. Пожили за границей, вернулись с подложным именем в Россию. Что у вас там значится в паспорте, я и спрашивать не желаю. Вы вольны удалиться, вольны вполне. Если кредиторы ваши обнаружат, что вы в Петербурге, то, разумеется, и они совершенно вольны принять свои меры. Меня это все не касается, это ваши с ними дела. Повторяю, вы можете покинуть присутствие. Однако должен вас предуведомить: положительно обещать, что стану содействовать вам в обмане, я не могу. Это, надеюсь, понятно.

— В настоящую минуту деньги меня волнуют меньше всего. Если меня примутся донимать из-за старых долгов, значит, так тому и быть.

— Э, полноте, вы пережили потерю, настрадались, так и думаете, что вам теперь все равно. Понимаю, вполне понимаю. Да только у вас ведь жена и ребенок, им-то как без вас прожить? Хоть ради них не сдавайтесь судьбе на милость. Что до просьбы вашей касательно бумаг этих, с сожалением должен сказать, что выдать их вам пока не могу. Они

образуют часть полицейского дела, касающегося связей пасынка вашего с нечаевцами.

— Очень хорошо. Но прежде чем я уйду, не позволите ли мне поступить вопреки моим же словам и сказать вам о нечаевцах нечто для вас неожиданное? Потому что я, по крайней мере, видел и слышал самого Нечаева, чем вы — поправьте меня, коли я ошибаюсь, — похвалиться не можете.

Максимов вопросительно вскидывает голову.

— Продолжайте, прошу вас.

— Нечаев — дело вовсе не полицейское. В сущности говоря, Нечаев вообще не дело властей, во всяком случае властей мирских.

— Продолжайте, продолжайте.

— Вы можете выследить Сергея Нечаева и упрятать его в тюрьму, но нечаевщины вы этим не уничтожите.

— Согласен. Согласен с вами совершенно. Нечаевщина — мысль, в нашей стране весьма распространившаяся. Он сам — лишь телесное ее воплощение. И уничтожить ее не удастся, пока не наступят иные времена. Наша же цель поскромнее и попрактичнее — уяснить, насколько широко мысль эта разошлась, и там, где она укоренилась, не позволить ей претвориться в деяния.

— Вы меня все же не поняли. Нечаевщина — не мысль. Она отрицает мысль и пребывает за пределами ее. Это дух, и сам Нечаев не воплощение его, а вместилище или, вернее, человек, этим духом одержимый.

Выражение максимовского лица остается непроницаемым. Он делает еще одну пробу.

— Когда я встретил в Женеве Сергея Геннадиевича Нечаева, он поразил меня как невзрачный, угрюмый, откровенно заурядный молодой человек посредственного ума. Не думаю, чтобы это первое мое впечатление было ошибочным. Но вот в эту-то невзрачную оболочку и вошел некий дух. Впрочем, и в самом духе замечательного мало. Тупой, обидчивый, кровожадный. Почему он предпочел вселиться именно в этого молодого человека? Не знаю. Быть может, потому, что счел оболочку удобной, потому, что ее легко покидать и легко в нее возвращаться. Однако как раз оттого, что в Нечаеве сидит этот дух, сам Нечаев и приобретает последователей. Их привлекает дух, не человек.

— И как этот дух зовется, Федор Михайлович?

Он пытается зримо представить себе Сергея Нечаева, но видит лишь воловью голову — остекленелые глаза, вывалившийся язык, череп, расколотый топором мясника. И тучу мух. Имя приходит к нему, и он в тот же миг произносит его:

— Ваал.

— Любопытно. Метафора, надо думать, и не весьма к тому же внятная. Ваал. Вынужден, однако ж, задать себе вопрос: будет ли какой-нибудь толк от этих разговоров о духах, об одержимости духами? Будет ли толк даже от разговоров о мыслях, расходящихся по стране, точно у них руки и ноги имеются? Чем они помогут нам в наших заботах? Чем помогут России? Вы говорите, что нам не следует сажать Нечаева под замок, поскольку он-де бесом одержим (не назвать ли нам его «бесом»? В «духе», с дозволения вашего, присутствует нота отчасти фальшивая). Но как же нам-то при такой оказии поступать? Мы ведь, если на то пошло, не орден мистических созерцателей, мы — следственная часть.

Наступает молчание.

— Я ничуть не желаю отмахиваться от сказанного вами, — вновь нарушает тишину Максимов. — Вы человек, одаренный способностью к особливым озарениям, я это знал и до знакомства с вами. А эти дети-заговорщики определенно и в сравнение ни в какое не идут со своими предшественниками. Они себя едва ли не бессмертными почитают. И с этой точки, они действительно похожи на драчливых бесов. Да и безжалостных к тому же. Это у них, так сказать, в крови — желать нам зла, нашему то есть поколению. Они с этим желанием на свет родились. Нелегко быть отцом, не правда ли? Я и сам отец, но у меня, по счастью, дочери. А иметь в наш век сыновей — слуга покорный. Впрочем, и с

вашим отцом, кажется... там ведь, кажется, какая-то неприятность вышла с вашим отцом, или меня память подводит?

Из-под приопущенных белых ресниц Максимов бросает на него острый взгляд и, не дожидаясь ответа, продолжает:

— Вот я и гадаю, так ли уж, в последнем-то счете, много в Нечаеве от помраченного духа, как вы, сдается мне, изволите утверждать? Быть может, дело сводится все же к вековечной нашей распре отцов и детей, которая только стала в нынешнем поколении более ожесточенной и непримиримой. А в этом случае самые простые средства, возможно, будут и самыми разумными: следует просто скрепиться и ждать, когда они повзрослеют. В конце концов, были же у нас декабристы, были люди сорок девятого года. Декабристы, те, что еще живы, теперь старики, и я уверен, какие бы бесы их ни смущали, все давно уже расточились. Или вот тот же Петрашевский со товарищи, что вы о них думаете? И их тоже бес попутал?

Петрашевский! Для чего он помянул Петрашевского?

— Не могу согласиться с вами. То, что вы называете феноменом Нечаева, обладает особой окраской. Нечаев — человек кровавый. А люди, которых вы удостоили воспоминания, были идеалистами. Они потерпели поражение, потому что, к чести их, не имели достаточной наклонности к интригам и уж к крови определенно не тяготели. Петрашевский — раз уж вы упомянули о Петрашевском — с самого начала отверг иезуитство того рода, что оправдывает средства целью. Нечаев же иезуит, светский иезуит, совершенно открыто провозглашающий доктрину цели, оправдывающей самое циническое злоупотребление энергией его приверженцев.

— В таком случае я чего-то не понимаю. Объясните мне сызнова: отчего мечтателей, поэтов, образованных молодых людей, подобных вашему пасынку, притягивают разбойники вроде Нечаева? Потому как, по вашему-то описанию, что же получается? Нечаев всего-навсего разбойник, едва-едва нахватавшийся вершков образования?

— Не знаю. Возможно, оттого, что в молодежи присутствует нечто, еще не уснувшее, и именно то, к чему взывает дух, обуявший Нечаева. Возможно, оно и во всех нас присутствует, что-то такое, что мы почитаем умершим много столетий назад, а оно не умерло, оно только спит. Я повторяю: не знаю. Я не способен объяснить связь моего сына с Нечаевым. Для меня она неожиданна. Я пришел к вам только затем, чтобы забрать бумаги Павла, составляющие для меня ценность, которой вы уразуметь не сможете. Только бумаги, ничего больше. И я спрашиваю вас сызнова: вернете вы мне эти бумаги? Для вас они бесполезны. Вы ничего из них не узнаете о том, почему образованные молодые люди подпадают под влияние горстки преступников. И вам, именно вам, они скажут меньше, чем кому бы то ни было, потому что вы определенно не знаете, как их читать. Позвольте уж мне сказать: все то время, пока вы читали мне рассказ сына, я видел, что вы стараетесь от него отстраниться, отгораживаетесь насмешкой, точно боитесь, что слова выскочат из страницы, набросятся на вас и станут душить.

Произнося эти слова, он чувствует, как в нем разгорается некий огонь, ему приятный. Он принаклоняется к Максимову, вцепившись в подлокотники кресла.

— Что вас так сильно пугает, господин Максимов? Когда вы читаете о Карамзине или Карамазове — как бишь его? — о том, как треснул, точно яйцо, бледный череп Карамзина, что происходит с вами — страдаете вы вместе с ним или втайне восторгаетесь рукой, взмахнувшей топором? Не отвечаете? Ну так я вам скажу: настоящее чтение в том-то и состоит, чтобы становиться и рукой, и топором, и черепом. Читать — значит забывать о себе, а не стоять в сторонке, посмеиваясь. Спроси я вас об этом прямо, вы, верно, ответили бы, что охотитесь за Нечаевым для того, чтобы предать его суду с соблюдением положенных формальностей, с защитой и обвинением и прочим, а там и запереть до скончания его дней в чистой и светлой камере. Но загляните-ка в себя, этого ли вы хотите на самом деле? Не подмывает ли вас попросту снести ему голову и потоптаться в его крови?

Раскрасневшийся, он откидывается на спинку кресла.

— Вы человек чрезвычайно умный, Федор Михайлович, и однако ж говорите о чтении так, словно в вас в самих бес вселился. Боюсь, по таким меркам читатель из меня и впрямь никудышный — туповатый и воспарить не способный. Однако при всем том я, слушая вас, поневоле начал гадать, не в лихорадке ли вы часом. Если бы вы сейчас увидели себя в зеркале, вы, наверно, поняли бы, что я имею в виду. Ну-с, разговор у нас получился долгий, любопытный, но долгий, а у меня между тем множество дел, и дел неотложных.

— Говорю вам еще раз: бумаги, которые вы столь ревностно удерживаете, скажут вам не больше, чем если б они были написаны по-арамейски. Верните их мне!

Максимов хмыкает.

— Вы сами снабдили меня наисерьезнейшей и благороднейшей из причин, по которой возвращать их вам, Федор Михайлович, ну никак уж не следует, и именно той, что при нынешнем вашем душевном состоянии Нечаев может выскочить из страницы и овладеть вами полностью. Однако серьезно: вы говорите, что знаете, как их читать. Не согласились бы вы когда-нибудь в будущем прочесть для меня все эти бумаги, все нечаевские документы? Тут ведь только одно дело, а их многое множество.

— Прочесть их для вас?

— Да. Прочесть их для меня.

— Зачем?

— Да затем, что вы вот говорите, будто я читать не умею. Ну так покажите мне, как это делается. Научите меня. Растолкуйте мне эти мысли, которые вовсе не мысли.

В первый раз с того дня, как в Дрезден пришла телеграмма, на него нападает смех, он даже чувствует боль в отвыкших от улыбки, застывших складках своего лица. Впрочем, смех его резок и безрадостен.

— Мне всегда твердили, — произносит он наконец, — что полиция — это глаза и уши общества. И вот вы призываете на помощь меня! Нет, не стану я вам читать.

Сложив ладошки на лоне, прикрыв глаза, приобретя еще пущее сходство с Буддой, лишенным пола и возраста, Максимов кивает.

— Благодарствуйте, — мурлычет он. — Не смею долее задерживать.

Он выходит в заполненную людьми приемную. Как много времени провел он наедине с Максимовым? Час? Больше? На скамье не осталось свободного места, люди стоят, прислонясь к стенам, стоят в коридоре, где особенно удушающе пахнет свежей краской. Разговоры мгновенно смолкают, все взгляды обращаются к нему, лишенные малейшего расположения взгляды. Сколько людей ищет справедливости, и ведь у каждого есть что рассказать!

Уже почти полдень. Мысль о том, чтобы вернуться к себе в комнату, кажется ему непереносимой. Он направляется по Садовой на восток. Небо низкое, серое, дует холодный ветер, ноги скользят на покрывшей землю наледи. Пасмурный день, в такой только и плестись, свесив голову, по улице. И все же он не может удержаться, глаза его беспокойно перебегают с одного прохожего на другого в поисках разворота плеч, походки, присущей покойному сыну. По походке он и узнает его, вначале по походке, а после уж по фигуре.

Он пытается вызвать в памяти лицо Павла. Но лицо, возникающее взамен, и возникающее с редкостной живостью, принадлежит молодому человеку с густыми бровями, редкой бородкой и узким, очень узким ртом, человеку, сидевшему сзади Бакунина на сцене Конгресса мира два года назад. Лицо покрыто посиневшими на холоде фурункулезными шрамами. «Прочь!» — говорит он, норовя отогнать видение. Но оно не уходит. «Павел!» — шепчет он, тщетно взывая к сыну.

6

Анна Сергеевна

Прежде он в этой лавке не бывал. Она меньше, чем ему представлялось, темная, низкая, наполовину ушедшая в землю. Когда он открывает дверь, звякает колокольчик. Глаза не сразу привыкают к сумраку.

Кроме него покупателей здесь нет. За прилавком стоит старик в грязноватом белом переднике. Делает вид, будто пересчитывает товар — открытые мешки с гречневой крупой, мукой, фасолью, овсом. Он подходит к прилавку.

— Будьте любезны, сахару, — говорит он.

— Э? — переспрашивает старик и откашливается. Глаза его под очками кажутся крохотными, как пуговки.

— Мне нужен сахар.

Она выходит из-за перекрывающей дверной проем занавески в глубине лавки. Если его появление и удивляет ее, она того не показывает.

— Я займусь покупателем, Абрам Давыдович, — негромко произносит она, и старик уступает ей место.

— Мне нужно немного сахару, — повторяет он.

— Сахару? — на губах ее обозначается легкое подобие улыбки.

— Да, на пять копеек.

Она умело сворачивает бумажный фунтик, зачерпывает совком белый сахар, взвешивает, закрывает кулек. Проворные руки.

— Я прямо из полиции. Пытался получить бумаги Павла.

— И что?

— Оказывается, существуют сложности, которых я не предвидел.

— Вернут. Просто придется подождать. Все требует времени.

Хоть на то и нет никакой причины, он усматривает в ее словах двойной смысл. Если бы за спиной Анны Сергеевны не топтался старик, он перегнулся бы через прилавок и взял ее за руку.

— Так сколько?.. — спрашивает он.

— Пять копеек.

Принимая сахар, он позволяет своим пальцам скользнуть по ее.

— Вы озарили светом мой день, — шепчет он так тихо, что, возможно, она его даже не слышит.

Он кланяется ей, кланяется Абраму Давыдовичу.

Воображение его разыгралось, что ли, или он уже видел человека в тулупе и малахае, зеваку, застрявшего на противуположной стороне улицы, наблюдая, как возчики разгружают с телеги кирпич, а теперь повернувшего, как и он, в направленье Свечной?

Еще и сахар. На что ему сахар?

Он пишет записку Аполлону Майкову: «Я в Петербурге, был на могиле. Спасибо, что позаботились обо всем. Спасибо за многолетнее доброе отношение к П. Вечный Ваш должник». Вместо подписи он ставит букву Д.

Было б не так уж и сложно встретиться с ним под рукой. Но не хочется подводить старого друга. Майков, при всегдашнем его великодушии, все поймет, думает он, я в трауре, а люди в трауре общества избегают.

Извинение достаточно благопристойное, но лживое. Он не в трауре. Он не сказал сыну прощальных слов, не отказался от него. Напротив, он хочет вернуть сына к жизни.

Письмо к жене: «Он все еще здесь, у себя в комнате. Он напуган. Право остаться в этом мире он утратил, а мир иной холоден, так холоден, как пространство меж звездами, и неприветлив». Дописав письмо до конца, он рвет его. Письмо нелепо; к тому же оно предает то немногое, что еще уцелело между ним и сыном.

Сын остается в нем, внутри его, мертвый младенец в железном коробе, зарытом в

мерзлую землю. Воскрешать младенцев он не умеет, да ему — что, впрочем, сводится к тому же — все равно недостало б для этого воли. Он парализован. Даже бредя по улице, он думает о себе как о парализованном. Каждое движение рук его замедлено, точно у иззябшего человека. Он утратил волю, или, вернее, воля его обратилась в монолитную массу, в камень, который всем своим мертвым весом тянет его в безмолвие и неподвижность.

Он знает, что такое горе. Это не горе. Это смерть, смерть, пришедшая раньше срока — не оглушить и пожрать его, но просто побыть подле него. Точно собака, поселившаяся с ним рядом, большая серая собака, слепая, глухая, глупая, неповоротливая. Когда он спит, спит и собака; когда он просыпается, и она просыпается; когда он выходит из дому, собака плетется за ним.

Мысли его с вялым упорством возвращаются к Анне Сергеевне. Он думает о ней, о ее проворных пальцах, перебирающих монеты. Монеты, стежки — что они символизируют?

Он вспоминает молодую крестьянку, виденную когда-то у ворот монастыря Св. Анны в Твери. Она сидела, прижимая к груди мертвое дитя, не обращая внимания на людей, норовивших отнять у ней трупик, и улыбалась редкостной красоты улыбкой — улыбкой святой Анны, в сущности говоря.

Воспоминания как струйки бесплотного дыма. Камышовый плетень посреди неведомой местности, серый, колкий, и бесплотная фигурка, проскальзывающая между камышин, плоская, лишенная веса фигурка мальчика в белом. Деревушка в степи: ручей, два-три дерева, корова с колокольцем на шее и дым, улетающий в небо. Край света. Мальчик снует меж камышин вперед-назад, застрявшая метаморфоза, гость из чистилища.

Видения приходят, уходят, быстрые, недолговечные. Он уже не владеет собой. Размеренным движением он сдвигает перо и бумагу на дальний край стола и опускает голову на руки. Терять сознание, думает он, так уж на посту.

Еще видение. Человек у источника подносит ковшик к губам — путник в самом начале пути; в глазах над ободом ковшика уже читается отрешенность, они уже не здесь. Прикосновенье руки к руке. Ласковое. «Прощай, старый друг!» Уходит.

В чем смысл этой тяжкой погони в пустых просторах за призраком молвы, за молвою о призраке?

В том, что я — это он. В том, что он — это я. Вот что я хочу ухватить — миг перед исчезновением, миг, когда кровь еще струится по жилам, когда еще бьется сердце. Сердце — старательный вол, вращающий мельничные жернова, он даже не поднимает удивленного взгляда, когда над ним взлетает топор, но принимает удар, падает на колени и испускает дух. Не забытье — миг перед забытьем, миг, когда я, задыхаясь, прибежал к источнику и мы в последний раз взглянули друг другу в лицо, сознавая, что живы, что жизнь у нас общая и только одна. Вот и все, что я успел ухватить: мгновенный взгляд, приветственный и прощальный, вне доводов, вне оправданий: «Здравствуй, старый друг. Прощай, старый друг». Сухие глаза. Слезы, обратившиеся в хрустали.

Я держал в руках твою голову. Целовал тебя в губы, в лоб.

Правило: один взгляд, только один, и никогда не оглядываться. А я все оглядываюсь.

Ты стоишь у колодца, ветер играет в твоих волосах, очищение не души, но тела, восходящего к первой своей, второй, третьей, четвертой, пятой сущности, глядящего на меня хрустальными глазами, улыбающегося золотыми губами.

Я вечно оглядываюсь. Навек пойманный твоим пристальным взглядом. Целое поле хрусталистых точек, мерцающих, пляшущих, — я одна из них. Звезды в небе, и с ними перекликаются огни на равнине. Два мира, посылающих один другому сигналы.

Он засыпает за столом и спит до вечера. Матрена стукает перед ужином в дверь, но он не просыпается. Ужинают без него.

Много позже, когда девочка уже спит, он выходит из своей комнаты одетым для улицы. Анна Сергеевна, сидящая спиною к нему, оборачивается.

— Уходите? — спрашивает она. — Не выпьете ли чаю перед уходом?

Некая нервность ощущается в ней. Но рука, подающая чашку, тверда.

Она не приглашает его присесть. Стоя перед нею, он молча пьет чай.

Он ставит пустую чашку, опускает руку ей на плечо.

— Нет, — говорит она, покачав головой и отводя его руку. — Это не в моих правилах.

Зачесанные назад волосы ее удерживает массивная финифтевая заколка. Он расстегивает заколку, кладет на стол. Она уже не противится, но встряхивает головой, давая волосам волю.

— Все еще будет, обещаю вам, — говорит он.

Он сознает, что немолод, что в голосе его не осталось и следа чувственной силы, на которую отзывались некогда женщины. Ее сменило нечто, чему он не хочет подыскивать названия. Надтреснутый инструмент, голос, сломавшийся вторично.

— Все, — повторяет он.

Она вглядывается в его лицо со вниманием и серьезностью, ошибиться в значении которых ему невозможно. Затем откладывает шитье. Выскользнув из его рук, скрывается в занавешенной нише.

Он ждет, томясь неуверенностью. Ничего не происходит. Шагнув за нею, он раздвигает занавеску.

Матрена спит крепким сном, губы ее приоткрыты, светлые волосы нимбом лежат на подушке. Анна Сергеевна в наполовину расстегнутом платье. Взмахом руки и сердитым взглядом, не лишенным, однако же, удовольствия, она отсылает его.

Он присаживается, ждет. Она выходит в ночной рубашке, босая. Чуть синеют вены на ступнях. Немолода; несдающаяся невинность. Но руки ее, когда он берет их в свои, холодны и дрожат. Она не хочет встречаться с ним взглядом.

— Федор Михайлович, — шепчет она, — знайте, это со мной впервые.

Серебряная цепочка на шее. Он перебирает пальцами звенья, пока не нащупывает крестик. Подносит крестик к ее губам, она, не колеблясь, пылко целует его. Когда же он пытается ее поцеловать, она отворачивает лицо.

— Не сейчас, — шепчет она.

Ночь они проводят в комнате сына. То, что происходит меж ними, происходит от начала и до конца в темноте. Пуще всего поражает его жар ее тела. Вот уж чего он никак не ждал. Словно огонь горит в сокровенной ее сердцевине. Этот огонь обостряет в нем чувственность, обостряет ее и то, что лихорадочные, рискованные труды их совершаются в такой близи от спящей в смежной комнате девочки.

Он засыпает. Где-то посреди ночи он пробуждается рядом с нею, не покинувшей его узкой кровати. Хоть и опустошенный, он принимается снова ласкать ее. Она не отзывается и, когда он наваливается на нее, словно мертвеет в его объятиях.

В происходящем затем нет ничего, что он мог бы назвать наслаждением или хотя бы чувством. Кажется, будто в минуты близости их разделяет саван — серый, ветхий саван его горя. И в миг наивысшего напряжения он снова впадает в сон, точно падает в озеро. Он тонет, а из глубины навстречу ему поднимается Павел. Лицо сына искажает отчаяние: легкие его разрываются, он знает, что умрет, что нет для него надежды, он призывает отца, потому что больше ему ничего не осталось, потому что это последняя связь его с миром. Зов Павла изливается потоком придушенных слов. Это видение, в уродливой его непреклонности, налетает на него из водоворота тьмы, в который он падает внутри женского тела. Видение рушится на него, овладевает им и исчезает.

Просыпается он уже засветло. В квартире пусто.

День проходит в горячке нетерпения. Вспоминая о ней, он, точно юноша, содрогается от желания. Но не стискивающая горло douceur[1] двадцатилетней давности обуревает его. Скорее он чувствует себя листом или семенем, захваченным безудержной силой, крылатым семенем, вознесенным в горние выси и головокружительно влекомым над океаном.

---

[1] Нежность (*франц.*). *(Здесь и далее — прим. перев.)*

За ужином Анна Сергеевна остается сдержанной и далекой, внимание ее прикова-но к девочке, она вся погружена в беспорядочный рассказ дочери о дне, проведенном в школе. Когда ей приходится обращаться к нему, она учтива, но холодна. Эта холодность лишь разжигает его. И навряд ли алчные взгляды, которые он украдкой бросает на шею, губы, руки матери, минуют девочку, не задевая ее.

Он ожидает, когда все стихнет, то есть когда Матрена уляжется спать. Но в девять часов свет в соседней комнате гаснет. Он ждет полчаса, потом еще полчаса. Потом, прикрывая ладонью свечу, в одних носках выскальзывает из своей комнаты. Огромные тени пляшут по стенам. Поставив свечу на пол, он подкрадывается к нише.

В тусклом свете он различает на дальнем краю постели Анну Сергеевну, лежащую спиною к нему, руки ее грациозно, как у танцовщицы, закинуты над головой, темные волосы распущены. На ближнем краю лежит, с большим пальцем во рту, Матрена, дру-гою рукой привольно обнявшая мать. Поначалу ему представляется, что она бодрствует, следя за ним, охраняя мать; но, склонившись над нею, он слышит глубокое, ровное дыхание.

Он шепчет: «Анна!». Она не шевелится.

Стараясь успокоиться, он возвращается в комнату сына.

Мало ли может быть веских причин, говорит он себе, по которым она предпочла провести эту ночь без него. Но никакие доводы не помогают.

Он вновь пересекает на цыпочках комнату. Мать с дочерью лежат в прежних позах. И вновь его охватывает жуткое чувство, что Матрена наблюдает за ним. Он наклоняется ниже.

Да, так и есть: он смотрит в открытые, немигающие глаза. Спит с открытыми глаза-ми, говорит он себе. Но это неправда. Она не спит, да и не спала; держа во рту палец, она с неослабной бдительностью следила за каждым его движением. Он вглядывается затаив дыхание, и кажется, что уголки ее рта приподымаются в победной улыбке, улыбке лету-чей мыши. Да и рука девочки, свободно прокинутая по материнскому телу, напоминает крыло.

Они проводят вместе еще одну ночь, после которой врата затворяются. Она появля-ется у него в поздний час, не предупредив. И снова он проникает через нее в полную тьму, в воды, где между тел других утопленников колышется и тело его сына. «Не бойся, — хочет шепнуть он, — я буду рядом, я разделю с тобой эту горечь».

Он приходит в себя лежащим на ней, с губами, прижатыми к ее уху.

— Знаешь, где я побывал? — шепчет он.

Она высвобождается из-под него.

— Знаешь, куда ты меня отвела?

Ему не терпится показать ей мальчика, показать в расцвете сил, с блестящими глаза-ми, чистым очерком подбородка, красивым ртом. Хочется вновь облачить его в белую пару, хочется снова услышать ясный, глубокий, грудной голос. «Смотри, какого сокро-вища лишился мир! — хочется крикнуть ему. — Смотри, что мы потеряли!»

Она поворачивается к нему спиной, проводит рукой по длинному бедру вверх-вниз.

— Мне пора, — говорит она, прерывая мысли его, и встает.

Следующей ночью она не приходит, остается с дочерью. Он пишет к ней письмо и оставляет его на столе. Когда он поднимается поутру, квартира пуста, а письмо, нераспе-чатанное, так на столе и лежит.

Он заходит в лавку. Анна Сергеевна стоит за прилавком, но, едва завидев его, скры-вается в задней комнате, оставляя его наедине со стариком Яковлевым.

Вечером он ждет на улице, пока она выйдет, и, словно тать, крадется за нею до само-го дома, нагоняя только в дверях.

— Почему вы меня избегаете?

— Я вас не избегаю.

Он придерживает ее за руку. Здесь темно, в руке у нее корзинка, вырваться она не может. Он прижимается к ней, вдыхая каштановый запах ее волос. Пытается поцеловать,

но она уклоняется, и губы его лишь проезжаются по ее уху. В нажиме ее тела не слышится никакого отзыва. Немилость, думает он, вот это и значит впасть в немилость. Он отступается, но на лестнице снова удерживает ее.

— Одно только слово, — говорит он, — почему?

Она оборачивается:

— Разве это не ясно? Зачем все выговаривать вслух?

— Что ясно? Ничего не ясно.

— Вы страдали. Вы умоляли меня.

Он отшатывается.

— Неправда!

— Правда. Тут ничего стыдного нет. Ну и кончено. И вам от этого добра не будет, да и мне, оттого что мною пользуются, точно вещью, тоже.

— Пользуются? Я не пользовался вами! И в мыслях даже не имел!

— Пользовались, чтобы дотянуться до кого-то другого. Не расстраивайтесь. Я ведь не обвиняю вас, просто объясняю. Я не хочу увязать в этой истории. У вас есть жена. Потерпите до времени, когда снова будете с нею.

«Жена». При чем тут жена? «Жена моя слишком молода! — вот что он хочет сказать. — Слишком молода для меня, такого, каким я стал!» Но разве может он выговорить эти слова?

Да, сказанное ею правда, и даже бóльшая, чем она думает. Когда он вернется в Дрезден, жена, которую он обнимет, будет уже иной, в ней проступят черты, черточки, перенятые ею от этой странной, чувственно одаренной вдовы, черточки, которые сам же он с собою и принесет. И жена станет его посредником, средством дотянуться до этой женщины точно так, как через нее он дотягивается — до кого?

Возможно, лицо его выдает эти мысли. На щеках Анны Сергеевны внезапно разгорается сердитый румянец, она стряхивает с рукава его руку и уходит по лестнице, оставив его позади.

Он поднимается следом, закрывается в своей комнате, пытается прийти в себя. Сердце бьется уже не так сильно. «Павел!» — снова и снова шепчет он, пользуясь именем как заклинанием. Но вместо Павла ему неизменно является иной человек — Сергей Нечаев.

Что толку отрицать — между ним и мертвым юношей разверзлась пропасть. Он гневается на Павла, гневается за измену. Мало удивительного в том, что Павла потянуло к радикальным кругам и что в письмах своих он ни словом о том не обмолвился. Но Нечаев — дело иное. Нечаев не пылкий студент, не молодой нигилист. Это монгол, засевший в русской душе после того, как величайший из всех нигилистов сгинул в пустынях Азии. И Павел, подумать только, Павел — рядовой солдат его армии!

Ему вспоминается «Катехизис революционера», прокламация, ходившая по Женеве как бакунинская, но и пафосом своим, и слогом выдававшая авторство Нечаева. «Революционер — человек обреченный, — так начиналась она. — У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено мыслью, единою страстью — революцией. Он в глубине своего существа разорвал всякую связь с гражданским порядком, со всеми законами, нравственностью этого мира. И если он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить». И дальше: «Он не должен ждать для себя никакой пощады. Он каждый день должен быть готов к смерти».

Он каждый день должен быть готов к смерти, не должен ждать для себя пощады: легко сказать, но способны ли дети вполне постичь значение этих слов? Во всяком случае, не Павел, да, верно, и не Нечаев, человек молодой, никого не любящий и любовь внушить неспособный.

На память приходит Нечаев, каким он его видел, — одиноко стоящий в углу женевской обеденной залы, злобно поглядывая по сторонам, жадно набивая рот какой-то едой. Он встряхивает головой, пытаясь отогнать видение. «Павел, Павел!» — шепчет он, призывая другое, так и не приходящее.

Стук в дверь, голос Матрены: «Время ужинать!»

За столом он старается выдерживать любезный тон. Завтра воскресенье, он предлагает отправиться на Петровский, где после полудня будет гулянье с оркестром. Матрена с восторгом соглашается; к его удивлению, соглашается и Анна Сергеевна.

Они договариваются встретиться после службы. Поутру, выходя на улицу, он спотыкается обо что-то в темном подъезде, — о бродягу, спящего здесь, завернувшись в пахнущее плесенью старое одеяло. Он чертыхается, бродяга, захныкав, садится.

В храм Св. Григория он приходит еще до окончания службы. Пока он ожидает на паперти, появляется все тот же бродяга, мутноглазый, смрадный. Он заговаривает с ним.

— Вы следите за мною? — гневно вопрошает он.

Их разделяет три-четыре вершка, но бродяга делает вид, что не слышит его и не видит. Выходящие из храма люди удивленно поглядывают на странную пару.

Бродяга убредает, бочком-бочком. Проковыляв с половину квартала, он останавливается, прислоняется к стене, нарочито зевает. Рукавиц у него нет, он использует вместо муфты свернутое в ком одеяло.

Выходят Анна Сергеевна с дочерью. Путь до парка неблизкий — по Вознесенскому, потом через стрелку Васильевского острова. Они еще не доходят до парка, как он вдруг осознает, что ошибся, глупо ошибся.

Оркестровая эстрада пуста, на лугу вкруг пруда, на котором зимой разбивают каток, никого, только чайки.

Он извиняется перед Анной Сергеевной.

— Времени много, — весело отвечает она, — еще и полдень не наступил. Давайте просто погуляем.

Ее благодушие кажется ему удивительным, еще пуще удивляется он, когда Анна Сергеевна берет его под руку. С Матреной по другую сторону от нее они неторопливо пересекают луг. Семейство, думает он, недостает лишь четвертого, чтобы получилось настоящее семейство. Словно проникнув в его мысли, Анна Сергеевна сжимает ему руку.

Они проходят мимо стада согнанных в камыши овец. Матрена с пучком травы в руке приближается к овцам, те, заблеяв, разбегаются в стороны. Из зарослей вылезает мальчишка с пастушьим посохом в руке и грозно смотрит на нее. На миг кажется, что между ними вот-вот разразится перебранка, но мальчик сдерживается, и Матрена возвращается к ним.

Прогулка разрумянила ее щеки. Еще станет красавицей, думает он, и будет разбивать сердца.

Что бы подумала жена, если б увидела их? За прежними его опрометчивыми увлечениями неизменно следовало раскаянье, а по пятам за раскаяньем — сладострастная тяга исповедаться ей. Исповеди эти, мучительные по выражению, но лишенные точности деталей, приводили жену в смятение и гневили, запутывая их отношения в куда большей мере, чем сама его неверность.

В нынешнем же случае он никакой вины за собою не видит. Напротив, его не покидает необоримое чувство своей правоты. Интересно бы знать, что за ним кроется, — впрочем, нет, на самом-то деле знать этого он не хочет. Сейчас его сердце наполнено чем-то похожим на радость. «Прости меня, Павел», — шепчет он про себя. Однако и этот его шепот неискренен.

Если бы можно было начать жить сызнова, думает он, если бы я снова стал молодым! И может быть, даже так: если бы жизнь была у меня в руках, жизнь, молодость, которую Павел растратил впустую!

А что же женщина, идущая рядом с ним? Сожалеет ли она о порыве, толкнувшем ее к нему? Когда бы этого не случилось, сегодняшняя прогулка могла бы стать началом настоящего ухаживания. Потому что женщина ведь этого именно и желает — ухаживаний, уговоров, домогательств, победы над нею! И даже отдаваясь, она норовит отдаться не с честною прямотою, но не покидая упоительного тумана нерешительности, сопро-

тивления и уступок. Пасть, но никогда не пасть окончательно. Нет, не так: пасть и затем восстать обновленной, пересотворенной, невинной, готовой к новым посягательствам и новым паденим. Игра со смертью, игра в воскрешение.

Как поступила бы Анна Сергеевна, узнав, о чем он думает? Отшатнулась бы в гневе? И это тоже было бы частью игры?

Украдкой он взглядывает на нее, и в этот миг его посещает мысль: «Я мог бы полюбить эту женщину». Острее, нежели телесное влечение, он ощущает нечто такое, что может назвать лишь родством с нею. Они люди одной породы, одного поколения. Внезапно все встает по местам: Павел, Матрена и жена его, Аня, по одну сторону, он с Анной Сергеевной — по другую. Дети против тех, кто уже не дети, тех, кто способен почуять в любовных корчах начальный привкус смерти. Вот откуда порыв той ночи, откуда этот жар. В его руках она точно Жанна д'Арк, объятая пламенем: дух вырывается из пут своих, между тем как сгорает тело. Битва со временем. Ребенку этого никогда не понять.

— Павел говорил, вы жили в Сибири.

Произнесенные ею слова обрывают его мечтания.

— Да, десять лет. Там я и встретился с матерью Павла. В Семипалатинске. Муж ее служил по таможенной части, он умер, когда Павлуше шел восьмой год. Она тоже умерла несколько лет назад — Павел вам, верно, рассказывал.

— А вы женились опять.

— Да. Что рассказал вам Павел об этом?

— Только то, что жена у вас молодая.

— Она примерно одних с Павлом лет. Некоторое время мы жили все вместе, втроем, в квартирке на Мещанской. Для Павла то была пора не самая счастливая. Он как-то все соперничал с женой. Собственно, когда я сообщил ему, что мы помолвлены, он отправился к ней и самым серьезным образом уведомил ее, что я для нее староват. После он повадился называть себя сиротой. «Сирота съел бы еще кусочек хлебца», «У сироты нет денег» и тому подобное. Мы притворялись, что это шутка, но уж какая там шутка. В общем, в доме стало неспокойно.

— Могу себе представить. Впрочем, и ему ведь можно посочувствовать. Ему, наверное, казалось, что он вас теряет.

— Как бы он мог меня потерять? С того дня, как я стал отцом ему, я ни разу его не подвел. Разве вот сейчас подвожу?

— Конечно же нет, Федор Михайлович. Но ведь дети — великие собственники. И ревность их одолевает временами, как любого из нас. А ревнуя, мы против собственной воли принимаемся выдумывать всякого рода истории. Норовим нарочно разбередить наши чувства, посильнее себя напугать.

Слова ее схожи с призмой: взглянешь чуть под другим углом и в них отразится совсем иное значение. Или она к этому и стремится?

Он оглядывается на Матрену. На девочке новые, отороченные овчиной ботики. Ступая по мокрой траве, она оставляет прорезные следы. Лоб ее напряженно наморщен.

— Павел рассказывал, что вы посылали его с записками.

Он ощущает укол боли. Так Павел помнил об этом!

— Да, правда. За год до нашей свадьбы, в день ее именин, я попросил его отнести от меня подарок. Я совершил ошибку, о которой очень потом сожалел. Непростительно. Я не подумал. Это было самое худшее?

— Худшее?

— Рассказывал ли Павел о чем-то похуже? Мне нужно знать, чтобы, когда я стану молить о прощении, я понимал, в чем повинен.

Она отвечает ему странным взглядом.

— Это не очень честный вопрос, Федор Михайлович. Павла охватывало по временам чувство одиночества. И тогда он рассказывал что-нибудь, а я слушала. Он поведал мне немало историй, порою не очень приятных. Но, может быть, это и к лучшему. Может быть, вытаскивая прошлое на свет божий, он переставал мучиться мыслями о нем.

— Матрена! — он поворачивается к девочке. — А тебе Павел ничего...

Но Анна Сергеевна обрывает его.

— Разумеется, ничего, — произносит она и сразу же говорит ему, негромко, но гневно: — Можно ли задавать ребенку такие вопросы!

Они застывают лицом к лицу посредине голого луга. Матрена хмуро смотрит в сторону, губы ее плотно сжаты. Глаза Анны Сергеевны недобро сверкают.

— Холодает, — говорит она. — Не повернуть ли назад?

7

Матрена

Он не провожает их до дому, а отправляется ужинать в трактир. В задней комнате идет игра в карты. Некоторое время он наблюдает за ней, выпивает, но сам играть не садится. Стоит уже поздний час, когда он возвращается в темную квартиру, в пустую комнату.

Один, одинокий, он позволяет себе потосковать немного, что отчасти даже приятно, по Дрездену, по комфортабельной размеренности тамошнего существования с женой, ревниво оберегающей его покой, прилаживая всю повседневную жизнь семьи к его привычкам.

В шестьдесят третьем нумере он не дома и никогда дома не будет. Он самый временный из жильцов этого дома, причины, по которым он мешкает здесь, так же темны для других, как для него, да и жизнь в такой близи от этой женщины с ее переменчивыми настроениями и ребенка, у которого имеются все основания проникнуться к нему отвращением, не слишком легка. В присутствии Матрены он сознаёт особенно остро, что от одежды его начинает попахивать, что кожа его суха и шелушится, что его зубные протезы клацают при разговоре. Тоже и с геморроем его хлопот не оберешься. Железный организм, благодаря которому только и уцелел он в Сибири, начинает сдавать, и зрелище распада его тем более неприятно привередливой в рассуждении чистоплотности девочке, что в ее глазах он заменяет собою существо, богоподобное по красоте и силе. Хотел бы он знать, что она говорит товарищам по играм, когда те спрашивают ее о похоронного обличия госте, никак не желающем собрать пожитки и съехать с квартиры.

«Вы умоляли меня» — его передергивает при всяком воспоминании о сказанных Анной Сергеевной словах. Быть все это время предметом жалости! Он опускается на колени, опирается лбом о постель, пытаясь сыскать дорогу к Елагину острову, к холодной могиле Павла. Павел хотя бы не обратится против него. На Павла он положиться может, на Павла и на его ледяную любовь.

Отец, выцветшая копия сына. Как мог он ожидать, что женщина, видевшая сына в расцвете дней его, станет с расположением смотреть на отца?

Он вспоминает слова, слышанные когда-то в Сибири от старика каторжанина: «Зачем нам, братцы, старость-то дадена? А затем, чтоб мы умалились, уж до того умалились, что и в игольное ушко смогли бы пролезть». Народная мудрость.

Он стоит и стоит на коленях, но Павел не приходит. Наконец, вздыхая, он забирается в постель.

Он просыпается, охваченный изумленьем и счастьем. Еще темно, но чувствует он себя так, словно выспался на семь ночей вперед. Он свеж, полон сил; самая ткань его мозга кажется дочиста промытой. Он с трудом удерживается от того, чтобы выпрыгнуть из постели. Точно дитя на Пасху, которому не терпится поднять всех домашних и поделиться с ними своей радостью. Ему хочется разбудить ее, эту женщину, и пуститься с ней в пляс по квартире. «Христос воскрес!» — хочется крикнуть ему и услышать, как она отзовется: «Воистину воскрес!» — и стукнет своим яйцом о его. И они затанцуют по кругу, с крашеными яйцами в руках, и Матреша с ними, в ночной рубашке, сонно спотыкающаяся, счастливая, путающаяся у них под ногами; и тот, четвертый, призрак, тоже

заструится меж ними, большеногий, неловкий, улыбающийся: он снова среди детей, родившийся заново, он выпущен из могилы. И заря разгорится над городом, и закричат по дворам петухи, приветствуя новый день.

Радость, восстающая, как заря! Но только на миг. И не потому, что на новое, светозарное небо вновь наплывают тучи. А просто в ту же минуту, когда поднимается во всем своем блеске солнце, по лику его словно бы начинает скользить иное солнце, темное, его антипод. Слово «предвестие» проплывает в сознании во всей его зловещей тягостности. Солнце встает не само для себя, но лишь для того, чтобы затмиться; радость просияла лишь для того, чтобы он знал, как будет выглядеть гибель ее.

Одним торопливым движением он покидает постель. Ближайшие считанные минуты лежат перед ним темным коридором, по которому он должен успеть пробежать. Нужно поспеть одеться и покинуть квартиру, пока его не настиг позор припадка; нужно найти место подальше от глаз людских, место, в котором порядочные люди его не услышат, в котором он сможет сам справиться с приступом. Он выбирается в кромешную тьму коридора. Вытянув руки, точно слепой, он ощупью выходит на лестницу и, держась за перила, начинает спускаться, шажок за шажком. На площадке второго этажа его накрывает волна жути, беспредметного страха. Он забивается в угол, садится, сжимая руками голову. От рук несет какой-то дрянью, которой он коснулся в темноте, но он их не вытирает. Пусть приходит, в отчаянии думает он, пусть, я сделал все, что мог.

Крик, эхом отдающийся по лестнице, столь громок и страшен, что пробуждает весь дом. Сам же он ничего не слышит, его больше нет, как нет больше времени.

В себя он приходит во тьме столь плотной, что она ощутимо давит ему на глазницы. Он не имеет понятия ни где он, ни кто он. Он — сознание, бессонье, более ничего. Он словно родился минуту назад, в мире неизменяемой тьмы.

Успокойся, твердит сознание, обращаясь к себе, пытаясь умерить свой страх, — ты уже был прежде в этих краях, подожди, что-нибудь к тебе да вернется.

В пространство, заполняющее его изнутри, отвесно рушится тело. Его тело. Воздух свищет в ушах — в его ушах. Ужас сжимает горло — его горло.

Пусть это кончится, думает он, пусть кончится!

Он пробует шевельнуть рукой, но та прижата его телом. Он по-дурацки пытается вытянуть ее из-под себя. Мерзкий запах, одежда мокра. Наконец, словно воду стягивает ледком, в размытой припадком памяти возникают некие затвердения: кто он, где он; и вместе с памятью приходит желание поскорее убраться отсюда, прежде чем кто-нибудь застанет его в этом унизительном положении.

Эти припадки — бремя, которое он влачит по миру. Никогда, никому не открывал он, сколько времени проводит, вслушиваясь в их предзнаменования, пытаясь прочесть приметы. За что мне это проклятие? — безмолвно кричит он, ударяя в землю жезлом, требуя ответа у скал. Но он не Моисей, скала не раскалывается. Да и сами экстатические приступы ничего не проясняют. Это не посещения некоей силы. Где там, это провалы в пустоту — словно смерч вырывает малый кусок его жизни, не оставляя даже воспоминаний о мраке, в котором он побывал.

Он встает, на ощупь сходит последним маршем лестницы. Его трясет, он ужасно прозяб. Когда он выходит наружу, небо уже светает. Выпал снег. Трепещущая багровая дымка устилает его белизну. Впрочем, дело вовсе не в снеге, дело в его глазах — глаза дергает такая боль, что он зажимает их холодной ладонью. Голова пульсирует, точно некий кулак стискивает ее изнутри, отпускает и снова стискивает. Шляпу он потерял где-то на лестнице.

С непокрытой головой, в грязной одежде, он добредает по снегу до маленькой церковки Искупителя, стоящей близ Каменного моста, и укрывается в ней до часа, в который Матрена с матерью уходят из дому. Тогда он возвращается в квартиру, греет воду, раздевается донага и моется. Он моет и нижнее свое белье тоже и развешивает его в умывальне. Счастье Павла, думает он, что ему не пришлось страдать от припадков этой болезни, счастье, что он родился не от меня! Тут до сознания его доходит ирония, кроющаяся в этих

словах, и он стискивает зубы. Голова гудит от боли, красный туман по-прежнему застилает все вокруг. Накинув халат, он ложится в постель и в конце концов проваливается в сон.

Час спустя он просыпается, раздраженный, раздерганный. Кажется, что от глаз врезаются в мозг клинья боли. Кожа точно бумажная, к ней больно притронуться.

В накинутом на голое тело халате он бродит по квартирке Анны Сергеевны, открывая буфеты, заглядывая в ящики. Во всем видны любовь к порядку, опрятность и аккуратность.

В одном из ящиков он находит завернутую в алый вельветин фотографию молодой Анны Сергеевны с мужчиной, это, видимо, и есть печатник Коленкин. Облаченный в свой лучший воскресный костюм, Коленкин выглядит изможденным, старым, усталым. Как ощущала себя в подобном супружестве эта сильная, сумрачно красивая женщина? И почему фотография засунута в ящик? Кладя ее на место, он нарочно проводит большим пальцем по стеклу, оставляя на лице покойного отпечаток.

Ребенком он шпионил за гостями, бывавшими в доме, любил тайком рыться в их вещах. Слабость, которую доныне он относил к нежеланию мириться с ограничениями касательно того, что ему можно знать, а чего нельзя, касательно чтения запретных книг и, стало быть, к его призванию. Но нынче он к самоснисхождению не склонен. Он порабощен злобным духом и сам это сознает. Правда в том, что, роясь вот так в вещах отсутствующей Анны Сергеевны, он испытывает дрожь сладострастного наслаждения.

Закрыв последний ящик, он в беспокойстве слоняется по комнатам, не зная, чем занять себя дальше.

Он открывает чемодан Павла, надевает белую пару. До сих пор он делал это, словно бы принося дань мертвому юноше, это был знак вызова и любви. Но ныне, глядя на себя в зеркало, он видит лишь убогий подлог, а за ним — нечто украдчивое, похабное, нечто такое, чему место за закрытыми дверьми и зашторенными окнами, в комнатах, где мужчины в париках и юбках оголяют зады, чтобы их посекли кнутом.

Уже за полдень, а голова так все и болит. Он ложится, прижимает, словно прикрываясь от удара, руку к глазам. Все кружится, его охватывает чувство падения в бесконечную черноту. Когда он приходит в себя, оказывается, что ему вновь не под силу вспомнить, кто он. Слово «я» он помнит, но при пристальном рассмотрении слово это становится загадочным, как камень среди пустыни.

Это лишь сон, думает он, вот сейчас проснусь и все опять станет на место. На миг он позволяет себе уверовать в это. Затем ему вдруг открывается ошеломительная правда.

Скрипит дверь, в комнату заглядывает Матрена. Увидев его, она явственно удивляется.

— Вы заболели? — спрашивает она, нахмурясь.

Он даже не пытается ответить.

— Зачем вы этот костюм надеваете?

— Кому же его надевать, как не мне?

Лицо Матрены на миг приобретает сердитое выражение.

— Тебе известна история этой пары? — спрашивает он.

Матрена трясет головой.

Он садится и указывает ей на изножье кровати.

— Подойди, сядь. История длинная, но я тебе ее расскажу. В позапрошлом году, я тогда был за границей, Павел гостил у своей тетки в Твери. Всего одно лето. Знаешь, где находится Тверь?

— Под Москвой.

— На дороге в Москву. Довольно большой город. В Твери проживал тогда отставной капитан с сестрою, ведшей его хозяйство. Звали ее Марьей Тимофеевной. Она была хромоножка. И с головой у ней не все было в порядке. Женщина достойная, она решительно не умела позаботиться о себе.

Он отмечает про себя, как быстро речь его сбивается на повествовательный лад. Совсем как поршневой двигатель, способный совершать лишь одно движение.

— Капитан, брат Марьи, был, к несчастию, пьяницей. Напившись, он обычно дурно

обходился с нею. И ничего после не помнил.

— Что он с ней делал?

— Бил. Только и всего. Почтенное русское занятие. Она на него зла не держала. Возможно, она в простоте своей думала, что это, собственно, и есть мир — место, где тебя бьют.

Внимание ее он завоевал, пора добавить в рассказ напряжения.

— В конце концов, собака или лошадь таким, наверное, и видят наш мир. Почему же Марья должна была видеть его по-другому? Лошадь не понимает, что она рождена для того, чтобы тянуть телегу. Она думает, что она здесь для побоев. А телега кажется ей просто огромной вещью, к которой ее привязывают, чтобы она не могла убежать, когда ее бьют.

— Не... — шепчет она.

Он понимает: душа девочки не приемлет картину мира, которую он ей предлагает. Ей хочется верить в добро. Но вера ее шатка, лишена жизненной силы. Он не испытывает жалости к ней. «Такова Россия!» — хочет сказать он, вбить в нее эти слова, втереть их в ее лицо. Быть в России нежным цветком непозволительно. В России должно быть лопухом, на худой конец — одуванчиком.

— Однажды капитан явился с визитом. Он не состоял у тетушки Павла в близких друзьях, но, однако ж, по временам заходил к ней и сестру с собой приводил. Может быть, когда очень уж запивал. Павла в тот раз в доме не было.

Гость из Москвы, молодой человек, не сознающий, кто перед ним, разговорился с Марьей и стал расспрашивать ее о том, о другом. Возможно, из одной лишь учтивости. А возможно, просто пошалить захотел. Марья взволновалась, воображение ее разыгралось. Она сказала ему, что помолвлена или, как она выразилась, «обещалась». «А жених ваш, он что же, из этих мест?» — поинтересовался гость. «Да, тутошний», — отвечала она, жеманно улыбнувшись тетушке Павла (вообрази себе Марью, долговязую, нескладную, далеко уж не юную и некрасивую).

Тетушка Павла, стремясь соблюсти приличия, притворно поздравила Марью и капитана тоже. Капитан, натурально, разозлился на сестру и, едва они воротились домой, нещадно избил ее.

— Значит, она сказала неправду?

— Да уж какую там правду, это разве в голове ее было правдой. А мужчиной — это все теперь обнаружилось, — который в фантазиях ее хотел жениться на ней, именно и был не кто иной, как Павел. Откуда взялась у нее эта мысль, я не знаю. Быть может, он улыбнулся ей при одной из случайных встреч или о капоре ее с похвалой отозвался — сердце Павел имел доброе, это было одним из лучших его качеств, верно? И она, должно быть, пришла в тот раз домой, мечтая о нем, и вскоре домечталась до того, что она любит его, а он — ее.

Говоря, он искоса посматривает на девочку. Матрена нетерпеливо ерзает и на миг сует большой палец в рот.

— Вообрази, как развлек все тверское общество рассказ о Марье и ее фантастическом поклоннике. Но давай мы с тобой вернемся к Павлу. Услышав этот рассказ, он не задумываясь отправился к портному и заказал красивую белую пару. А когда костюм был готов, сделал визит к Лебядкиным и цветы с собою принес — я думаю, розы. И хоть капитан Лебядкин поначалу принял его недружелюбно, Павел все же сумел склонить его на свою сторону. С Марьей он вел себя очень почтительно, с уважением, как истый джентльмен, хоть ему в ту пору и двадцати еще не было. Визиты его продолжались все лето, пока он не оставил Тверь и не воротился в Петербург. То был урок для всех, урок рыцарства. И для меня это тоже стало уроком. Вот каков был Павел в юности. И вот какова история белой пары.

— А Марья?

— Марья? Марья, сколько я знаю, и поныне живет в Твери.

— Она знает?

— О Павле? Скорее всего, нет.

— Почему он убил себя?

— Ты думаешь, он убил себя?

— Мама так говорит.

— Никто себя не убивает, Матреша. Ты можешь подвергнуть жизнь свою опасности, но убить себя, убить по-настоящему, не можешь. Всего вероятнее, Павел рискнул собою, желая узнать, достаточно ли Бог любит его, чтобы спасти. Он задал Богу вопрос: «Спасешь ли Ты меня?» — и Бог ответил ему. Бог сказал: «Нет». «Умри», — сказал Бог.

— Так выходит, это Бог убил его?

— Бог отказал ему. Бог мог бы сказать: «Да, я спасу тебя». Но предпочел ответить отказом.

— Почему? — шепчет она.

— Он сказал Богу: «Если любишь меня, спаси. Если Ты здесь, спаси». Но услышал в ответ только молчание. Тогда он сказал: «Я знаю, Ты здесь, знаю, Ты слышишь меня. Жизнью моей бьюсь об заклад, что Ты меня спасешь». А Бог так ничего и не сказал. Тогда он сказал Богу: «Сколько б Ты ни молчал, я знаю, Ты меня слышишь. Я поставлю жизнь мою на кон — поставлю сию же минуту!» И поставил. А Бог не явился ему. Бог не вмешался.

— Почему? — снова шепчет она.

Он улыбается в бороду неприятной, кривой улыбкой.

— Как знать? Возможно, Бог не любит, когда Его испытывают. Возможно, принцип, согласно которому испытывать Его не следует, важнее для Него, чем жизнь одного ребенка. А может быть, причина тут в том, что Бог попросту глуховат. Он, верно, теперь уже очень стар, стар как мир, если не старше. Может быть, Он стал туг на ухо и глазами ослаб, как всякий старик.

Девочка побеждена. У нее нет больше вопросов. Он заключает ее в объятия, ощущая ее дрожь. Он гладит ее волосы, виски. В конце концов она дает волю слезам и, припав к нему, прижав кулачки к подбородку, разражается плачем.

— Я не понимаю, — всхлипывает она, — почему он должен был умереть?

Ему хотелось бы сказать: «Он не умер, он здесь; я — это он». Но слова нейдут из него.

Он думает о семени, которое продолжает сколько-то времени жить в испустившем дух теле, не ведая, что истечь ему уже никогда не придется.

— Я знаю, ты любила его, — хрипло шепчет он. — И он это знает. У тебя доброе сердце.

Если бы только можно было вынуть семя из тела, ну хотя бы одно, и дать ему новое пристанище!

Он вспоминает терракотовую статуэтку, виденную в Берлине в этнографическом музее: индийский бог Шива, лежащий навзничь, синий, мертвый, и оседлавшая его фигурка ужасной богини — многорукой, с разинутым ртом, с выпученными глазами, исступленно скачущей на нем, вытягивая из мертвого тела божественное семя.

Ему не составляет труда вообразить эту девочку доведенной до исступления. Воображение его, похоже, не ведает пределов.

Мысли его возвращаются к ребенку, замерзшему, мертвому, лежащему в железном гробу под засыпанной снегом землей, ожидающему зимы, ожидающему весны.

Дальше этого осквернение не заходит: обнятая девочка, пять его пальцев, белых, онемевших, стискивают ей плечо. Впрочем, она могла бы лежать перед ним нагой, это мало что изменило бы. Он думает о девочках, отдающихся в естественном порыве доброты, из стремления к подчиненности. О девочках-проститутках, которых знал здесь и в Германии, о мужчинах, выискивающих этих девочек потому, что под накрашенными личиками их, под вызывающими нарядами сквозит неосквернённость, подобие девственности, отчего-то этих мужчин оскорбляющее. «Она проституирует Деву», — говорит такой мужчина, узнавая душок невинности в жесте, с которым девочка прикрывает ладонями груди, в движении, которым она раздвигает бедра. В крохотной, пропитанной затх-

лыми запахами комнатке от нее веет еле слышным, безнадежным дуновением весны и цветения, которого вынести он не может. Скрежеща зубами, он намеренно причиняет ей боль, потом еще и еще, не отрывая взгляда от лица ее в ожидании, когда в нем проступит нечто, отличное от гримасы страдания, — изумленный испуг живой твари, начинающей сознавать, что жизни ее угрожает опасность.

Видение, приступ, усмешка воображения проходят. Приласкав ее напоследок, он отнимает руку и снова превращается в того человека, каким был с нею прежде.

— Вы не хотите устроить алтарь?

— Я пока не думал об этом.

— Можно вон в том углу, где свеча. Поставите там его портрет. Если хотите, я буду следить, чтобы свеча не гасла, когда вы уходите.

— Если устраивать алтарь, так навсегда, Матреша. А твоя матушка, когда я уеду, верно, захочет сдать эту комнату кому-то еще.

— А когда вы уедете?

— Пока не знаю, — отвечает он, избегая ловушки. И следом: — Траур по умершему дитяти скончания не имеет. Ты это хочешь от меня услышать? Вот, я сказал. Это правда.

То ли оттого, что она замечает, как изменился его тон, то ли слова его задевают девочку за живое, ее приметно передергивает.

— Если ты вдруг умрешь, твоя матушка будет до конца своих дней скорбеть о тебе. — И, к собственному удивлению, он добавляет: — И я тоже.

И *это* правда? Нет, покамест нет, но, возможно, станет ею.

— Тогда можно мне зажечь для него свечу?

— Да, можно.

— И следить, чтобы она не гасла?

— Да. Но почему для тебя так важна эта свеча?

Матрена неловко мнется.

— Не хочу, чтобы он был в темноте, — наконец отвечает она.

Странно, но и ему порой видится нечто подобное. Корабль в море, бурная ночь, мальчик падает за борт. Борясь с волнами, как-то ухитряясь держаться на плаву, мальчик в ужасе кричит: набирает воздуху в грудь и кричит, набирает и кричит, взывая к кораблю, который был ему домом и который уже не дом его больше. На корме качается фонарь, к которому прикован взгляд мальчика, — крапинка света в пустыне воды и мрака. Пока я вижу этот свет, говорит он себе, я не погиб.

— Можно я сейчас и зажгу? — спрашивает девочка.

— Как хочешь. Но портрета мы ставить не будем, пока не будем.

Она зажигает свечу, ставит ее под зеркало. Затем, с доверчивостью, берущей его врасплох, снова садится на кровать, прислонясь головою к его плечу. Вдвоем они смотрят на ровное пламя свечи. С улицы внизу долетают крики играющих детей. Пальцы его стискивают плечо девочки, он прижимает ее к себе. Он чувствует, как под рукою его складываются одна за другой мягкие, отроческие косточки, точно птица складывает крыло.

8

Иванов

Он засыпает, как засыпает каждую ночь, с намереньем отыскать дорогу к Павлу. Однако этой ночью его будит — почти сразу, как кажется, — голос, тонкий до бестелесности, зовущий с улицы внизу. «Исаев!» — вновь и вновь терпеливо взывает голос.

Ветер свистит в камышах, вот и все, думает он и благодарно проваливается назад, в забытье. Лето, ветер в камышах, синее небо, испещренное высокими облаками, и он, насвистывая, шагающий вдоль ручья с тростью в руке, которой он лениво постукивает по камышинам. Взлетают, шелестя крыльями, ткачики. Он останавливается, замирает,

вслушиваясь. Кузнечики тоже вдруг примолкают, всего только и слышно, что звук его дыхания да шелест камыша на ветру. «Исаев!» — зовет его ветер.

Он вздрагивает и просыпается. Глухая ночь, в доме все стихло. Подойдя к окну, вглядываясь в тени и в лунный свет, он ждет повторения зова. Вот наконец. Та же тональность, та же длительность и интонация, что у слова, еще отдающегося в ушах, но это не человечий зов, а тоскливый собачий вой.

Значит, это не Павел зовет его, а всего только существо, для него чужое, — собака, воющая от тоски по отцу. Что же, пусть собачий отец, кем бы он ни был, спустится в холод и тьму и примет в объятия свое неуклюжее, смрадное чадо. Пусть теперь *он* успокаивает свое дитя, пусть убаюкивает его колыбельными песнями.

Снова воет собака. Никаких признаков пустынной равнины в серебристом свету: собака, не волк, собака, не сын его. И стало быть? И стало быть, он обязан стряхнуть с себя оцепенение! *Поскольку* это вовсе не сын его, ему надлежит не возвращаться в постель, а одеться и ответить на зов. Если он ожидает, что сын придет, аки тать в нощи, но прислушивается лишь к воровскому призыву, сына ему никогда не увидеть. Если он ждет, что сын заговорит с ним голосом нежданного, ему никогда не услышать его. До тех пор, пока он ждет лишь того, чего вовсе не ждет, то, чего он не ждет, не объявится. И стало быть — парадокс в парадоксе, тьма, запеленутая во тьму, — ему надлежит отзываться на все нежданное.

Глядя из третьего этажа, полагаешь, будто найти собаку не составит труда. Но, выйдя на улицу, он в замешательстве останавливается. Откуда доносится вой: слева, справа, из какого-то дома насупротив или из-за домов, а может, и вовсе из внутреннего двора? И который из домов? Да и сами подвывания кажутся теперь короче и ниже, даже тембр их как-то переменился, — они, собственно говоря, почти и не походят на те, что он слышал вначале.

Он тычется вперед и назад, пока не находит между домами узкий проулок, которым пользуются ночные возчики нечистот. В одном из ответвлений этого прохода он наконец натыкается на собаку. Собака привязана тонкой цепочкой к водосточной трубе, цепочка обвила переднюю лапу и выворачивает ее при каждом рывке. При его приближении собака, поскуливая, отпрядывает как может дальше. Она прижимает уши, вытягивается на земле, переворачивается на спину. Сука. Он наклоняется, отматывает цепочку. Собаки нюхом чуют страх, но даже на таком холоду он слышит зловоние ужаса, одолевающего *эту* собаку. Он почесывает ее за ухом. Не меняя позы, собака робко лижет его руку.

Так, значит, вот чем придется мне заниматься до скончания дней, думает он, — заглядывать в глаза псов и попрошаек?

Собака встает. Хоть он и не любитель собак, от этой он не отстраняется, оставаясь сидеть на корточках, пока ее теплый, мокрый язык облизывает ему лицо, уши, слизывает соль с его бороды.

В последний раз погладив ее, он поднимается. Разглядеть в лунном свете циферблат своих часов ему не удается. Собака натягивает цепочку, скулит, норовя последовать за ним. Кто же это так приковывает свою собаку на ночь, под открытым небом? И все же он не спускает ее с цепи, но поворачивается к ней спиной и уходит, провожаемый безутешным воем.

Почему именно я? — торопливо шагая, думает он. Почему я должен волочь на себе все тяготы мира? Что до Павла, то если он ныне лишился всего, так пусть хоть смерть его останется с ним, а не будет отобрана у него и обращена отцом его в орудие собственного обновления.

Нет, не так. Подобные доводы — лицемерные, жалкие — не прельщают его и на миг. Смерть Павла не Павлу принадлежит — это всего лишь словесный выверт. Покуда он здесь, смерть Павла — его смерть. Куда бы он ни пошел, он понесет Павла с собой, точно посиневшего от стужи малютку («Кто малютку обогреет?» — едва ли не слышит он невесть откуда взявшиеся незатейливые слова, произнесенные прямо в его голове по-крестьянски напевным голосом).

Павел не заговорит с ним, не подскажет, что делать. «Возьми одного из малых сих и опекай его» — если б он знал, что это сказано Павлом, он подчинился бы беспрекословно. Но это не им сказано. «Один из малых сих» — кто это? Брошенная на холоде собака? Кого он должен освободить и взять к себе, и кормить, и опекать — собаку или ютящегося под мостом грязного, пьяного нищего в изодранном платье? Чувство страшной безысходности овладевает им, и хоть оно как-то связано — неведомо как — с тем, что он не имеет понятия, который теперь час, коренной основой этого чувства является становящаяся все более определенной уверенность, что никогда больше не выйдет он ночью на собачий призыв, что возможность оставить себя такого, какой он есть, позади и стать тем, кем он мог бы стать, для него миновала. Я это я, безнадежно думает он, я прикован к себе пожизненно. И что бы там ни вспрянуло, устремляясь ко мне, я оказался того недостоин, и вот оно у меня отнято.

И все-таки, даже закрывая за собою дверь, он сознает, что у него еще есть возможность вернуться в проулок, отвязать собаку, и привести ее в подъезд шестьдесят третьего нумера, и сделать ей лежанку под лестницей, хоть, впрочем, он знает и то, что, если он приведет собаку сюда, она захочет последовать за ним и дальше, а если он снова привяжет ее, то лай и скулеж перебудят весь дом. «Это не сын мой, всего лишь собака, — твердит он себе, — что мне до нее?» Но и на это он знает ответ: Павел не будет спасен, пока он не отвяжет собаку и не приведет ее в свою постель, пока не уложит в нее одного из «малых сих» — нищего, да и нищенку в придачу и многих иных, ему в эту минуту неведомых, — хоть и тогда полной уверенности он не получит.

Он издает громкий стон, стон отчаяния. «Что же мне делать?» — спрашивает он. Если бы только я мог заглянуть в свою душу, возможно, мне было б дано узнать ответ? Но он не с душой своей утратил всякую связь, а с истиной. Или — изнанка той же мысли — связь утрачена вовсе не с истиной, напротив, истина изливается на него водопадом, безудержно, и будет изливаться, пока он в ней не утонет. А следом он думает (выворачивая мысль наизнанку, выворачивая уже вывернутую: вот на какие иезуитские фокусы приходится ныне полагаться, чтобы хоть что-то додумать до конца): захлебнуться под водопадом, быть может, мне это и требуется? Все больше воды, все выше разлив, все бóльшая глубина.

Стоя посередине покрытой снегом улицы, он подносит к лицу холодные, пахнущие собакой ладони, прикасается к холодным слезам на щеках, пробует их на вкус. Соль, а вот кому соли? Очень ему сдается, что никакой собаки он не спасет, ни в эту ночь, ни в следующую, если следующая когда-нибудь наступит. Он ожидает знамения и готов побиться об заклад (выражения поблагороднее, к которому он решился бы прибегнуть, не существует), что собака таковым не является, никакое она не знамение, просто собака, одна из многих воющих ночами собак. Впрочем, сознает он и то, что, пока он будет вилять и лукавить, пытаясь провести различение между вещами, каковые суть просто вещи, и теми, в которых таятся знамения, спасения ему не видать. Что в самой его логике и кроется причина его поражения, что, ощущая ее железную твердость, он забредает в тупик, будто та же собака, ломающая зубы о цепь, на которой сидит. Остерегись, однако, остерегись, говорит он себе, собака на цепи, потом вторая собака — ничего они сами собою не обозначают, нет в них никаких прозрений, одно лишь животное сходство.

Стиснув в карманах кулаки, склонив голову, он стоит посреди улицы на одеревеневших ногах, ощущая, как обращается в лед собачья слюна на его бороде.

Возможно ли, что в эту минуту кто-то прячется в темном подъезде шестьдесят третьего нумера, наблюдая за ним? Различить соглядатая ему не по силам, да и пятно посветлее, принимаемое им за лицо, может быть всего лишь пятном на стене. Однако чем дольше он всматривается, тем с пущей, кажется, пристальностию всматривается в него это лицо. Взаправду лицо? В его воображении и так уж не протолкнешься от бородатых мужчин со сверкающими глазами, таящихся по темным проходам. И все-таки, когда он вступает в непроглядный мрак лестницы, ощущение чужого присутствия становится столь отчетливым, что дрожь пробегает по спине его. Он замирает на месте, задерживает дыхание, вслушивается. Потом зажигает спичку.

В углу скрючился, перемигивая свет, человек. И хоть голова и рот его обмотаны нынче шерстяным шарфом, а плечи покрывает одеяло, он узнает нищего, с которым давеча говорил на паперти.

— Кто вы? — надтреснутым голосом спрашивает он. — Почему не оставляете меня в покое?

Спичка гаснет. Он зажигает другую.

Мужчина неуступчиво качает головой. Рука выползает из-под одеяла, оттягивает шарф ото рта.

— Не вам мне приказывать, — говорит он. Воздух наполняется смрадом гниющей рыбы.

Гаснет и эта спичка. Он начинает подниматься по лестнице. Однако в голову назойливо лезет парадокс: «Жди того, кого не ждешь». Превосходно; но следует ли ему теперь обходиться со всяким нищим как с блудным сыном — прижимать к груди, вводить в дом, устраивать пир? Да, именно так и сказал бы Паскаль: ставь на все, на каждого нищего, на каждого шелудивого пса, только так ты будешь уверен, что Единый, истинный сын, тать в нощи, не ускользнет из сети твоей. А Ирод поддакнул бы для верности: вырезать всех детей без изъятия.

Ставить на все номера — разве это игра? Без риска, без подчинения голосу, доносящемуся откуда-то сквозь стук падающих костей, что божественного останется в ней? Разумеется, Богу это известно, Он не оставит милостию Своей прирожденного игрока! И, разумеется, в жене, когда муж ее опускается перед ней на колени и кается в проигрыше последнего их рубля, и бьет себя в грудь, и лобзает подол ее платья, в жене, которая поднимает его, и утирает ему слезы, и, не говоря ни слова, выходит, чтобы заложить обручальное кольцо свое, и возвращается с деньгами («Вот!»), дабы муж мог вернуться в игорный дом и сделать последнюю ставку, которая все искупит; разумеется, в этой женщине присутствует божественное начало, в женщине, ставящей на мужчину, у которого ничего не осталось, в женщине, которая, даже когда проиграно и заложенное ею кольцо, снова выходит в ночь и возвращается с деньгами для новой ставки!

А та женщина наверху, женщина, чье даже имя он, сдается, на минуту забыл, которую он даже путает временами с Gnädige Frau[1], их дрезденской квартирной хозяйкой, — в ней тоже присутствует это начало? Он ничего не знает о ней, кроме важнейшей, самой сокровенной из тайн — того, как она отдается. В состоянии ли мужчина понять по тому, как отдалась ему женщина, как отдастся она богу случая? Есть ли в ней этот порыв, порыв, которому все равно, куда он ведет — к наслаждению или к боли, — который пользуется чувственным телом лишь потому, что не можем же мы жить бестелесно? Готова ль она к близости, при которой тела втискиваются друг в друга, в конце концов продираясь во тьму, где ничего уже невозможно расслышать, кроме хлопанья простыней, схожего с хлопаньем крыл?

Воспоминания о проведенных с нею ночах наплывают в такой неожиданной полноте, что все перепутавшееся в нем распрямляется, указуя, точно стрелой, на нее. Вожделение во всей его роскоши сотрясает его. Она, думает он, она единственная, кого я желаю. А потому...

А потому он, улыбнувшись себе самому, поспешно сходит по лестнице и ощупью пробирается в угол, в котором свил себе гнездышко бродяга, наемный доглядчик, шпион.

— Идемте, — говорит он в темноту, — у меня найдется для вас постель.

— Я на посту, а поста покидать не положено-с, — с насмешливым вызовом отвечает бродяга.

Однако теперешнее его настроение трудно испортить.

— Тот, кого вы поджидаете, придет и на третий этаж, уверяю вас. Постучится в дверь, и будет терпеливо ждать, и ни за что не уйдет.

Долгое время слышится какая-то возня, шуршанье бумаги.

---

[1] Достопочтенная фрау (*нем.*).

— А свету у вас больше нет? — спрашивает бродяга.

Он зажигает еще одну спичку. Бродяга торопливо упихивает свое имущество в мешок и встает.

Спотыкаясь во тьме, будто двое пьянчужек, они взбираются по лестнице. У двери своей комнаты он шепчет бродяге, чтобы тот не шумел, и берет его за руку. Рука неприятно пухлая.

Оказавшись в комнате, он зажигает лампу. Сказать о возрасте незнакомца что-либо определенное трудно. Глаза у него молодые, но в редких рыжеватых волосах и веснушках на черепе чудится что-то усталое, пожившее, да и в манере держать себя присутствует изношенность, порожденная унижениями и годами.

— Иванов, Петр Александрович, — представляется бродяга, прищелкивая каблуками и отвешивая легкий поклон. — Чиновник в отставке.

Он указывает на кровать.

— Ложитесь.

— Вы небось гадаете, — говорит бродяга, пробуя рукой кровать, — как это человек моего звания попал в шныри (мы это так промеж себя называем — шныри)?

Иванов ложится, вытягивается.

Неприятное предчувствие посещает его: похоже, он связался с одним из тех нищих, которые, не умея жонглировать или играть на скрипке, полагают себя обязанными отплатить за милостыню рассказом о своей жизни.

— Говорите, пожалуйста, потише, — просит он. — И разуйтесь.

— Вы ведь тот самый господин, у кого сына убили, не правда ли? Примите глубочайшие мои соболезнования. Я-то знаю, что вы должны чувствовать. Не вполне, конечно, но отчасти. Сам двух детишек лишился. В одночасье. Менингитическая лихорадка, по-научному. Супруга моя так и не оправилась от удара. Их можно было б спасти, да деньги-то, чтобы докторам хорошим платить, где их возьмешь? Трагедия-с, а кому до нее дело? Нонче куда ни глянь, все сплошь трагедии. На трагедиях у нас теперь мир стоит. — Он садится. — Ежели позволите дать вам совет, Федор Михайлович (вы ведь не против, правда?), ежели готовы вы воспринять совет от человека, прошедшего, некоторым образом, через горнило-с, то я вам так скажу: не противьтесь своему горю. Поплачьте, как вот женщины плачут. Это великий у них секрет, у женщин-то, коим и обретают они власть над такими, как мы. Женщины знают, когда нужно дать себе волю и выплакаться. А мы все в себе закупориваем, точно в бутылке, вот и бродит оно там, и бродит, пока из него не вызреет истинный сатана-с! Тут мы, известное дело, идем и совершаем какую-нибудь глупость, чтобы избыть его хоть на часок-другой. Да-с, глупость-то совершаем, а после всю жизнь и каемся. А женщины не таковы, потому как слезный секрет знают-с. Учиться нам надо у прекрасного пола, Федор Михайлович, плакать учиться! Вот, видите ли, я плачу и не стыжусь: о следующий месяц три года исполнится со дня трагедии-то, а я плачу и стыда не имаю!

Действительно, по щекам его катятся слезы. Он утирает их рукавом, но слезы льются и льются. И кажется, ничуть не мешают ему говорить. Собственно, он даже веселым выглядит.

— Я, верно, о деточках моих покойных так и прогорюю всю жизнь, — говорит он.

Иванов продолжает что-то лепетать о своих «деточках», его же мысли разбредаются. Отчего люди вечно лезут ко мне со своими историями, не по причине ли писательского звания моего? Думают, у меня своих историй недостает? Он измучен, голова так до сих пор и болит. Сидя на единственном в комнате стуле, он слушает птиц, уже начавших посвистывать за окном, и изнывает от желанья уснуть, — изнывает, если правду сказать, от желанья забраться в кровать, которую уступил.

— После поговорим, — раздраженно прерывает он Иванова, — спите, иначе какой смысл в этой...

Он колеблется в поисках слова.

— В этой милостыни? — лукаво подсказывает Иванов. — Так вы желали выразиться?

Он не отвечает.

— Потому что, смею вас уверить, милостыни также стыдиться не стоит, — негромко продолжает Иванов, — право же, не стоит. Как все равно и горя. Потому как это суть благие порывы. Мы вот все думаем, будто они принижают нас, порывы-то эти благие, ан нет — возносят-с. А Он все их видит и каждый в книгу записывает. Бог все тайники наших сердец проницает.

Он с усилием подымает веки. Иванов сидит посреди постели, скрестив, точно идол, ноги. Шарлатан! — думает он. И закрывает глаза. Когда он просыпается, Иванов все еще здесь, спит, вытянувшись в кровати, сложив под щекою ладони. Рот его приоткрыт, с губ, маленьких, розовых, как у младенца, слетает чуть слышный храп.

Гость задерживается у него до позднего утра. Иванов — начало нежданного, думает он, ну что же, посмотрим, куда нежданное нас заведет!

Никогда еще время не тянулось так медленно, никогда в воздухе не ощущалось столь полное отсутствие богооткровения.

Наконец, наскучив бездельем, он будит Иванова.

— Ступайте, — говорит он, — смена ваша кончилась.

Иванов, похоже, не замечает иронии. Он выглядит свежим, веселым, хорошо отдохнувшим.

— Ауф! — зевает он. — Не грех бы сортир навестить.

И, вернувшись, спрашивает:

— А завтраком вы со мной не поделитесь, а?

Он ведет Иванова в другую комнату. Завтрак его стоит на столе, но аппетита он не ощущает.

— Ваш, — отрывисто произносит он.

Глаза Иванова вспыхивают, струйка слюны стекает по подбородку. Впрочем, ест он благопристойно, а отхлебывая чай, оттопыривает согнутый мизинец. Покончив с едой, он откидывается на стуле и удовлетворенно вздыхает.

— До чего же я рад, что пути наши перекрестились! — говорит он. — Мир бывает иногда очень холодным местом, Федор Михайлович, да вы и сами, наверное, знаете! Я не жалуюсь, заметьте! Всем нам воздается по заслугам нашим, в высшем, стало быть, смысле. И все же я иногда подумываю: а не заслужили ли мы также, каждый из нас то есть, пристанища, приюта, в котором правосудие смягчится на время и кто-нибудь нас да пожалеет? Это, если угодно, вопрос, вопрос философический. Пусть даже в Писании про то не сказано, но из духа-то Писания не следует ли, что мы заслуживаем и того, чего не заслужили? Как вы это разумеете?

— Несомненно, следует. Сожалею, но это не моя квартира. И вам самое время уйти.

— Я мигом-с. Дозвольте только одно напоследок сказать. Это, знаете, не праздные были слова, те, что я вам ночью сказал, о Боге, проницающем тайники сердец наших. Я, конечно, не блаженный юродивый, но ведь отсюда не следует еще, что и я не могу истину высказать. Истина, как сами изволите знать, ходит путями извилистыми, неисповедимыми. — Он значительно прикладывает палец ко лбу. — Вам ведь и не погрезилось, — не правда ли? — когда вы впервые меня увидали, что мы когда-нибудь будем сидеть с вами рядком-с да чаи распивать самым то есть цивилизованным манером. Ан вот они мы, сидим-с!

— Прошу простить, я задумался о своем и как-то упустил суть рассуждений ваших. Вам, право же, пора.

— Да, пора, тоже и у меня свои обязанности имеются. — Он встает, накидывает одеяло, как пелерину, на плечи, протягивает руку. — Всего вам доброго. Приятно было побеседовать с человеком образованным.

— Всего доброго.

Какое облегчение — избавиться наконец от него. В комнате висит затхлый, рыбий какой-то запах. Не обращая внимания на холод, он растворяет окно.

Спустя полчаса кто-то стучится в квартиру. Только бы не Иванов! — думает он и, сердито нахмурясь, распахивает дверь.

Перед ним стоит ребенок, толстая девочка в темном платье, какие носят послушницы. Лицо ее кругло, невыразительно, скулы так высоки, что почти закрывают маленькие глаза, волосы собраны назад и заплетены в косичку.

— Вы отчим Павла Исаева? — на удивление низким голосом спрашивает она.

Он кивает.

Она вступает в квартиру и закрывает за собою дверь.

— Я была Павлу другом, — объявляет она. Он думает, что за этим последуют соболезнования. Но нет. Она стоит перед ним, свесив руки, и разглядывает его с бесстрастным, настороженным спокойствием борца, ожидающего начала схватки. Грудь ее ровно вздымается и опадает.

— Не позволите ли взглянуть на то, что после него осталось? — спрашивает она наконец.

— Осталось очень немногое. Могу я узнать имя ваше?

— Катри. Пусть немногое, я бы все же взглянула. Я уже в третий раз захожу. В первые два дура хозяйка меня не впустила. Надеюсь, вы так не поступите.

Катри. Чухонское имя. Да и похожа она на чухонку.

— У нее, полагаю, имелись на то свои причины. Вы хорошо знали моего сына?

На этот вопрос она не отвечает.

— Вы понимаете, что вашего пасынка убила полиция? — буднично роняет она.

Время останавливается. Он слышит, как стучит его сердце.

— Убили, а потом сочинили басню насчет самоубийства. Не верите? Не хотите — не верьте.

— Зачем вы говорите мне это? — пересохшим шепотом спрашивает он.

— Как зачем? Затем, что это правда. Зачем же еще?

Нельзя сказать, что она настроена воинственно, но что-то начинает ее беспокоить. Она принимается мерно переминаться с ноги на ногу, слегка покачивая руками. При всей ее коренастости, чухонка эта оставляет впечатление гибкости. Неудивительно, что Анна Сергеевна не пожелала иметь с ней никаких дел!

— Нет, — он качает головой. — То, что осталось после сына, это все частное, семейное. Будьте любезны, объясните мне цель посещения вашего.

— Бумаги какие-нибудь были?

— Бумаги были, но их больше нет здесь. К чему они вам? — И тут его осеняет. — Вы из нечаевских?

Вопрос не берет ее врасплох. Напротив, она улыбается, приподнимая брови, вполне обнаруживая наконец-то глаза, сияющие, торжествующие. Конечно она из нечаевских! Воительница, и это раскачивание ее — просто воинственный танец, танец человека, рвущегося в бой.

— Будь я из них, разве бы я призналась? — рассмеявшись, отвечает она.

— А известно ли вам, что полиция присматривает за этим домом?

Вглядываясь в лицо его, она покачивается с пяток на носки и точно старается внушить ему нечто взглядом.

— Вот в самую эту минуту внизу сидит их человек, — продолжает он.

— Где?

— Вы его не приметили, но он-то вас приметил, будьте благонадежны. Он притворяется нищим.

Улыбка ее становится шире, она определенно веселится от всей души.

— Думаете, полицейскому шпиону хватит ума обратить на меня внимание? — спрашивает она.

Тут она проделывает нечто странное: приподняв подол платья, дважды подпрыгивает, выставляя напоказ грубые черные башмаки и белые нанковые чулки.

Она права, думает он, ее можно принять за девочку, пусть и бесноватую. Это бес корчится в ней, скачет, неспособный усидеть на месте.

— Довольно! — холодно произносит он. — Для вас мой сын ничего не оставил.

— Ваш сын! Он вам и сыном-то не был!

— Он был мне сыном и всегда им будет. А теперь уходите, прошу вас. Я не желаю продолжать этот разговор.

Он открывает дверь и указывает ей на лестницу. Выходя, она нарочно наталкивается на него. Ощущение остается такое, точно его пнула свинья.

Когда он после полудня оставляет дом, Иванова нет ни слуху ни духу; когда возвращается — тоже. Впрочем, его ли это забота? Если дело Иванова доглядывать, оставаясь незримым, для чего ему хлопотать о том, чтобы узреть Иванова? И даже если в нынешней то есть шараде Иванов играет роль ангела Божия — потому только ангела, что никакой он не ангел, — почему *он* должен принимать на себя роль человека, ангела взыскующего? Пусть ангел постучит в мою дверь, я не дрогну, я дам ему кров, для заключенного мною условия довольно и этого. Но и едва сказав себе это, он сознает, что солгал, что в его власти полностью и навсегда избавить Иванова от зябкого бдения.

Он раздраженно бродит и бродит по комнате, пока не понимает наконец, что выбора у него не осталось — он должен спуститься вниз и отыскать побродяжку. Однако под лестницей Иванова нет, на улице тоже, поиски оказываются напрасными. Он облегченно вздыхает. Я сделал что мог, думает он.

Но в глубине сердечной он сознает, что сделал не все. Он мог сделать больше, гораздо больше.

9

Нечаев

На следующий день, бродя в окрестностях Сенного рынка, он вдруг примечает несколько впереди плотную, почти шарообразную фигуру давешней чухонки. Она не одна. Рядом с нею шагает женщина, рослая и худая, шагает так споро, что чухонке, чтобы держаться с ней вровень, приходится передвигаться едва ли не вскачь.

Он убыстряет шаг. И хоть он раз за разом теряет их в людской толпе, ко времени, когда женщины заходят в лавку, он почти уже их нагоняет. Перед тем как войти, высокая окидывает взглядом улицу. Его поражает синева ее глаз и бледность кожи. Взгляд женщины скользит по нему не задерживаясь.

Он пересекает улицу и неторопливо прохаживается туда-сюда, ожидая, когда женщины выйдут. Проходит пять минут, десять. Он начинает зябнуть.

Медная табличка сообщает, что здесь находится мастерская Madame la Fay не то la Fée, модистки. Он открывает дверь; звякает звонок. В узкой светлой комнате сидят за двумя длинными швейными столами девушки в одинаковых серых платьях. Средних лет женщина спешит ему навстречу.

— Мсье?

— Несколько минут назад сюда вошла моя знакомая — молодая дама. Я подумал... — Он растерянно оглядывает мастерскую: ни чухонки, ни второй женщины здесь нет и в помине. — Прошу простить, я, верно, ошибся.

Две ближайшие к нему молоденькие белошвейки, видя его растерянность, прыскают. Что до Madame la Fay, она утрачивает к нему интерес.

— Это вы, должно быть, студенток ищете, — равнодушно роняет она. — Мы с ними не знаемся.

Он еще раз извиняется и направляется к выходу.

— Эй! — раздается за его спиной.

Он оборачивается. Одна из девушек указывает на дверцу слева от него:

— Вон туда!

Он попадает в узкий проход, отделенный стеною от улицы. Железная лесенка ведет во второй этаж. Поколебавшись, он поднимается по ней.

Темный, пропитанный кухонным запахом коридор. Откуда-то сверху долетают визг-

ливые звуки, кто-то неумело наигрывает на скрипке цыганский мотив. Двигаясь на звук, он еще двумя маршами лестницы поднимается к полуотворенной двери мансарды и стучит. Ему открывает чухонка. На флегматичном лице ее не выражается никакого удивления.

— Могу я поговорить с вами? — спрашивает он.

Чухонка отступает в сторону. На скрипке играет одетый в черное молодой человек. При виде постороннего он на середине фразы обрывает игру, бросает быстрый взгляд на рослую женщину, хватает шапку и, ни слова не сказав, выходит.

Он обращается к чухонке:

— Я заметил вас на улице и пошел следом. Мы можем переговорить с глазу на глаз?

Она усаживается на диван, но ему сесть не предлагает. Ноги ее едва достают до полу.

— Говорите.

— Вы сделали вчера одно замечание о смерти моего сына. Я желал бы знать больше. Не из какой-либо мстительности. Я для собственного облегчения спрашиваю. Для того, чтобы снять груз со своей души.

Она насмешливо оглядывает его.

— Для собственного облегчения?

— Я хочу сказать, что приехал в Петербург не для того, чтобы изобличить кого-либо, — упрямо продолжает он, — но после сказанного вами об обстоятельствах смерти его я не могу оставить ваши слова без внимания, не могу от них отмахнуться.

Он умолкает. Голова кружится, он вдруг ощущает страшную слабость. Закрывая глаза, он видит приближающегося к нему Павла. Рядом с ним идет девушка, выбранная им в невесты. Еще миг, и Павел заговорит, представляя свою нареченную; еще миг, и он подумает: «Вот и славно, наконец-то годы отцовства закончились, наконец появились руки, в которые я могу его передать!» Еще миг, и он улыбнется Павлу радостной, облегченной улыбкой. Но кто мог стать его невестой? Не эта ли высокая (почти с Павла ростом) женщина с пронзительными синими глазами?

Сделав над собою усилие, он отгоняет видение. Он уже произносит, без какой-либо, как ему кажется, интонации, следующую фразу:

— У меня есть обязанности перед сыном, уклоняться от выполнения коих я не вправе.

Вот и все. Слова подошли к концу, иссякли. Повисает молчание, которое все длится и длится. Он пытается вернуть видение Павла и его нареченной, но вместо них появляется почему-то Иванов, во всяком случае руки Иванова — бледные пухлые пальцы, высовывающиеся, точно черви, из зеленой шерсти митенок. Лицо же Иванова покачивается в каком-то сернистом тумане, не замирая на срок, довольный, чтобы его разглядеть. Выражение, впрочем, различается: хитрая, назойливая улыбка, как будто Иванов осведомлен о чем-то, способном ему повредить, и хочет, чтобы он знал об этой осведомленности.

Он встряхивает головой, пытаясь собраться с мыслями. Он стоит перед чухонкой, будто забывший реплику актер. Молчание тяжким грузом налегает на комнату. Грузом или покоем, думает он, какой настал бы покой, если б все вдруг остановилось, и птицы небесные замерли бы в полете, и гигантский шар застыл на орбите! Определенно близится припадок, сдержать который он ничем не способен. Он наслаждается последними мгновениями покоя. Какая жалость, что покой не может продлиться вовек! Откуда-то издали до него доносится крик, скорее всего его собственный. «И будет скрежет зубовный» — слова пролетают пред ним, затем все исчезает.

Возвращается он с чувством, что словно бы уезжал в далекую страну и состарился там и поседел. На деле же он, как и прежде, стоит посредине комнаты, все еще на ногах, лишь рука его почему-то приподнята. И женщины все еще здесь, даже позы их не переменились, разве что на лице чухонки появилось опасливое выражение.

— Позвольте мне присесть, — выдавливает он, язык его с трудом умещается во рту.

Чухонка освобождает ему место, он садится рядом с ней на диван, свешивает голову, которая вновь начинает кружиться.

— Вам не по себе? — спрашивает чухонка.

Он не отвечает. Что это хотел он сказать ей и почему его все время одолевает такая усталость? Мозг точно окутан туманом. Если бы он был персонажем книги, что мог бы сказать он в минуту, в которую до́лжно либо вылить всю душу, либо оставить страницу пустой?

— Если бы вы только знали, — медленно начинает он, — какую тоску испытываю я в вашем присутствии, насколько оно мне чуждо. Принять участие в играх, в которые вы играете, я не могу. То, что влечет вас, что увлекло, должно быть, и Павла, меня не влечет нисколько. По чести говоря, оно кажется мне отвратительным.

Так и не промолвив ни слова, высокая женщина выходит из комнаты. Шелест ее платья, дуновенье лаванды, когда она минует его, вызывают в нем внезапный трепет желания. Желания чего? Этой женщины? Определенно нет — или не только ее. Молодости, скорее навеки утраченной свободы расшнурованных платьев, нагих тел. Пусть так, и все же это ответное движение тревожит его. Почему именно здесь, почему сейчас? Что-то связанное с усталостью, но, возможно, и с Павлом — с попытками отыскать себе место в мире Павла, в его эротическом окружении.

— Мне показали списки людей, намеченных вами для казни, — говорит он.

Чухонка пристально глядит на него.

— Списки эти теперь в полиции, надеюсь, вы это понимаете. Их взяли из комнаты Павла. Я же вот что хочу спросить: отведено ли всякому из вас просто некоторое число жертв, которых до́лжно убить, или каждому назначены люди совершенно определенные, только ваши и больше ничьи? И если верно последнее, ждут ли от вас, что вы станете заранее их изучать, вникать в их повседневную жизнь? Следите ли вы за ними прямо в домах их?

Чухонка пытается что-то сказать, но он уже ощущает прилив новых сил и голос его крепнет, заглушая ее слова.

— *Если так*, если это так, не получится ли, что вы по необходимости свыкнетесь с вашими жертвами в мере бо́льшей, нежели вам того хочется? Не станете ли вы как некий человек, скажем, нищий, которого зовут с улицы и дают ему копеек пятьдесят, чтобы он избавился от дряхлой, ослепшей собаки, и вот он берет веревку, вяжет петлю и гладит собаку, чтобы успокоить ее, бормочет ей какие-то слова и ощущает внезапно наплыв добрых чувств, отчего он и собака становятся друг дружке уже не чужими, а простая работа, которую ему предстоит совершить, обращается в самое черное предательство, такое, в сущности, предательство, что едва он натягивает веревку, в тот самый миг, как он натягивает ее, душа собаки обращается в призрак, который потом приходит к нему день за днем, удивленно скуля: «Почему именно ты это сделал?» Такая мысль, она не способна остановить вас?

Пока он говорит, возвращается рослая женщина. Она опускается в дальнем углу комнаты на колени, складывает простыни, сворачивает матрас. Чухонка же положительно ожила. Глаза ее блестят, ей явно не терпится что-то сказать. Но он не дает ей такой возможности.

— И если простая собака способна на это, какая сила сможет заставить мужчин и женщин, которых вам предстоит уничтожить, воздержаться от того, чтобы преследовать вас? Сдается мне, что, по какой бы научной методе ни отбирались вами эти враги народа, вы не сможете убивать их, не подвергая опасности собственные ваши души. Кто, например, был намечен в первые жертвы Павла? Кого ему предстояло убить?

— Зачем вы спрашиваете? Вам для чего?

— Для того, что я хочу пойти к дому этого человека и, став на колени перед дверью его, поблагодарить Бога за то, что Павел до нее не дошел.

— Вы, значит, радуетесь тому, что Павел убит?

— Павел не умер. Он мог умереть, но ему выпало великое счастье сохранить жизнь свою.

Рослая женщина наконец вмешивается в разговор.

— Вы не пересели бы сюда, Федор Михайлович? — говорит она, указывая на стол и два стула у окна.

— Это моя сестра, — поясняет чухонка.

— Хоть и от разных отцов, — говорит женщина.

Обе смеются, непринужденно, как давно знакомые люди.

Выговор у нее петербургский, голос глубокий. Вышколенный голос. Его охватывает чувство, что он уже встречал ее где-то. Певица? Времен его увлечения оперой? Да нет, чересчур молода.

Он садится на стул, она занимает другой, напротив. Стол узок. Ее ступня прикасается к его, он подбирает под себя ноги.

Хоть она и сидит спиною к окну, он понимает теперь, почему она так густо напудрена. Лицо ее усеяно оспинами. Какая жалость, думает он, пусть не красавица, но ведь и не вовсе лишенное красоты существо.

Нога ее вновь касается его ноги и задерживается, ступня к ступне.

Тревожное возбуждение пронизывает его. Как в шахматах, думает он: два игрока за маленьким столиком делают обдуманные ходы. Стало быть, это обдуманность возбуждает его — нога поднимается, будто пешка, и ставится рядом с его ногой? А третья из находящихся в комнате, наблюдательница, которая ничего не видит, простушка, глядящая не туда, куда следует, — она тоже разыгрывает свою партию? Обдуманность и безвкусица, безвкусица, которая по-своему щекочет нервы. От кого они смогли так много узнать о нем, о его желаниях?

Певица, контральто, королева контральто.

— Вы знали моего сына, — говорит он.

— Он был нашим приверженцем. Маскотом.

Словечко ему знакомо и причиняет боль. Маскот — отрок, отирающийся средь студентов, мальчик на побегушках.

— Но он был вашим другом?

Она пожимает плечами.

— В дружбе есть нечто бабье. Мы не нуждаемся в дружбе.

«Бабье» — странноватое слово для женщины! Ему и сейчас уж кажется, что он знает больше, чем хочет знать. Ступня ее по-прежнему прижата к его, но теперь в нажатии ее ощущается нечто бездумное, вялое, даже угрожающее. Уже не ступня, а тяжелый башмак, живущий собственной жизнью. Павел не стал бы играть в подобные игры. Вновь возвращается видение Павла, идущего к нему. С ним рядом девушка, невеста, но облик ее неразличим. Павел улыбается, и нечто подобное торжеству читается в его улыбке. Друг мой! — думает он. Непомерная любовь тяжко сжимает ему сердце. И вот это, думает он, досталось мне взамен тебя!

— Если вы не нуждаетесь в дружбе, то да спасет вас Бог, — шепчет он.

Он встает из-за стола, поворачивается к женщинам спиной. Хотелось бы знать, как он сейчас выглядит? Зеркала в комнате нет. Когда он опять садится, слезы, грозившие вскипеть в глазах его, уже усмирены.

— Что вы сделали с моим сыном? — сдавленно спрашивает он.

Женщина склоняется над столом, не сводя с него синего взгляда. Сквозь слой пудры пробиваются из ямок на подбородке пропущенные бритвой жесткие волоски. Да и сходящиеся над переносицей брови ее слишком густы. Женщине хватило бы разумения выщипать их. Стало, и чухонка — тоже отрок, толстый юнец-недоросток? Внезапно его пронизывает отвращение к ним обоим.

Она, или он, произносит какие-то слова. Это Нечаев — нечего и сомневаться. Личина, им принятая, становится вдруг слишком прозрачной. С внезапной отчетливостью возвращается давнее воспоминание: зала Конгресса мира, перерыв между заседаниями, Нечаев в полном одиночестве стоит в углу́, с ненавистью озираясь по сторонам, набивая рот крошечными бутербродами, бросая безмолвный вызов всей заполненной взрослой публикой зале: «Да, смейтесь, если смеете, смейтесь над гимназистом!» Выраженье лица

его точь-в-точь как у школьника, которого поставили на стул и у которого панталоны съехали вдруг до колен, — выражение уязвленное, но вызывающее. «Смейтесь, рано или поздно придет и на мою улицу праздник!»

Он вспоминает замечание, оброненное княжной Оболенской, любовницей Мрочковского: «Он, может быть, и *enfant terrible* анархизма, но, право же, ему следовало бы что-то сделать со своими прыщами!»

— При том, что учинила полиция с вашим сыном, — говорит Нечаев, — меня поражает, до чего вы спокойны. Ведь и в Писании сказано: око за око и зуб за зуб.

— Бессовестный вы человек, нет в Писании ничего подобного! Что вы пытаетесь внушить мне касательно Павла? И почему нарядились в этот нелепый костюм?

— Вы же не верите в басню о самоубийстве. Исаев не покончил с собой — это полицейская выдумка. Уничтожить нас законными средствами они возможности не имеют, вот и прибегают к подобным гнусным убийствам. Но вы-то должны же были усомниться, иначе зачем бы вы здесь очутились?

Вся напускная деликатность отброшена, теперь Нечаев говорит настоящим своим голосом. Шелестя синим платьем, он прохаживается по комнате взад-вперед. Что у него под платьем, панталоны или голые ноги? Что ощущает мужчина, разгуливая на голых, пусть и прикрытых ногах, трущихся одна о другую?

— Думаете, нам всем не угрожает опасность? Думаете, мне *хочется* красться переодетым по моему собственному городу, городу, в котором я родился? А известно ли вам, что такое значит быть одинокой женщиной на улицах Петербурга? — Нечаев повышает голос, его душит гнев. — Известно ли вам, что́ ей приходится выслушивать? Мужчины тащатся следом, шепча гнусности, которых вы и представить себе не способны, и она против них бессильна! — Тут он овладевает собой. — Хотя, возможно, вы превосходнейшим образом их себе представляете. Возможно, то, что я описываю, вам слишком знакомо.

Чухонка ставит на колени миску с картофелинами и принимается чистить их. Лицо ее спокойно, ни дать ни взять — маленькая бабушка.

— Вроде похолодало, — сообщает она в пространство.

Безумцы, оба! — думает он. Но я-то, что я здесь делаю? Мне нужно отыскать путь, которым я смогу возвратиться к Павлу.

— Соблаговолите повторить... Соблаговолите повторить сказанное вами о моем сыне, — говорит он.

— Хорошо, я расскажу вам о вашем сыне. Официально утверждается, что он покончил с собой. Если вы верите в это, значит, вы поистине легковерны, легковерны преступно. Вы ведь, если не ошибаюсь, сами были когда-то революционером? Должны же вы понимать, что борьба никогда не прекращалась. Или вы заключили с ними сепаратный мир? Однако тех, кто стоит на переднем фронте борьбы, по-прежнему гонят, пытают и убивают. Я-то ждал, что вы поймете это и об этом напишете. Тем паче, что в нашей постыдной российской печати прочитать правду о вашем сыне и подобных ему людях все равно никогда не удастся.

Голос Нечаева становится более низким, более напряженным.

— То, что произошло с вашим сыном, может в один прекрасный день произойти и со мной, да с любым из наших товарищей. Вы говорите, будто вам об этом ничего не известно. Так пойдите на улицы, на рынки, в кабаки, где собирается простой народ, и вы узнаете то, что известно ему. Народу вот откуда-то все известно! И когда придет судный день, народ не забудет ни о тех, кто страдал и умирал за него, ни о тех, кто не шевельнул ради него даже пальцем.

Христос во гневе его, думает он: вот кого он взял себе в образцы. Ветхозаветный Христос, тот, что изгнал торгующих из храма. Даже костюм выбран точно — не обычное платье, но одеяние, покров. Подражатель, притворщик, святотатец.

— Не угрожайте мне! — откликается он. — Как получили вы право говорить от имени народа? Народ не мстителен. Народ не тратит времени на заговоры и интриги.

— Народ знает своих врагов и не прольет по ним ни слезинки, когда им придет конец! Что до нас, мы, по крайности, понимаем, что делать, и делаем! Возможно, и вы понимали когда-то, но теперь вы только и можете, что мямлить, качать головой и плакать. Вы одрябли. А мы не дряблы, мы не плачем, не растрачиваем время на умные разговоры. Есть вещи, о которых можно поболтать, а есть другие, о которых болтать нечего, их делать надо, только и всего. Мы не болтаем, не плачем, не размышляем на бесконечную тему «с одной стороны, но с другой стороны», мы просто-напросто *делаем*!

— Превосходно! Вы просто-напросто *делаете*. Кто, однако, указывает вам, что́ следует делать? Чьему голосу подчиняетесь вы, народному или же собственному, но только немного измененному, чтобы вам его как-нибудь случаем не узнать?

— Очередной умный вопрос! Очередная трата времени! Нас тошнит, мы устали от умничанья. Умничанье принадлежит к разряду вещей, от которых нам придется избавиться. Близится время простых людей. Простой человек не умничает. У него есть работа, и он ее делает. А по завершении работы именно простой человек и решит, что и как будет дальше и следует ли допускать дальнейшее умничанье!

— И следует ли допускать умные книжки и все остальное! — подхватывает оживившаяся, похоже даже пришедшая в раж чухонка.

Возможно ли, думает он с отвращением, чтобы Павел был дружен с такими людьми, с людьми, всегда готовыми раздражить себя до неистовой уверенности в собственной правоте? Не схоже ли это место с испанским монастырем времен Лойолы: высокородные девицы бичуют себя, часами молясь о том, чтобы Спаситель принял их в лоно свое? Крайние люди, сладострастники, жаждущие исступления смерти, не важно, как себя проявляющей — в убийстве ли или в собственной их кончине. И Павел был среди них!

Его снова придавливает мысль о последнем мгновении Павла, о полном горячей крови, полном жизни юном теле, ударяющем оземь, о воздухе, рвущемся из легких, о хрусте костей и об изумлении, прежде всего об изумлении перед тем, что конец реален, что второго шанса дано ему не будет. В страдании он заламывает укрытые под столом руки. Тело, ударяющее оземь: смерть, мера всех вещей.

— Докажите мне... — говорит он. — Представьте мне доказательства того, что вы сказали о Павле.

Нечаев склоняется к нему.

— Я отведу вас на место, — произносит он, медленно выговаривая каждое слово. — Я отведу вас на то самое место и открою вам глаза.

Он молча встает, спотыкаясь добирается до двери. Находит лестницу, спускается по ней и тут понимает, что забыл дорогу на улицу. Стучит наудачу в дверь. Ответа нет. Стучит в другую. Усталого вида женщина в шлепанцах отворяет ее и отступает, чтобы его впустить.

— Нет-нет, — говорит он, — я лишь хочу узнать, как выйти отсюда.

Не проронив ни слова, она закрывает дверь.

С другого конца коридора доносится гул голосов. Дверь стоит настежь; он входит в комнату с низким потолком, похожую чем-то на птичью клетку. Трое молодых людей развалились в креслах, один читает вслух из газеты. Наступает молчание.

— Я ищу выход, — говорит он.

— Tout droit![1] — махнув рукой, отзывается чтец и возвращается к газете. Он читает отчет о стычке студентов с жандармами у стен философского факультета. Оторвав взгляд от листа, он видит, что незваный гость так и не стронулся с места.

— Tout droit, tout droit! — рявкает он, товарищи его хохочут.

Тут рядом с ним возникает чухонка.

— Господи, куда вас только не заносит! — добродушно замечает она. Взяв за руку, она проводит его, как слепца, по еще одной лестнице, по темному коридору, забитому ларями и сундуками, к запертой на засов двери, которую она отпирает. Вдвоем они выходят на улицу. Чухонка протягивает ему ладонь.

---

[1] Все время направо (*франц.*).

— Значит, у нас с вами нынче свидание, — говорит она.

— Нет. Какое свидание?

— Ждите вечером, в десять, на углу Гороховой и Фонтанки.

— Не приду, можете быть уверены.

— Ну, не придете, и ладно. А то вдруг да и придете. Есть же у вас родственные чувства. Вы нас не предадите, нет?

Вопрос она задает шутливо, точно он, в сущности, и не властен причинить им какой-либо вред.

— А то, знаете, кое-кто из наших поговаривает, что вы непременно нас предадите, — продолжает она. — Утверждают, будто вы по природе своей предатель. А вы как считаете?

Будь в руке его палка, он бы ударил ее. Но понять, куда можно побольнее ткнуть голой рукой это тупоокруглое тело, трудновато.

— Хотя, если даже человек разобрался в своей природе, какой ему от этого прок? — задумчиво продолжает она. — Я к тому говорю, что природа все равно его за собой потянет, сколько бы он над ней ни размышлял. Что толку вешать человека за то, к чему его подтолкнула природа? Все равно как вешать волка за то, что он овцу съел. Природы-то волчьей этим не исправишь, правильно? Или вот повесили того, кто предал Иисуса, — ну и что изменилось, ведь ничего?

— Никто его не вешал, — выпаливает он в раздражении. — Сам повесился.

— Какая разница? Все равно же не помогло, не так ли? Я хочу сказать, независимо от того, повесили его или сам он повесился.

Нечто жутковатое начинает проступать в ее болтовне.

— И кто же Иисус? — негромко спрашивает он.

— Иисус? — Уже сумерки, никого кроме них нет на холодной, пустынной задней улочке. Чухонка недоуменно глядит на него. — Разве вы не знаете, кто такой Иисус?

— Если вы называете меня Иудой, кто тогда Иисус?

Она улыбается.

— Ну, это так, к слову пришлось, — говорит она. И затем, обращаясь более к себе, чем к нему: — Ну решительно же ничего не понимают.

Она еще раз протягивает руку.

— В десять на Фонтанке. Если никто к вам не подойдет, значит, что-то произошло.

Не приняв руки, он уходит по улице. Сзади до него долетает произнесенное полушепотом слово. Какое? «Жид»? «Иуда»? Скорее всего, «жид». Замечательно: так они полагают, будто одно слово произошло от другого? Но почему он побрезговал прикоснове-нием к ней? Потому, что она могла знать Павла, знать слишком хорошо — быть может, и плотски? Считаются ли у них женщины общей собственностью, у Нечаева и прочих? Трудненько вообразить эту женщину в общем владении. Скорей уж она обладает всеми мужчинами сообща. Обладала и Павлом. Он противится этой мысли, затем уступает. Он видит чухонку голой, восседающей на багряных подушках, раздвинувшей громоздкие ноги, разведшей в стороны руки, выставив напоказ груди, круглый живот, безволосое, голое зрелое лоно. И коленопреклоненного Павла, ждущего, когда его покроют и пожрут.

Он трясет головой, прогоняя видение. Завидное воображение! Потом на место любви прокрадывается, точно поседелая крыса, отец, — посмотреть, не осталось ли чего и ему. Сидя во мраке на трупе, он вгрызается в него, настораживает, прислушиваясь, уши, грызет, прислушивается, грызет. Вот, стало быть, почему полицейская свора во главе с Максимовым, достойным отцом, самой крупной из крыс, столь мстительно преследует вольнолюбивую петербургскую молодежь?

Он вспоминает, как вел себя Павел после его женитьбы на Ане. Павлу было уже девятнадцать, но он никак не мог примириться с тем, что она, Анна Григорьевна, станет отныне спать в одной постели с отцом. Весь год, что они прожили вместе, Павел старательно делал вид, будто она всего лишь компаньонка отца, вот как бывают старухи компаньонки, нанимаемые, чтобы вести хозяйство, заказывать в бакалейной продукты, сле-

дить за мойкой белья. Когда — скажем, после вечерней игры в карты — он объявлял, что идет спать, Павел не отпускал с ним Аню, предлагая ей еще разок перекинуться в дурачка («Один на один!»), и даже когда она, краснея, порывалась уйти, все равно не желал понимать зачем («Мы же не в деревне живем, коров вам с утра не доить!»).

Всегда ль оно так между детьми и отцами: шуточки, прикрывающие неистовое соперничество? И не оттого ли он столь угнетен утратой: почва жизни его, борьба с сыном, ушла из-под ног, и дни его стали пусты? Не «народная расправа» — «сыновняя»: вот что лежит в óснове всех революций, зависть отцов к женщинам их сыновей, помыслы сыновей о том, как бы отнять у отцов их денежную мошну. Он снова устало трясет головой.

10

Дроболитная башня

Вернувшись домой, он сталкивается в коридоре с донельзя возбужденной Матреной.

— А к нам полиция приходила, Федор Михайлович, искала убийцу!

Время останавливается; он застывает на месте.

— Почему убийцу искали здесь? — Слова эти произносятся им, но слышатся будто бы издали, немощные слова, выговариваемые кем-то другим.

— Да они повсюду искали, по всему дому!

От Анны Сергеевны он получает отчет более полный.

— Полиция спрашивала о нищем, который слонялся тут по соседству. Я его, по-моему, видела, но в точности не помню. Говорят, он устраивался на ночь в нашем доме.

Он мог бы сейчас открыть ей, что Иванов провел ночь в ее квартире, но предпочитает не делать этого.

— В чем его обвиняют? — спрашивает он взамен.

— На этот счет полиция особо не распространялась. Матреша уверяет, будто он кого-то убил, но это одни только слухи.

— Невозможно. Я с ним знаком, мы разговаривали, и довольно долго. Он не убийца.

Выясняется, впрочем, что доля правды в слухах присутствует. Преступление действительно совершено, тело жертвы — именно самого этого нищего — обнаружено неподалеку в одном из проулков. Известие это, полученное от дворника, ошеломляет его. Иванову, одной из тех грошовых фигур, что вечно толкутся у чьего-нибудь смертного одра или у свежей могилы, умирать прежде прочих совсем не по чину.

— Уверены ли они, что он попросту не замерз? — спрашивает он. — Отчего непременно убит?

— Убит, как есть убит, сударь, — с выражением человека осведомленного отвечает старик. — Дивно разве, чего они такой шум подняли из-за пустого-то человека.

За ужином Матрена только и говорит, что об убийстве. Она чрезвычайно взволнована: глаза блестят, слова перескакивают одно через другое. Ему тоже есть что порассказать, но это подождет, пусть сначала мать угомонит девочку и уложит ее спать.

Когда у него возникает наконец уверенность, что девочка заснула, он принимается рассказывать Анне Сергеевне о своей встрече с Нечаевым. Говорит он, лишь немного понизив голос, поскольку сознает, что шепот взрослых — пленяющий своею таинственностью и уж тем одним ненадежный — способен нарушить и самый глубокий сон ребенка.

Фамилия Нечаев Анне Сергеевне знакома, но представление о том, кто он, у нее самое смутное. Тем не менее она охотно подает ему совет, и совет решительный:

— Вам необходимо пойти на это свидание. Вы места себе не найдете, пока не узнаете, что случилось на самом деле.

— Но я знаю, что случилось. А большего мне знать и не нужно.

Она нетерпеливо взмахивает рукой. Такое отсутствие энтузиазма представляется ей

бессмысленным, она видит в нем одну апатичность. Как бы ей объяснить? Чтобы она сумела понять, он должен заговорить с нею голосом из-под вод, ясным, как звон колокольчика, голосом мальчика, молящим из глубокой тьмы. «Папочка, спой мне!» — мог бы позвать этот голос, и она бы его услышала. Где-то внутри себя самого он смог бы отыскать не один только голос, но и слова, настоящие слова. Сейчас же слов ему не хватает. Возможно — есть у него такое ощущение, — они поджидают его в одной из старинных песен. Но не из тех, что напечатаны в книгах: эта песня сокрыта в душе народа русского, и как до нее доберешься? Или в душе ребенка.

— Павел был человек не мстительный, — произносит он наконец, запинаясь. — Кто бы его ни убил, это дело прошлое, Павел никак с ним больше не связан, он избавился от этого человека. Я хочу научиться у него этому. И не хочу отравлять свою душу мстительностью.

Ему и еще есть что сказать, но не сейчас, сейчас он не может. Сказать, что Павлу неинтересен разговор о его падении. Что Павел прежде всего одинок и нуждается в утешении, в колыбельных песнях, в уверениях, что его не бросят на дне глубоких вод.

Оба замолкают. Впервые с прошлого воскресенья они остались наедине. Анна Сергеевна кажется усталой. Плечи обмякли, руки вяло лежат на столе, на шее обозначились складки. Старше его жены, снова думает он, — не то чтобы человек другого поколения, но близко к тому. Он сожалеет, что видит ее такой. Слишком недавно возвратился он от Нечаева, молодого, демонически энергичного, как и все мелкие бесы молодости.

Повинуясь порыву, он берет ее за руку. Анна Сергеевна поднимает на него удивленный взгляд.

— Я не к мщению вас призываю, — медленно говорит она. — Разумеется, вы верно сказали о Павле, он не был мстителен по натуре. Но в нем жило чувство правильного и справедливого. Пойдите на это свидание. Узнайте все, что сможете. Иначе вам никогда не будет покоя.

Он продолжает сжимать ее руку. И ощущает ответное пожатие, которое может назвать только участливым.

— Справедливость, — задумчиво произносит он. — Великое слово. Но кто может сказать, где, в сущности, проходит черта между справедливостью и расправой? — И, увидев, что она не вполне его понимает: — Не оригинально ли это в Нечаеве — то, что он назвал свое дело «Народной расправой», а не «Народной справедливостью»? По крайней мере, честно.

— Честно? Разве люди это хотят услышать: что им нужна расправа, а не справедливость? Не думаю. Почему его вообще принимают всерьез, Нечаева? Почему кто-то должен принимать всерьез студента, раздраженного молодого человека? Какой, в конце-то концов, силой он обладает?

— Определенно не силой жизни, но силой смерти. Ребенок ведь, если в него войдет этот дух, может убить так же легко, как взрослый. Возможно, оригинальность Нечаева состоит и в этом тоже: он вслух говорит о наших детях то, чего мы и помыслить-то не решаемся, наделяет голосом нечто жестокое и тупое, пропитавшее собою молодую Россию. Мы затыкаем уши, и тут он является с топором и заставляет нас слушать.

Рука ее, такая живая в его руке, вдруг словно бы обмирает. Чувствительность истинно женская, думает он, отнимая руку. Как и у дочери ее. И ранимость, верно, не меньшая.

Ему хочется обнять Анну Сергеевну, взять ее в руки и поправить все, что в ней было изломано. Пора прекратить этот разговор, думает он, лишь отталкивающий, отчуждающий ее. Но это ему не по силам.

— В конце концов, невозможно же вербовать приверженцев, взывая к духу, им чуждому или вовсе безразличному. Нечаев находит последователей среди молодежи оттого, что дух, вселившийся в нее, перекликается с духом, обуявшим его. Разумеется, сам он приводит иные объяснения. Он называет себя материалистом. Истина же в том, что он вмещает в себе нечто, называвшееся греками «демоном». Это демон наставляет его. И в демоне он черпает энергию.

И снова он думает: пора остановиться. Но сухие, мертвые слова продолжают истекать из него. Он понимает, что обрывает связующие их нити.

— Тот же демон мог присутствовать и в Павле, иначе с чего бы Павел отозвался на его призыв? Приятно думать, что Павел не был мстительным человеком. Приятно хорошо думать о покойных. Однако это означает лишь, что мы пытаемся им польстить. К чему сентиментальничать? В обыденной жизни Павел был не менее мстителен, чем любой молодой человек.

Анна Сергеевна встает. Он уверен, что знает слова, которые она собирается произнести, и готов, хотя бы приличия ради, начать оправдываться перед ней. «Вы зовете себя отцом Павла, но я не верю, что вы его любите», — вот чего он ожидает. Он ошибается.

— Я ничего не знаю об анархисте Нечаеве, я могу только принять на веру ваши слова о нем, — говорит она. — Однако, слушая вас, я затрудняюсь сказать, кому именно, вам или Нечаеву, сильнее хочется, чтобы Павел принадлежал к партии расправы. Я Павлу никто, я, уж конечно, не мать его, и все же я обязана ему — ему и памяти о нем, — обязана протестом. Сражайтесь, коли вам угодно, с Нечаевым, но Павла-то в ваши распри не втягивайте.

— Нечаев не анархист. Это ошибка, которую люди делают на его счет. Он нечто совсем иное.

— Анархист, нигилист, кто угодно, я не желаю больше слышать о нем! Я не хочу, чтобы в мой дом притаскивали ненависть и раздоры! Матрена и без того достаточно растревожена, и я не хочу, чтобы она подхватила еще и эту заразу.

— Не анархист и не нигилист, — упрямо продолжает он. — Нацепляя на него ярлыки, вы упускаете из виду то, чем он отличен от всех остальных. Он действует не во имя идей. Он действует, когда в теле его пробуждается потребность действия. Он сладострастник. Человек крайних страстей. Тело его стремится жить у черты чувственных ощущений, у черты телесного знания. Вот отчего он говорит, что «все позволено», — или мог бы это сказать, если бы не был столь равнодушен к любым попыткам выразить себя.

Он делает паузу. Ему опять представляется, будто он знает, что хочет сказать Анна Сергеевна, знает, хотя она и не говорит ничего: «А вы сами? Многим ли вы от него отличаетесь?»

— Думаете, почему Нечаев выбрал топор? — продолжает он. — Если вдуматься в то, что такое топор, в то, что этот топор означает...

Он в отчаянии всплескивает руками. Порядочные слова нынче ему не даются. Топор — орудие народной расправы, народное оружие, грубое, тяжкое, неотразимое, в замах которого вложена вся сила его носителя, тяжесть телесная и тяжесть пожизненной ненависти, негодования, отложившаяся в теле, тяжесть и темная радость замаха.

Оба вновь погружаются в молчание.

— Существуют люди, — произносит он наконец тоном более ровным, — не способные получать ощущения естественным путем. Этим и поразил меня Сергей Нечаев еще в самом начале — как человек, не способный, к примеру, вступить в естественную связь с женщиной. Хотелось бы знать, не в этом ли и коренится его обида на все и вся. Впрочем, возможно, в будущем оно так и станется: человек уже не сможет получать ощущения прежними средствами. Прежние средства себя изживут. Я говорю о любви. Любовь изживет себя. Придется отыскивать средства иные.

Анна Сергеевна говорит:

— Довольно. Я больше не хочу разговоров. Уже десятый час. Если вы решились идти...

Он встает, кланяется, уходит.

В десять он стоит у Фонтанки, на назначенном месте. В вышине ветер гонит перед собой разодранные дождевые тучи, струи хлещут по черной речной воде. Фонарные столбы нестройно покрякивают вдоль пустой каменной набережной. Слышно, как бурлит на крышах и в водостоках вода.

Впадая во все более брюзгливое состояние, он укрывается в одном из подъездов. Недостает еще простуду подхватить, думает он, это уж будет последняя капля. Он легко простужается. И Павел простужался легко, с самого детства. Интересно, болел ли Павел, пока жил у *нее*? Сама ли она ходила за ним или предоставляла заниматься этим Матрене? Он воображает Матрену, входящую в комнату, неся стакан горячего чая с лимоном, парок над стаканом, Матрена ступает осторожно, стараясь не расплескать чай; воображает Павла, его темные волосы на белой подушке, улыбку. «Спасибо, сестричка», — говорит Павел хрипловатым юношеским голосом. Жизнь юноши во всей ее обыденности! Подслушать его некому, и он, опуская голову, мычит, точно больной бык.

Тут-то она и возникает перед ним, с любопытством его оглядывая — не Матрена, чухонка.

— Вам нездоровится, Федор Михайлович?

Охваченный смущением, он отрицательно качает головой.

— Тогда идемте, — говорит она.

Она ведет его, чего он и опасался, вдоль реки на запад, к старой дроболитной башне на Столярной набережной. Повышая голос, чтобы пересилить ветер, она болтает с ним совершенно по-дружески.

— Знаете, Федор Михайлович, — говорит она, — это вам мало чести делает, так говорить о людях, как вы нынче днем говорили. Вы нас разочаровали — вы, с вашим-то прошлым. Вы же, как-никак, в Сибирь пошли за убеждения. Мы вас уважаем за это. Даже Павел Александрович уважал. Вам отступаться стыдно.

— Даже Павел?

— Да, даже Павел. Вы в свое время пострадали, а теперь Павел принес себя в жертву. Вы имеете полное право высоко держать голову и гордиться им.

Ей не составляет никакого труда тараторить, быстро перебирая при этом ногами. У него же колет в боку и сбивается дыхание.

— Помедленнее, — пыхтит он. — А вы? — наконец спрашивает он. — Вы-то что?

— Что я?

— Как насчет вас? Вы сможете в будущем высоко держать голову?

Чухонка останавливается прямо под безумно болтающимся фонарем. Свет и тень мечутся по ее лицу. Совершенно напрасно он зачислил ее по разряду детей, играющих в переодевания. При всей ее бесформенности, он теперь различает в ней холодную женственность.

— Я не предполагаю задерживаться надолго здесь, Федор Михайлович, — говорит она. — Как и Сергей Геннадиевич. И все остальные из наших. То, что случилось с Павлом, может в любую минуту случиться с каждым из нас. Так что не надо шутить. А если вы подшучиваете над нами, так помните хоть, что вы и над Павлом подшучиваете.

Второй раз за день он испытывает желание ударить ее. И видно, что она чувствует его гнев: она даже выпячивает подбородок, как бы подталкивая его — давай ударь. Почему он стал так вспыльчив? Что на него нашло? Не обратился ли он в одного из тех стариков, что не способны совладать со своим норовом? А то и хуже: теперь, когда наследник его погиб, не стал ли он не стариком только, но и призраком, раздраженным, несдержанным мороком?

Башня на Столярной стоит еще со времен строительства Петербурга, но ею давно уж не пользуются. Несмотря на сделанную краской надпись, запрещающую входить в нее, она давно обратилась в пристанище самых отчаянных окрестных мальчишек, которые по спирально вделанным в стены железным скобам добираются до расположенного саженях в пятнадцати над землею горнила, а то и выше, на самую верхушку кирпичной трубы.

Огромная, утыканная гвоздями дверь заложена засовом и заперта, но маленькую боковую давным-давно вышибли какие-то шалопаи. В темном ее проеме стоит, поджидая их, мужчина. Негромко поздоровавшись с чухонкой, мужчина этот входит вовнутрь.

Внутри стоит запах испражнений и заплесневелого камня. Кто-то негромко сквер-

нословит в темноте. Мужчина чиркает спичкой, зажигает фонарь. Чуть ли не под ногами их, прижимаясь друг к другу, лежат на мешках трое. Он отводит взгляд.

Человек с фонарем это Нечаев, теперь на нем длинный черный гренадерский плащ. Лицо отливает ненатуральной бледностью. Пудру он, что ли, забыл смыть?

— У меня от высоты кружится голова, — говорит чухонка. — Я вас тут подожду. Сергей Геннадиевич все вам покажет.

Спиральная лестничка вьется по внутренней стене башни. Подняв фонарь повыше, Нечаев начинает взбираться по ней. Шаги его гулко отдаются в замкнутом пространстве.

— Вот здесь они и вели вашего пасынка, — говорит Нечаев. — Сначала, скорее всего, напоили, чтобы с ним легче было управиться.

Павел. Здесь.

Подъем все длится и длится. Башню, уходящую вниз, как колодец, заглатывает темнота. Он отсчитывает вспять дни, прошедшие со смерти Павла, дойдя до двадцати, сбивается, начинает сначала и сбивается снова. Неужели Павел поднимался по этой лестнице *так много дней тому назад*? Почему он не может их счесть? Ступеньки, дни — они както связаны. С каждой ступенькой из жизни Павла вычитался еще один день. Прибавление и убывание происходили одновременно — может быть, это ему мешает?

Лестница кончается, они выходят на плоскую железную крышу. Провожатый его широко поводит фонарем.

— Туда, — говорит он.

Мелькают очертания каких-то ржавых механизмов.

Они оказываются высоко над набережной, на выступающей из башни платформе с перилами вышиною по пояс. С одного ее боку в стену вделаны барабан и цепная лебедка.

Ветер набрасывается на них. Он снимает шляпу и вцепляется в поручень, стараясь не глядеть вниз. Метафора, говорит он себе, не более того, — просто еще одно слово для обозначения потери сознания, отсутствия, небытия, верней, бытия нездешнего. Ничего нового. Эпилептикам это очень даже знакомо — приближение к самому краю, заглядывание вниз, душа кренится, одна и та же мысль безумно, точно колокольный звон, колотится в голове: «Время придет к концу, и смерти больше не будет».

Он сжимает поручень крепче, встряхивает головой, отгоняя головокружение. Метафора — экий вздор! Есть только смерть, ничего больше. Смерть есть метафора небытия. Смерть есть смерть. Не следовало мне сюда приходить. Теперь до скончания дней эта картина будет призрачным видением стоять перед моими глазами: мерцающие под дождем кровли Санкт-Петербурга, вереница крошечных фонарей вдоль кромки воды.

Не разжимая стиснутых зубов, он повторяет про себя: «Не следовало приходить». Но все эти «не», так уже было с Ивановым, отказывают одно за другим. «Не следовало приходить, а потому следовало прийти. Ничего другого я не увижу, а потому увижу все». Какая-то болезнь — недомогание логики, быть может?

Фонарь его провожатый оставил внутри. Он остро чувствует близость молодого тела Нечаева, несомненно сильного, жилистого, неутомимого. В любой миг он может схватить его за поясницу и швырнуть через поручни в пустоту. Но кто на этой платформе *он* и кого *его*?

Он медленно поворачивается лицом к молодому человеку.

— Если Павла действительно привели сюда, чтобы убить, — говорит он, — я прощу вам то, что вы привели сюда и меня. Но если это чудовищная хитрость, если именно вы столкнули его отсюда, тогда, предупреждаю вас, прощения вам не будет.

Между ними от силы семь вершков. Луна прячется, струи дождя хлещут по ним, но Нечаев не отступает от него ни на шаг, он в этом уверен. По всем вероятиям, противник его уже проиграл для себя эту партию от начала и до конца, со всеми ее вариантами: что ему ни скажи, удивить его не удастся. Если он только не бес, которому любые проклятья что гусю вода.

Говорит Нечаев:

— Вам следует стыдиться ваших слов. Павел Исаев был нашим товарищем. Мы ста-

ли ему семьей, когда другой у него не осталось. Вы укатили за границу, бросив его здесь. Вы утратили связь с ним, стали для него чужим человеком. А теперь являетесь неизвестно откуда и возводите дикие обвинения на единственных, какие у него были на свете, по-настоящему близких ему людей. — Нечаев потуже стягивает на горле плащ. — Знаете, кого вы мне напоминаете? Дальнего родственника, пришедшего с саквояжем на похороны, свалившегося с неба, чтобы предъявить права на наследство человека, которого он и в глаза никогда не видел. Вы не отец Павлу Александровичу, даже не отчим, вы его пятиюродный, если не шестиюродный брат.

Удар чувствительный. Он пытается протолкнуться мимо Нечаева в дверь, но противник его плотно перекрывает проход.

— Не затыкайте уши, Федор Михайлович, слушайте, что я говорю! Вы Исаева потеряли, а мы спасли. Как вам только в голову пришло, что мы могли убить его?

— Поклянитесь вашей бессмертной душой!

Еще не докончив фразы, он слышит в ней некий мелодраматический отзвук. Собственно, и вся эта сцена: двое мужчин на залитой лунным светом, повисшей над городом платформе сражаются со стихиями, перекрикивают ветер, бросая обвиненья друг другу, — вся эта сцена фальшива и мелодраматична. Но где взять подлинные слова, услышав которые Павел улыбнется своей неторопливой улыбкой и одобрительно покивает?

— Я не клянусь тем, во что не верю, — холодно произносит Нечаев. — Довольно и здравого смысла, чтобы понять — я говорю правду.

— А с Ивановым как? Или здравый смысл должен уверить меня и в том, что в смерти Иванова вы также неповинны?

— Какого еще Иванова?

— Так называл себя несчастный, которому велено было следить за домом, где я живу. Где жил Павел. Куда заходила ваша подруга.

— А, полицейский шпион! Тот, с которым вы так подружились! С ним-то что еще стряслось?

— Найден мертвым, вчера.

— Да? Что ж, мы одного потеряли, и они одного потеряли.

— Одного потеряли? Вы равняете Павла с Ивановым? Так вы сводите ваши счеты?

Нечаев качает головой.

— Не примешивайте сюда личного, это только запутывает дело. У полицейских агентов немало врагов. Народ их ненавидит. Смерть вашего Иванова нимало меня не удивляет.

— Я не был Иванову другом и занятий его не одобрял. Но это еще не основание для убийства! Что до «народа», так это попросту вздор! Не народ же сделал это! Народ не замышляет убийств. И следов за собою не заметает.

— Народ знает, кто его враги, и не льет слез, когда враги эти гибнут!

— Иванов не был народу врагом, он был человеком без копейки в кармане, вынужденным кормить семью, как десятки тысяч других людей. Если он не из народа, то кто же тогда?

— Вы отличнейше сознаете, что душою он к народу не принадлежал. Называть его человеком из народа значит вести пустой разговор. Народ состоит из крестьян и чернорабочего люда. Иванов не имел с народом связей, он и завербован-то был не из народа. Это был человек, лишенный всяких корней, да еще и пьяница к тому же, — легкая добыча, такого ничего не стоило обратить против народа. Удивляюсь, как это вы, умный человек, попались на такой простенький обман.

— Умный или не умный, а ваших чудовищных доводов я не принимаю! Зачем вы привели меня сюда? Вы говорили, что собираетесь предъявить мне доказательства того, что Павла убили. Где они? Прийти сюда еще не значит получить доказательства.

— Разумеется. Но перед вами место, на котором совершено убийство, а правильнее сказать, санкционированная государством казнь. Я привел вас сюда, чтобы вы сами его осмотрели. Теперь у вас есть возможность увидеть все своими глазами, и если вы по-прежнему отказываетесь мне верить, что ж, тем хуже для вас.

Он хватается за перила и смотрит *туда*, в стремительно падающую тьму. Между *здесь* и *там* пролегает вечность, бездна времени, которую разум охватить не способен. Между *здесь* и *там* Павел был еще жив, живее даже, нежели прежде. Всего напряженнее живем мы в минуты падения — вот истина, которая рвет его сердце!

— Не верите, так не верьте, — повторяет Нечаев.

«Верить» — еще одно слово. Что означает «верить»? Я верю в тело на мостовой внизу. Верю в кровь и в кости. Поднять с земли разбитое тело, обнять его, вот что такое «верить». Верить и любить — это одно и то же.

— Я верую в воскрешение, — говорит он. Слова приходят сами собой. Безумие, напыщенность ушли из его голоса. Выговаривая эти слова, вслушиваясь в них, он ощущает проблеск радости, вызванной не самими словами, но тем, как они возникают, — их словно бы произносит другой человек. «Павел!» — думает он.

— Что? — Нечаев придвигается ближе.

— Я верую в воскрешение тела и в жизнь вечную.

— Я не об этом вас спрашивал.

Ветер налетает с такой силой, что Нечаев вынужден кричать. Плащ хлопает, обвивая его, он крепче вцепляется в поручень, чтобы устоять на ногах.

— И все же я говорю вам именно это!

Хотя домой он приходит уже после полуночи, Анна Сергеевна ждет его. Удивленный ее заботой, благодарный, он рассказывает ей о встрече на набережной, о том, что говорил на башне Нечаев. Затем просит рассказать еще раз о ночи, в которую умер Павел. Совершенно ль она уверена, например, что Павел погиб на набережной?

— Так мне сказали, — отвечает она. — Причин же не верить сказанному я не имела. Павел вышел под вечер, не сказавшись куда. На следующее утро меня известили, что он мертв и что мне необходимо прийти в больницу.

— А как они узнали, что известить следует именно вас?

— У него были в карманах какие-то документы.

— И?

— Я пошла в больницу, опознала его. Потом сообщила господину Майкову.

— Но какие объяснения они вам дали?

— Да никаких они мне объяснений не дали, это мне пришлось давать объяснения. Пришлось идти в полицию, отвечать на вопросы: кто он, где его семья, когда я его в последний раз видела, как долго он прожил у нас, с кем дружил — и так без конца! Мне сказали только, что, когда его обнаружили, он был уже мертв и что произошло это на Столярной набережной. Вот это все я и передала господину Майкову. А уж что он вам потом сообщил, я не знаю.

— Он прибегнул к выражению «несчастные обстоятельства». Несомненно, он уже переговорил к тому времени с полицией. «Несчастные обстоятельства» — так они обозначают самоубийство. Он известил меня телеграммой, так что возможности особенно распространяться о подробностях у него не было.

— Вот и я так это поняла. О случившемся то есть. Почему он это сделал, если это сделал он, я и посейчас понять не могу. Никакого предупреждения, ни одного намека на то, чему предстояло произойти.

— Еще один вопрос, последний. Каков был той ночью его костюм? Вы ничего в нем странного не приметили?

— Когда он уходил?

— Нет, когда вы увидели его... после.

— Не знаю. Не могу вспомнить. Его покрывала простыня. Не хочется мне об этом рассказывать. Но лицо его было совершенно спокойно. Я хочу, чтобы вы это знали.

Он от всего сердца благодарит ее. Тем разговор и заканчивается. Он уходит к себе, но уснуть не может. Вспоминает запоздавшую телеграмму Майкова (почему она шла столько времени?). Случилось так, что вскрыла ее Аня. Ане пришлось пойти в его каби-

нет и произнести слова, которые и этой ночью отдаются в его голове тупыми ударами колоколов, звонящих каждый во весь свой вес и силу: «Федя, Павел умер».

Он взял телеграмму, сам прочитал ее, тупо глядя в желтый листок, стараясь извлечь из французского слова какой-то иной, отличный смысл. Умер. Навсегда перешел из мира света в темницу прошлого. Без возврата. О похоронах уже позаботились. Счеты сведены, счеты с жизнью. Книга закрыта. Отработанный материал, так называют это печатники.

Mésaventure — условное слово Майкова. А теперь вот Нечаев старается все повернуть по-своему! Он же склоняется, всею душой склоняется к тому, чтобы не верить Нечаеву, чтобы оставить в силе официальный вердикт. Но почему? Потому, что Нечаев ему омерзителен — его личность, его верования? Потому, что он хочет, даже в воспоминаниях, уберечь Павла от нечаевских лап? Или его побужденье бесчестней: упрямо противиться, сколько удастся, требованиям долга, долга добиться для сына справедливости?

Ибо он сознает в себе это безволие, для коего смерть Павла стала лишь внешней причиной. Он стареет, день за днем обращаясь в того, кем в конце концов без сомнения станет, — в старичка, который сидит в углу и за неименьем иных занятий перебирает страницы своих утрат.

Это я умер и похоронен, думает он, а Павел жив и всегда будет жив. А то, что я изо всех сил стараюсь проделать ныне, так это понять, в каком обличии воротился я из могилы.

Он вспоминает сибирского собрата-каторжанина, высокого сутулого седого человека, который изнасиловал и задушил свою двенадцатилетнюю дочь. После его нашли сидящим с безжизненным телом в руках на берегу пруда, в котором плавали утки. Он сдался без борьбы, только очень просил, чтобы ему разрешили самому отнести мертвого ребенка домой и положить тело на стол — и проделал все это с великой, как сказывали, нежностью. Другие каторжане его избегали, и он ни с кем не разговаривал. По вечерам он с тихой улыбкой сидел на своей койке и, шевеля губами, читал про себя Евангелия. Можно было бы ожидать, что остракизм понемногу ослабнет, что истинное раскаяние его со временем примут на веру. Однако на деле его продолжали сторониться, не так из-за преступления, совершенного лет двадцать назад, как из-за этой улыбки, в которой чудилось нечто настолько лукавое, настолько безумное, что кровь стыла в жилах. С такой же улыбкой, говорили друг другу каторжане, он и дело свое совершил, и ничего-то в нем не изменилось.

Почему он вернулся к нему сегодня, этот образ человека у края воды с мертвым ребенком на руках? Ребенком, слишком сильно любимым, ставшим настолько близким, что отец не решился позволить ему жить дальше. Смертельная нежность, нежная смерть. Любовь, вывернутая наизнанку, точно рукавица, обнаруживающая безобразную подстежку свою. Чем же в таком случае подстегана любовь? Он вновь вызывает в памяти этот образ, внимательно вглядывается в лицо, не в закрытые в восторженном упоении глаза, но в едва шевелящиеся губы. Не изнасилование, но насилие хищника — так, стало быть? Отцы, которые пожирают детей, старательно обихаживают их, чтобы потом смаковать, точно деликатесы. Delikatessen.

Не этим ли и объясняется мстительный дух Нечаева: не тем ли, что глазам его предстали отцы во всей наготе их, разбойничья шайка отцов, не таящих своих аппетитов? Что за человек старший Нечаев, Геннадий? Когда его достигнет известие о том, что у него нет больше сына, а это непременно случится, забьется ль он в угол, чтобы поплакать, или усмехнется тайком?

Он мотает головой, словно желая отогнать докучливых бесов. Что же пятнает чистоту его горя, что твердит, будто это и не горе совсем, а просто скорбная маска? Где-то внутри него сбилась с дороги истина. Словно по лабиринту мозга его да, собственно, и тела — по венам, костям, кишкам, прочим органам — блуждает в поисках света, в поисках выхода малое дитя. Как отыскать в себе заблудившегося ребенка, как позволить ему пропеть его грустную песенку?

«Костяная дудочка». Он вспоминает старую сказку о мальчике, убитом, разрезанном на куски, разбросанном по лесу, мальчике, берцовая кость которого, когда задувал

ветер, наигрывала скорбные песни, называя убийц своих по именам. Странно, но он одну за одной вспоминает сказки, слышанные когда-то от бабушки и не понятые, но ненароком зарытые в память, точно кость собакой, на будущее. Великое хранилище сказок, которое люди возвели во времена доисторические и которое сохранили поныне. Пусть Павел отыщет путь к моей берцовой кости, пусть сыграет на ней свою песенку! «Отец, почему ты бросил меня в темном лесу? Отец, когда ты придешь мне на помощь?»

Свеча пред иконой обратилась в лужицу воска, цветы увяли, поникли. Девочка все же соорудила алтарь да тут же и забыла о нем или его забросила. Или она догадалась, что Павел с ним больше не говорит, что он тоже сбился с пути и слышит теперь голоса одних только бесов?

Он выправляет фитиль, поджигает его, опускается на колени. Глаза Богородицы прикованы к младенцу, а тот глядит на него с доски, воздев укоризненный пальчик.

11

Прогулка

За неделю, прошедшую со времени последней их близости, отношения между ним и Анной Сергеевной приобрели оттенок неловкой чинности. Ее манера держаться с ним стала столь скованной, что девочка, которая не сводила с них глаз и прислушивалась ко всем их разговорам, непременно должна была заключить, что мать ждет не дождется, когда он покинет их дом.

Ради кого поддерживали они эту внешнюю чуждость друг другу? Определенно не ради себя. Предназначаться она могла лишь для детских глаз, для глаз двух детей — присутствующего и отсутствующего.

И все же он жаждал вновь заключить ее в объятия. Да и в ее безразличие к нему не верил нисколько. Себя же ощущал собакой, которая ловит свой хвост, описывая все сужающиеся круги. Он предчувствовал, что, окажись он рядом с нею в спасительной темноте, члены его избавятся наконец от натуги и дух обретет свободу — дух, который ныне, казалось, был притянут узлами к телу в плечах, в бедрах, в коленях.

Жажду его порождало желание, не вполне проявившее себя в их первую ночь, но ныне, похоже, сосредоточившееся на запахе Анны. Его, как если б оба они были животными, влекло нечто, улавливаемое им в воздухе, ее окружавшем: душок осени и в особенности каштанов. Он начинал понимать жизнь животных да и малых детей, которых притягивают и отталкивают туман, ароматы, неуловимые дуновения. Он видел себя распростершимся на ней, точно лев, тычущимся мордой в волоски на ее шее, зарывающимся носом в подмышку, трущимся лицом меж ее ног.

Запора на двери его нет. Нетрудно вообразить, как в минуту, подобную этой, девочка забредает к нему в комнату и видит его в состоянии — тошнотворное слово, но единственно верное — похоти. Да и мало ли сомнамбул среди детей? Она может встать среди ночи и прийти к нему, даже не проснувшись. Передаются ли эти сокровенные запахи от матери к дочери? Обречен ли человек, любящий мать, вожделеть и дочери тоже? Бессвязные мысли, бессвязные желания! Им предстоит уйти в землю с ним вместе, утаенными ото всех, кроме одного человека. Ибо Павел теперь обитает в нем и не спит никогда. Ему остается только молиться, чтобы слабость, некогда приведшая мальчика в отвращение, ныне породила одну лишь улыбку на губах его, улыбку подтрунивающую и снисходительную.

Может быть, и Нечаев, когда настанет его черед пересечь темную реку, избавится наконец от своей волчьей природы и снова научится улыбаться.

Итак, на следующий день он ждет против лавки Яковлева появления Анны Сергеевны. Едва завидев ее, он переходит улицу, наслаждаясь удивлением, с которым она на него смотрит.

— Не согласитесь ли побродить немного со мной? — спрашивает он.

Она подтягивает к подбородку темную шаль.

— Не знаю. Матрена будет ждать.

Тем не менее они отправляются на прогулку. Ветер утих, воздух бодрящ и прохладен. Приятная сутолока окружает их на улице. Никто не обращает на них внимания. Они могли бы быть супружеской парой, каких немало.

Анна Сергеевна нынче с корзинкой, которую он у нее забирает. Ему нравится ее поступь, широкий шаг, руки, сложенные под грудью.

— Мне уже скоро в дорогу, — говорит он.

Она не отвечает.

Вопрос о жене его по-прежнему нечувствительно их разделяет. Упомянув об отъезде, он ощущает себя шахматным игроком, жертвующим пешку, которая, независимо от того, будет ли она принята или отвергнута, неминуемо приведет к новому, более сложному развитию партии. Всегда ли таковы романтические отношения между мужчиной и женщиной — он плетет свою интригу, она свою? Не в этом ли отчасти и состоит наслаждение — быть целью чужой интриги, ощущать, как тебя загоняют в угол и ласково принуждают к сдаче? И она, идущая рядом с ним, тоже по-своему умышляет против него?

— Я жду лишь завершения следствия. Мне нет даже нужды дожидаться судебного решения. Я только хочу получить бумаги. Все остальное значения не имеет.

— И тогда вы возвратитесь в Германию?

— Да.

Они достигают набережной. Переходя улицу, он берет ее под руку. Бок о бок они прислоняются к парапету.

— Не знаю, ненавижу ли я этот город за то, что он сделал с Павлом, — говорит он, — или ощущаю с ним еще более тесную связь. Потому что теперь он стал домом Павла. Павел никогда уже не покинет его, не отправится, как мечталось ему, путешествовать.

— Что за глупости, Федор Михайлович, — отвечает она, улыбаясь краешком губ. — Павел с вами. Вы его дом. Он в сердце вашем. Куда поедете вы, туда и он. Это всякому видно.

И она гантированной рукой легко касается груди его.

Сердце подскакивает, словно задетое кончиком ее пальца. Было ли то кокетством или жест этот шел из глубины ее души? Самое естественное сейчас — обнять ее. Он сознает, что взгляд его положительно пожирает ее милые губы, на которых еще мешкает улыбка. И она не уклоняется от этого взгляда. Не юная женщина. Не ребенок. Анна Сергеевна смотрит на него поверх распростертого меж ними тела Павла, и он, и она словно отбросили все сомнения прочь. Мелькает мысль: «Если бы только его не было здесь!» — и исчезает, словно свернув за угол.

У уличного лоточника они покупают для ужина пирожки с рыбой. Матрена открывает им, но, завидев спутника матери, поворачивается спиной и уходит. За столом она капризничает, настаивая, чтобы мать выслушала ее длинный, путаный рассказ о пустой ссоре, случившейся между нею и школьной подружкой. Когда он вставляет несколько слов, содержащих вполне безобидные доводы в пользу подружки, Матрена фыркает, не удостаивая его ответом.

Он знает, девочка что-то почувствовала и старается отстоять свои права на мать. И почему же нет? Это истинные ее права. «И все же, если бы только ее не было здесь!» *Эту* мысль он подавить не пытается. Не будь здесь ребенка, он не стал бы тратить слов. Он задул бы свет, и в темноте они снова отыскали б друг друга. И кровать у них была бы пошире, вдовья кровать, протомившаяся по мужскому телу — сколько, она сказала? — четыре года.

Его посещает грубое в своей чувственности видение Анны Сергеевны. Нижняя юбка задрана так высоко, что оголяет ей груди. Он лежит между ног ее, стиснутый долгими, бледными бедрами. Лицо Анны отвернуто, глаза закрыты, дыхание тяжко. И хоть мужчина, совокупляющийся с нею, это он сам, картина видится ему такой, точно он стоит по-обок кровати. Главное в картине — бедра: руки его обвивают их, он прижимает их к своим бокам.

— Ну что же ты, доедай, — говорит Анна Сергеевна дочери.

— Не хочу я есть, и горло болит, — ноет Матрена.

Еще с минуту девочка ковыряется в тарелке, затем отталкивает ее.

Он встает.

— Спокойной ночи, Матреша. Надеюсь, завтра тебе станет лучше.

Девочка не затрудняет себя ответом. Он уходит, оставляя поле боя за нею.

Источник видения ему понятен — открытка, несколько лет тому купленная в Париже и уничтоженная вместе с прочими его эротического характера приобретениями в пору женитьбы на Ане. Длинноволосая женщина лежит под усатым мужчиной. «Цыганская любовь», гласит сделанная вычурными буквами надпись. Впрочем, у женщины на картинке были пухлые ноги и дряблое тело, а на лице ее, повернутом к мужчине (опиравшемуся на распрямленные руки), никакого выражения не читалось. Бедра Анны Сергеевны, Анны Сергеевны его воспоминаний, худощавее и сильнее, и в пожатии их присутствует некая настоятельность, относимая им к тому, что она не девочка, но взрослая, полная желаний женщина. Взрослая и потому открытая (это слово не пожелало уступить место никакому иному) смерти. Тело, жаждущее новых впечатлений, ибо знает, что жить ему не вечно. Мысль эта возбуждает, но и тревожит его. Бедрам ее не важно, кто зажат между ними: мужчина на картинке, глядящий на нее несколько сверху и сбоку, одновременно и он, и не он.

На кровати его стоит прислоненное к подушке письмо. На один безумный миг он решает, что это письмо от Павла, занесенное сюда неведомым духом. Но нет, почерк детский. «Я хотела нарисовать Павла Алескандровича, — читает он (Матрена ошиблась в написании отчества), — но у меня не получилось. Если хотите, можете поставить его на алтарь. Матрена». На обороте немного смазанный карандашный портрет молодого человека с высоким лбом и полными губами. Рисунок грубоват, девочка, видимо, и представления не имеет о создающей тени штриховке, но рот и особенно открытый взгляд переданы ею с несомненною верностью.

— Да, — шепчет он, — конечно поставлю. — Он подносит рисунок к губам, затем прислоняет его к подсвечнику и зажигает новую свечу.

Когда час спустя в дверь стукает Анна Сергеевна, он все еще глядит на пламя.

— Входите. Присядьте.

— Нет, не могу. Матреша неспокойна — боюсь, заболела.

Тем не менее она все же присаживается на кровать.

— Они заставляют нас оставаться добродетельными, наши детишки, — говорит он.

— Добродетельными?

— Пекутся о нашей нравственности. Удерживая нас в отдалении друг от друга.

Как, однако ж, приятно, когда их не разделяет обеденный стол. Да и пламя свечи дышит каким-то мягким уютом.

— Мне жаль, что вам приходится уезжать, — говорит она, — но, возможно, так для вас лучше — оставить этот печальный город. Да и для семейства вашего тоже. Ему, должно быть, грустно без вас. А вам без него.

— Я возвращусь другим человеком. Жена меня не узнает. Или решит, что узнала, и ошибется. Полагаю, нас ожидают трудные времена. Я стану думать о вас. Но кем вы будете мне представляться? — вот вопрос. Жену ведь тоже зовут Анной.

— Мне это имя досталось раньше, чем ей. — Ответ ее неожиданно резок, лишен всякой игривости. И он в который раз понимает: если он полюбил эту женщину, то частью и оттого, что она уже немолода. Она перешла за черту, к которой жене его еще предстоит приблизиться. Она может быть милее ему, может не быть, но она безусловно ближе.

Чувственное напряжение возвращается, еще и усилясь. Всего неделю назад они лежали в этой постели, держа друг друга в объятиях. Возможно ли, что она не думает об этом сейчас?

Потянувшись к ней, он кладет руку ей на бедро. Она наклоняет голову к лежащему у нее на коленях свежевымытому белью. Он придвигается ближе. Обхватив двумя паль-

цами ее открытую шею, притягивает лицо ее к своему. Она поднимает взгляд: на миг ему кажется, будто он глядит в кошачьи глаза, настороженные, страстные, жадные.

— Мне нужно идти, — шепчет она. Изогнувшись, она освобождается от его руки и исчезает.

Он страстно желает ее. Более того, он желает обладать ею не в этой узкой детской кровати, но на стоящем в соседней комнате вдовьем ложе. Он представляет себе, как она лежит сейчас рядом с дочерью, как блестят в темноте ее открытые глаза. Она принадлежит, впервые вдруг понимает он, к тем женщинам, которых он в своих книгах никогда не описывал. Женщины, которых он изображал, были не лишены определенной силы, но то была сила внешняя, нервическая. В их чувствах присутствовала напряженность, электричество, непосредственность — и поверхностность. Меж тем как с нею он входит в кровоточащее, инстинктивное тело, ощущения, чувства которого зарождаются в самой его глубине.

Можно ли привить эту особенность другой женщине или развить ее в ней? В его жене, например? Или теперь, обнаружив эту повадку чувств в Анне Сергеевне, он сможет отыскивать ее и в других?

Какое предательство!

Будь он поувереннее в своем французском, он мог бы излить это докучное возбуждение в книге особого рода, в книге, которой в России не напечатают никогда; он мог бы написать ее быстро, за две-три недели, даже не прибегая к помощи переписчицы, — десять листов, три сотни страниц. Ночная книга, в которой все крайности были б представлены без соблюдения каких-либо рамок и границ. Книга, связать которую с ним никто и никогда бы не смог. Рукопись, присланная из Дрездена в Париж, в «Paillard», тайным образом напечатанная и продаваемая из-под прилавка в левобережной части города. «Мемуары русского дворянина». Книга, которой она, Анна Сергеевна, истинная ее вдохновительница, никогда не увидит. В одной из глав ее родовитый мемуарист читает вслух юной дочери своей любовницы рассказ о совращении девочки, и по мере чтения становится все более очевидно, что он-то совратителем и был. Рассказ полон интимных подробностей, недомолвок, однако слушательницу он не совращает, напротив, отпугивает, насылает ей сновидения, которые заставляют ее настолько усомниться в собственной чистоте, что три дня спустя она в отчаянии отдается ему, отдается самым постыдным способом, до которого не додумалась бы ни единая девочка, не будь история совращения и падения глубоко напечатлена в ее сознании загодя.

Воображаемые мемуары. Мемуары воображения.

Не в этом ли и кроется ответ на вопрос, который он себе задает? Не в этом ли свобода, которой она его наделила: свобода написать книгу, пропитанную злом? И для чего? Чтобы избавиться от зла или чтобы порвать с добром окончательно?

Ему приходит в голову (весь дом уже погрузился в молчание), что ни в одной из этих пространных грез он ни разу не вспомнил о Павле. И Павел возвращается, жалобно постанывая, бледный, ищущий, где приклонить главу! Бедный ребенок! Пиршество ощущений, его наследство, отнято у него! Лежа в постели Павла, он не в силах сдержать в себе дрожь смутного торжества.

По утрам квартира обычно остается в полном его распоряжении. Но сегодня Матреша, раскрасневшаяся, сухо кашляющая, дышащая с трудом, в школу не пошла. Присутствие девочки еще более обыкновенного затрудняет для него занятия сочинительством. Он ловит себя на том, что прислушивается к шлепанью ее босых ног в соседней комнате, а минутами готов поклясться, что чувствует ее взгляд, сверлящий ему спину.

В полдень дворник приносит повестку. Он сразу признает серую бумагу и красный сургуч. Ожидание кончилось: его уведомляют о необходимости явиться в кабинет пристава следственных дел П. П. Максимова по делу П. А. Исаева.

Со Свечной он отправляется на вокзал, заказывает место в поезде, потом идет в полицейский участок. В приемной полно народу, он называет свое имя письмоводителю и

погружается в ожидание. Часы начинают отбивать четыре, и при первом же их ударе письмоводитель кладет перо, потягивается, гасит лампу и принимается выпроваживать еще оставшихся в приемной просителей.

— Позвольте, что это значит? — протестует он.

— Нынче пятница, закрываемся раньше, — отвечает письмоводитель. — Приходите с утра.

В шесть он ждет у лавки Яковлева. Увидев его, Анна Сергеевна пугается.

— Матреша?.. — спрашивает она.

— Когда я уходил, спала. Я заглянул в аптеку, купил капли от кашля, — он протягивает ей коричневого стекла пузырек.

— Спасибо.

— Меня опять вызывали в полицию насчет бумаг Павла. Надеюсь, завтра все решится.

Некоторое время они шагают в молчании. Анна Сергеевна, похоже, что-то обдумывает. Наконец она спрашивает:

— Есть ли какая-нибудь особенная причина, по которой вам необходимо получить эти бумаги?

— Удивляюсь вопросу вашему. Ведь от Павла более ничего не осталось. Что же может быть важнее для меня, чем эти бумаги? Они — его слово, ко мне обращенное. — И помолчав, он добавляет: — Вы знали, что Павел писал рассказ?

— Рассказы? Да, знала.

— В том, о котором я говорю, описан беглый каторжанин.

— Этот мне незнаком. Он иногда читал нам с Матрешей написанное, хотел услышать наше мнение. Но про каторжника не читал.

— Я не знал, что существуют другие рассказы.

— Существуют. И стихи — но их он нам показывать не решался. Должно быть, полиция и их забрала со всем остальным. Они долго пробыли в его комнате, все что-то искали. Я вам не говорила. Поднимали даже доски в полу и заглядывали под них. И забрали с собой каждый клочок бумаги.

— Так, стало быть, этим Павел и занимался — писал?

Она бросает на него странный взгляд.

— Чем же еще, по-вашему?

Он успевает сдержать едва не слетевший с губ ответ.

— Отец писатель, разве можно было ожидать иного? — продолжает она.

— Умение писать по наследству не передается.

— Возможно, и нет. Не мне судить. Он, впрочем, и не намеревался зарабатывать писательством на жизнь. Быть может, он видел в этом способ сблизиться с отцом.

Он горестно взмахивает рукой. Я его и без рассказов любил бы! — думает он. Но говорит другое:

— Отцовская любовь дается не в награду.

Анна Сергеевна явно колеблется, прежде чем произнести следующие слова:

— Я должна вас предупредить кое о чем, Федор Михайлович. У Павла было что-то вроде культа отца — Александра Исаева, хочу я сказать. Я бы не стала о нем упоминать, если б не думала, что вы можете обнаружить следы его в этих бумагах. Будьте терпимее. Дети склонны романтизировать своих отцов. Даже Матрена...

— Романтизировать Исаева? Исаев был пьяницей, ничтожным человеком и дурным мужем. Его жена, мать Павла, под конец видеть его не желала. Она бы ушла от него, если б он прежде не умер. Как можно романтизировать такого человека?

— Да так и можно, нужно лишь окутать его некой дымкой. Вы же, если позволите, стояли к Павлу слишком близко.

— Лишь потому, что именно мне приходилось растить его день за днем. Я сделал его сыном моим, когда все остальные его покинули.

— Не преувеличивайте. Родители не покинули его, они умерли. И потом, если вы

имели право выбрать его в сыновья, зачем же лишать его права выбрать себе отца?

— Да затем, что он мог найти кого-нибудь получше Исаева! Это становится болезнью нашего века: молодые люди отвращаются от родителей, от домов своих, от воспитателей, потому что те им больше не по сердцу! Им, похоже, ничего уже не по сердцу, разве вот быть сыновьями и дочерьми Стеньки Разина с Бакуниным!

— Глупости. Не Павел покинул свой дом. Это вы покинули Павла.

Наступает сердитое молчание. Когда они доходят до Гороховой, он, извинившись, расстается с ней.

Он прохаживается туда-сюда вдоль по набережной, размышляя о том, что сказала Анна Сергеевна. Что говорить, он выказал себя со стороны отчасти постыдной и теперь негодует на нее за то, что это произошло у нее на глазах. И одновременно стыдится мелочности, проступающей в этом негодовании. В который раз он впал в привычное нравственное неряшество — до того уже привычное, что оно его и не смущает больше, что и еще стыднее. Впрочем, и нечто иное беспокоит его, будто острие гвоздя, едва-едва высунувшегося из подошвы, нечто такое, чего он не может или не желает ясно определить.

Когда он возвращается в квартиру, в воздухе еще витает напряжение. Матреша встала. Она в накинутом прямо на ночную рубашку пальто матери, но при этом боса. «Мне скучно!» — снова и снова твердит она ноющим тоном. На него она внимания не обращает. И хоть и садится с ними за стол, но ничего не ест. Кисленький запашок исходит от нее, она шмыгает носом и время от времени разражается сухим кашлем.

— Тебе не следовало вставать, голубушка, — мягко замечает он.

— А вы мне не указывайте, вы мне не отец! — выпаливает она.

— Матреша! — одергивает девочку мать.

— Так не отец же! — повторяет она и умолкает, надувшись.

Он уже лежит в кровати, когда входит, пристукнув в дверь, Анна Сергеевна.

— Как она? — приподнявшись в постели, негромко спрашивает он.

— Я дала ей немного вашего лекарства, вроде успокоилась. Конечно, не следовало выпускать ее из постели, но она такая своевольница, ее не удержишь. Я пришла извиниться за сказанное мною. И спросить, каковы ваши завтрашние планы.

— Извиняться вам нужды нет. Это я кругом виноват. Я взял билет на вечерний поезд. Но это можно переменить.

— Зачем? Завтра вам отдадут бумаги. К чему же что-то менять? К чему оставаться здесь дольше необходимого? Не хотите же вы, в конце концов, обратиться в вечного жильца. Есть, кажется, книга с таким названием.

— «Вечный жилец»? Нет, не припомню. А изменить можно любые предуготовления, включая и завтрашние. Ничто ведь не окончательно. Впрочем, в нынешнем случае это все не в моей власти.

— А в чьей же тогда?

— В вашей.

— В моей? Ничуть! Ваши предуготовления — ваша и власть. Моей доли в них нет. Ну что же, давайте прощаться. Утром я вас не увижу. Мне придется подняться пораньше, завтра базарный день. Ключ можете оставить в двери.

Вот и настал тот самый миг. Он набирает побольше воздуху в грудь. В голове совершенно пусто. Он начинает говорить, отдаваясь на милость словам, возникающим в этой пустоте, следуя за ними туда, куда они ведут его.

— На пароме, когда вы провожали меня к могиле Павла, — говорит он, — я увидел, как вы с Матрешей стоите, глядя в туман, у перил — помните, какой туманный был день? — и сказал себе: «Она вернет мне его. Она... — он прерывается, чтобы еще раз набрать воздуху, — она проводница душ». Я не совсем такими словами подумал тогда, но теперь уж знаю, что слова эти верные.

Анна Сергеевна смотрит на него безо всякого выражения. Он берет ее ладонь в свои.

— Мне нужно, чтобы Павел вернулся, — говорит он. — Вы должны мне помочь. Я хочу поцеловать его в губы.

Еще произнося эти фразы, он сам улавливает звучащее в них безумие. Похоже, он способен впадать в помешательство и выпадать из него с легкостью мухи, снующей взад-вперед сквозь открытую форточку.

Она напрягается, готовясь вырваться и убежать. Он крепче стискивает ей руку, не отпуская ее.

— Это правда. Именно такой я вас представляю себе. Павел поселился здесь не случайно. Где-то было записано, что отсюда его должны увести... в ночь.

Он и верит и не верит тому, что говорит. Мелькает обрывок воспоминания о картине, виденной в какой-то галерее: женщина в темном строгом платье стоит у окна, рядом с нею дитя, оба смотрят в звездное небо. Хотя золоченые завитушки на раме он помнит живей, чем саму картину.

Ладонь ее безжизненно лежит в его ладонях.

— У вас есть эта власть, — продолжает он, все еще следуя за словами, как за путеводным огнем, и не зная, куда они его завлекут. — Вы способны вернуть его. На минуту, на одну лишь минуту.

Он вспоминает, какой сухой она показалась ему при первой их встрече. Точно мумия: сухие косточки, обернутые в саван, который, стоит его коснуться, рассыплется в пыль. Когда она наконец открывает рот, голос ее исходит из горла словно бы со скрипом.

— Вы слишком сильно любите его, — говорит она, — и уж наверно снова увидитесь с ним.

Он выпускает руку, и Анна Сергеевна подтягивает ее к себе, точно костяную цепочку. «Зачем вы надо мною смеетесь?!» — хочет сказать он.

— Вы же художник, мастер, — произносит она. — Вам, а не мне, и возвращать его к жизни.

«Мастер». Для него это слово связано с металлом — с ковкой мечей, с литьем колоколов. Мастер-кузнец, литейный мастер. «Мастер жизни» — странное выражение. Но он готов обдумать его. Он готов принять любое слово, каким бы странным оно ни казалось, если только есть шанс, что в нем таится анаграмма Павла.

— Какой уж там мастер, — говорит он. — Я расколот. На что годится треснувший колокол? Треснувший колокол уже не починишь.

Это, конечно, верно. Но в то же время он вспоминает один из колоколов Троицкого собора в Сергиевой лавре, треснувший еще до времен Екатерины. Его не сняли, не отправили в переплавку. Он так и звонит над городом каждый день. В народе его зовут деревянной ногой святого Сергия.

Теперь в ее голосе слышится раздражение.

— Я сочувствую вам, Федор Михайлович, — говорит она, — но не забывайте же, что вы не первый из родителей, потерявших свое дитя. Павел прожил двадцать два года. Подумайте о других, о тех, кто скончался в младенчестве.

— И?..

— И поймите, что утрата — это правило, а не исключение. И спросите у себя, по ком вы скорбите — по Павлу или по себе самому?

Утрата. Между ним и нею словно ложится ледяная пустыня.

— Я не утратил его, Павел не утрачен, — сквозь стиснутые зубы выдавливает он.

Анна Сергеевна пожимает плечами.

— Если он не утрачен, то вы должны знать, где он теперь. Здесь его определенно нет.

Он обводит взглядом комнату. Нагромождение теней в углу — не следы ли это провеявшего здесь призрака?

— Человек не может не оставить хоть малой части своей в том месте, где жил, — шепчет он.

— Нет, конечно не может. О том я вам давеча и твердила, еще днем. Но только оставленное им не в этой комнате находится. Поговорите с Матреной. Помиритесь с нею перед отъездом. Она очень была дружна с вашим сыном. Если он и оставил какой-то отпечаток, то уж, верно, на ней.

— А на вас?

— Я сильно к нему привязалась, Федор Михайлович. Он был добрым и великодушным молодым человеком. И то, что он приходился вам сыном, жизни его не облегчало. Он был одинок, неуверен в себе, старался найти собственный путь. Я все это понимала. Но я не принадлежу к его поколению. Разговаривать со мной так, как с Матреной, он не мог. С нею он вновь становился ребенком. — Она замолкает, но ненадолго. — Мне часто казалось — позвольте мне упомянуть об этом, раз уж мы говорим откровенно, — что Павел слишком рано расстался с детством, не успев наиграться. Не знаю, приходилось ли вам думать об этом. Возможно, нет. И все же меня и теперь удивляет, что вы сердиты на него за такой пустяк, как сон до позднего часа.

— Что же тут для вас удивительного?

— Да то, что я ожидала найти в вас, в художнике, больше сострадания и сочувствия. Одни дети мечтают во сне, другие дожидаются дня, чтобы предаться мечтаниям. Следует дважды подумать, перед тем как будить спящего ребенка. Когда Павел оставался с Матреной, ребенок, скрытый в нем, получал возможность выйти наружу. Теперь я рада, что это происходило, рада, что Павел этой возможности не упустил.

Он видит вдруг семилетнего Павла в сером клетчатом пальто, в треухе, в великоватых ему сапожках — мальчик прыжками несется по снегу и что-то кричит как очумелый. В самом углу картины вырисовывается что-то еще, от чего он спешит отмахнуться.

— Мы с Павлом впервые свиделись в Семипалатинске, когда мальчику уже было семь лет, — говорит он. — Он не питал ко мне особой приязни. Я был для него чужим человеком, к которому он и мать его переехали на жительство. Человеком, отнявшим у него мать.

Мать овдовела. Сын вдовы. Вдовий сын.

Он не успевает еще договорить, как то, от чего он отмахнулся было, упрямо возвращается — существо, которое он может обозначить лишь как тролля, уродливая маленькая тварь, рыжеволосая, рыжебородая, ростом не выше трех-, четырехлетнего мальчугана. Павел еще скачет по снегу, крича и пристукивая, точно жеребенок, коленкой о коленку. Тролль же стоит в сторонке и смотрит. На нем кожаная жилетка цвета ржавчины, шея открыта, похоже, он (или оно) и стужи-то не ощущает.

— ...для ребенка трудно... — Она тем временем говорила что-то, им наполовину пропущенное. Кто эта мерзкая тварь? Он пристально вглядывается в лицо. И с внезапным потрясением узнает его. Ноздреватая кожа, оспенные шрамы, от холода вздувшиеся и посиневшие, жидкая бородка, из этих оспин растущая, — снова Нечаев, умалившийся, добравшийся до Сибири, чтобы омрачить начальную пору сына его! Что означает это видение? Он издает тихий стон, и Анна Сергеевна примолкает на полуслове.

— Простите, — просит он. Но она обиделась.

— Вам, конечно, нужно еще уложиться, — говорит она и, не слушая его извинений, выходит.

12

Исаев

Его проводят в тот же кабинет. За столом, однако же, сидит другой полицейский чиновник, не Максимов. Не представившись, этот другой указывает ему на стул.

— Имя ваше? — спрашивает чиновник.

Он называется.

— Я полагал, что увижу господина Максимова.

— Дойдет черед и до Максимова. Занятие?

— Писатель.

— Писатель? Какого рода писатель?

— Пишу книги.

— Какого рода книги?

— Романы. Рассказы.

— Для детей?

— Нет, то есть не специально для детей. Хотя надеюсь, что и дети их смогут читать.

— Ничего неподобающего?

Неподобающего? Он задумывается.

— Ничего такого, что способно повредить ребенку, — отвечает он наконец.

— Хорошо.

— Впрочем, во всяком сердце есть темные уголки, — с неохотою добавляет он. — Только не всякий об этом знает.

Чиновник впервые с начала их разговора отрывает глаза от бумаг.

— То есть это вы что же хотите сказать?

Он моложе Максимова. Помощник его?

— Ничего. Ничего.

Чиновник кладет перо.

— Хорошо, займемся покойным Ивановым. Иванова вы знать изволили?

— Не понимаю. Я полагал, что меня вызвали сюда в связи с бумагами сына.

— Все в свое время. Итак, Иванов. Когда вы с ним познакомились?

— Первый наш разговор произошел с неделю назад примерно. Он слонялся у дверей дома, в котором я нынче стою.

— Шестьдесят третий нумер по Свечной.

— Шестьдесят третий нумер по Свечной. Было очень уж холодно, и я предложил ему кров. Он провел ночь в моей комнате. На другой день мне сказали, что неподалеку от нас совершилось убийство и что подозревают Иванова. Лишь впоследствии...

— Подозревают Иванова? В убийстве? Должен ли я так вас понять, что вы сочли Иванова убийцей? Откуда вы это взяли?

— Позвольте же мне закончить! Подобного толка слухи ходили по нашему дому, или, может быть, девочка, которая пересказала их мне, что-то напутала, не знаю. Да и какая разница, в сущности, если он уже мертв? Меня удивило и напугало, что жертвой оказался человек вроде него. Он был совершенно безвреден.

— Однако ж он был не тем, за кого себя выдавал, не так ли?

— Вы хотите сказать, не нищим?

— Вот-вот, нищим-то он все-таки не был?

— Так это ведь с какой точки взглянуть: можно сказать, что не был, а можно, что и был.

— Как-то туманно у вас все выходит. Вы заявляете, будто не знали о занятиях Иванова? Оттого вы и удивились?

— Я удивился тому, что кто-то счел возможным рискнуть своей бессмертной душой, чтобы убить безвредное ничтожество.

Чиновник сардонически глядит на него.

— Ничтожество — вы, стало быть, так его по-христиански аттестуете?

В эту минуту в кабинет торопливо входит Максимов. Под мышкой у него несколько дел, перевязанных вместе розовой тесьмой. Он роняет дела на стол, извлекает носовой платок, утирает лоб.

— И жара же у нас! — бормочет он, затем, обращаясь к чиновнику, произносит: — Благодарствуйте. Закончили?

Чиновник, не отвечая, собирает свои бумаги и покидает кабинет. Пыхтя, отирая лицо, Максимов устраивается в кресле.

— Простите великодушно, Федор Михайлович. Так вот, касательно бумаг пасынка вашего. Боюсь, кое-что нам придется оставить у себя, именно список людей, назначенных для ликвидации, как изволят выражаться наши друзья, поскольку допустить широкое хождение его, — и я уверен, тут вы со мной согласитесь, — никак невозможно-с, потому что паника поднимется чрезвычайная. Помимо того, список этот в должное время станет уликой в деле Нечаева. Что же до прочих бумаг, они ваши, мы с ними покончили, весь, так сказать, мед из них высосали.

И однако ж, прежде чем я возвращу их вам, я хотел бы сказать еще кое-что, ежели вы окажете честь меня выслушать.

Ежели б я почитал себя только за должностное лицо, столкнувшееся с вами на путях, так сказать, исполнения долга моего, я бы вернул вам эти бумаги без долгих разговоров. В настоящем, однако, случае я не просто должностное лицо, но и, коли дозволите прибегнуть к подобному слову, доброжелатель, человек, принимающий интересы ваши близко к сердцу. И как такового меня тревожат серьезнейшие сомнения касательно передачи вам этих бумаг. Позвольте же мне их высказать. Вас ожидают мучительные открытия — мучительные и ненужные. Если бы вы сочли возможным последовать смиренным указаниям моим, я мог бы назвать страницы, которых вам лучше не касаться. Однако, зная вас так, как я знаю, — я разумею знание, приобретаемое о писателе при чтении книг его, знание, так сказать, интимное, но имеющее свои границы, — я готов предположить, что усилия мои возымеют действие противуположное, а именно — раззадорят ваше любопытство. А потому скажу лишь следующее: не вините меня в том, что я прочел эти бумаги — в конце концов, таков долг, возложенный на меня государем, — и не сердитесь за то, что я правильно предсказал (если, конечно, я правильно предсказал) впечатление, которое они на вас произведут. Ежели дальнейшие события не примут какого-либо причудливого оборота, нам с вами свидеться более не придется. Нет решительно никаких причин, запрещающих вам сказать себе, что я свое существование прекратил — точно так, как перестает существовать книжный персонаж, стоит только закрыть книгу. На мой же счет можете быть уверены, я молчок. Никто и никогда не услышит от меня ни слова об этом прискорбном эпизоде.

Произнеся это, Максимов средним пальцем правой руки подвигает через стол на редкость пухлое дело с бумагами Павла.

Он подымается, берет бумаги, кланяется и уж было выходит, когда Максимов вновь заговаривает с ним:

— С дозволения вашего я задержал бы вас еще на минуту по делу несколько иному: вам, случаем, не довелось ли встретить кого-либо из нечаевской шайки здесь, в Петербурге?

Иванов! Нечаев! Вот, стало быть, причина, по которой его сюда вызвали! Павел, бумаги, покаянные речи Максимова — все это лишь обходные маневры, приманка!

— Не понимаю, к чему клонится вопрос ваш, — холодно отвечает он. — И не вижу, по какому праву вы задаете его или ожидаете ответа.

— Да ни по какому! На этот счет можете быть спокойны — вас ни в чем не винят. Я просто-напросто задал вопрос. Что до направления его, так о нем догадаться нетрудно. Я рассудил, что, побеседовав со мною о пасынке, вы сочтете не столь уже затруднительным поговорить и о Нечаеве. Ибо при давешней нашей беседе мне показалось, что вы позволили себе высказать нечто, имеющее смысл двойственный. Слова, которые, если можно так выразиться, прикрывают другие слова. Вы как на это смотрите? Или я ошибаюсь?

— Какие слова? И что они прикрывают?

— Про то вам лучше знать.

— Вы ошибаетесь. Я не изъясняюсь загадками. Всякое слово, мной сказанное, значит то, что значит. Павел — это Павел, не Нечаев.

С этим он поворачивается и уходит, и Максимов больше не окликает его.

Кривыми улочками Московской части он несет бумаги к Свечной, к шестьдесят третьему нумеру, по лестнице на третий этаж, в комнату, закрывает дверь.

Он развязывает тесьму. Сердце неприятно колотится. В спешке его положительно присутствует нечто безвкусное. Он словно бы переносится назад, в отрочество, в долгие, потные вечера, проводимые в спальне друга, Альберта, над книгами, которые Альберт тишком таскал с полок своего дяди. Тот же страх оказаться пойманным на месте преступления (сам по себе упоительный), та же страстная сосредоточенность.

Помнится, Альберт показал ему двух совокуплявшихся мух, самца на спинке сам-

ки. Альберт держал их в сложенной чашкой ладони. «Смотри», — сказал Альберт и, захватив пальцами одно из крылышек самца, слегка потянул. Крылышко оторвалось. Муха этого даже не заметила. Он оторвал и второе крыло. Самец со странной на вид, какой-то лысой спиной продолжал свое занятие. И Альберт с искаженным отвращением лицом швырнул мух на пол и раздавил.

Он способен представить себя глядящим в глаза мушиного самца, у которого отрывали крылья: он совершенно уверен, что тот даже не сморгнул бы, даже и его самого не заметил бы. Словно на время соития душа самца перешла в самку. Мысль эта заставляет его содрогнуться, порождая желание перебить всех мух, какие есть на свете.

Ребяческая реакция на действия, которых он не понимал, которых страшился, потому что все вокруг, перешептываясь, ухмыляясь, казалось, давали ему понять, что настанет день, когда и ему хочешь не хочешь, а придется их совершать. Мальчика подмывало закричать: «Не хочу, не хочу!». «Да чего не хочешь-то? — ответили бы, приобретая вдруг вид удивленный и недоуменный, те, кто за ним наблюдал. — Господи Боже, о чем он толкует, этот странный мальчишка?»

Пухлое дело вмещает дневник в кожаном переплете, пять толстых школьных тетрадей, двадцать, не то двадцать пять сколотых вместе разрозненных листов, пачку перевязанных бечевкой писем и несколько печатных брошюр — статейки Бланки и Ишутина, пространную статью Писарева. Разрозненные фрагменты «De officiis»[1] Цицерона, извлечения с французским переводом. На последней странице две надписи незнакомой рукой: «Salus populi suprema lex esto»[2], и ниже, чернилами посветлее: «Talis pater qualis filius»[3].

Послание, вернее, послания: но от кого и кому?

Он берется за дневник и, не читая, двумя пальцами, точно карточную колоду, прокручивает страницы. Вторая половина дневника пуста. Но листов и без того исписано немало. Он заглядывает в начало, проверяя первую дату. 29 июня 1866, день рождения Павла. Видимо, дневник был получен в подарок. Но от кого? Он не может припомнить. 1866-й памятен ему лишь в связи с Аней, как год, в который он повстречал и полюбил свою будущую жену. Год, в который ему было не до Павла.

Словно пробуя слишком горячее блюдо, настороженный, готовый отпрянуть, он принимается за чтение первой записи. Отчет, и довольно тяжеловесный, о том, как Павел провел день. Слог человека, опыта в ведении дневника не имеющего. Впрочем, ни обвинений, ни укоров. С чувством облегчения он закрывает дневник. Как буду в Дрездене, обещает он себе, выберу время и прочту от начала до конца.

Что до писем, это письма от него. Он развертывает самое недавнее, последнее перед смертью Павла. «Я послал Аполлону Григорьевичу[4] пятьдесят рублей, — читает он. — Это все, что мы сейчас можем себе позволить. Пожалуйста, не проси у А. Г. большего. Нужно учиться жить по средствам».

Последние его слова, обращенные к Павлу, и какие же мелочные! И Максимов прочел их! Не диво, что он остерегал меня от чтения! Как унизительно! Его охватывает желание сжечь это письмо, вычеркнуть его из истории.

Он отыскивает рассказ, который читал ему вслух Максимов. Максимов был прав: фигура Сергея, юного героя рассказа, сосланного в Сибирь за то, что он возглавил студенческий бунт, решительно неудачна. Но рассказ, оказывается, длинней, чем пытался уверить его Максимов. Несколько дней, проходящих после убийства мерзавца помещика, Сергей и его Марфа спасаются бегством от преследующих их солдат, укрываясь с помощью крестьян, которые прячут их, отвечая на расспросы преследователей с недоумевающей тупостью, то в хлеву, то в амбаре. Поначалу они в товарищеской невинности

---

[1] «О законах» (*лат.*).
[2] Благо народа пусть будет высшим законом (*лат.*).
[3] Каков сын, таков и отец (*лат.*).
[4] Автор, похоже, спутал Аполлона Григорьева с Аполлоном Николаевичем Майковым. Ошибка для человека нерусского простительная.

спят бок о бок, но понемногу ими овладевает любовь, переданная не без чувства, не без убедительности. Павел определенно подбирался к описанию страстной сцены. Одна перечеркнутая жирной чертой страница содержит по-юношески пылкую речь Сергея, в которой он признается Марфе, что та стала для него не просто соратницей в борьбе, но овладела и сердцем его; тут же содержится куда более любопытный эпизод, в котором он рассказывает ей о своем одиноком, без братьев и сестер, детстве, об отроческой скованности, охватывавшей его в присутствии женщин. Эпизод завершается запинающимся признанием Марфы в ответной любви: «Ты можешь... можешь...» — говорит она.

Он пролистывает несколько страниц, возвращаясь назад. «Я рос без родителей, — говорит Марфе Сергей. — Отец мой был дворянин, сосланный в Сибирь за сочувствие революционерам. Он умер, когда мне исполнилось семь лет. Мать снова вышла замуж. Новый ее муж меня не любил. Едва я достиг положенного возраста, он сбыл меня в кадетское училище. В классе я был самым маленьким — тогда я и научился отстаивать свои права. Впоследствии они перебрались в Петербург, зажили своим домом и тогда уж послали за мною. Потом мать умерла, а я остался с отчимом, человеком угрюмым, от которого я порою по целым дням не слышал ни слова. Я томился одиночеством, и единственными друзьями моими были слуги, от них-то я и узнал о страданиях народа».

И ведь не скажешь, что ложь, чистая ложь, но как ловко все перевернуто, как искажено! Можно же испытывать жалость к семилетнему мальчику, искренне оберегать его, но как его полюбить, когда он столь мнителен, столь неулыбчив, когда он пиявкой впивается в мать, ноет по поводу каждой минуты, проведенной ею без него, когда каждую ночь из смежной с их спальней комнаты до полудюжины раз доносится тонкий, назойливый голос, зовущий мать, чтобы она прибила комара, который его кусает?

Он откладывает рукопись. Отец-дворянин, подумать только! Бедное дитя! Конечно, правда куда безрадостней, а уж безрадостней полной правды и не придумаешь ничего. Впрочем, никто и не ждет, что ангел-летописец станет записывать полную, тусклую правду. Сам-то он в двадцать два года разве с большей приверженностью к истине писал?

Ему хочется сказать Павлу нечто безмерно важное, чего юноша, увы, никогда уже не сможет услышать. Если тебе ниспослан дар писателя, хочет сказать он, не забывай, что́ его породило. Ты пишешь *именно потому*, что детство твое прошло в одиночестве, *потому*, что тебя не любили. («Однако и это еще не все, — хочется добавить ему, — тебя любили и продолжали бы любить, ты сам сделал выбор, сам захотел стать нелюбимым». Какая невнятица! Первый попавшийся хам с гармоникой нашел бы слова получше!) Не от избытка беремся мы за перо, хочет сказать он, но от нужды и от боли. И в сердце твоем ты знал это наверно! Что же до твоего так называемого настоящего отца и его сочувствия революционерам, так это решительный вздор. Исаев был мелким чиновником, писарем. Проживи он подольше, и ты отправился бы по стопам его, стал бы чиновником и никаких бы рассказов после тебя не осталось. («Ну да, — слышит он высокий детский голос, — зато *я* остался бы жив!»)

Юноши в белом, играющие во французскую игру, в крокет, croixquette, и ты среди них, живой, на зеленой лужайке! Бедный мальчик! Я вижу тебя на улицах Петербурга то во взмахе чьей-то руки, то в повороте головы, и всякий раз сердце мое вздымается, будто волною. Нигде и везде, разодранный и расточенный, точно Орфей. Дни молодости, chryseos — золотые, блаженные.

Мне же осталась задача: копить сокровища, собирать воедино разбросанные останки. Поэт, бряцатель на лире, заклинатель, вершитель воскрешения — вот в чем мое призвание. А истина? Затекшие плечи, согбенные над письменным столом, и боль в неповоротливом сердце. В черепашьем сердце.

Я пришел слишком поздно, чтобы поднять крышку гроба, чтобы поцеловать твой холодный лоб. Если бы губы мои, нежные, как пальцы слепца, смогли всего только раз коснуться тебя, ты не покинул бы этот мир, тая на меня обиду. Но ты ушел из него как Исаев, а мне, старику, старому скитальцу, осталось лишь брести за тобой, преследуя тень, лиловую на сером, преследуя эхо.

И все же я здесь, а отца, Исаева, нет здесь. Если бы, утопая, ты потянулся к Исаеву, ты ухватил бы лишь руку призрака. В пыльных бумагах, хранимых в коробках, выставленных на черную лестницу семипалатинской городской управы, еще, быть может, и удастся сыскать его росчерк, но в *этой* памяти, в памяти старика, прижавшего когда-то к груди его жену и ребенка, никаких более следов его не осталось.

13

Перемена обличия

Дело Павла закрыто. Ничто больше не держит его в Петербурге. Поезд отходит в восемь, во вторник он уже будет в Дрездене, с женой и ребенком. Но по мере приближения этого часа он со все большим трудом представляет себе, как уберет с алтаря портреты Павла, как задует свечу и уступит комнату чужому человеку.

Однако если он не уедет сегодня, то когда же? «Вечный жилец» — где подхватила эту фразу Анна Сергеевна? И сколько еще времени дожидаться ему появления призрака? Он, разумеется, может переменить свои отношения с этой женщиной, решительно переменить. Но как тогда быть с женой?

Мысли его мешаются, он не понимает, чего хочет, но знает лишь, что эти восемь часов нависают над ним смертным приговором. Он находит дворника и после долгой торговли договаривается, что тот пошлет кого-нибудь с его билетом на вокзал, чтобы перенести отъезд на завтрашний день.

Вернувшись в квартиру, он с испугом видит, что дверь в комнату его открыта, а в самой комнате кто-то есть: женщина стоит спиной к нему, разглядывая портреты Павла. На миг мелькает виноватая мысль, что это жена приехала в Петербург и отыскала его. Затем он узнает женщину и с трудом удерживается от протестующего крика: Сергей Нечаев, в том же синем платье и в той же шляпке, что прежде.

Тут появляется Матрена и, не давая ему произнести ни слова, переходит в наступление.

— Разве можно так подкрадываться к людям! — восклицает она.

— Но что вы двое делаете в моей комнате?

— У нас столько же прав... — горячо начинает она. Однако Нечаев перебивает ее.

— Кто-то навел на нас полицию, — говорит он, подступая на шаг. — Надеюсь, не вы.

Сквозь аромат лаванды пробивается зловоние мужского пота. Пудра на горле Нечаева лежит неровными полосами, сквозь нее проросла щетина.

— Это неуместное, совершенно неуместное обвинение. Спрашиваю во второй раз: что вы делаете в моей комнате? — Он поворачивается к Матрене. — А ты... ты больна, тебе следует в постели лежать!

Словно не слыша, она вытягивает из-под кровати чемодан Павла.

— Я сказала ему, что он может взять одежду Павла Александровича, — говорит она и, не давая времени возразить, продолжает: — Да, может! Павел купил ее на свои деньги, и к тому же Павел был его другом!

Она открывает чемодан, вытаскивает белую сюртучную пару.

— Вот! — вызывающе произносит она.

Окинув пару взглядом, Нечаев расправляет ее на постели и начинает расстегивать платье.

— Извольте объяснить...

— Нет времени. Еще рубашка нужна.

Нечаев вытягивает руки из рукавов. Платье спадает ему до лодыжек, он стоит перед ними в грязном хлопчатом исподнем и черных лакированной кожи ботинках. Он без чулок; у него сухопарые, волосатые ноги.

Нимало не смущаясь, Матрена хлопочет, помогая Нечаеву влезть в одежду Павла. Он хочет протестовать, но что может сказать он этим детям, когда они, затыкая уши, смыкают ряды против стариков?

— Что сталось с вашей чухонской подружкой? Она с вами?

Нечаев натягивает сюртук. Сюртук длинен ему и слишком широк в плечах. Не так ладен, как Павел, и далеко не так красив. Он ощущает безутешную гордость за сына. Смерть взяла не того человека!

— Пришлось ее бросить, — говорит Нечаев. — Нужно было поскорее убраться оттуда.

— Иными словами, вы сдали ее полиции. — И, не дожидаясь ответа Нечаева, он добавляет: — Умойтесь. Вы похожи на клоуна.

Матрена выскальзывает из комнаты и возвращается с влажной тряпицей. Нечаев протирает лицо.

— Лоб тоже, — говорит Матрена. — Вот здесь.

Она берет тряпицу из рук Нечаева и оттирает пудру, комками налипшую ему на брови.

Сестричка. Она и с Павлом вела себя так же? Что-то вгрызается в его сердце: зависть.

— Неужто вы и вправду рассчитываете ускользнуть от полиции, разгуливая средь зимы в костюме дачника?

Нечаев не обращает внимания на колкость.

— Мне нужны деньги, — говорит он.

— От меня вы их не получите.

Нечаев поворачивается к девочке.

— У тебя есть что-нибудь?

Матрена опрометью вылетает из комнаты. Слышно, как она волочет по полу стул. Возвращается она с банкой, полной монет, высыпает их на постель и принимается пересчитывать.

— Маловато, — бормочет Нечаев, но, однако же, ждет окончания счета.

— Пять рублей и пятнадцать копеек, — объявляет Матрена.

— Нужно больше.

— Так ступайте на улицу и просите милостыню. Я вам денег не дам. Идите, просите подаяния во имя народа.

Они с ненавистью глядят один на другого.

— Почему вы не даете ему денег? — спрашивает Матрена. — Он же друг Павла!

— Мне нечего ему дать.

— Неправда! Вы говорили маме, что у вас куча денег. Вот и отдайте ему половину. Павел Александрович так бы и поступил.

Павел — и Иисус тоже!

— Ничего подобного я не говорил. Нет у меня никакой кучи.

— Давайте, давайте! — Нечаев, поблескивая глазами, хватает его за руку. Он снова слышит запах страха, источаемый молодым человеком. Неистовый, но напуганный, бедняга! Однако он сознательно не пускает жалость дальше порога.

— Нет, и решительно нет.

— Почему вы такой *скареда*? — выпаливает Матрена со всей презрительностью, на какую способна.

— Я вовсе не скареда.

— Конечно скареда! Вы и с Павлом скупились, а теперь друзьям его помочь не хотите! У вас полным-полно денег, да только вы их все для себя бережете. — Она поворачивается к Нечаеву. — Ему платят за его книги тысячи рублей, а он все оставляет себе! Правда-правда! Мне Павел рассказывал!

— Вздор! Павел ничего не смыслил в денежных делах.

— Нет не вздор! Павел заглядывал в ваш стол! Он видел ваши приходные книги!

— К черту Павла! Павел понятия не имел, как их читать, и видел лишь то, что хотел увидеть! Я годами сидел в долгах, каких ты и представить себе не способна! — Он поворачивается к Нечаеву. — Нелепейший разговор. Нет у меня для вас денег. И я считаю, что вам следует немедленно уйти отсюда.

Но Нечаев уже не спешит. Он даже улыбается.

— Разговор отнюдь не нелепый, — говорит он. — Напротив, весьма поучительный. Я давно питал подозрения насчет отцов, полагая, что истинный их грех, в котором они ни за что не признаются, это скупость. Они ничем не желают делиться. А уж с мошной своей не расстанутся, даже когда для того наступит подходящее время. Кошелек — вот самое важное для них, а что там после случится, их ничуть не заботит. Я не верил рассказам вашего пасынка, потому как слышал, что вы игрок, и считал игроков людьми к деньгам равнодушными. Впрочем, и у игры есть своя оборотная сторона, не так ли? Мне следовало подумать об этом. Вы, видимо, из тех, кто играет потому, что для них любой выигрыш мал, им всегда подавай больше.

Обвинение смехотворное. Он вспоминает об Ане, экономящей на всем, чтобы накормить и одеть их дитя. Вспоминает свои перелицованные воротнички, дыры на носках. Вспоминает письма, которые пишет год за годом, выпрашивая задатки, полные самоуничижения письма к Страхову, Краевскому, Любимову и в особенности к Стелловскому. Dostoïevski l'avare[1] — какая чушь! Пошарив в карманах, он вытаскивает последние свои рубли.

— Вот все, что у меня есть! — восклицает он, взмахивая ими перед носом Нечаева.

Нечаев холодно смотрит на протянутую в его сторону руку и вдруг одним стремительным движением выхватывает деньги, все, кроме одной монетки, которая падает на пол и закатывается под кровать, куда за нею ныряет Матрена.

Он пытается отобрать деньги и даже борется с молодым человеком. Но Нечаев без затруднений одолевает его, одновременно запихивая деньги в карман.

— Постойте... постойте... постойте... — пыхтит Нечаев. — В глубине вашего сердца, Федор Михайлович, в глубине сердца вы хотели отдать их мне, я уверен, ради вашего сына.

И он отступает на шаг, оправляя одежду, как бы желая выставить ее напоказ во всем великолепии.

Какой позер! Какой ханжа! Народная расправа, как бы не так! И все же он не в силах отрицать, что в душу его прокрадывается радость, радость знакомая, радость проигравшегося мужа. Разумеется, их нельзя не стыдиться — этих его приступов безрассудства. Разумеется, когда он возвращается домой без копейки в кармане и признается во всем жене, и, склоняя голову, выслушивает ее упреки, и клянется, что никогда больше не оступится, разумеется, он искренен в эти минуты. Но в глуби сердечной, там, куда Бог один способен заглянуть, за искренностью кроется знание, что прав все же он, а не жена. Деньги существуют для того, чтобы их тратить, а существует ли трата более чистая, чем игра?

Матрена стоит, протянув руку. На ладони ее одиноко лежит последний пятак. Она, похоже, не очень уверена в том, кому его следует отдать. Он подталкивает руку Матрены к Нечаеву.

— Отдай, ему они нужнее.

Нечаев опускает монету в карман.

И хорошо. Кончено. Теперь его черед изображать оставшуюся без гроша добродетель, нечаевский же черед, поникнув главой, выслушивать обличения. Вот только что он может ему сказать? Ничего, решительно ничего.

Да Нечаеву и ждать особенно некогда. Он свертывает синее платье в узел.

— Спрячь где-нибудь, — приказывает он Матрене, — только не в квартире, где-нибудь еще.

Он протягивает ей и шляпку с париком, заправляет в нарядные черные ботинки обшлага брюк, накидывает плащ, с отсутствующим выражением постукивает себя пальцами по голове.

— Слишком много потратил времени, — бормочет он. — У вас нет?..

И, подхватив со стула меховую шапку, Нечаев направляется к двери. Затем, словно вспомнив о чем-то важном, возвращается.

---

[1] Скупец Достоевский (*франц.*).

— А любопытный вы человек, Федор Михайлович. Будь у вас дочь, я бы, пожалуй, женился на ней. Редчайших качеств была бы девица, не сомневаюсь. Что же до пасынка вашего, то он вот совсем на вас не походил. Я не уверен, что вы вообще представляли, как вам с ним дальше быть. В нем не было — как бы это сказать? — необходимых задатков. Таково мое мнение, а там уж как вам будет угодно.

— Каких же именно?

— Он слишком смахивал на святого. Вы правильно делаете, что жжете перед его портретом свечу.

Произнося это, он неторопливо проводит рукою над свечой, заставляя пламя затрепетать. Затем втыкает палец прямо в огонь и держит его там. Проходят секунды: одна, другая, третья, четвертая, пятая. Выражение лица его не меняется. Возможно, он в трансе.

Наконец молодой человек отнимает руку.

— Вот чего ему не хватало. По правде сказать, он был просто неженкой.

Нечаев обнимает Матрену. Она безоглядно отзывается на ласку, приникая к его груди светлой головкой, отвечая объятием на объятие.

— Wachsam, wachsam! — многозначительно шепчет Нечаев и поверх ее головы указывает на него обожженным пальцем. И уходит.

Он не сразу постигает смысл этих странных слогов. И даже узнав слово, не понимает его. Бдительность: при чем здесь бдительность?

Матрена стоит у окна, вглядываясь в улицу. В глазах ее слезы, но она слишком взволнована, чтобы грустить.

— Как вы думаете, он спасется? — спрашивает она и, не дожидаясь ответа, продолжает: — Может быть, мне нужно было пойти с ним? Он мог бы изображать слепого, а я — поводыря.

Впрочем, и эта мысль недолго ее занимает.

Он стоит близко от нее, за спиной. Почти стемнело уже, пошел снег, скоро мать ее вернется домой.

— Он тебе нравится?

— Угу.

— Беспокойная жизнь у него, верно?

— Угу.

Она почти не слушает. Соперничество решительно неравное! Куда ему тягаться с этими молодыми людьми, появляющимися неизвестно откуда и исчезающими неизвестно куда, веющими тайной и приключениями. И вправду беспокойная жизнь — а wachsam выпадает на долю ей.

— Почему он так тебе нравится, Матреша?

— Потому что он лучший друг Павла Александровича.

— Ты полагаешь? — мягко возражает он. — Я все же думаю, что лучшим другом Павла Александровича был я. Я и останусь ему другом, когда все остальные о нем забудут. Я его пожизненный друг.

Отворотясь от окна, она бросает на него странный взгляд, точно желая сказать что-то. Но что? «Вы Павлу Александровичу всего только отчим»? Или нечто совсем иное: «Не говорите со мной таким тоном»?

Отведя с лица прядь волос жестом, который, как он уже знает теперь, выражает у нее замешательство, она пытается поднырнуть под его рукой. Но он надежно преграждает ей путь.

— Я должна... — шепчет она, — должна спрятать одежду.

Он удерживает Матрену еще мгновение, желая, чтобы она почувствовала свое бессилие. Затем отступает в сторону.

— Брось ее в нужник, — говорит он. — Туда никто не заглянет.

Она морщит носик.

— Прямо вниз? — говорит она. — В ...?

— Да, именно туда. А еще того лучше отдай платье мне, а сама ложись. Я все сделаю.

Не для Нечаева, нет. Для тебя.

Он заворачивает узел в полотенце и, не оглядываясь, сходит вниз, к нужнику. Но на лестнице его посещает новая мысль. Одежда среди человеческих испражнений: а что, если он недооценивает возчиков нечистот?

Он замечает, что дворник глядит на него из окошка своей каморки, и, принимая вид человека, спешащего по делу, выскакивает на улицу. Тут он соображает, что вышел без пальто. Вновь поднимаясь по лестнице, он нос к носу сталкивается с Амалией Карловной, старухой, живущей на первом этаже. Она протягивает ему, точно гостю, тарелку, на которой лежат булочки с корицей.

— Добрый вечер, сударь, — церемонно произносит она.

Он бормочет приветствие и спешит проскользнуть мимо старухи.

Что ему нужно? Ямка, щель, в которой навсегда скроется этот узел, с такой внезапностью и с такой неотвязностью ставший *его* принадлежностью. Безо всякой на то причины он оказался вдруг в положении девки с мертворожденным младенцем на руках или убийцы с окровавленным топором. В нем снова разгорается гнев на Нечаева. «Почему я рискую собой ради тебя? — хочется ему крикнуть. — Тебя, до которого мне нет никакого дела?» Но кричать, похоже, поздно. В тот миг, как он принял узел из Матрениных рук, произошла смена постового, и обратного пути у него уже нет.

Одна из комнат в конце коридора стоит пустой, перед нею набросана груда всякого хлама вперемешку со штукатуркой. Носком ботинка он неуверенно ворошит этот сор. Работник перестает орудовать мастерком и подозрительно вглядывается в него через распахнутую дверь.

Спасибо и на том, что нет больше Иванова, чтобы следить за ним. Впрочем, весьма вероятно, что Иванову уже отыскалась замена. Кто может быть новым шпионом? Вот этот самый работник, которому приплачивают, чтобы он не спускал с него глаз? Или дворник?

Запихав узел под сюртук, он снова выходит на улицу. Ветер, похожий на ледяную стену. Дойдя до первого угла, он сворачивает за него, потом еще раз. Вот и тупик, в котором он обнаружил собаку. Сегодня собака отсутствует. Может быть, околела в ту ночь, когда он ее здесь оставил?

Он заталкивает узел в уголок поукромнее. Приколотые к шляпке пряди парика развеваются по ветру, комичные и одновременно зловещие. Где раздобыл их Нечаев — у одной из своих «сестер»? И сколько у него этих сестричек, сгорающих от желания отхватить ради него свои девичьи локоны?

Вытащив булавки, он тщетно пытается разодрать шляпку надвое, затем сминает ее и затискивает в трубу водостока, к которой была привязана собака. То же он пытается сделать и с платьем, но труба слишком узка.

Внезапно он ощущает чей-то впившийся ему в спину взгляд. Оборачивается. Из окошка второго этажа на него, как зачарованные, глядят двое детишек, а за ними маячит кто-то еще, повыше.

Он пытается вытянуть шляпку из трубы, но не может достать до нее. Чертова глупость! Труба теперь забита, желоб переполнится, кто-нибудь полезет выяснять, в чем причина, и обнаружит шляпку. А кто стал бы запихивать шляпку в трубу, как не человек, повинный в преступлении?

Он вновь вспоминает Иванова — Иванова, которого называли Ивановым так часто, что имя это нахлобучилось на него, точно шляпа на голову. Иванова убили. Правда, шляпы Иванов не носил, во всяком случае женской. Стало быть, с Ивановым эту шляпку связать не удастся. С другой стороны, разве она не могла принадлежать убийце? Женщине убить мужчину проще простого: довольно завлечь его в проулок, позволить прижать себя к стене, а затем в самую восторженную минуту нащупать нужное ребро и пронзить сердце шляпной булавкой — булавкой, не оставляющей крови, оставляющей вместо раны лишь малую точку.

Он опускается на колени в углу, где побросал булавки, но темень стоит уже такая,

что отыскать их невозможно. Нужна свеча. Да только где он возьмет свечу, которая не загаснет на этом ветру?

Устал он до того, что не находит в себе сил, чтобы встать. Не занемог ли он часом? Не заразился ли чем от Матрены? Или просто близится новый припадок? И эта полная изнуренность — его предвестье?

Стоя на четвереньках, подняв голову и внюхиваясь, точно дикий зверь, в воздух, он пытается сосредоточиться на том, что происходит внутри его. Но если то, что овладевает им, припадок, то он овладел и чувствами тоже. Чувства его застыли совершенно так же, как руки.

14

Полиция

Ключа он с собой не взял, приходится стучать в дверь. Анна Сергеевна открывает и глядит на него в изумлении.

— Вы опоздали на поезд? — спрашивает она. Тут она замечает его нелепый вид — трясущиеся руки, капли воды в бороде. — Что-нибудь случилось? Вы заболели?

— Не заболел, нет. Я отложил мой отъезд. Потом все объясню.

В комнате у постели Матрены стоит незнакомый ему человек, видимо, доктор — молодой, чисто, на немецкий манер, выбритый. В руке у него коричневый пузырек из аптеки: доктор подносит пузырек к носу и с неодобрительным выражением закупоривает. Затем щелкает замком саквояжа, задергивает занавесь алькова.

— Я говорил тут, что у вашей дочери воспалены бронхи, — сообщает доктор, обращаясь к нему. — Но в легких чисто. Помимо того...

Он перебивает доктора:

— Она не дочь мне. Я всего лишь жилец.

Недовольно пожав плечьми, доктор поворачивается к Анне Сергеевне.

— Помимо того — я пренебрег бы долгом моим, не высказав этого, — присутствует некоторый истерический элемент.

— Что это значит?

— Это значит, что, пока она пребывает в нынешнем своем растревоженном состоянии, быстрой поправки ожидать невозможно. Возбуждение девочки есть часть ее расстройства. Необходимо как-то ее успокоить. Как только этого удастся достигнуть, она через несколько дней возвратится в школу. Телесно девочка здорова, конституция крепкая. Поэтому в качестве лечения я рекомендовал бы прежде всего покой, тишину и покой. Девочке следует оставаться в постели, пищу употреблять легкую. Молоко старайтесь не давать ни в каком виде. Я вам оставлю втирание для груди и снотворную микстуру, которую будете давать ей, когда потребуется, в качестве успокаивающего. Но помните, только детскую дозу — половину чайной ложки.

Едва доктор уходит, он пытается объясниться с Анной Сергеевной. Но та не в настроении выслушивать объяснения.

— Матреша сказала, что вы на нее накричали, — напряженным шепотом обрывает она его. — Это непозволительно!

— Неправда! Я вовсе не кричал на нее! — Он уверен, что, хоть разговор и ведется шепотом, Матрена слышит их сквозь занавеску и безмолвно злорадствует. Он берет Анну Сергеевну за руку, тянет ее в свою комнату, закрывает дверь. — Вы слышали, что сказал доктор, — она перевозбуждена. Она рассказала вам все, что случилось здесь утром?

— Она сказала, что заходил друг Павла и что вы были с ним очень грубы. Вы об этом говорите?

— Да, но...

— Позвольте мне закончить. Что происходит между вами и друзьями Павла, меня не касается. Но вы сорвали злость на Матреше, вы были с нею грубы. Я не могу допустить этого.

— Друг, о котором она говорила, это Нечаев, сам Нечаев, не кто иной, как Нечаев. Она упомянула об этом? Нечаев, бегущий от правосудия, был сегодня здесь, в вашей квартире. Как же можете вы винить меня за то, что я рассердился на нее, впустившую этого фигляра, лицемера, и затем принявшую его сторону против меня?

— Тем не менее вы не имели права вести себя с нею несдержанно! Как может она знать, что Нечаев дурной человек? Как я могу знать это? Вы говорите, что он фигляр. А сами вы? Сами вы как себя ведете? Вы разве никогда не кривите душой? Сомневаюсь.

— Вы не вправе так говорить. Я душой не кривлю. В прошлом это случалось, но не теперь — только не теперь. Я говорю вам правду.

— Теперь? Что же вдруг изменилось теперь? Почему я должна вам верить? Почему вы сами себе верите?

— Потому что не хочу, чтобы Павлу стало стыдно за меня.

— Павлу? Павел тут совершенно ни при чем.

— Я не хочу, чтобы Павел стыдился отца — теперь, когда он все видит. Вот это и переменилось: ныне существует мера всех вещей, включая и истину, и эта мера — Павел. Что до несдержанности моей с Матреной, я виноват. Я сожалею о ней и перед Матреною извинюсь. Впрочем, как вы, верно, знаете, — он разводит руками, — Матрена меня не выносит.

— Она не понимает, что вы здесь делаете, вот и все. Почему Павел жил у нас, она понимала — у нас и прежде стояли студенты, — но жилец постарше — это совсем другое. Да и я тоже перестаю понимать вас. Я не хочу вас выгонять, Федор Михайлович, но должна вам признаться, когда вы сказали вчера, что уезжаете, я испытала облегчение. Четыре года мы вели с Матреной очень тихую, ровную жизнь. И никогда не позволяли жильцам нарушать наш покой. Теперь же, с самого дня смерти Павла, все у нас пошло кверху дном. Ребенку это не на пользу. Матрена не была бы больна сегодня, если бы обстановка в доме не стала столь непредсказуемой. Доктор правильно сказал — она растревожена, а тревога делает ребенка уязвимым.

Он ожидает, что Анна Сергеевна упомянет наконец о главной сути происходящего: Матрена знает об отношениях между ним и ее матерью, и не находит себе места от ревности, ревности собственника. Но, по-видимому, Анна еще не готова к тому, чтобы говорить об этом открыто.

— Простите меня за причиненные мною волнения, простите за все. Уехать сегодня, как я намеревался, для меня оказалось невозможным — не стану входить в причины, они несущественны. Я пробуду у вас еще день, самое большее два, пока друзья не ссудят мне денег. Затем я заплачу вам, что задолжал, и съеду.

— В Дрезден?

— В Дрезден или на другую квартиру, пока сказать не могу.

— Что же, Федор Михайлович, очень хорошо. А относительно денег, давайте сочтемся немедля, не откладывая. Я не хочу попасть в длинный список людей, которым вы задолжали.

В гневе ее присутствует нечто для него непонятное. Никогда прежде она не говорила с ним столь оскорбительным тоном.

Он сразу садится писать записку Майкову. «Вы удивитесь, дорогой Аполлон Григорьевич, услышав, что я еще в Петербурге. Я снова вынужден, в последний, надеюсь, раз, прибегать к доброте Вашей. Беда в том, что я попал здесь в обстоятельства столь стесненные, что не имею средств расплатиться за жилье, не говоря уж о возвращении к семье, — остается разве пальто заложить. Двести рублей были бы для меня сущим спасением».

Он пишет и к жене: «Я совершил глупость, позволив другу Павла занять у меня денег. Майкову придется снова меня выручать. Телеграфирую, как только смогу все уладить».

Стало быть, винить в который раз остается только щедрое Федино сердце. Хоть, честно говоря, никакой щедрости в Федином сердце нет. В Федином сердце...

Кто-то с силой стучит в дверь квартиры. Прежде чем Анна Сергеевна успевает открыть, он оказывается с ней рядом.

— Это, должно быть, полиция, — шепчет он, — только она приходит в такой час. Позвольте мне говорить с ними. Останьтесь с Матреной. Главное, чтобы они не задавали ей вопросов.

Он открывает дверь. На пороге стоит чухонка, по бокам от нее двое полицейских в синих мундирах. Один из них офицер.

— Этот? — спрашивает офицер.

Чухонка кивает.

Он отступает, и полицейские входят, подталкивая девушку перед собой. Его поражают происшедшие в ней перемены. Лицо чухонки бело как мел, и движется она, точно кукла со связанными конечностями.

— Не угодно ли вам пройти в мою комнату? — спрашивает он. — Здесь больной ребенок, которого нельзя беспокоить.

Офицер размашистым шагом пересекает комнату и отдергивает занавеску. Глазам их предстает склонившаяся над дочерью Анна Сергеевна. Она резко оборачивается, глаза ее пылают.

— Оставьте нас в покое! — свистящим шепотом произносит она.

Офицер медленно задергивает занавеску.

Он уводит их в свою комнату. Что-то знакомое чудится в том, как чухонка шаркает ногами. Не сразу замечает он кандалы на ее ногах.

Офицер разглядывает дагерротип Павла, цветы, свечу.

— Кто это?

— Мой сын.

Что-то не так, что-то изменилось в самодельном алтаре. И когда он понимает *что*, кровь застывает в его жилах.

Начинается допрос.

— Появлялся ли здесь сегодня человек по имени Сергей Нечаев?

— Да, здесь был человек, который, как я склонен полагать, является Сергеем Нечаевым, хоть он и принял другое имя.

— Какое именно?

— Женское. Он переодевается женщиной. На нем был темный плащ поверх темно-синего платья.

— Зачем он к вам приходил?

— Просить денег.

— Не для иной причины?

— Насколько могу судить, иных причин не имелось. Я не принадлежу к числу друзей его.

— Вы дали ему денег?

— Отказал. Тем не менее он забрал все, что у меня было, и помешать ему я не смог.

— То есть вы утверждаете, что он вас ограбил?

— Он взял деньги против моей воли. Попытку вернуть их себе я счел неблагоразумной. Если угодно, назовите это ограблением.

— Сколько было денег?

— Около тридцати рублей.

— Что здесь еще произошло?

Он решается бросить взгляд на чухонку. Губы ее беззвучно подрагивают. Что бы они там ни делали с нею, пока она была в их руках, но сделанное полностью изменило ее повадку. Она стоит точно скотина на бойне, ожидающая топора.

— Мы говорили о моем сыне. Нечаев был, в некотором роде, другом моего сына. Оттого ему этот дом и известен. Сын занимал здесь комнату. Иначе Нечаев сюда не пришел бы.

— Что значит «иначе Нечаев сюда не пришел бы»? Вы хотите уверить нас, что он намеревался встретиться с вашим сыном?

— О нет. Навряд ли у кого из друзей моего сына осталась надежда встретиться с ним.

Я хотел сказать другое: Нечаев явился сюда не потому, что рассчитывал на мое расположение, но по причине прежней дружбы с сыном моим.

— Да, о преступных связях вашего сына нам известно.

Он пожимает плечами.

— Быть может, не столь уж и преступных. И, быть может, не о связях, но только о дружбе. Однако оставим это. Решение этого вопроса суду уже не подлежит.

— Известно ли вам, куда направился отсюда Нечаев?

— Не имею представления.

— Покажите ваши документы.

Он вручает офицеру паспорт — свой, не исаевский. Офицер прячет паспорт в карман и надевает фуражку.

— Вам надлежит явиться завтра утром в участок на Садовой и дать полные показания. В дальнейшем будете являться в тот же участок каждодневно перед полуднем, вплоть до последующих распоряжений. Петербург покидать запрещается. Вам все ясно?

— И на чей же счет я буду здесь жить?

— Это меня не касается.

Он делает своему спутнику знак вывести арестованную. И уже у дверей квартиры чухонка, так и не произнесшая до этой минуты ни слова, вдруг начинает артачиться.

— Я проголодалась! — жалобно произносит она и, когда полицейский хватает ее за руку, чтобы насильно вывести из дверей, упирается ногами в пол и цепляется за косяк. — Я проголодалась, дайте мне какой-нибудь еды!

Нечто стонущее, отчаянное слышится в ее крике. И хоть Анна Сергеевна стоит к чухонке ближе всех, просьба ее несомненно обращена к Матрене, которая уже вылезла из кровати и стоит, сунув в рот большой палец и наблюдая происходящее.

— Я принесу! — говорит Матрена и стремглав кидается к буфету. Она возвращается с краюхой черного хлеба и огурцом, принесла она и свой кошелечек.

— Берите все! — возбужденно выпаливает она и сует в руки чухонки еду вместе с деньгами. Затем отступает назад и, вскинув голову, приседает в странном старомодном реверансе.

— Никаких денег! — протестует полицейский, заставляя девочку взять деньги назад.

Ни слова благодарности от чухонки, которая после мгновенной вспышки непокорства снова впадает в оцепенение. Как будто из нее выбили всю ее живость, думает он. Действительно ли они били ее — или учинили нечто похуже? И Матрена как-то догадалась об этом? В том-то и кроется причина ее жалости? Но что может знать ребенок о подобных вещах?

Как только полицейские уходят, он возвращается к себе, задувает свечу, составляет ее вместе с иконами и портретами на пол и снимает расстеленный поверх туалетного столика трехполосый флаг. Затем возвращается в соседнюю комнату. Анна Сергеевна сидит около Матрены с шитьем. Он швыряет флаг на постель.

— Если я стану сейчас разговаривать с вашей дочерью, я определенно вспылю снова, — произносит он, — а потому спросите ее от моего имени, как это попало в мою комнату.

— О чем вы? Что это такое?

— Спросите у нее.

Анна Сергеевна расправляет флаг на постели. В нем около метра длины, очевидно, им немало попользовались, ибо краски — белая, красная и черная вертикальные полосы равной ширины — потускнели и выцвели. Где они им размахивали — в комнатушке над заведением Madame la Fay?

— Чей это флаг? — спрашивает Анна Сергеевна.

Он молчит, ожидая ответа девочки.

— Народный. Флаг народа, — неохотно отвечает она наконец.

— Ну, довольно, — говорит Анна Сергеевна и целует дочь в лоб. — Спать пора.

И она задергивает занавесь, не оставляя ни щелки.

Пять минут спустя Анна Сергеевна заходит к нему со сложенным в несколько раз флагом в руках.

— Извольте объясниться, — говорит она.

— Вы держите в руках флаг «Народной расправы». Флаг мятежа. Если вам угодно узнать, что означает каждый из этих цветов, могу объяснить. Или спросите Матрену, уверен, она это тоже знает. Я и вообразить не могу поступка более дерзкого и обличающего, нежели выставление этого флага напоказ. Матрена в мое отсутствие расстелила флаг у меня в комнате, где его могли увидеть полицейские. Уж не помешалась ли она?

— Не смейте так о ней говорить! Откуда ей было знать, что придет полиция? А флаг — если это такая опасная вещь, я просто сожгу его сию же минуту.

— Сожжете? — изумленно спрашивает он. Как просто! Почему он не сжег синее платье?

— И позвольте сказать вам еще одно, — добавляет она, — этим все и должно закончиться, навсегда. Вы втягиваете Матрену в дела, которыми ребенку заниматься не пристало.

— Более чем согласен. Однако втягиваю ее не я. Нечаев.

— Не вижу разницы. Не будь здесь вас, не было бы и Нечаева.

15

Подполье

За ночь высыпал снег. При выходе на улицу его ослепляет внезапная белизна. Он застывает на месте, опускает лицо, охваченный ощущением, что мир перед ним закружился, и закружился странно — не слева направо, но сверху вниз. Он чувствует, что если сделает хотя бы шаг, то непременно повалится.

Все это может быть только прелюдией припадка. Припадок вот уж несколько дней как возвещает о своей близости — приступами головокружения и сердцебиения, утомления и раздражительности, — возвещает, но не приходит. Если, конечно, не считать припадком состояние, в котором он пребывает последнее время.

Стоя у подъезда шестьдесят третьего нумера, он, занятый тем, что творится внутри него, ничего вокруг не видит и не слышит, пока кто-то не берет его с силой за руку. Вздрогнув, он открывает глаза. Перед ним стоит Нечаев.

Нечаев, оскаливая зубы, ухмыляется. Карбункулы его полиловели от холода. Он пытается высвободиться, но Нечаев лишь ухватывает его руку покрепче.

— Нелепая бравада, — говорит он. — Вам следовало бы покинуть Петербург, пока еще есть возможность. Здесь вас схватят наверно.

Нечаев разворачивает его, держа одной рукой за плечо, а другой за запястье. Они идут по Свечной бок о бок, точно упирающаяся собака с хозяином.

— Впрочем, вам, вероятно, и хочется в душе, чтобы вас схватили.

На Нечаеве черный треух, уши которого взлетают, когда он трясет головой. Он произносит нарочито терпеливым, напевным тоном:

— Вы вечно приписываете людям превратные побуждения. А люди вовсе не таковы. Ну подумайте сами, зачем мне желать поимки и тюрьмы? И кому, кроме того, придет мысль приглядываться к паре вроде нас с вами, к отцу и сыну на прогулке? — и Нечаев обращает к нему лицо, украшенное самой что ни на есть добродушной улыбкой.

Они достигают конца Свечной, Нечаев легким нажимом плеча указывает, что следует повернуть направо.

— Вы хоть отдаленно представляете себе, что приходится сейчас выносить вашей подруге?

— Подруге? Вы про чухонку? Она не сломается, я в ней уверен.

— Вы заговорили бы по-другому, если б ее увидели.

— А вы ее видели?

— Полицейские приводили ее в дом, чтобы она указала им на меня.

— Ну и пусть, я за нее не боюсь, она отважна и долг свой знает. Успела она перемолвиться с дочерью вашей хозяйки?

— С Матреной? О чем?

— Да ни о чем, так просто. Она любит детей. Она ведь и сама ребенок — очень простодушный и очень прямой.

— Меня допрашивала полиция. И еще будет допрашивать. Я ничего не утаил. Я и впредь утаивать не собираюсь. Предупреждаю, использовать Павла как орудие против меня я вам не позволю.

— Зачем же мне использовать против вас Павла? Я самого вас могу использовать.

Они уже добрались до Садовой, до сердца Сенного рынка. Он упирается и встает, не желая двигаться дальше.

— Вы дали Павлу список людей, которых хотите убить, — говорит он.

— Мы с вами уже разговаривали об этом списке — неужто не помните? Это всего лишь один из многих. Списков существует немало и в немалом числе экземпляров.

— Я не о том вас спрашиваю. Я хочу знать...

Нечаев, откинув назад голову, хохочет. Облако пара вырывается из его рта.

— Так вы хотите узнать, состоите ли вы в одном из них?

— Я хочу узнать, не потому ли Павел отпал от вас — понял, что я намечен в жертвы, и отказался иметь с вами дело.

— Нелепая мысль, Федор Михайлович! Ни в каких списках вас, разумеется, нет! Вы слишком ценный человек. Да к тому же, это между нами, совершенно не важно, чьи имена там значатся. Важно, чтобы *они* знали: их ожидает возмездие, — чтобы у них поджилки тряслись. Такие вещи народу понятны, он их одобряет. А отдельные лица ему ничуть не интересны. Народ страдал с незапамятных времен и теперь требует, чтобы страдали, в свой черед, и *они*. Так что не беспокойтесь. Ваше время еще не пришло. На самом-то деле мы были бы рады работать вместе с такими людьми, как вы.

— С такими, как я? Это что же за люди такие? Уж вы не ждете ли, что я стану писать для вас прокламации?

— Разумеется, нет. Для прокламаций ваш талант не подходит, для них вы слишком чистосердечны. Идемте, что же на месте стоять. Я хочу отвести вас кое-куда. Заронить в вас, так сказать, семя.

Нечаев снова берет его за руку, и они продолжают поход по Свечной. Навстречу движутся двое офицеров в оливковых драгунских шинелях. Нечаев уступает офицерам дорогу, приподымая в веселом приветствии руку. Офицеры отвечают кивками.

— Я прочел ваш роман «Преступление и наказание», — возобновляет беседу Нечаев. — Он-то меня и вразумил. Превосходная книга. По временам она меня даже пугала. Болезнь Раскольникова и тому подобное. Вам наверняка довелось выслушать ей немало похвал. Но я все равно скажу...

Нечаев прижимает руку к груди, а затем, словно вырывая сердце, выбрасывает ее перед собою. Похоже, нелепость жеста удивляет его самого, ибо лицо Нечаева заливает краска.

Это — первое, сколько он может припомнить, не рассчитанное заранее — движение Нечаева его удивляет. Девственная душа, думает он, не понимающая толком собственного волнения. Как оживающее творение доктора Франкенштейна. Впервые за все это время он ощущает прилив сострадания к этому озлобленному, невзрачному юноше.

Теперь они в самом чреве Сенного рынка. Нечаев ведет его узкими улочками, загроможденными лотками мелочных торговцев и какими-то бочками, сквозь толчею, сквозь зловонье немытых тел.

Они останавливаются у двери одного из домов. Нечаев извлекает из кармана синий шерстяной шарф.

— Мне придется попросить у вас дозволения завязать вам глаза, — говорит он.

— Куда вы меня ведете?

— Туда, где я теперь обитаю, — к народу. Что до повязки, так будет проще для нас обоих. Вы сможете после со спокойной душой заявить, что не знаете, где меня искать.

Закрывшая глаза повязка вновь позволяет ему насладиться роскошью головокружения. Нечаев ведет его, он натыкается на каких-то встречных и получает от них толчки, один раз он, запнувшись, падает, и Нечаев помогает ему подняться.

Они сворачивают с улицы во двор. Из близкого кабака доносится пение, гитарный звон, веселые крики. Пахнет помоями и рыбьими потрохами.

Рука его ложится на перила.

— Шагайте осторожнее, — произносит голос Нечаева, — тут такая темень, что даже сними я повязку, вы все равно ничего не увидите.

Приволакивая, точно старик, ноги, он сходит по ступеням. Воздух промозгл и недвижен. Где-то неспешно каплет вода. Совсем как в пещере.

— Ну вот, — говорит Нечаев, — голову поберегите.

Пришли. Он стягивает повязку. Они с Нечаевым стоят внизу темной деревянной лестницы, перед закрытой дверью. Нечаев стучит четыре раза, потом три. Они ждут. Ни звука, только вода все капает, капает. Нечаев повторяет условный стук. Ответа нет.

— Придется подождать, — говорит Нечаев. — Идемте.

Он стукает в дверь по другую сторону лестницы, толкает ее и отступает, пропуская гостя вперед.

Они в подполье, столь низком, что ему приходится держать голову наклоненной, освещаемом лишь затянутым бумагой оконцем под самым потолком. Голый каменный пол — даже стоя на нем, он чувствует пронизывающий подошвы холод. Вдоль стен тянутся по полу какие-то трубы. Пахнет сырой штукатуркой, мокрым кирпичом. Кажется, будто по стене тонкой пленкой стекает вода, хотя этого, конечно, быть не может.

Вдоль дальней стены подвала натянута веревка с перекинутым через нее свежевымытым тряпьем, таким же сырым и серым, как само это помещение. Под веревкой стоит лежак, на котором в одинаковых позах — спинами к стене, подтянув к подбородкам колени и обняв их руками, — сидят трое детей, босых, в холщовых рубахах. Самая из них старшая — девочка. Волосы ее сальны, нечесаны, верхнюю губу покрывает слизь, которую она апатично сглатывает, собирая языком. Из двух других один в том возрасте, когда ребенок еще только-только начинает ходить. Дети не двигаются, не издают ни звука. Просто глядят на вошедших слезящимися, лишенными любопытства глазами.

Нечаев зажигает свечу, ставит ее в стенную нишу.

— Это здесь вы живете?

— Нет. А впрочем, какая разница?

Нечаев начинает прохаживаться по комнате взад-вперед. У него вновь возникает мысль о запертом в клетку сгустке энергии. Он представляет себе Павла, вышагивающего рядом с Нечаевым. Нет, Павел двигался иначе. Нетрудно теперь понять, почему Павел выбрал его в руководители.

— Позвольте я объясню, зачем я привел вас сюда, Федор Михайлович, — начинает Нечаев. — В комнате за той дверью стоит печатный станок — ручной. Разумеется, нелегальный. Идиот, у которого хранится ключ, к сожалению, отсутствует, хоть он и обещал быть на месте. Я предлагаю вам воспользоваться этим станком, прежде чем вы покинете Петербург. Все, что вы пожелаете сказать, разойдется за несколько часов в тысячах экземпляров. В такое время, как наше, время, когда мы стоим на пороге великих событий, любой ваш вклад способен оказать громадное воздействие. Имя ваше пользуется уважением, в особенности у студентов. Если вы от собственного имени расскажете о том, как расстался с жизнью ваш приемный сын, студенты неминуемо выйдут на улицы, хотя бы только из возмущения.

Нечаев останавливается прямо перед ним.

— Я сожалею о смерти Павла Исаева. Он был хорошим товарищем. Но мы не вправе смотреть только в прошлое. Мы обязаны воспользоваться его смертью, чтобы разжечь пламя. Он бы со мной согласился. Он настоял бы на том, чтобы вы нашли для вашего гнева достойное применение.

Еще не закончив, Нечаев, видимо, понимает, что хватил лишку, и неуклюже поправляется:

— Для вашего гнева и вашего горя, хотел я сказать. Чтобы не получилось, что Павел умер впустую.

Разжечь пламя — это уж чересчур. Он поворачивается, чтобы уйти. Но Нечаев вцепляется в его руку.

— Вы не можете так уйти! — говорит он сквозь стиснутые зубы. — Неужели вы способны бросить Россию и вернуться к презренному буржуазному существованию? Способны игнорировать это зрелище, — он обводит рукою подвал, — зрелище, тысячи, миллионы подобий которого можно увидеть по всей стране? Что с вами стало? Или в вас угасла последняя искра? И вы не видите того, что лезет вам в глаза?

Он поворачивается, оглядывая сырое подполье. Что он видит? Трех замерзших, изголодавшихся детишек в ожидании ангела смерти.

— Я вижу не хуже вашего, — говорит он. — Лучше.

— Нет! Вы думаете, будто видите, и не видите! Чтобы видеть, одних глаз недостаточно, нужно еще правильно понимать то, что видишь. Вы видите только жалкую материальную обстановку этого подвала, жизнь в котором даже крыса с тараканом сочли бы проклятием. Вы видите страдания трех голодных детей, а если подождете немного, то увидите и мать их, которой приходится, чтобы принести им корку хлеба, торговать собою на улице. Вы видите, как приходится жить беднейшим из обездоленных бедняков Петербурга. Но это не настоящее ви́дение, это всего лишь деталь картины! Вы не способны распознать *силы*, которые определяют жизнь этих несчастных! *Силы* — вот чего вам никак не удается увидеть!

Нечаев пальцем проводит снизу вверх линию по стене (он наклоняется к самому полу, кончик пальца его покрывается влагой), через тусклое оконце, к небесам.

— Линии завершаются здесь, но где, по-вашему, они начинаются? Они начинаются в министерствах, в казначействах, на биржах, в коммерческих банках. Они начинаются в канцеляриях Европы. Оттуда идут силовые линии, оттуда они расходятся по всем направлениям, чтобы завершиться в подвалах, подобных этому, в жалких подпольных жизнях. Если вы напишете об *этом*, вы воистину пробудите мир. Хотя, конечно, — он издает горький смешок, — если вы напишете об этом, вам все равно не позволят напечатать написанное. Они позволяют вам писать сколько душе угодно о безмолвных страданиях бедняков и даже аплодируют вам, но опубликовать настоящую правду они не позволят никогда! Вот почему я предлагаю вам наш станок. Начните! Расскажите им о вашем приемном сыне, о том, почему он был принесен в жертву.

Принесен в жертву. Возможно, мысли его слишком спутались, возможно, он просто устал, во всяком случае, ему не удается понять, кто и как принес Павла в жертву. Да и пылкая речь относительно линий нимало его не тронула.

— Я вижу то, что вижу, — холодно говорит он. — Линий не вижу никаких.

— Ну, значит, я мог бы и не снимать повязку с ваших глаз! Неужели я еще должен вам уроки давать? Вас напугал уродливый лик голода, болезни и нищеты. Но враги наши — не голод, болезнь и нищета. Это лишь способы, которыми проявляют себя в мире *реальные* силы. Голод не сила, это среда обитания, такая же, как вода. Бедняки живут в голоде, как рыба в воде. Настоящие силы зарождаются в центрах власти, в происходящем там столкновении интересов. Вас пугает, что вы могли попасть в наши списки. Заверяю вас еще раз, клянусь вам, там вас нет. В наших списках поименованы лишь пауки и кровососы, сидящие в центрах своих паутин. Как только пауки и кровососы будут уничтожены, дети, подобные этим, получат свободу. По всей России дети смогут выйти из подвалов. Одежда, еда и жилище, достойное жилище, найдется для всякого. И работа — очень много работы! Прежде всего надлежит сровнять с землей банки, биржи, правительственные министерства — разрушить до основания, чтобы их никогда уж нельзя было отстроить.

Дети, поначалу, казалось, прислушивавшиеся к разговору, утратили к нему интерес. Самый маленький завалился на бок и уснул на коленях сестры. Сестра моложе Мат-

рены, но выглядит более подавленной и покорной, даже до странного. Начала ли уже и она говорить мужчинам «да»?

Что-то странное присутствует и в молчаливом бдении детей. С тех пор как они вошли сюда, Нечаев не обратил к ним ни единого слова, не показал даже, что знает их по именам. Кто они для него — олицетворение городской бедноты и не более? «Неужели я еще должен вам уроки давать?» Он вспоминает язвительное замечание княжны Оболенской о том, что Нечаев хотел стать школьным учителем, но, не выдержав требуемого экзамена, подался, чтобы отомстить экзаменаторам, в революционеры. Быть может, по призванию своему Нечаев просто-напросто еще один педагог, подобно ментору его, Жан-Жаку?

И эти линии. Он так и не понял, что́ разумеет под ними Нечаев. Ему ли объяснять, что банкиры стяжают деньги, что алчность иссушает сердца их? Но Нечаев говорит о чем-то ином. О чем? О цепочках цифр, пробивающих бумагу в окне и хлещущих этих детей по пустым животам?

Голова опять начинает кружиться. «Давать уроки». Он набирает побольше воздуху в грудь.

— Есть у вас пять рублей?

Нечаев машинально ощупывает карман.

— Вот эта девочка... — он поводит головой в сторону детей. — Отмойте ее как следует, причешите, приоденьте, и я отведу вас в одно заведение, в котором сегодня, прямо сегодняшней ночью, она сможет заработать для вас сто рублей на пять вложенного капитала. А если ее хорошо кормить, держать в чистоте, не слишком часто использовать и следить, чтобы она не заболела, она сможет отрабатывать ваши пять рублей по меньшей мере еще пять лет. С легкостью.

— Что?..

— Дослушайте. В подвалах Петербурга довольно детей, а на улицах его — господ с деньгами в карманах и тягой к детскому телу в душе, довольно, чтобы обеспечить достатком всю городскую бедноту. Требуется лишь трезвый расчет. На плечах этих детей можно вытащить к свету всех обитателей подвалов.

— В чем смысл этой омерзительной притчи?

— Это не притча. Я, как и вы, возмущен страданиями невинных. Я, кажется, понял вас, наконец, Сергей Геннадиевич. Долгое время мне не удавалось заставить себя поверить, что сын мой мог стать вашим приверженцем. Теперь я начинаю понимать, что́ он в вас увидел. Вы рождены со стремлением к справедливости, и стремление это в вас еще не заглохло. Я уверен, что, если бы это дитя, вот эту самую девочку, завлек в глухой переулок какой-нибудь из наших петербургских развратников и если бы вы их застигли, если бы вы, к примеру, опекали ее, вы не задумываясь вонзили бы нож в спину мужчины, чтобы ее спасти. Или, по крайности, отомстить, коли спасать было б уж поздно.

Это не притча, это рассказ о детях и о том, какое им можно найти применение. С помощью детей вы могли бы очистить улицы Петербурга от кровососов, возможно даже, от кровососов-банкиров. А по прошествии времени можно было бы отправить своим чередом на улицы и жен почивших кровососов вместе с детьми их, способствуя тем самым торжеству всеобщего равенства.

— Вы свинья!

— Нет, мое место в этом рассказе иное. Я не свинья, не человек, вязнущий, будто свинья, в грязи переулка. Повторяю, это не притча, а рассказ. В рассказе речь может идти и о других людях, вы вовсе не обязаны непременно отыскивать в нем место и для себя. Но, если чувство справедливости не позволяет вам оставлять без внимания страдания невинных детей, пусть даже детей из рассказа, есть немало иных способов наказать пауков, которые кормятся ими. Не нужно быть ребенком, к примеру, чтобы заманить мужчину в темный проулок. Достаточно лишь обрить голову, напудриться, облачиться в женское платье и постараться не выходить из тени на свет.

Нечаев улыбается, вернее, оскаливает зубы.

— Все это из какого-то вашего сочинения! Часть ваших извращенных выдумок!

— Возможно. Но у меня остался еще вопрос к вам. Если сегодня вы вольны наряжаться, как вам нравится, и быть тем, кем хотите, и руководиться чувством справедливости (еще гнездящемся, я уверен, в сердце вашем), то что станется завтра, когда буря народного гнева сделает свое дело и все будут равны? Сохраните ли вы свободу быть тем, кем хотите? Получит ли каждый наконец эту свободу ?

— В этом больше не будет необходимости.

— В нарядах? Даже по праздникам?

— Дурацкий разговор. Праздники тоже станут ненужными.

— То есть не будет ни праздников, ни выходных?

— Будут дни, отведенные для восстановления сил. Люди смогут сами решать, чего им хочется — отдыхать или поехать в деревню, чтобы помочь в уборке урожая.

— Да, о днях урожая я слышал. И мы, несомненно, будем петь во время работы. Однако вернемся к моему вопросу. Что будет со мной, какое место отводится в вашей утопии мне? Дозволят ли мне переодеться женщиной или молодым денди в белой паре, если меня постигнет такой каприз, или же я получу только одно имя, один адрес, один возраст, одно происхождение?

— Об этом не мне говорить. Народ даст вам ответ. Народ скажет, что дозволено, что нет.

— Да, но что бы *вы-то* сказали, Сергей Геннадиевич? Потому что если вы не принадлежите к народу, то какое же будущее вас ожидает? Сохраню ли я свободу изображать из себя кого угодно, по собственному моему усмотрению, — молодого, скажем, человека, коротающего досуг, диктуя список людей, которые ему не по сердцу, и изобретающего для них кровавые кары, или кастеляна, обязанность которого — следить, чтобы в корзине под гильотиной всегда были свежие опилки? Хоть настолько-то я буду свободен? Или мне следует исходить из сказанного вами в Женеве — что с нас довольно Коперников и что, если объявится новый Коперник, ему надлежит выдавить глаза?

— Вы бредите. И вы не Коперник.

— Вы правы, я не Коперник. Когда я поднимаю глаза к небу, я вижу лишь звезды, которые смотрели на нас при нашем рождении и увидят нас умирающими, как бы ни изменяли мы наше обличие и в каком бы глубоком подполье ни укрывались.

— Я не прячусь, я просто слился с невидимками этого города, с условиями, которые меня породили. Хотя вам видеть эти условия не дано.

— Вы позволите мне говорить прямо? Сказанное вами — вздор. Я, быть может, не вижу в небе линий и цифр, но я не слепец.

— Нет большего слепца, чем тот, кто не хочет видеть! Вы видите детей, голодающих в подвале, но не желаете видеть того, что определяет условия, в которых живут эти дети. Разве можно назвать это способностью видеть? Хотя, конечно, вы и люди, которые вам платят, кровно заинтересованы в голодных, изможденных детишках. Вы все любите читать о них — о детишках с запавшими глазами, кроткой душой и тоненькими голосками. Ну так разрешите мне сказать вам кое-что о голоде. Знаете ли вы, чтó видят в вас запавшие глаза этих детишек? Спросите у них! Да я и сам вам скажу. Они видят толстые щеки и сочный язык. Эти невинные крошки накинулись бы на вас, как крысы, и загрызли бы, если б не сознавали, что вы достаточно сильны, чтобы их расшвырять. Но вы предпочитаете не признавать этого. Вы предпочитаете видеть трех ангелочков, на малый срок посетивших землю.

Чем дольше я говорю с вами, Федор Михайлович, тем хуже понимаю, как вам удалось написать о Раскольникове. Раскольников был хотя бы живым человеком, пока его не свалила горячка или чем он там заболел? Знаете, кем вы мне представляетесь ныне? Старым ослепленным конем, ходящим и ходящим по кругу, день за днем разжевывая все одну и ту же историю. Какое право имеете вы говорить мне о переменах обличия? Вы не смогли бы изменить своего даже ради спасения собственной жизни. Вы всего-навсего иссохший старик, старая рабочая кляча, жизнь которой подходит к концу. Не пора ли вам

хоть *попытаться* пожить одной жизнью с угнетенными, вместо того чтобы посиживать дома, да пописывать о них, да пересчитывать денежки? Впрочем, я вижу, вы начинаете нервничать. Вам не терпится воротиться домой и занести в записную книжку этот подвал и этих детей, пока они еще не потускнели в вашей памяти. Смотреть мне на вас тошно!

Нечаев умолкает, придвигается ближе, заглядывает ему в лицо.

— Или я слишком далеко зашел, Федор Михайлович? — сбавив тон, продолжает он. — Переступил границы дозволенного, обнаружив то, чего обнаруживать не следует, — что мы *видим вас насквозь*, все мы, включая и вашего пасынка? Разве я не в самую точку попал? — он достает из кармана шарф. — Ну что же, снова наденем повязку?

В точку? Да, возможно. Не обвинениями, но голосом, который слышен за ними: голосом Павла. Павла, жалующегося другу, который копит его слова, точно капли яда.

Он устало отстраняет шарф.

— В чем вы пытаетесь меня убедить? — спрашивает он. — Вы же не для того привели меня сюда, чтобы показать станок или голодных детишек. Все это одни лишь неловкие увертки. Что вам нужно от меня на самом-то деле? Вы хотите привести меня в такую ярость, чтобы я побежал и предал вас полиции? Почему вы не покинули Петербург? Вместо того чтобы сбежать, как поступил бы всякий разумный человек, вы изображаете Иисуса под Иерусалимом, дожидающегося осла, чтобы отправиться на нем прямиком в лапы своих палачей. Вы надеетесь, что *я* стану этим ослом? Воображаете себя принцем в изгнании, принцем и мучеником, ожидающим, когда его призовут? Вам хочется отнять Пасху у Иисуса. Вы уже второй раз искушаете меня, а я на искушения ваши не поддаюсь.

— Не уводите разговор в сторону! Мы говорим о России, не об Иисусе. И перестаньте переваливать всю вину на меня. Если вы и предадите меня, то лишь потому, что вы меня ненавидите.

— Я не питаю к вам ненависти. Не имею причины.

— Еще как питаете! Вам не терпится разделаться со мной, потому что я показываю людям, что́ вы на деле собой представляете, вы и ваше поколение.

— И что же мы собой представляем, я и мое поколение?

— Это я вам скажу. Ваши дни миновали. Но вы, вместо того чтобы тихо сойти со сцены, норовите и весь мир сволочь за собой. Вам ненавистно то, что бразды правления перешли в руки людей помоложе и посильнее вашего, людей, намеренных усовершенствовать мир. Вот что вы собой представляете на самом-то деле. И не рассказывайте мне, что тоже были революционером, пошедшим в Сибирь за свои убеждения. Я точно знаю, что даже в Сибири с вами обходились как с человеком дворянского звания. Вы вовсе не разделяли страданий народа, это жульнический обман. Меня тошнит от вас, стариков! В день, когда мне исполнится тридцать пять, я пущу себе пулю в лоб, клянусь!

Последние слова Нечаев выпаливает с таким раздражением, что ему не удается сдержать улыбки. Да и сам Нечаев смущенно краснеет.

— Надеюсь, вам представится возможность стать до того отцом и вы поймете, что значит пить из этой чаши.

— Я никогда не стану отцом, — бормочет Нечаев.

— Откуда ж вам знать? Не зарекайтесь. Все, что требуется от мужчины, это посеять семя, а там уж оно начинает жить самостоятельной жизнью.

Нечаев решительно трясет головой. Что хочет сказать этот юноша? Что не сеет семени? Что принес обет целомудрия, как Иисус?

— Не зарекайтесь, — мягко повторяет он. — Семя становится сыном, принц — королем. Когда вы в один прекрасный день воссядете на троне (если до того не пустите себе пулю в лоб) и страна наполнится юными принцами, которые будут, таясь по подпольям и чердакам, злоумышлять против вас, что вы тогда сделаете? Пошлете солдат, чтобы те поотрывали им головы?

Нечаев вспыхивает.

— Вы пытаетесь разозлить меня дурацкими притчами. Я знаю, кем был *ваш* отец, Павел Исаев рассказывал мне: мелким тираном, которого все ненавидели и которого в

конце концов убили собственные его крестьяне. Думаете, если вы с отцом питали друг к другу ненависть, так и вся мировая история состоит не из чего иного, как из распрей между отцами и детьми? Вы не понимаете смысла революции. Революция есть конец всего устарелого, включая сюда и отцов с сыновьями. Конец наследования, конец династий. И если это подлинная революция, она обновляет сама себя постоянно. С каждым поколением старая революция отвергается и история начинается заново. Вот *это* мысль новая, по-настоящему новая. Год Первый. Carte blanche. Все изобретается заново, все отменяется и перерождается: право, нравственность, семья — все. Все узники выходят на свободу, все преступления прощаются. Мысль эта столь велика, что вам ее не понять, ни вам, ни вашему поколению. А вернее сказать, вы понимаете ее слишком хорошо, так хорошо, что норовите придушить в колыбели.

— А деньги? Простив преступления, вы перераспределите деньги?

— Мы сделаем больше. Как можно чаще, причем выбирая момент, когда люди этого меньше всего ожидают, мы будем объявлять нынешние деньги утратившими ценность и печатать новые. Вот в чем промахнулись французы — они допустили хождение прежних денег. Французская революция не была революцией подлинной, потому что французам недостало отваги довести ее до конца. Они уничтожили аристократов, но сохранили прежний способ мышления. Мы в наших школах станем обучать способу мышления, который был до сих пор под запретом. Все снова пойдут в школу, даже профессора. Крестьяне станут учителями, а профессора — учениками. И мы сотворим в наших школах новых мужчин и женщин. Каждый родится заново и с новой душой.

— А Бог? Что Бог скажет об этом?

Молодой человек заливается неподдельно веселым смехом.

— Бог? Бог преисполнится зависти к нам.

— Так вы, стало быть, веруете?

— Разумеется, веруем! Иначе какой бы смысл был во всем этом? — иначе довольно было бы просто пустить петуха, обратив мир в пепел. Нет; мы придем к Богу и встанем пред престолом его и призовем его к себе. И он сойдет к нам! У него не будет выбора, ему придется нас слушать. И тогда все мы соединимся и станем наконец на равную ногу.

— Причитая и ангелов?

— Ангелы окружат нас, распевая осанну! Ангелы будут вне себя от радости. Они тоже получат свободу и смогут ходить по земле как обычные люди.

— А души умерших?

— Вы задаете слишком много вопросов! Если угодно, Федор Михайлович, и души умерших тоже! Души умерших будут снова ходить по земле — и Павел Исаев с ними, коли желаете. То, на что мы способны, не имеет границ.

Какой шарлатан! И все же он уже не понимает теперь, кто из них берет верх — он ли играет с Нечаевым, Нечаев ли с ним. Как будто рухнули вдруг все запреты, запрет на слезы, запрет на смех. Если бы Анна Сергеевна была здесь, приходит незваная мысль, он смог бы сказать ей слова, которых ему так не хватало все это время.

Он делает шаг вперед и с силой, которая кажется ему великанской, прижимает Нечаева к груди. Обняв юношу, притиснув руки его к бокам, вдыхая кислый запашок его покрытой карбункулами плоти, плача, смеясь, он целует его в левую щеку и в правую. Бедро к бедру, грудь к груди стоит он, слившись с Нечаевым.

С лестницы слышатся шаги. Нечаев разрывает его объятия.

— Ну наконец-то! — восклицает он. В глазах его светится торжество.

Он оборачивается. В двери стоит женщина в черном платье и несообразной с ним белой шляпке. В тусклом свете, глядя сквозь слезы, трудно назвать ее возраст.

Нечаев выглядит разочарованным.

— А! — произносит он. — Прощения просим! Входите!

Но женщина остается неподвижной. Она держит под мышкой нечто, обернутое в белую тряпицу. У детей нюх острее, чем у него. Все разом, не промолвив ни слова, они сползают с лежака и проскальзывают мимо мужчин. Девочка стягивает тряпицу, и под-

вал наполняется запахом свежего хлеба. По-прежнему молча она отламывает куски и сует их братьям в руки. Прижавшись к подолу матери, все трое жуют, но глаза их все так же пусты. Словно животные, думает он, все они знают, откуда взялся хлеб, но им это безразлично.

16

Печатный станок

Он отвешивает женщине поклон. Из-под глупой шляпки на него с некоторой робостью глядит молодое веснушчатое лицо. Он испытывает быстрый промельк эротического любопытства, которое, впрочем, сразу сникает. Надо бы носить черный галстук или, на итальянский манер, черную повязку на рукаве, тогда положение его будет понятнее — в том числе и ему. Он больше не полноценный мужчина — ополовиненный. Сгодилась бы и медаль на лацкане с изображением Павла. Лучшую половину, которой еще предстояло развиться вполне, отняли.

— Мне нужно идти, — говорит он.

Нечаев отвечает презрительным взглядом.

— Идите, — отвечает он. — Никто вас не держит.

И, повернувшись к женщине:

— Он полагает, что я не знаю, куда он пойдет.

Последнее замечание представляется ему ни на чем не основанным.

— И куда же, по-вашему?

— Хотите, чтобы я сказал это вслух? Разве я не дал вам в руки возможности мне отомстить?

«Отомстить» — после всего происшедшего только что слово это производит впечатление брошенного ему в лицо свиного пузыря. Нечаевское слово. Нечаевский мир — мир расправы. Какое мне дело до его мира? И все же этот выпад не беспричинен. Возвращается воспоминание — Нечаев при первой их встрече: юбки, взлетевшие чуть не на спинку стула, когда Нечаев усаживался у окна, нажим ноги под столом, то, как он пытался использовать свое тело — бесстыдно, пусть и неловко. Вполне ли сознает этот мальчик свои желания или просто хватается за что ни попадя, желая посмотреть, куда его занесет? Он схож со мною, а я с ним, думает он, только мне не хватает его храбрости. И следом: потому Павел за ним и пошел — в надежде обрести отвагу? Потому и полез ночью на башню?

Он понимает все яснее: Нечаев не остановится, пока не окажется в лапах полиции, пока не испробует и это тоже. Дабы испытать отвагу свою и решимость. И Нечаев выдержит все — тут сомневаться не приходится. Его не сломить. Никакие побои и голод сдаться его не заставят, он даже не заболеет. Лишится всех зубов, но улыбаться будет по-прежнему. Будет ползти по земле, волоча переломанные ноги, и рычать, могучий, как лев.

— Так вы *хотите*, чтобы я отомстил? *Хотите*, чтобы я вас предал полиции? К этому и сводились все ваши шарады с глазными повязками и лабиринтами?

Нечаев возбужденно хохочет, сознавая, что они теперь хорошо понимают друг друга.

— Зачем бы мне хотеть этого? — вкрадчиво отвечает он и искоса взглядывает на женщину, словно приглашая ее принять участие в розыгрыше. — Я не сбившийся с толка юнец вроде вашего пасынка. Если вы намереваетесь пойти в полицию, скажите об этом прямо. И не сентиментальничайте на мой счет, не делайте вид, будто вы мне не враг. Мне ваша сентиментальность известна. Не сомневаюсь, она очень вам помогает с женщинами. С женщинами и с маленькими девочками.

И, повернувшись к немой свидетельнице их разговора, Нечаев продолжает:

— Тебе ведь такие тоже знакомы, не правда ли? Мужчины, которые, причинив тебе боль, проливают слезы, чтобы умастить свою совесть да заодно и ощущения сделать поострее.

Для своего возраста Нечаев обладает на редкость обширными сведениями. Подобные сыщешь не у всякой уличной женщины — вот что значит проницательный ум! Он знает жизнь. Павлу, верно, его познания пригодились. Грязный, колченогий мерзавец — как его звали, Карамзин? — вышел у него куда более живым, чем ходульный герой, сооруженный с явной натугой. Напрасно Павел прикончил его так скоро— большая ошибка.

— Я не имею намеренья вас предавать, — устало отвечает он. — Поезжайте домой, к отцу. Имеется же и у вас отец — где-то в Иванове, если я правильно помню. Поезжайте, встаньте перед ним на колени и попросите, чтобы он вас укрыл. Он не откажет. Отцы способны на многое, если не на все.

Нечаев коротко фыркает. Спокойствия его как не бывало, он вновь принимается рыскать по подвалу, отпихивая подворачивающихся под ноги детей.

— Мой отец! Что вы знаете о моем отце? Я не дурачок, вроде вашего пасынка. Я не цепляюсь за людей, которые меня притесняют! Я ушел из отцовского дома в шестнадцать лет и никогда больше туда не заглядывал. Знаете почему? Потому что он меня бил. Я сказал ему: «Ударь меня еще раз и больше ты меня не увидишь». Ну так он ударил и больше меня не видел. Теперь я сам себе отец. Я сотворил себя заново. И чтобы укрыться, я ни в каком отце не нуждаюсь. Если я буду нуждаться в укрытии, меня укроет народ.

Говорите, отцы способны на многое? А известно ли вам, что отец показывает мои письма полиции? Я пишу к сестрам, а он выкрадывает мои письма и снимает с них копии полиции на потребу, *и получает за это плату*. Вот на *это* он способен. Впрочем, хорошо уж и то, что отсюда видно, какое отчаяние испытывает полиция — раз она платит за подобные вещи, значит, ей только и остается, что хвататься за соломинку. Потому что никаких доказательств моей вины найти ей не удается — никаких!

Отчаяние. Отчаяние преданного человека, отчаяние человека, узнавшего, что это отец предал его.

— Быть может, полиция и не способна ничего доказать, но она знает, как знаем и мы с вами, что вы далеко не невинны. Вы ведь не просто списочек составили, вы пошли дальше, верно? У вас руки в крови, не так ли? Я не прошу вас исповедаться мне. И все же, в самом что ни на есть предположительном смысле, *зачем вы делаете это?*

— В предположительном? Затем, что, если ты никого не убил, тебя и всерьез никто не примет. Это единственное идущее в счет доказательство серьезности твоих намерений.

— Но для чего вам нужно, чтобы вас принимали всерьез? Почему не оставаться сколь можно дольше молодым и беспечным? Настанет еще и для серьезности время. И задумайтесь наконец о тех из ваших товарищей, кто послабее, кто совершает ошибку, доверяясь вам. Подумайте о вашей чухонской подруге, о том, что ей в итоге приходится сносить в самую эту минуту.

— Да хватит вам тянуть все одну и ту же волынку о моей так называемой чухонской подруге! О ней позаботились, она больше не испытывает страданий! И что вы мне предлагаете — ждать, когда я состарюсь и меня станут наконец воспринимать всерьез? Я уже насмотрелся на то, что происходит с вами, состарившимся. Когда я постарею, это буду не я, а другой человек.

Подобные речи он мог бы представить слетающими с уст Павла, но никак не Нечаева. Павел, Павел, какая потеря!

— Жаль, что мне не довелось увидеть вас с Павлом, — говорит он, не досказывая главного: вы похожи на два меча, на два оголенных меча.

И однако ж как умно предостерег его Нечаев от жалости! Ибо он совсем уж было проникся ею — жалостью к одинокому мальчику в бурном море, борющемуся и тонущему. Стало быть, он ошибся, усмотрев в угрюмости Нечаева (ибо Нечаев, как ни странно, примолк), в его задумчивом взгляде нечто напускное, в нем есть и иное качество — вероломство? Да и когда в последний раз мог человек довериться словам, будто бы идущим от сердца к сердцу? Нынче настал век действия, век обмана. Павел был слишком юн, слишком старомоден, чтобы преуспеть в этом веке. Герой и героиня его изъясняют-

ся на нелепом, запинающемся, устарелом языке души. «Я хочу... хочу...» — «Ты можешь... можешь...». И все же Павел хотя бы попытался перевоплотиться в другого человека. А Сергея Нечаева представить писателем невозможно. Эгоист, если не хуже. И любовник жалкий, это наверное. Без чувства, без сострадания. Незрелость чувств, остановка в росте, карлик. Человек будущего, грядущего века: чудовищный разум, чудовищный аппетит — и все. Замкнутый, одинокий. Настоящее его место — престол посреди голой комнаты. Престол идей. Римский папа идей, и идей прескучных. Бог да спасет тогда верующих, Бог да спасет тех, над кем властвует он!

Мысли его перебивает какой-то лязг, долетающий с лестницы. Нечаев бросается к двери, прислушивается, выходит. Слышится гневный шепот, звук поворачиваемого в замке ключа, затем наступает тишина.

Женщина, так и не снявшая белой шляпки, сидит на краю лежанки, кормя младшего из детей грудью. Встретившись с ним взглядом, она краснеет, но тут же вызывающе вздергивает подбородок.

— Господин Ишутин сказал, что вы можете нам помочь, — произносит она.

— Господин Ишутин?

— Господин Ишутин, ваш друг.

— Не знаю, почему он так сказал? Ему мое положение известно.

— Нас выбросили на улицу, потому что нам нечем было платить за квартиру. То есть за нонешний месяц я деньги внесла, а за прошлые не смогла, не хватило.

Малыш отрывается от груди и начинает ерзать, стараясь высвободиться из рук матери. Женщина отпускает его, он сползает с ее колен и покидает комнату. Слышно, как он, негромко постанывая, мочится под лестницей.

— Он вот уже несколько недель болеет, — жалуется женщина.

— Покажите мне вашу грудь.

Женщина расстегивает еще пуговку и обнажает обе груди. Сосцы стоят на холоде торчком. Она приподнимает их пальцами, несильно сжимает. Появляется капелька молока.

У него при себе пять рублей, занятых у Анны Сергеевны. Он отдает ей два. Она молча берет монеты, заворачивает их в носовой платок.

Возвращается Нечаев.

— А, вижу, Соня поведала вам о своих горестях, — говорит он. — Я подумал, что ваша хозяйка могла бы им как-то помочь. Она ведь женщина добрая, верно? Так говорил Исаев.

— И речи быть не может. Как я могу привести?..

Женщина — неужели ее и впрямь зовут Соней? — смущенно отводит взгляд. Платье ее из дешевой ткани в цветочек, для зимы решительно непригодной, застегнуто теперь на все пуговицы, до самой шеи. Ее уже начинает трясти от холода.

— Ну, об этом мы после поговорим, — обещает Нечаев. — Я должен показать вам станок.

— Станок ваш меня не интересует.

Однако Нечаев берет его за руку и, то подталкивая, то подволакивая, выводит из двери. И снова он удивляется своей покорности. Он точно впал в нравственную дрему. Что подумал бы Павел, увидев, как убийца его распоряжается отцом? Или это Павел, в сущности говоря, и ведет его? Печатный станок он узнаёт мгновенно — «Альбион-Бирмингем», брат печатал на таком же афишки и объявления. Какие уж там тысячи экземпляров — от силы две сотни в час.

— Источник энергии каждого автора, — произносит Нечаев, прихлопывая ладонью по станку. — Сегодня ваше заявление разойдется по подвалам, а завтра появится на улицах. Или же, коли желаете, мы попридержим его до времени, когда вы окажетесь за границей. И если вас станут упрекать за него, вам будет легко отпереться — скажете, что это подделка. Да оно к тому времени и не важно будет — дело-то уже сделается.

В комнате присутствует еще один человек, годами старший Нечаева, — сухопарый

темноволосый мужчина с землистым лицом и тусклыми глазами, согнувшийся над наборным столиком, подпирая подбородок ладонями. Человек этот словно бы не обращает на вошедших внимания, да и Нечаев его не представляет.

— Мое заявление?

— Ну да, ваше заявление. Любое, какое вам будет угодно сделать. Хотите — напишите его прямо сейчас, меньше уйдет времени.

— Но что, если я захочу сказать правду?

— Даю вам слово, мы распространим все вами написанное.

— Правда может оказаться для вашего станка непосильной.

— Что ты к нему пристал, — подает голос мужчина, не отрывая глаз от лежащей перед ним рукописи. — Он же писатель, они так не работают.

— И как же они, по-твоему, работают?

— У писателей есть свои правила. Они не могут писать, если кто-то заглядывает им через плечо.

— Так пусть привыкают к новым правилам. Уединение — это роскошь, без которой вполне можно обойтись. Народ в уединении не нуждается.

Нечаев, получивший новую аудиторию, на глазах обретает прежнюю свою повадку. Его же начинает уже мутить от этих корявых провокаций.

— Мне нужно идти, — вновь говорит он.

— Не напишете сами, так мы за вас напишем.

— Как вы сказали? Напишете за меня?

— Да.

— И подпишете моим именем?

— И подпишем — выбора у нас нет.

— Ни один человек не примет написанного вами за чистую монету. Вам никто не поверит.

— Студенты поверят, я говорил уже — у вас немало поклонников среди студентов. В особенности среди тех, кто пытается думать самостоятельно, не читая толстенных книг. Студенты вообще способны поверить во что угодно.

— Да брось ты, Сергей Геннадиевич, — произносит мужчина. Судя по тону его, разговор не доставляет ему удовольствия. У него темные круги под глазами, он закуривает папиросу и нервно затягивается. — Чем тебе книги-то так уж не угодили? Да и студенты тоже?

— Того, что нельзя сказать на одной странице, говорить вообще не стоит! И затем, почему это одни люди купаются в роскоши и читают книги, в то время как другие читать и вовсе не умеют? Думаешь, у Сони, вон там, за дверью, есть время для чтения? А студенты твои слишком много болтают. Сидят часами, спорят и только силы попусту тратят. Университет — это место, в котором человека учат спорить, чтобы он после ничем уж другим и не занимался. Они вроде Самсона, которому евреи отрезали волосы. Думают, будто им удастся улучшить своими разговорами мир. Им невдомек, что улучшить можно лишь то, что сначала ухудшилось.

Его товарищ зевает, и безразличие, выказанное этим зевком, похоже, выводит Нечаева из себя.

— Именно так! Потому нам и приходится подталкивать их. Если их оставить в покое, они непременно съедут к болтовне и препирательствам, а в итоге все пойдет прахом. Вот и пасынок ваш был таков же, Федор Михайлович, — все сплошь разговоры и ничего больше. Страдающий народ не нуждается в разговорах, ему подавай действия. И задача наша — побудить студентов к действию. Если нам удастся спровоцировать их на решительные действия, можно будет считать, что бой мы наполовину выиграли. Разумеется, их могут раздавить, может подняться новая волна гонений, но это создаст лишь новые страдания, новый прилив гнева и новую потребность в действии. Именно так дело и делается. И опять же, если страдают немногие, то разве справедливость не требует, чтобы пострадали все? Да и события начнут ускоряться. Вы удивитесь, как быстро способна

подвигаться история, если ее как следует подтолкнуть. Исторические циклы будут все более сокращаться. Если мы начнем действовать сегодня, мы и оглянуться не успеем, как уже окажемся в будущем.

— Стало быть, подлог позволителен? Все позволительно?

— А как же? Эка новость! Ради будущего позволено все, это вам даже верующие люди скажут. Не удивлюсь, если и в Библии так написано.

— Определенно не написано. Так говорят лишь иезуиты, а им прощения не видать. И вам тоже.

— Прощения? Как знать? Однако речь у нас шла о прокламации, Федор Михайлович. Кого так уж заботит ее автор? Слова что ветер — сегодня здесь, завтра там. У них нет хозяина. Мы с вами говорим о толпе. Вам ведь случалось, наверное, оказаться в толпе? Толпу тонкости насчет авторства не интересуют. У нее нет разума, одни лишь страсти. Или вы подразумевали нечто иное?

— Я подразумевал, что если вы сознательно причините страдания несчастным детишкам, ютящимся здесь за стеной, то вам никогда не будет прощения.

— Сознательно? Но что значит «сознательно»? Вы говорите о том, что происходит в человеческом разуме. А история творится на улицах. И не указывайте мне, что-де высказанное мною только что представляет собою идею, порожденную разумом. Это всего-навсего уловка, еще один хитроумный приемчик спорщика, как раз такими и сбивают с толку студентов. Я не какие-то там идеи высказываю, да хоть бы и идеи — это в счет не идет. Идеи у меня могут быть сейчас одни, а через минуту другие, но пока я *действую*, идеи мои гроша ломаного не стоят. Народ-то *действует*. Да к тому же вы и не правы. Вы даже в любезной вам теологии как следует не разобрались. Приходилось ли вам слышать о хождении Богородицы по мукам? Назавтра после судного дня, в который все разрешится и запечатлеются врата адовы, Богородица покинет свой небесный престол и спустится в ад, чтобы молить о милости к душам проклятых. Она преклонит колена и не встанет, покамест Бог не смилостивится и не дарует прощение всем, даже атеистам, даже хулителям Его. Так что сами видите, вы противоречите и тому, что написано в ваших же книгах.

В глазах Нечаева пылает торжество победителя.

Прощение всем. От одной этой мысли голова его начинает кружиться. «И соединится отец с сыном». И пусть слова эти исходят из грязных уст святотатца, разве не может сказанное им оказаться истиной? Кто вправе указывать Богородице, где дозволено Ей учредить дом Свой? И если Христос сокровенен, разве не может Он укрываться здесь, в этом подполье? Разве не может Он в самую эту минуту таиться в младенце у груди женщины за стеною, в девочке с угрюмым, все понимающим взглядом, в самом Сергее Нечаеве?

— Вы искушаете Бога. И если вы рассчитываете сыграть на милосердии Божием, вы проиграете наверняка. Даже до мысли такой не допускайте себя — прислушайтесь к словам моим! — иначе погибнете.

Голос его столь сдавлен, что слова эти еле слышны. Товарищ Нечаева впервые поднимает голову, с любопытством вглядываясь в него.

Словно учуяв его слабость, Нечаев снова переходит в наступление, выматывая его, будто гончий пес.

— Восемнадцать столетий прошло с века Господня, почти девятнадцать! Мы стоим на пороге нового века, в котором никакая мысль не будет запретной. Нет ничего, о чем мы не вправе подумать! И уж конечно вы это знаете! Должны знать — ваш же Раскольников рассуждал об этом в написанной вами книге, пока его не свалила болезнь.

— Вы безумны, вы просто не умеете читать, — бормочет он. Но он потерпел поражение и хорошо это сознает. Он потерпел поражение в споре, оттого что сам не верит себе. А не верит себе оттого, что потерпел поражение. Все рушится: логика, доводы разума. Он глядит на Нечаева и видит лишь кристалл, мерцающий в пустыне — замкнутый в себе самом, несокрушимый.

— Будьте осторожны, — говорит Нечаев, грозя ему пальцем. — Тщательнее выбирайте слова, говоря обо мне. Я человек русский, и, называя меня безумным, вы утверждаете, будто и Россия безумна.

— Браво! — восклицает товарищ Нечаева и с вялой издевкой бьет в ладоши.

Он предпринимает последнюю попытку как-то встряхнуться.

— Пустое, это всего лишь увертка софиста. Вы только часть России, и безумия ее только часть. Я — тот человек, — он прижимает руку к груди и тут же, устыдясь аффектированности жеста, опускает ее, — тот, кто несет в себе безумие. Это моя участь, мое бремя, не ваше. Вы еще слишком юны, чтобы не сломаться под ним.

— И опять-таки браво! — снова прихлопнув в ладоши, восклицает товарищ Нечаева. — Тут он тебя поймал, Сергей!

— И оттого я предлагаю вам сделку, — спеша, продолжает он. — Я напишу кое-что для вашего станка. Я напишу правду, полную правду, уместив ее, как вы пожелали, на одной странице. Мое условие таково, чтобы вы напечатали эту правду в собственном ее виде, не изменив в ней ни слова, и послали на улицы.

— Договорились! — Нечаев положительно светится от торжества. — Вот это по мне! Дай ему перо и бумагу.

Незнакомец накрывает наборный столик доской, кладет поверх лист бумаги.

Он пишет:

«В ночь 12-го октября, в год Господа нашего 1869-й, мой приемный сын Павел Александрович Исаев разбился насмерть, упав с дроболитной башни, что на Столярной набережной. Распространились слухи, будто в смерти его повинно Третье отделение. Слухи эти представляют собою лживые измышления. Я уверен, что сын мой был убит его вероломным другом Сергеем Геннадиевичем Нечаевым.

Бог да смилостивится над душою его.

Ф. М. Достоевский.

18 ноября 1869».

Ощущая легкую дрожь, он вручает листок Нечаеву.

— Превосходно! — говорит Нечаев, передавая листок товарищу. — Истина, какой ее видит слепец.

— Печатайте.

— Набери, — приказывает Нечаев.

Товарищ Нечаева смотрит на него твердым вопрошающим взглядом.

— Это правда?

— Правда? Истина? Что есть истина? — взвизгивает Нечаев столь пронзительно, что весь подвал начинает звенеть. — Набирай! Мы и так потратили много времени!

И в этот миг он понимает, что попал в западню.

— Позвольте, я кое-что изменю, — говорит он и, получив листок, сминает его и сует в карман. Нечаев не пытается ему помешать.

— Поздно, поздно, слово не воробей, — говорит он. — Вы написали это при свидетеле. Мы напечатаем написанное вами, как и обещали, слово в слово.

Западня, адская западня. Стало быть, он вовсе не тот, за кого себя принимал, — не человек, неожиданно вышедший из кулисы, чтобы вмешаться в распрю между пасынком своим и анархистом Сергеем Нечаевым. Смерть Павла была всего лишь приманкой, позволившей завлечь его из Дрездена в Петербург. Его выманили из укрытия, и теперь Нечаев держит его за горло.

Он разъяренно глядит на Нечаева, но тот неколебим.

17

Яд

Низкое солнце плывет в бледном безоблачном небе. Выйдя из муравейника переулков на Вознесенский проспект, он закрывает глаза; головокружение, норовящее свалить

его с ног, возвращается вновь, так что он почти сожалеет об отсутствии направляющей руки и повязки на глазах.

Петербургский водоворот отнял у него все силы. Дрезден манит его как островок мира — Дрезден, жена, книги и рукописи, сотни образующих дом мелких удобств, и не последнее из них — удовольствие, доставляемое свежим бельем. И это теперь, когда он, лишившись паспорта, не может уехать. «Павел!» — шепчет он, повторяя заклинание. Но нить, которая соединяла его с Павлом, оборвалась, а с нею и нить рассуждений, говоривших ему, что, поскольку Павел погиб в Петербурге, он остается привязанным к этому городу. Ныне его удерживает здесь не воспоминание о Павле, даже не Анна Сергеевна, а волчья яма, которую вырыл для него сгубивший Павла человек. Сворачивая не налево, к Свечной, но направо, к полицейскому участку на Садовой, он тешится запальчивой надеждой на то, что Нечаев идет за ним по пятам, выслеживая.

Приемная, как и в прошлый раз, битком набита народом. Он занимает место в очереди и спустя двадцать минут достигает стола письмоводителя.

— Достоевский, явился отметиться согласно распоряжению, — говорит он.

— Чьему распоряжению? — За столом письмоводителя сидит молодой человек, не соизволивший даже облачиться в полицейский мундир.

Он раздраженно взмахивает рукой.

— Откуда мне знать? Мне приказано было прийти сюда и отметиться, вот я и пришел.

— Присядьте пока, вами кто-нибудь непременно займется.

Он начинает закипать.

— Мною не нужно заниматься, довольно того, что я здесь! Вы увидели меня во плоти, чего ж вам еще? И как я присяду, по-вашему, если тут нет ни единого свободного места?

Его горячность явно пугает письмоводителя, да и прочие толпящиеся в прихожей люди посматривают на него с удивлением.

— Запишите мое имя и покончим с этим! — требует он.

— Как же я могу вот так просто взять и записать ваше имя?— резонно возражает письмоводитель. — Откуда мне знать его? Покажите хотя бы паспорт ваш.

Он уже не в состоянии сдерживаться.

— Вы же и отняли у меня паспорт, а теперь требуете, чтобы я его показал! Что за безумие! Проводите меня к следственному приставу, господину Максимову!

Если он ожидал, что фамилия Максимова внушит письмоводителю благоговейный ужас, то ошибся.

— Господин Максимов в настоящую минуту отсутствует. Будет лучше, если вы присядете и успокоитесь. Кто-нибудь непременно займется вашим делом.

— И когда же это случится?

— Не могу знать. Вы не единственный человек, оказавшийся в затруднительном положении. — Письмоводитель взмахивает рукой в сторону заполнившего приемную народа. — Во всяком случае, если у вас имеется жалоба, то положенная процедура требует, чтобы вы подали ее в письменной форме. Без письменного объявления мы ничего предпринять не сможем — нам нужно, чтобы было, так сказать, что на зубок положить. По речи вашей видно, что вы человек образованный. Стало быть, вам этого объяснять не нужно.

И письмоводитель обращается к следующему в очереди просителю.

Он не питает никаких сомнений в том, что, подвернись ему сейчас Максимов, он выдаст Нечаева в обмен на паспорт. Если что и способно поколебать его, так это уверенность, что быть преданным — и не кем-нибудь, а им, Достоевским, — это как раз то, чего желает Нечаев. Или дело обстоит еще хуже и содержит дальнейшие выверты? Быть может, за оскорбительными замечаниями насчет его, Достоевского, склонности к предательству, замечаниями, коими столь обильно осыпал его Нечаев, кроется стремление повергнуть его в смущение и остановить? На каждом повороте этой интриги его, как он теперь понимает, переигрывали, и переигрывали, может статься, оттого, что и сам он

желал проиграть игроку, при первом же с ним знакомстве распознавшему в нем удовольствие, с которым он уступает чужому влиянию, удовольствие, испытываемое им, когда кто-то строит против него козни, опутывает его своими сетями, заманивает в западню, — распознал и использовал это знание для достижения собственных целей.

И с Павлом произошло то же самое? Был ли и Павел в тайная тайных души истинным сыном приемного отца своего, совращаемым сладострастными посулами совращения?

Нечаев назвал капиталистов пауками, но в настоящую минуту сам он ощущает себя не более чем мухой в паутине Нечаева. Он способен вообразить лишь одного еще более крупного паука — Максимова, сидящего за письменным столом и облизывающегося в предвкушении новой добычи. Хочется надеяться, что Максимов сожрет Нечаева, проглотит молодого человека целиком, с хрустом раздробит его кости и выплюнет обескровленные останки.

Итак, после всех восхвалений в собственный адрес он скатился к самой ничтожной мстительности. Насколько ниже еще предстоит ему пасть? Он вспоминает слова Максимова: в век, подобный нашему, быть отцом одних только дочерей — это благословение Божие. А коли уж выпадает иметь сыновей, то лучше растить их, не приближаясь к ним слишком близко, вот как разводят рыб или лягушек.

Он представляет себе паука Максимова в доме его, трех дочерей, которые с тихим шипением суетятся вокруг папаши, оглаживая его когтистыми лапками, и погружается в чувство глубочайшего негодования и на Максимова тоже.

Он очень рассчитывал, что ответ от Аполлона Майкова придет в самом скором времени, однако дворник на все расспросы отвечает твердо: никак нет-с, ответа не было.

— Да уверены ли вы, что письмо мое было доставлено?

— Что же меня-то спрашивать, вы спросите мальчишку, которому его отдали.

Он пытается отыскать мальчишку, однако тот точно сквозь землю провалился.

Написать еще раз? Если первая его мольба дошла до Майкова и была им оставлена без ответа, не будет ли вторая пустым унижением? Он покамест не нищий попрошайка. Тем не менее нужно сказать себе неприятную правду: ото дня в день он живет на подачки Анны Сергеевны. Да и надеяться на то, что его присутствие в Петербурге останется незамеченным, более не приходится. Слух о его появлении здесь разойдется скоро, если уже не разошелся, и тогда любой из полудюжины его кредиторов сможет обратиться к властям с прошением о том, чтобы его упрятали в долговую яму. Безденежье его не защитит: кредитору недолго сообразить, что жена его, или родственники жены, или собратья-писатели могут, прибегнув к последнему средству, собрать деньги, чтобы оградить его от бесчестья.

Стало быть, тем больше у него причин убраться из Петербурга! Необходимо вернуть паспорт, а не получится, так рискнуть снова отправиться в дорогу с паспортом Исаева.

Он обещал Анне Сергеевне, что будет присматривать за больной девочкой. Зайдя к ней, он обнаруживает, что занавеска отдернута, а Матрена сидит в постели.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашивает он.

Погруженная в собственные размышления, она не отвечает ему.

Он подходит ближе, кладет ладонь ей на лоб. На щеках девочки горят красные пятна, дыхание короткое, но жара нет.

— Федор Михайлович, — глядя в сторону, медленно спрашивает она, — а умирать очень больно?

Он удивлен направлением ее мыслей.

— Матреша, голубчик, — говорит он, — тебе это вовсе не грозит! Ложись вздремни, а как проснешься, тебе уже станет лучше. Ты ведь слышала, что сказал доктор: несколько дней, и ты снова вернешься в школу.

Он еще не успевает закончить, а Матреша уже трясет головой.

— Я не о себе, — говорит она. — Очень ли это больно... ну, вот... ну, когда человек умирает?

Он понимает наконец, что она совершенно серьезна.

— В самый миг то есть?

— Да. Не когда ты совсем уж умер, а вот перед тем.

— То есть когда знаешь, что почти уже мертв?

— Да.

Чувство благодарности охватывает его. Уже несколько дней как девочка отстраняется от него, защищаясь поддельной бестолковостью, ребячливостью, упиваясь своими обидами, не желая делиться с ним сохраняемыми ею драгоценными воспоминаниями о Павле. И вот наконец она снова стала самой собой.

— Животные умирают легко, — мягко говорит он. — Быть может, нам следует поучиться у них. Быть может, для того и населили ими землю, чтобы показать нам, что жизнь и смерть не так тяжелы, как мы думаем.

Он умолкает, затем пробует подступиться с другой стороны.

— Боль-то нас в смерти пуще всего и пугает. И страх, что придется покинуть тех, кто нас любит, и проходить дальнейший наш путь в одиночестве. Но ведь это не так, совершенно не так. Умирая, мы уносим любимых наших с собою, в груди своей. Вот и Павел, когда умер, взял с собою тебя, и меня, и матушку твою. Он и сейчас хранит нас в себе. Павел не одинок.

Матрена все с тем же апатичным, непроницаемым выражением говорит:

— Я думала не о Павле.

Он сбит с толку, он не понимает девочку; однако предстоит пройти еще нескольким мгновениям, прежде чем он усвоит *всю* полноту своего непонимания.

— Но о ком же тогда?

— О барышне, приходившей сюда в субботу.

— Не понимаю, о какой барышне?

— О подруге Сергея Геннадиевича.

— Чухонке? Ты думаешь о ней потому, что ее схватила полиция? Об этом тебе не стоит тревожиться! — Он берет Матренины ладони в свои и поглаживает, желая ее успокоить. — Смерть ей вовсе не грозит. Полиция не убивает людей. Ее просто-напросто вышлют домой, в Карелию, вот и все. На худой конец, подержат немного в тюрьме.

Она отнимает руку и поворачивается лицом к стене. В голове его начинает брезжить мысль, что, возможно, он так ее и не понял, что она, может быть, вовсе не искала у него утешения, избавления от детских страхов, но, напротив, пыталась окольным путем рассказать ему о чем-то, чего он не знает.

— Ты боишься, что ее ожидает казнь? Тебя это пугает? Потому что тебе известно какое-то ее преступление?

Матрена трясет головой.

— Так объясни же. Мне ничего больше в голову не приходит.

— Они все поклялись, что не позволят себя схватить. Поклялись покончить с собой.

— Матреша, давать такие обеты легко, куда труднее их выполнить, особенно после того, как друзья тебя бросают и ты остаешься совсем одиноким. Жизнь так драгоценна, что Катри права, пытаясь ее сохранить, тебе не следует винить ее в этом.

На какое-то время девочка погружается в размышления, перебирая пальцами одеяло и, видимо, сама того не сознавая. Когда она вновь произносит несколько слов, она произносит их шепотом, опустив голову, так что он их едва различает:

— Я дала ей яд.

— Что ты дала ей?

Матрена отводит с лица волосы, и он видит, *что* те скрывали — чуть приметную улыбку.

— Яд, — так же тихо повторяет она. — Он причинит ей страдания?

— Но как же ты это сделала? — спрашивает он, стараясь протянуть время, пока не улягутся лихорадочно скачущие мысли.

— Когда передавала ей хлеб. Никто не заметил.

Он вспоминает сцену, показавшуюся ему столь странной: старомодный реверанс, поднесенную арестантке еду.

— Она знала? — пересохшими губами шепчет он.

— Да.

— Ты уверена? Уверена, что она понимала, что́ ты ей даешь?

Матрена кивает. И, припомнив, насколько оцепенелой, насколько лишенной благодарности казалась тогда чухонка, он не может ей не поверить.

— Да, но как же яд попал в твои руки?

— Сергей Геннадиевич оставил, для нее.

— Что он еще оставил?

— Флаг.

— Флаг и еще что?

— Разные вещи. Он просил меня сохранить их.

— Покажи их мне.

Девочка выбирается из кровати, встает на колени и, порывшись между кроватных пружин, вытаскивает холщовый сверток. Положив сверток на постель, он разворачивает его. Американской работы пистолет с патронами. Несколько прокламаций. Нанковый кошель, стянутый и перевязанный длинной веревкой.

— Яд внутри, — говорит Матрена.

Он распутывает веревку и высыпает на постель содержимое кошеля: три стеклянных капсулы с зеленым порошком внутри.

— Это ты ей и дала?

Матрена кивает.

— Она должна была носить такой же на шее, но не носила.

Девочка сноровисто продевает голову в веревочную петлю, так что кошель помещается между ее грудок будто медальон.

— Иначе бы они ее не схватили.

— И ты дала ей другой.

— Но ведь она же нуждалась в яде — чтобы выполнить клятву. Она была готова на все для Сергея Геннадиевича.

— Может быть. Во всяком случае, так говорит Сергей Геннадиевич. И все же, не дай ты ей яд, ей было бы проще не сдержать данного Сергею Геннадиевичу слова, да еще такого, которое сдержать особенно трудно, — не правда ли?

Матрена морщит нос. Он узнает эту ее гримаску, появляющуюся, когда девочку, к большому ее неудовольствию, загоняют в угол. Тем не менее он продолжает:

— Тебе не кажется, что Сергей Геннадиевич слишком вольно обращается со смертью? Помнишь нищего, которого убили по соседству? Это тоже сделал Сергей Геннадиевич — или приказал сделать кому-то другому, а тот, другой, подчинился ему, как подчинилась ты.

Она опять морщит нос.

— Но зачем? Зачем понадобилось его убивать?

— Полагаю, из желания показать всем и вся, что он, Сергей Геннадиевич, не тот человек, с которым позволительно шутки шутить. Или из желания испытать того, кто получил приказ совершить убийство, посмотреть, выполнит ли он этот приказ. Не знаю. Мне трудно читать в его сердце, да больше и не хочется.

Матрена молчит, размышляя.

— Мне этот нищий не нравился, — сообщает она наконец. — От него рыбой несло.

Он смотрит на нее не мигая, и Матрена отвечает ему взглядом столь же твердым.

— А Сергей Геннадиевич тебе, стало быть, нравится?

— Да.

Он хотел спросить о другом, хотел, но не решился: ты его любишь? Ты тоже на все для него готова? Впрочем, она отлично поняла смысл вопроса, да, собственно, на него и

ответила. Значит, остается задать еще один только вопрос:

— Больше, чем Павел?

Матрена колеблется. Он прямо-таки видит, как она взвешивает их — одного в правой ладони, другого в левой, как яблоки.

— Нет, — в конце концов отвечает она с интонацией, для которой ему удается найти лишь одно обозначение — благоволящая. — Павел по-прежнему нравится мне больше всех.

— Потому что нельзя ведь найти двух менее схожих людей, не правда ли? Лес лесом, а бес бесом.

— Лес лесом, а бес бесом? — прыскает Матрена.

— Есть такое присловье. Конный пешему не товарищ. Так же, как гусь свинье.

Последнее уподобление представляется ей сомнительным.

— Они оба такие веселые... были, — возражает она, запнувшись на глаголе.

Он качает головой.

— Вот тут ты ошибаешься. Сергей Геннадиевич человек далеко не веселый. Конечно, в нем присутствует некий дух, но это не дух радости. — Он склоняется к девочке и, отведя прядь волос с ее лица, касается щеки. — Послушай, Матреша. Ты не сможешь долго прятать все это от матери, — он указывает на орудия убийства. — Я помогу тебе избавиться от них, как помог с платьем. Что бы там ни говорил Сергей Геннадиевич, хранить их здесь невозможно. Слишком опасно. Ты понимаешь?

Губы ее чуть приоткрываются, уголки их вздрагивают. Сейчас заплачет, думает он. Но нет, дело клонится вовсе не к этому. Девочка поднимает глаза, и его обволакивает взгляд одновременно бесстыдный и насмешливый. Она уклоняется от его руки, встряхивает головой. «Нет!» — выдавливает он. Улыбка девочки становится издевательской, искусительной. Но тут чары спадают, и она обращается в то же дитя, что и прежде, запутавшееся, мучимое стыдом.

Невозможно, чтобы увиденное им только что произошло в действительности. То, что он видел, пришло из другого, хорошо ему знакомого мира, из другого существования. Он словно бы в первый раз пережил припадок, сохраняя сознание, так что глазам его открылись наконец области, в которые он попадает, когда им овладевает приступ болезни. В сущности говоря, ему следовало б задуматься о том, насколько верным остается слово «припадок», не вернее ль и не всегда ли было вернее другое — «беснование», и не было ли все, что в последние двадцать лет называлось припадками, простым предчувствием того, что случилось с ним ныне, не были ль трепет и содрогание тела затянувшейся прелюдией к судорогам души.

Смерть невинности. Никогда еще не чувствовал он себя таким одиноким. Точно странник на бескрайней равнине. Над головой собираются грозовые тучи; молния посверкивает на горизонте; тьма сгущается, наползая волна за волной. Укрыться негде, и если он когда-то и знал цель, к которой идет, то давно уж ее потерял; а тучи меж тем все тянутся, становятся все грузнее. «Пусть наконец все рухнет!» — молится он: отсрочки бессмысленны.

Когда в шесть часов он выходит из дому со свертком под мышкой, на улицах все еще не протолкнешься. По Гороховой он проходит к Фонтанке, вливается в толпу, переходящую мост, и в середине моста останавливается, опершись о перила.

Лед почти уж сковал воду, осталась лишь неровная полынья посередине реки. Чего там только нет, подо льдом! Весенний паводок делает явными немало преступных тайн, выставляя на свет божий ножи, топоры, окровавленную одежду. Если не хуже. Убить человека легко, куда труднее избавиться от останков. Заупокойная служба с ее заклинаниями обращается, если правду сказать, не к душе, но к упрямому телу, уговаривая его не вставать и не возвращаться.

И с опаской, словно притрагиваясь к незатянувшейся ране, он вновь разрешает себе подумать о Павле. Павел, неупокоенный, все еще длит существование свое под покро-

вом земли и снега на Елагином острове. Павел сжимается в комок от стужи, от мыслей о вечности, которую ему предстоит протянуть, прежде чем настанет день воскрешения, когда расколются надгробия и разверзнутся могилы; Павел, будто голый череп, стискивает зубы, снося то, что ему предстоит сносить, пока солнце не озарит его вновь и он не сможет расправить затекшие члены. Бедный мальчик!

Молодая пара приостанавливается рядом с ним, рука мужчины обнимает женские плечи. Он немного отодвигается в сторону. Черная вода лениво течет под мостом, мелкие волны плещут о разломанную, обросшую сосульками корзину. Он кладет холщовый сверток на перила. Женщина встречается с ним взглядом, отводит глаза, и тогда он легко толкает сверток локтем.

Сверток падает на кромку льда у самой полыньи и остается лежать у всех на виду.

Он не верит своим глазам. Он же стоит над самой промоиной и тем не менее умудрился промахнуться! Что это, фокусы параллакса? Или существуют предметы, которые падают не вертикально?

— Эк вас угораздило! — произносит, пугая его, чей-то голос слева. Человек в фуражке мастерового, пожилой, седобородый, подмигивает, уставясь ему прямо в лицо. Вот же дьявольская рожа!

— На лед-то, я мыслю, с неделю еще не соступишь. Хорошие ваши дела, нечего сказать.

Теперь бы еще припадок, думает он, и чаша моя будет полна. Он видит себя бьющимся в конвульсиях, пена летит изо рта, собирается толпа, и седобородый тычет для всеобщего осведомления пальцем туда, где на льду лежит пистолет. Припадок, ударяющий, точно молния с неба, поражая грешника. Но молния что-то задерживается.

— Не лезьте не в свое дело! — бормочет он и спешит уйти с моста.

18

Дневник

Вот уже в третий раз принимается он читать оставшиеся от Павла бумаги. Он не взялся б сказать, почему чтение дается ему с таким трудом, и тем не менее внимание его раз за разом отвлекается от смысла слов к самим словам, к буквам на бумаге, к чернильному следу ползущей по бумаге руки, к штрихам, оставленным нажатиями пальцев. Временами он закрывает глаза и прикасается губами к листу. Бесценен, каждый клочок бумаги бесценен для меня, говорит он себе.

Но в нерасположении его к чтению присутствует и нечто иное. Это вторжение в тайны Павла отдает чем-то скверным, да и само представление о воспринятом от ребенка Nachlass[1], в сущности, непристойно.

Сибирский рассказ Павла испорчен для него насмешкой Максимова, и, видимо, навсегда. Он не может не сознавать, что сама манера, в которой написан рассказ, ребячески незрела, несамостоятельна. И все же как мало требуется усилий, чтобы вдохнуть в него жизнь! Руки его чешутся от желания переписать рассказ, вымарав длинные пассажи, сентиментальные и нравоучительные, добавив живые подробности, которые так и просятся на бумагу. Этот юноша, Сергей, самодовольный резонер, требует описания отстраненного, освещения более юмористического, особенно в том, что касается чинной торжественности, с которой он укрепляет свое тело. Крестьянскую девушку привлекает в нем, конечно, не перспектива супружеской жизни (состоящей, сколько он способен судить, из питания сухарями и брюквой да из спанья на голых досках), но вот эта его постоянная готовность к таинственной участи, откуда она произошла? Из Чернышевского, разумеется, но не только из Чернышевского — из Евангелий, из Иисуса, из подражания Иисусу, такого же, на свой манер, недалекого и превратного, как у атеиста Нечаева,

[1] Наследство (*нем.*).

собирающего вкруг себя шайку учеников и посылающего их в мир со смертоносными поручениями. Человек со свирелью и со следующим за ним по пятам стадом приплясывающих свиней. «Она была для него готова на все», — сказала Матрена о свинообразной Катри. На все — на любое унижение, на смерть. Все выжжено — стыд, самоуважение. Интересно, что происходило между Нечаевым и его женщинами в комнатке над заведением Madame la Fay? А Матрена — ее тоже приуготовляли для нечаевского гарема?

Он закрывает рукопись Павла, отодвигает ее. Начни он ее переписывать, определенно получится нечто постыдное.

Теперь дневник. Перелистывая страницы его, он в первый раз примечает следы карандаша, аккуратные галочки, оставленные не рукою Павла, а, стало быть, рукою Максимова и никого иного. Для кого они предназначались? Верно, для переписчика; но в нынешнем его состоянии он способен воспринимать их лишь как указующие вешки, расставленные Максимовым для него.

«Виделся нынче с А.», — читает он против галочки запись, сделанную 11 ноября 1868, почти ровно год назад. 14 ноября: снова загадочное А. 20 ноября: «А. у Антонова». Начиная с этой страницы каждое упоминание А. сопровождается галочкой.

Он отлистывает страницы назад. Самое раннее упоминание об А. относится к 6 июня, если не считать записанного 14 мая: «Длинный разговор с —», против чего также стоит галочка и вопросительный знак.

14 сентября 1869 года, за месяц до смерти: «Сюжет для рассказа (подсказан А.). Запертые ворота, мы стоим снаружи, стучим, кричим, просимся внутрь. Каждые несколько дней ворота чуть приотворяются и страж подзывает одного из нас. Выбранный им лишается всего, чем владеет, даже одежды. Его обращают в слугу, учат кланяться, говорить вполго́лоса. В слуги они выбирают тех, кто кажется им самым покорным, легче других поддающимся приручению.

Тема: распространение духа неподчинения среди слуг. Поначалу перешептывания, затем гнев, мятежные настроения, и, наконец, взявшись за руки, они приносят клятву мщения. Заканчивается все появлением старого верного слуги, седого, отечески добродушного, он приходит с канделябром, чтобы (как он говорит) «внести посильный вклад», и поджигает портьеры».

План сказки, аллегории, но не рассказа. Отсутствие собственной жизни, собственной сердцевины. Отсутствие души.

6 июля 1869: «В почте десять рублей от Сниткиной, на мои именины (запоздали), с наказом не говорить Хозяину».

«Сниткина» — Аня, его жена; «Хозяин» — он сам. Вот это подразумевал Максимов, предостерегая его относительно «мучительных» мест? Коли так, Максимову следовало бы знать, что для него это не более чем комариный укус. Он способен снести и большее, гораздо большее.

Он отлистывает назад еще несколько страниц, возвращаясь к дням более ранним.

26 марта 1867: «Прошлой ночью столкнулся на улице с Ф. М. Вид у него был какой-то украдчивый (ходил в публичный дом?), и я решил притвориться пьянее, чем был. Ф. М. "направил стопы мои к дому" (он повадлив разыгрывать отца, прощающего блудного сына), уложил меня, точно труп, на диван и долго потом ругался шепотом со Сниткиной. Я лишился башмаков (наверное, отдал кому-то). Кончилось все тем, что Ф. М., сняв сюртук, приладился омыть мне ноги. Все это оч. стесняет. Утром сказал С., что я *должен* жить отдельно, не может ли она надавить на него, воспользовавшись обычными ее фокусами? Но она слишком его боится».

Больно? Разумеется, больно, тут следует отдать Максимову должное. И все-таки, если что и способно убедить его оставить дальнейшее чтение, так это не боль, а боязнь. Боязнь утратить доверие к жене, например. Боязнь за его веру в Павла.

Но кому же предназначались эти озлобленные страницы? Написал ли их Павел для отцовских глаз, а после умер, чтобы обвинения так и остались безответными? Разумеется, нет: даже думать так — безумие! Это больше похоже на то, как женщина пишет к

любовнику, ощущая за плечом привычный призрак мужа. Каждое слово двойственно: один видит в нем страсть и обещание, другой — осуждение и отповедь. Надтреснутые слова, идущие от надтреснутого сердца. Понял ли это Максимов?

2 июля 1867, три месяца спустя: «Освобождение рабов! Наконец-то на воле! Простился с Ф. М. и его новобрачной на воксале железной дороги. И сразу затем съехал с *невозможной* квартиры, в которую он меня запихал (*собственная* чашка, *собственное* салфеточное кольцо и простокваша в половине одиннадцатого утра). В. Г. обещал приютить меня, пока я не подыщу другого места. Надо будет уломать старичка Майкова, пусть отдаст мне деньги, чтобы я сам платил за квартиру».

Он отрешенно перелистывает страницы — вперед, назад. Прощение: неужели нет здесь ни слова прощения, пусть косвенного, пусть неявного? Как сможет он доживать свои дни, лелея в душе ребенка, чьим последним словом было не слово прощения?

Свинцовый гроб, внутри серебряный. Внутри серебряного — золотой. А в золотом лежит тело юноши в белом с руками, скрещенными на груди. В пальцах стиснута телеграмма. Он вглядывается в нее, пока все не начинает плыть перед глазами, выискивая слово прощения, которого в ней нет. Телеграмма составлена на еврейском, на арамейском, он никогда прежде не видал этих знаков.

Стук в дверь. Анна Сергеевна, в уличном платье.

— Пришла поблагодарить вас за то, что присмотрели за Матрешей. Она вам не очень досаждала?

Ему требуется несколько секунд, чтобы прийти в себя, вспомнить, что ей ничего не известно о том, как отвратительно Нечаев использовал девочку.

— Ничуть не досаждала. Как она, на ваши глаза?

— Спит, я не стала ее будить.

Она замечает разбросанные по кровати листы.

— Вижу, вы все же читаете бумаги Павла. Не буду вам мешать.

— Нет-нет, останьтесь. Это занятие не из самых приятных.

— Федор Михайлович, позвольте мне снова просить вас: не читайте того, что не предназначалось для ваших глаз. Вы только страдания себе причините.

— Я рад был бы последовать вашему совету. К несчастью, я приехал сюда не для того — не для того, чтобы оградить себя от страданий. Я просматривал дневник Павла и наткнулся на описание происшествия слишком мне памятного, случившегося в позапрошлом году. Увидеть его теперь другими глазами — это, знаете, откровение в своем роде. Павел пришел среди ночи домой мертвецки пьяным. Мне пришлось раздеть его, и, помню, меня поразило одно, чего я прежде не замечал, — какие у него на ступнях маленькие ногти, они словно бы и не выросли с детской его поры. Широкие мясистые ступни — полагаю, доставшиеся ему от отца — с крохотными ноготками. Он потерял башмаки или отдал их кому-то, и ноги у него были совсем ледяные.

Павел, в одних носках бредущий после полуночи холодными улицами. Заблудший ангел, ангел несовершенный, из числа отвергнутых Богом. Ступни его — ступни пешехода, привычно попирающего нашу великую мать; ступни крестьянина, не танцора.

Потом он сидит на диване, мотая свешенной головой, и всю одежду его покрывает рвота.

Я дал ему старые сапоги и видел утром, как он уходил, очень сердитый, с сапогами в руках. Ничего не поделаешь, думал я. Хотя что же, восемнадцать, девятнадцать — возраст опасный, опасный для всякого, кто уже оперился, а гнездо покинуть еще не может. Вечно голодный, вечно что-то жующий. Совсем как пеликан — нескладное создание, самая неказистая среди птиц, пока он не расправит огромные крылья и не воспарит над землей.

Увы, Павел запомнил ту ночь совсем по-другому. В его рассказе о ней нет ни слова о птицах и ангелах. И об отеческой заботе ни слова. Об отеческой любви.

— Федор Михайлович, ну зачем вы себя так терзаете? Если вы не в силах сжечь эти страницы, так хотя бы заприте их до поры и вернитесь к ним, когда примиритесь с Павлом. Прислушайтесь к моим словам и сделайте, как я говорю, для вашего же блага.

— Спасибо вам, милая моя Анна. Я слышу ваши слова, они проникают в самое сердце мое. Но когда я говорю о том, что не вправе ограждать себя от страданий, о том, почему я здесь, я разумею под «здесь» не вашу квартиру, не Петербург. Я хочу сказать, что очутился здесь, в России, в том времени, в котором мы с вами живем, не для того, чтобы прожить жизнь не страдая. Я призван к жизни — как бы это сказать? — в России или с Россией во мне, что бы ни означало это слово — Россия. Такова моя участь, и избегнуть ее я не в силах.

Это не означает, будто я усматриваю в жизни моей какой-то великий смысл. Если разобрать ее по косточкам, она навряд ли заслужит чье-нибудь одобрение. В сущности говоря, это и не жизнь даже, а род цены или разменной монеты. Нечто такое, чем я плачу за возможность писать. Вот чего так и не понял Павел: я тоже расплачиваюсь.

Она хмурится. Он понимает вдруг, у кого переняла Матрена свою повадку. Анне не по сердцу люди, выворачивающие перед нею нутро. Что ж, честь ей за то и хвала! В России и так слишком довольно людей, падких до этого занятия.

И тем не менее «я тоже расплачиваюсь»: он повторил бы это сызнова, если б у Анны хватило терпения слушать его. Он сказал бы это опять, и не одно только это. Да, я плачу и я же продаю — вот из чего слагается мое существование. Продаю свою жизнь и жизни тех, кто меня окружает. Продаю все. Торговля Яковлева — жизни по сходной цене. В окончательном смысле чухонка была права: Иуда, не Иисус. Продам тебя, продам твою дочь, продам всех, кого люблю. Я продавал Павла живого, теперь продам то, что осталось во мне от Павла, если только смогу придумать, как это сделать. Надеюсь, мне удастся сыскать и способ продажи Сергея Нечаева тоже.

Жизнь без чести, предательство без предела, исповедь без конца.

Анна прерывает ход его мыслей.

— Вы по-прежнему думаете съехать от нас?

— Да, конечно.

— Я потому спрашиваю, что ко мне уже обращались насчет комнаты. Куда вы направитесь?

— Первым делом к Майкову.

— Вы, помнится, говорили, что не можете больше просить его об услугах.

— Он одолжит мне денег, я в этом не сомневаюсь. Скажу, что деньги нужны мне для возвращения в Дрезден. А после подыщу себе какое-нибудь иное пристанище.

— Но почему вам и вправду не возвратиться в Дрезден? Разве это не разрешит все ваши затруднения?

— Паспорт мой все еще в полиции. Но, кроме того, у меня есть и иные причины.

— Я к тому говорю, что вы ведь сделали все, что могли, зачем же попусту тратить время в России?

Выходит, Анна не услышала сказанного им? Или она просто дразнит его? Он встает, собирает бумаги, затем поворачивается, чтобы взглянуть ей в лицо.

— Анна, голубчик, я вовсе не трачу здесь время попусту. У меня есть все основания для того, чтобы оставаться здесь. Думаю, оснований более веских даже и нет ни у кого другого на свете. И конечно же, сердцем вы тоже понимаете это, я уверен.

Анна качает головой.

— Не знаю, — негромко произносит она, однако тон ее — тон человека, готового услышать возражения и уступить.

— Было время, когда я верил, что вы соедините меня с Павлом. Я видел нас с вами в челне, вы сидели на носу, указывая нам путь сквозь туман. Картина была живая, как сама жизнь. Я во всем полагался на вас.

Она опять качает головой.

— Возможно, я ошибался в деталях, но чувство мое было верное. С первой минуты я ощутил в вас эту способность.

Если она желает остановить его, ей следует сделать это сейчас. Но Анна молчит. Она впивает его слова, как иссохшее растение воду. И почему же нет?

— Мы сами себе помешали, опрометчиво устремившись к... к тому, к чему устре-

мились, — продолжает он.

— Тут есть и моя вина, — говорит она, — но мне не хочется сейчас вдаваться в это.

— Как и мне. Позвольте сказать только, что в последние несколько недель я стал понимать, сколь многое значит для нас с вами верность, для нас обоих. Мы волей-неволей открыли для себя истинное значение этого слова. Я ведь прав, не так ли?

Он вглядывается в нее, но Анна ждет от него чего-то большего, ей нужно наверное знать, что он и вправду понимает значение слова «верность».

— Для вас это верность дочери, для меня — сыну. Мы не можем любить друг друга, пока не получим их благословения. Я прав?

Он знает, что Анна согласна с ним, и все же она не произносит ни слова. И он продолжает, пытаясь сломить ее слабое сопротивление:

— Я хотел бы прижить с вами ребенка.

Анна краснеет.

— Что за глупости! У вас уже есть жена и ребенок!

— Это другая семья. Вы — члены семьи Павла, вы и Матрена. И я тоже из этой семьи.

— Я вас не понимаю.

— В сердце своем — понимаете.

— И в сердце тоже! Что вы предлагаете? Чтобы я выносила ребенка, отец которого будет жить за границей и почтой высылать мне содержание? Нелепость!

— Но отчего? Вы же заботились о Павле.

— Павел был мне жильцом, а не сыном!

— Я вовсе не жду, что вы примете решение сразу.

— Ну так я приму его сразу! Нет! Вот вам мое решение!

— Но что, если вы уже беременны?

Она вспыхивает.

— Это вас не касается!

— И что, если я не вернусь в Дрезден? Если останусь здесь и буду в Дрезден высылать содержание?

— Здесь? В комнате для постояльцев? Я полагала, причина, по которой вы не можете жить в Петербурге, состоит в том, что кредиторы упрячут вас в тюрьму.

— С долгами я как-нибудь справлюсь. Мне нужен успех, один-единственный, больше ничего не потребуется.

Внезапно Анну пробирает смех. Она, может быть, сердита на него, но не оскорблена. Ей он может сказать все что угодно. Как это не похоже на Аню! Аня расплакалась бы, хлопнула дверью, и пришлось бы потратить не меньше недели, мольбами и просьбами возвращая ее расположение.

— Федор Михайлович, — говорит Анна Сергеевна, — завтра поутру вы проснетесь и не вспомните из нашего разговора ни слова. Вам просто взбрела в голову случайная мысль. Всерьез вы ни минуты об этом не думали.

— Вы правы. Именно так. Потому-то я этой мысли и верю.

Она не падает в его объятия, но и не отталкивает его.

— Двоеженство! — негромко и презрительно произносит она, и ее вновь одолевает смех. Затем она спрашивает, уже серьезно: — Хотите, я приду к вам ночью?

— Ничего на свете не хочу сильнее.

— Ну, поглядим.

Она возвращается в полночь.

— Я не могу остаться, — говорит она и тут же закрывает за собою дверь.

Они любят друг друга, как приговоренные к смерти, забыв обо всем, кроме своих ощущений, устремляясь к единой цели. Минутами он не способен сказать, кто из них кто — кто мужчина, кто женщина, — в эти мгновения они походят на чету скелетов, соединений костей и связок, втиснутых одно в другое, рот в рот, глаза в глаза, сцепление ребер, сплетение берцовых костей.

Погодя она лежит в узкой кровати, прижимаясь к нему, положив голову ему на грудь, привольно закинув длинную ногу поверх его ноги. У него чуть кружится голова.

— Так это и есть зачатие спасителя? — мурлычет она. И, видя, что он не понял, поясняет: — Истинная река семени. Ты ничего не захотел оставить случаю. Вся постель промокла.

Святотатственные слова ее лишь обостряют интерес, который он к ней испытывает. Всякий раз он находит в ней нечто новое, поразительное. Немыслимо, что, уехав из Петербурга, он не вернется назад. Немыслимо, что они не увидятся больше.

— Почему ты заговорила вдруг о спасителе?

— Разве не в этом его задача — спасти тебя, спасти нас обоих?

— Но почему ты уверена, что будет *он*?

— О, женщина такие вещи знает.

— А что скажет Матреша?

— Матреша? О братике? Матреше больше ничего и не нужно. Будет нянчиться с ним сколько душа пожелает.

По видимости вопрос был задан о Матреше, но это лишь внешняя оболочка другого вопроса, которого он не задал, потому что и без того знает ответ. Павел вовсе не обрадовался бы брату. Павел взял бы братика за ногу и размозжил его голову о стену. Павел счел бы его не спасителем, но самозванцем, узурпатором, дьяволенком, укрывшимся под пухленькой младенческой плотью. И кто мог бы поклясться, что он не прав?

— Так женщина непременно знает?

— Ты спрашиваешь, знаю ли я, что забеременела? Не беспокойся, этого не случилось, — и затем: — Если я задержусь еще ненадолго, я засну.

Анна отбрасывает одеяло, перебирается через него. Отыскав при лунном свете одежду, она одевается.

Он ощущает мимолетную боль. Его волнуют полузабытые, давние чувства; юноша, таящийся в нем, еще не умерший, вскрикивает, стараясь, чтобы его услышали, труп, скрытый в нем, все еще не похоронен. Ему остается лишь шаг до любви, до пропасти, от падения в которую никакая сдержанность, никакое благоразумие его не спасут. Снова падучая или же близкое подобие ее.

Побуждение было сильным, но и оно прошло. Сильным, но сильным недостаточно. И никогда уже не набрать ему нужной силы, если только оно не отыщет какой-то опоры.

— Иди сюда, на минуту, — шепчет он.

Она садится на кровать, он берет ее руку.

— Можно я предложу кое-что? Мне кажется, отношения Матреши с Сергеем Нечаевым и друзьями его не доведут девочку до добра.

Анна отнимает руку.

— Конечно не доведут. Но зачем говорить об этом сейчас?

Голос ее ровен и холоден.

— Видишь ли, я не думаю, что ее стоит оставлять одну на то время, когда Нечаев может сюда заглянуть.

— И что ты предлагаешь?

— Нельзя ли ей до часа, в который ты приходишь домой, оставаться внизу, у Амалии Карловны?

— Просить старуху ухаживать за больной девочкой — это немного слишком, ты не находишь? Тем более что она не ладит с Матрешей. Разве не довольно будет сказать Матреше, чтобы она не открывала дверь чужим людям?

— Ты же не знаешь, насколько сильна власть, приобретенная над нею Нечаевым.

Анна встает.

— Мне это не нравится, — говорит она. — Не понимаю, почему мы должны обсуждать мою дочь среди ночи.

Между ними снова встает ледяная стена.

— Неужто же мне невозможно упомянуть ее имя без того, чтобы ты не рассердилась? — сокрушенно спрашивает он. — Ты думаешь, я заговорил бы о ней, если бы не принимал благополучие ее близко к сердцу?

Анна не отвечает. Дверь открывается и закрывается.

19

Пожары

Резкий переход от возобновленной близости к возобновившемуся отчуждению погружает его в замешательство и уныние. Он колеблется между страстной потребностью помириться с этой тяжелой, обидчивой женщиной и гневным желанием махнуть рукой не только на их не имеющие никакого будущего отношения, но и на весь этот полный скорбей и интриг город, с которым он не ощущает более живой связи.

Он потерпел поражение. «Павел!» — шепчет он, пытаясь прийти в себя. Но Павел больше не ведет его за руку, Павел его не спасет.

Утро он проводит, затворясь в своей комнате, сидит, склонив голову, обхватив руками колени. Он не один. Но не сыновнее присутствие ощущает он в комнате. Нет — тысячи мелких бесов роятся в воздухе, точно выпущенная из банки саранча.

Когда он наконец заставляет себя встать, то встает он лишь для того, чтобы снять с туалетного столика оба портрета Павла — дагерротип, привезенный им с собою из Дрездена, и рисунок Матрены, — сложить их лицом к лицу, завернуть и спрятать в чемодан.

Он выходит из дому для очередного визита в полицию. Воротившись, он видит Анну Сергеевну, пришедшую на несколько часов раньше обычного и определенно встревоженную.

— В городе целый день происходят стычки студентов с полицией. По преимуществу на Петроградской, но и на нашем берегу тоже. Лавки позакрывались — на улицах слишком опасно. Племянник Яковлева ехал в двуколке домой с рынка, и кто-то запустил в него булыжником, без всякой причины. Камень ударил в запястье, и рука у него теперь болит так, что он пальцами двинуть не может, похоже, кость перебита. Он рассказал, что среди студентов мелькает все больше мастеровых. А главное, студенты снова начали поджигать дома.

— Ой, давайте пойдем посмотрим, — предлагает из постели Матрена.

— Ни в коем случае! Это опасно. Да и ветер на улицах такой, что до костей пробирает.

Она ничем не показывает, что помнит прошлую ночь.

Он снова выходит из дому, заглядывает в чайную. В газетах о столкновениях со студентами ни слова. Впрочем, напечатано извещение о том, что вследствие «распространившегося среди студенчества неподчинения» университет закрывается впредь до дальнейших распоряжений.

Уже пятый час. Борясь с ледяным ветром, он идет вдоль реки на восток. Мосты перекрыты; въезды на них охраняют жандармы в небесно-голубых мундирах и в касках с плюмажами, у каждого по винтовке с примкнутым штыком. На противном берегу ярко блещет в сумерках пламя пожара.

Он идет вдоль реки, пока не натыкается на первый из сгоревших, еще дымящихся лабазов. Начинается снегопад, снежинки, опускаясь на обугленные доски, мгновенно обращаются в ничто.

Он не ждет, что Анна Сергеевна снова придет к нему. Однако она приходит, ничего, как обычно, не объясняя. При том, что в соседней комнате спит Матрена, поведение ее в минуты близости поражает его своею беспечностью. Эти крики и страстные задыхания приглушены лишь наполовину; он начинает сознавать, что они не обличают собою да и прежде не обличали звуков животного наслаждения, что это лишь средство, которым она доводит себя до чувственного упоения.

В первые мгновения страстное напряжение Анны овладевает и им. Он снова на долгий срок утрачивает представление о том, кто он и кто она. Они словно замыкаются в раскаленную сферу наслаждения и, медленно кружа, плывут в ней, похожие на близнецов.

Никогда еще не встречал он женщины столь самозабвенно чувственной. И все-таки, когда она достигает высшей точки неистовства, он понимает, что отдаляется от нее. Что-то меняется в ней, думает он. Чувства, которые в первую их ночь бушевали в ее сокро-

венных глубинах, теперь, похоже, поднимаются на поверхность. В сущности, она становится «электрической», подобной множеству иных женщин, которых он знал.

Она настояла на том, чтобы свеча перед зеркалом осталась гореть. Приближаясь к мгновению высшего исступления, она, даже когда веки ее начинают трепетать, а тело содрогаться, все с большей и большей пристальностью вглядывается в его лицо.

В какой-то миг с губ ее срывается слово, которое он узнает лишь наполовину. «Что?» — спрашивает он. Но она только мотает из стороны в сторону головой и скрежещет зубами.

Наполовину? Нет, он узнал это слово: «бес». Он и сам привычно прибегает к нему, хоть, пожалуй, и вкладывает в это слово иное, отличное от ее, значение. «Беснование» — миг перед самой вспышкой восторга, когда душа выдирается из тела и начинает, кружась, падать в беспамятство. И, глядя на нее, бьющую из стороны в сторону головой, сжавшую челюсти, хрипящую, недолго вообразить, что и она одержима бесом.

Она отдается ему еще раз, и с еще большей безудержностью. Но оба они скоро обнаруживают, что источник иссяк.

— Не могу! — выдыхает она и замирает.

Закинув вверх руки, раскрыв ладони, она лежит, словно сдаваясь победителю на милость.

— Не могу больше! — По щеке ее сбегает слеза.

Ярко горит свеча. Он обнимает ее влажное тело. Слезы текут, она не пытается их удержать.

— Что ты?

— У меня нет сил продолжать. Я сделала все, что могла, я изнемогаю. Прошу тебя, оставь нас теперь в покое.

— Вас?

— Да, нас, нас обеих. Мы задыхаемся под гнетом, который ты взвалил на нас. Нам нечем дышать.

— Почему же ты раньше мне не сказала? Я воспринимал нашу жизнь совсем по-другому.

— Я не виню тебя. Я пыталась взять все на себя, но больше не могу. Я целый день на ногах, в прошлую ночь не спала, я измучена.

— Ты считаешь, что я просто пользуюсь тобой?

— Нет, не пользуешься, то есть не в этом смысле. Но ты пытаешься через меня подобраться к моей дочери.

— К Матрене? Какая нелепость! Ты не можешь так думать!

— Это правда, это просто лезет в глаза! Ты хочешь через меня дотянуться до нее, а я не могу этого вынести! — Она садится в кровати, скрещивает руки на голой груди и начинает горестно раскачиваться взад-вперед. — Тебя обуяло что-то такое, чего я не способна понять. Ты вроде и здесь, но ведь на самом деле тебя здесь нет. Я готова была помочь тебе ради... — Она беспомощно пожимает плечами. — Но мне это больше не по силам.

— Ради Павла?

— Да, ради Павла, и еще из-за того, что́ ты сказал однажды. Но цена слишком высока для меня. Все это изматывает меня. Я никогда не зашла бы так далеко, если бы не боялась, что ты точно так же заставишь служить себе и Матрешу.

Он поднимает руку к ее губам.

— Говори потише. Ты предъявляешь мне страшное обвинение. Что она тебе наговорила? Я ее и пальцем не тронул, клянусь.

— Кем ты клянешься? И чем? Разве ты веришь во что-то, чем можно поклясться? Да и не о «пальце» речь, ты это прекрасно знаешь. И не указывай мне, как говорить, тихо или громко. — Она отбрасывает одеяло, шарит по постели в поисках рубашки. — Мне нужно побыть одной, иначе я с ума сойду.

Час спустя — он только-только погружается в сон — Анна вновь забирается в его постель, горячая, прижимается к нему, обвивает ногами.

— Забудь о том, что я наговорила, — шепчет она. — На меня порой находит такое, тебе придется свыкнуться с этим.

Среди ночи он просыпается еще раз. Шторы задернуты, но в комнате светло, как при полной луне. Он встает, выглядывает в окно. Меньше чем в версте от дома в ночное небо взвивается пламя. За рекою бушует такой огромный пожар, что он готов поклясться, будто ощущает его обжигающий напор.

Он возвращается в постель, к Анне. Такими и находит их поутру Матрена — мать, растрепанную, крепко спящую, пристроив голову на сгибе его руки, чуть похрапывающую, и его, открывающего глаза, чтобы увидеть насупленную девочку, стоящую в двери.

Видение это могло ему и присниться. Но нет, это не сон. Девочка видит все и все знает.

20

Ставрогин

Облако дыма повисло над городом. Пепел падает с неба, даже снег кое-где посерел.

Все утро он сидит один в своей комнате. Теперь он знает, почему так и не съездил ни разу на Елагин остров. Потому что боится увидеть, что земля там разрыта, могила разверзлась, а тело исчезло. Покойник был похоронен неправильно; теперь он похоронен в нем, в его груди, и больше не плачет, но шипит безумные слова, нашептывает ему понукания пасть еще ниже.

Он болен и знает имя своей болезни. Нечаев, голос века, называет ее мстительностью, но имя более правильное, хоть и не такое высокое, — обида.

Остается лишь сделать выбор. Он может кричать в постыдном падении своем, взывая к Богу или к жене о помощи. Он может также отдаться падению, отвергнуть хлороформ ужаса или утраты сознания и вместо того вглядываться и вслушиваться, ожидая мгновения, которое может и не наступить — тут он не властен, — когда из тела, рушащегося во тьму, он обратится в тело, в самом сердце которого и совершается это падение, в тело, которое в себе самом содержит и падение свое и свою тьму.

Если и предназначено кому-то прожить жизнь в безумии нашего времени, сказал он Анне Сергеевне, так это мне. Не восстать после падения без единой царапины, но достигнуть того, чего не смог достичь его сын, — одолеть свистящую тьму, впитать ее, обратить в среду своего обитания, преобразить падение в полет, пусть даже медленный, старческий, неуклюжий, как поползновение черепахи. Жить там, где умер Павел. Жить в России и слушать голоса России, негромко бормочущие в нем. Держать в себе все: Россию, Павла, смерть.

Так он сказал. Но говорил ли он правду или только бахвалился? Ответ несуществен, главное — не отступаться. Не важно и то, что говорит он иносказаниями, обращая собственный отталкивающий, презренный недуг в эмблематическую болезнь века. Безумие кроется в нем, он укрывается в безумии; они осмысливают друг друга; и как они называют один другого — помешательством, эпилепсией, мстительностью или веяньем времени, — значения ровно никакого не имеет. И живет он не в обители безумных, и Петербург не есть город безумия. Безумен он сам, и всякий, кто допускает мысль о его безумии, безумен тоже. Ни одно его слово не несет в себе истины, ни одно — лжи, ничему нельзя верить, ни от чего нельзя отмахнуться. Держаться не за что, остается лишь падать.

Он распаковывает письменный прибор, расставляет его по столу. Дело идет уже не о том, чтобы вслушиваться в темный поток, надеясь услышать голос утраченного ребенка, не о том, чтобы хранить верность Павлу, когда все забудут о нем. Совсем не о верности речь. Напротив — об измене, прежде всего об измене любви, а затем уж и Павлу, и матери с дитятей, и всем остальным. *Извращенность:* все и вся оборачивает он другой стороной — той, за которую ему удобнее ухватиться, чтобы затем уже падать вместе.

Он вспоминает помощника Максимова и вопрос, заданный им: «Какого рода книги?» Теперь он знает ответ, который ему следовало дать: «Книги, в которых извращается истина. Я выбрал кривую дорогу и увожу ею детей в области тьмы. Да и сам я лишь следую за пером, пляшущим предо мною».

Мельком он видит в зеркале туалетного столика себя, сгорбившегося над письменным столом. В сером свете, без очков он мог бы принять себя за кого-то чужого; темная борода могла б оказаться пчелиным роем.

Он передвигает стул, садится перед зеркалом. Но чувство, что в комнате присутствует кто-то еще, остается: если и не полнокровный человек, то сколоченное из палок существо, пугало в старом кафтане, с рогожным кулем вместо головы и драным платком поверх рта.

Он отвлекся, и это его раздражает. И самый дух раздражения его поддерживает в призраке извращенную жизнь; а безгласное безразличие пугала к его раздражению лишь удваивает последнее.

Походив немного по комнате, он снова передвигает стул. Склонившись к зеркалу, вглядывается в свое лицо, в поры на коже. Писать он не может, думать тоже.

Не может думать — *поэтому что?* Он не забыл про татя в нощи. Если ему и суждено быть спасенным, то только татем в нощи, коего он обязан высматривать неустанно. Но тать не придет, пока хозяин дома не забудет о нем и не задремлет. Хозяин же дома не может трезвиться и бодрствовать без конца, ибо тогда притча лишится смысла. Он должен спать, и если он должен спать, то может ли Бог осудить его, спящего? Бог должен спасти его, ничего иного Богу не остается. Однако улавливать Бога в тенета таких рассуждений — значит бросать Ему вызов и святотатствовать.

Привычный старый лабиринт. Все та же его игра, только в ином обличии. Он играет потому, что Бог молчит. Играет, чтобы заставить Бога заговорить. Но пытаться заставить Бога заговорить, переворачивая карту за картой, значит хулить Его. Бог говорит, лишь когда Он молчит. Когда нам кажется, будто мы слышим речь Божию, это не Бог говорит с нами.

Он проводит за столом несколько часов. Перо остается недвижным. Время от времени возвращается видение пугала, помятый, издевательски состаренный шарж на него самого. Ему некуда больше идти, он заперт в тюрьме.

И поэтому? Поэтому что?

Он закрывает глаза, заставляя себя встретиться с видением лицом к лицу, принуждая его отчетливее явить свой образ. Лицо по-прежнему скрывает завеса, которую он, похоже, устранить бессилен. Снять завесу может только само привидение, однако оно не сделает этого, пока его не попросишь. А чтобы просить, нужно знать его имя. Какое? Иванов? Иванов вернулся к нему, смутный, забытый? Но как его звали, Иванова? Или это Павел? Кем был жилец, занимавший эту комнату до него? Кем был П. А. И., владелец чемодана? Обозначает ли П. — Павла? И было ли «Павел» истинным именем Павла? И если назвать Павла неверным именем, придет ли он когда-нибудь еще?

Некогда Павел был главной утратой. Теперь он утратил и себя самого, утратил так основательно, что не знает даже, как звать о помощи.

Если он выпустит из пальцев перо, подхватит ли его видение, мреющее по другую сторону стола, и начнет ли писать?

Он вспоминает сказанное Анной Сергеевной: «Вы скорбите по себе самому».

Слезы, текущие по его щекам, странно прозрачны, на вкус в них почти не ощущается соли. Если претерпеваемое им есть очищение, то, от чего он очишается, на редкость чисто.

В конечном счете, ему не будет дано вернуть мертвого мальчика к жизни. В конечном счете, если он желает встретиться с Павлом, встречаться придется в смерти.

Есть чемодан. Есть белая пара. Где-то она еще существует. Но существует ли способ, позволяющий воссоздать, начав со ступней, тело, облаченное в белую пару, — воссоздавать его, пока не откроется наконец лицо — пусть даже лицом этим будет воловье рыло Ваала?

Голова у фигуры, сидящей напротив, великовата, она крупнее, чем следует быть голове человека. Собственно, во всех пропорциях ее присутствует что-то отчасти неправильное, некоторая чрезмерность.

Не подцепил ли и он лихорадку? Жаль, нельзя позвать из другой комнаты Матрену, чтобы она потрогала его лоб.

Фигура напротив не вызывает в нем никаких ощущений, никаких решительно. Или правильнее: он чувствует окружающее ее облако равнодушия, как бы мантию мрака. Оттого ему и не удается подыскать для нее имя — не потому, что имя от него скрыто, но потому, что существо это безразлично к любым именам, ко всякому слову, ко всему, что он может о нем сказать?

Сила, исходящая от пришлеца, настолько велика, что он чувствует, как сила эта давит его, накатывая безмолвными волнами.

Третье искушение. То, о чем он говорил Анне Сергеевне: я послан сюда, чтобы жить жизнью России. Стало быть, так Россия и проявляет себя — этой силой, этой тьмой, этим безразличием к именам.

Или же имя, ему недоступное, есть имя того, другого юноши, принять которое он не может: Нечаев? И урок, данный ему, в том-то состоит: в глазах Божиих нет различия между ними двумя, Павлом Исаевым и Сергеем Нечаевым, равновеликими воробьями? Должен ли он отказаться от последней своей веры в неповинность Павла и признать его истинным товарищем и клевретом Нечаева, неуемным юнцом, безоговорочно принимающим все, что предлагает Нечаев, — не только увлекающий воображение заговор, но и взвинчивающий душу восторг игры со смертью? И если Нечаев ненавидит отцов и ведет с ними непримиримую войну, то не до́лжно ли допустить, что и Павел пошел по его стопам?

Задав себе этот вопрос, допустив, что Павел успел вкусить от начатков ненависти и жажды крови, он ощущает, как и в нем поднимается некая волна — ростки гнева, который содержит в себе ответ Павлу, ответ Нечаеву, ответы им всем. Отцы и дети — враги, враги до смертного часа.

Так он и сидит, оцепенелый. Либо Павел останется в нем ребенком, замурованным в склепе его горя, либо он выпустит Павла на волю со всей его яростью против власти отцов. Дав волю и собственной ярости против неверия и неблагодарности сыновей, выпустив ее, будто джина из бутылки.

Это все, что ему удается увидеть, — выбор, лишенный выбора. Он не способен думать, не способен писать, не способен оплакивать никого, кроме себя. Покамест Павел, подлинный Павел не придет к нему незваным, по собственной воле, он так и останется заключенным в узилище своего тела. И никакой уверенности в том, что Павел не приходил уже ночью и не говорил с ним, он не питает.

Павлу дозволено поговорить с ним только единожды. И все же он не хочет смириться с тем, что не будет прощен за свою глухоту, слепоту или тупость, не позволившую ему услышать произнесенное Павлом слово. И потому он вслушивается, ожидая, что Павел заговорит с ним опять. Он верит всею душой, что второго слова не заслужил, что не будет ему второго слова. Но так же, всею душой, он верит, что второе слово придет.

Он знает и то, чем чревата для него вторая ставка на удачу. Проигрышем. Он обязан сделать то, чего сделать не может, — подчиниться всему, что его ожидает, слову ли или молчанию.

Он боится, что Павел заговорит. Он верит, что Павел заговорит. Все сразу. Лес и бес.

В подобном состоянии духа он сидит за столом Павла, не отрывая взгляда от призрака, чья пристальность столь же нещадна, сколь и его — призрака, которого ему дано было вызвать к жизни.

Не Нечаев — это он уже понял. Кто-то покрупнее Нечаева. И не Павел. Быть может, Павел, каким он мог бы стать, окончательно распростившись с отрочеством и обратясь в мужчину, красивого, с холодным лицом, мужчину, которого не способна тронуть никакая любовь, ни даже преклонение девочки, «на все для него готовой».

Такая возможность угнетает его. Это не правда или покамест еще не правда. Но от

образа Павла, переросшего отрочество, переросшего любовь — переросшего не как человек, а как насекомое, которое целиком меняет свой облик на каждой ступени развития, — по спине бежит холодок. Вглядываться в него — это то же, что опуститься в воды Нила и лицом к лицу встретиться с чем-то огромным, холодным и серым, что могло быть рождено некогда женщиной, но в ходе столетий укрылось в камне и уже не принадлежит к этому миру, отвергая и сокрушая все его представления.

Христос на Голгофе также его сокрушил, но существо, сидящее перед ним, не Христос. Любви он в нем не примечает, только холод и давящее безразличие камня.

Существо это, столь серое, лишенное черт, — его ли обязан он усыновить, наполнить кровью, плотью, жизнью? Или он ошибается, и ошибается изначально? Быть может, это *от него* ожидают, что он отринет все, из чего состоит, все, чем он стал, вплоть до внешнего облика своего, и вновь обратится в младенца? И тот, кто сидит перед ним, станет отцом его, а ему надлежит отдаться отцовскому попечению этой твари?

Если так суждено, если в этом истина и путь к воскрешению, он готов это сделать. Он откажется от всего и, следуя за тенью, войдет, нагой, как младенец, в самые врата ада.

Вновь возвращается видение, от которого он отшатывался весь этот месяц: Павел в морге, голый, изломанный, окровавленный; и семя в теле его также мертво или уже умирает.

Ничего сокровенного не осталось. Стараясь не мигать, он смотрит на Павла, на те части тела его, без которых невозможно никакое отцовство. И в памяти снова всплывает берлинский музей и демоница-богиня, вытягивающая из трупа семя, чтобы его сохранить.

Тут и настает наконец миг, когда рука с пером приходит в движение. Но слова, выводимые ею, — не слова спасения. Они повествуют о мухах, верней об одной черной мухе, жужжащей на оконном стекле. Петербург, разгар лета, жаркого, липкого; внизу на улице шум, играет музыка. В комнате лежит рядом с мужчиной нагая девочка с карими глазами и прямыми светлыми волосами, тонкие ноги ее едва достигают лодыжек мужчины, лицо скрыто в изгибе его плеча, девочка зарылась в него, как ребенок.

А кто же мужчина? Прекрасное, как у бога, сложение. Но такая мраморная стужа исходит от него, что обнимаемая им девочка наверняка продрогла до костей. Что до лица его — лица не разглядеть.

Он сидит с пером в руке, удерживая себя от погружения в картины, которым нет места в этом мире, удерживаясь на самом краю падения, сидит, охваченный ощущением мига, в который все творение ложится, открытое, у его ног, — последнего мига перед тем, как хватка его ослабеет и он начнет падать.

Это мгновение из тех, в которые он обращается в тонкого ценителя подобных картин, в сластолюбца. Из тех, за которые он будет проклят.

Он вскакивает, охваченный нетерпением, вынимает из чемодана дневник Павла, находит первую пустую страницу, неисписанную, потому что сын уже мертв. На ней он и начинает писать, начинает заново.

Он пишет о себе, сидящем в той же комнате, в которой сидит сейчас. Только комната эта принадлежит теперь Павлу и никому больше. И он уже не он, не мужчина на сорок девятом году жизни. Он снова молод, полон заносчивой юной силы. На нем отлично сшитая белая пара. В какой-то мере он — Павел Исаев, хотя и называет себя другим именем.

Ощущение торжества бродит в крови этого юноши, этого подобия Павла. Он прошел чрез врата смерти и возвратился; теперь он решительно неуязвим. Он не бог, но уже и не вполне человек. В определенном смысле он выше всего человеческого, выше человека.

И через этого юношу начинает писать себя дом с его затхлыми коридорами и глухими углами, вот этот дом в Петербурге, в России.

Аккуратными прописными буквами он выводит вверху страницы «КВАРТИРА» и далее пишет:

Он спит допоздна, поднимаясь обычно после полудня, когда в квартире становится жарко до того, что простыни намокают от пота. Выбравшись из постели, он плетется в умывальню на лестнице, ополаскивает водою лицо, чистит пальцем зубы и возвращается назад. Небритый, всклокоченный, он поедает завтрак, оставленный для него квартирной хозяйкой (масло уже растаяло, в молоке плавают мошки); следом бреется, надевает вчерашнее белье, вчерашнюю рубашку и белую пару (стрелка на панталонах, пролежавших всю ночь под матрасом, остра, точно нож), увлажняет и приглаживает волосы; и наконец, приуготовив себя к новому дню, лишается всякого интереса к нему, всякого побуждения идти куда-то, и снова садится за стол с остатками завтрака, и впадает в тупое оцепенение или, вяло развалясь, чистит ножом ногти и ждет, когда хоть что-нибудь произойдет, когда вернется из школы девочка.

А то еще бродит по квартире, открывая комоды, роясь в вещах.

Под руку ему подворачивается медальон с портретами хозяйки и ее покойного мужа. Он плюет на стекло и протирает его носовым платком. Посветлевшие супруги обмениваются взглядами через пространство их крохотной тюрьмы.

Иногда он зарывается лицом в исподнее белье, вдыхая чуть слышный запах лаванды.

Он записан в университет, но лекций не посещает. Он состоит в «кружке», члены которого практикуют свободную любовь. Как-то под вечер он приводит к себе в комнату девушку. «Нужно бы запереть дверь», — думает он, но не запирает. Они с девушкой предаются любви, потом засыпают.

Какой-то звук пробуждает его. Он понимает, что за ними подглядывают.

Он тормошит девушку, и та просыпается тоже. Оба обнажены, прекрасны в расцвете их юности. Девушка еще раз отдается ему.

Во все эти минуты он сознает, что дверь приоткрыта, что девочка смотрит на них. Наслаждение его обостряется, увлекая и девушку, — никогда еще не испытывали они подобного темного упоения.

Выйдя, чтобы проводить гостью до дому, он оставляет постель неубранной, предоставляя ребенку возможность осмотреть ее, привыкнуть к запахам любви.

С этого дня и до конца лета он каждую среду под вечер приводит к себе девушку, всегда ту же. При расставании их квартира всякий раз кажется пустой, и всякий раз, он знает это, где-то в ней прячется девочка, которая подкрадывалась к ним, наблюдала или слушала.

— Давай еще раз, — случается, шепчет девушка.

— Что тебе дать?

— Это! — шепчет она, распаленная желанием.

— Сначала скажи, как оно называется. — И девушка говорит. — Громче! — требует он.

Слова, произносимые девушкой, разжигают ее почти до невыносимости.

Он вспоминает Свидригайлова: «Женщина любит быть оскорбленной».

Про себя он называет все это «развитием вкуса» в девочке, как некоторые развивают в себе вкус к необычной пище — к устрицам или к сладкому мясу.

По временам он спрашивает себя, зачем ему это. Отвечает он себе так: течение истории завершается, старые учетные книги будут скоро брошены в огонь, и в это мертвенное время между старым и новым позволительно все. В ответ этот он и сам почти не верит. Но до поры сгодится и такой.

По временам же он говорит себе: всему виной петербургское лето — эти долгие, жаркие, душные послеполуденные часы, мухи, жужжащие на оконном стекле, наполненные комариным зудением вечера. Протянуть бы это лето и зиму за ним, а весной я отправлюсь в Швейцарию, в горы, и стану другим человеком.

Ужинает он с квартирной хозяйкой и ее дочерью. В одну из сред вечером он, изоб-

ражая веселость, перегибается через стол и треплет девочку по голове. Та отшатывается. Он понимает, что забыл вымыть руки и девочка почуяла запах, сохранившийся на них после любовных утех. Покраснев, стараясь скрыть смущение, она утыкается носом в тарелку, чтобы не встретиться с ним глазами.

Все это он пишет ровным, разборчивым почерком, не вычеркивая ни слова. Само писание доставляет ему сегодня острое чувственное наслаждение — ощущение пера, уютно зажатого изгибом большого пальца, но в еще большей мере ощущение руки, бегущей по странице и слегка отпрядывающей назад, следуя строго неизменным очертаниям букв, уставу алфавита.

Аня, Анна Сниткина, была его помощницей, прежде чем стать женой. Он нанял ее, дабы она привела в порядок рукописи, а после женился на ней. Девочка-фея в своем роде, призванная, чтобы выпутать золотую нить из клубка написанных им слов. Если сегодня он пишет столь разборчиво, то лишь потому, что пишет он не для ее глаз. Он пишет для себя. Пишет для вечности. Пишет для мертвого юноши.

И хоть он сидит за столом столь покойно, он — человек, увлеченный смерчем. Бумажная лавина, куски прежней жизни отрываются от него и, кружа над ним, с ревом уносятся по восходящей спирали. Его несет высоко над землей, и на миг, перед тем как объятия ветра слабеют и он начинает падать, ему даруются полный покой и ясность, и мир расстилается под ним, точно карта его души.

Буквы, несомые смерчем. Разбросанные листы, которые он подбирает; разметанное тело, которое он собирает заново.

Стук в дверь: Матрена в ночной рубашке, на мгновение обретшая пугающее сходство с матерью.

— Можно? — севшим голосом спрашивает она.

— Как твое горло, все болит?

— Мм.

Она присаживается на кровать. Даже на таком расстоянии он слышит, насколько затруднено ее дыхание.

Зачем она пришла? Хочет помириться с ним? Выходит, и она тоже изнемогла?

— Павел, когда писал, сидел точь-в-точь, — говорит она. — В первую минуту я даже приняла вас за него.

— Я кое-что сочиняю и как раз добрался до середины, — говорит он. — Ты не против, если я продолжу?

Девочка тихо сидит у него за спиной, наблюдая за тем, как он пишет. Воздух в комнате наэлектризован, кажется, даже пылинки замерли и не падают больше.

— Тебе нравится твое имя? — несколько погодя негромко спрашивает он.

— Имя?

— Да. Матрена.

— Нет, терпеть его не могу. Это отец мне такое выбрал. Не знаю, зачем он меня так назвал. Бабушку тоже звали Матреной. Она умерла до того, как я родилась.

— Я придумал для тебя другое. Душа, — он пишет это слово вверху страницы и показывает ей. — Нравится?

Матрена не отвечает.

— Что на самом деле случилось с Павлом? — спрашивает он. — Ты знаешь?

— Я думаю... думаю, он пожертвовал собой.

— Ради чего?

— Ради будущего. Чтобы стать одним из мучеников.

— Мучеников? Но что такое мученик?

Матрена колеблется.

— Тот, кто жертвует собой. Ради будущего.

— Выходит, и чухонка была мученицей?

Матрена кивает.

Интересно, думает он, Павел тоже стал под конец изъясняться готовыми формулами? Впервые у него возникает мысль, что, может быть, Павлу и лучше было умереть. И он честно, не отступаясь, обдумывает ее.

Война: стариков с молодыми, молодых со старыми.

— Ты, пожалуй, иди, — говорит он. — Мне нужно поработать.

Поставив на следующей странице заголовок «ДЕВОЧКА», он пишет:

Однажды ему приносят письмо, имя и адрес выведены опрятными печатными буквами. Девочка забирает письмо у дворника и оставляет в его комнате прислоненным к зеркалу.

— То письмо — знаешь, от кого оно? — с нарочитой небрежностью спрашивает он, едва они в следующий раз остаются одни. И он рассказывает ей о Марье Лебядкиной, опозорившей своего брата, капитана Лебядкина, и ставшей посмешищем всей Твери, объявив, что некий поклонник, имя которого она, жеманясь, скрывала, просит ее руки.

— Так это письмо от Марьи? — спрашивает девочка.

— Подожди, узнаешь.

— Но почему все смеялись над ней? Почему бы кому-то не захотеть на ней жениться?

— Потому что она слабоумная, а на слабоумных не женятся из страха, что они наплодят слабоумных детей, а те наплодят таких же и так далее, пока вся земля не наполнится идиотами. Это ведь как поветрие.

— Поветрие?

— Да. Хочешь послушать дальше? Все это произошло прошлым летом, когда я гостил у тетушки. Я услышал рассказы о Марии и ее призрачном обожателе и решил кое-что устроить. Первым делом я сшил белую сюртучную пару, чтобы выглядеть достаточно галантным для принятой на себя роли.

— Вот эту?

— Эту самую. Ко времени, когда костюм мой был готов, все уже знали, к чему идет дело, — в Твери слухи разносятся быстро. Я оделся, взял букет и отправился с визитом к Лебядкиным. Капитан был озадачен, сестра же — ничуть. Она никогда не теряла веры. После я заходил к ним каждый день. Как-то даже отправился с нею на прогулку по лесу, только с ней, ни с кем больше. А на следующий день укатил в Петербург.

— Так, значит, вы и были ее поклонником?

— Вовсе нет. Поклонник ей попросту приснился. Слабоумные не отличают сна от яви. Верят в сны. Она и меня считала сном. Потому что я, видишь ли, вел себя совершенно как явившийся ей во сне человек.

— Но вы еще поедете и повидаетесь с ней?

— Не думаю. Собственно говоря, наверно не поеду. А если она явится сюда и станет меня отыскивать, не впускай ее в дом. Скажи, что я переехал и что адреса моего ты не знаешь. Или дай ей неправильный. Просто выдумай какой-нибудь. Ты ее сразу узнаешь. Долговязая, костлявая, зубы торчат наружу и все улыбается. В сущности, ведьма ведьмой.

— Так она про то и пишет — что хочет приехать к вам?

— Да.

— Но для чего?..

— Для чего я все это делал? В шутку. В провинции летом такая скука — ты и представить себе не можешь.

Описание этой сцены отнимает у него не более десяти минут, он не вымарывает ни слова. В окончательном виде она будет длиннее, но для нынешних его целей довольно и этого. Он встает, оставляя два исписанных листа лежать на столе.

Это покушение на невинность ребенка. Поступок, за который ему не будет прощения. Совершив его, он преступил порог. Теперь Бог обязан заговорить, долее молчать Он не посмеет. Развратить ребенка — то же, что совершить насилие над Богом. Лукавый способ, к которому он прибегнул, это западня — щелчок, и Бог в капкане.

Он сознает, что делает. И в то же время это состязание в коварстве между ним и Богом ведется им вне пределов собственной личности, возможно, и вне пределов души. Сам он стоит в стороне и следит за тем, как он и Бог кружат друг против друга. И время тоже встало и смотрит. Время замерло, все замерло в ожидании падения.

Мне нет больше места в моей душе, думает он. Он берет шляпу и покидает дом. Шляпа ему незнакома, да и обуви на своих ногах он тоже не узнает. Собственно, не узнает и себя самого. Попадись ему сейчас зеркало, он не удивился бы, обнаружив в нем размытые черты слепо всматривающегося в него чужого лица.

Он предал всех и более полного предательства вообразить не может. Если ему когда-либо хотелось узнать, чем отдает на вкус предательство — уксусом или желчью, — сейчас для этого самое время.

Но никакого вкуса во рту он не чувствует, как не чувствует и тяжести на сердце. Сказать по правде, в сердце его — полная пустота. Этого он не предвидел. Да и как бы мог он предвидеть? Не мука, тупое отсутствие муки. Так вот солдат, простреленный на поле боя — истекающий кровью, видящий кровь, но боли не чувствующий, — гадает: может быть, я уже умер?

Цена, которую пришлось заплатить, кажется ему непомерной. «Ему платят кучу денег за его книги», — повторила девочка слова другого ребенка, мертвого. Оба они не сказали главного, того, что взамен ему приходится отдавать свою душу.

И наконец он чувствует вкус. Пожалуй, все-таки желчь.

■

КЭРОЛ РУМЕНС

Стихи

Перевод с английского А. КУДРЯВИЦКОГО

Санкт-Петербург, завоеванный торговцами

Ветер трепал простодушную реку,
шлепал хляби ее по каменной талии.
Туристы глазели: вот ласковый бронзовый Пушкин
смотрит вниз, надувает зеленые толстые губы.
Власти глазели: вот толпы народу
являют образчики разной морали. *Наводнение* —
длинное слово из «Медного всадника», школьной поэмы,
когда-то затверженной назубок. Теперь люди помнят
другое: сколько надо просить за икону поддельную,
дальним родственником где-то украденную,
как не быть сплавленным в низовья посмертной реки.
Знают они и другие секреты, темные, словно глаза
русской невесты — красотки со спичечного коробка.

Из поэмы «Иконы и волны»

Живем и мы теперь уж по-другому,
не так, как жили — и боялись жить — на смутном берегу,
где пробегала легконогая, бесстрастная, блаженная История.
Живаго мужественно прошептал любимой: «*До свидания на том свете*». Мы же — не способны
к такой оптимистичной философии, и время —
единственное наше достоянье. Ты его едва ли сберегаешь,
а я могу лишь запереть его в старинных комнатах,
как призрак настоящего.
Быть может, лучше не пытаться
любить, коль этот свет — единственный, где любишь,
и милосерднее теперь уж не будить дитя,
чей сон мы стерегли все эти годы, —
ведь мы в душе давно и безболезненно с ним распрощались.

© Carol Rumens 1993, 1986
© А. Кудрявицкий. Перевод, 1999

СЬЮЗЕН СОНТАГ

Сцена письма

РАССКАЗ

Перевод с английского М. ГАЛЬПЕРИНОЙ

Вдохни поглубже. Еще ничего не надо делать, ты не готова. А когда ты будешь готова? Никогда. Никогда.

Это означает, что я должна начать сейчас.

Не начинай, даже и думать не смей, это слишком трудно. Нет, слишком просто.

Дай мне начать, все и так уже началось, теперь мне придется догонять.

Да не так же, дуреха. Невозможно начать, примостившись на краешке стула. Сядь по-человечески.

Не расхолаживай меня, ты что, не видишь — я ведь почти начала. Глубокий вдох, наплыв чувств… необходимые инструменты под рукой. Ручка, карандаш… пишущая машинка, компьютер?

Ты ведь знаешь, что все сама же и погубишь. Подобное дело требует времени. Почву надо подготовить. Остальные настороженно ждут твоего появления.

Ты хочешь сказать, наверное, — моего вторжения. Запросов, прошений.

Да, ты имеешь право, я это признаю. Вдохни поглубже.

Право дышать? Спасибо. А имею ли я право истечь кровью? Так, чтобы меня не останавливали, не накладывали жгут, не перевязывали. Дай мне попробовать. Просто не обращай на меня внимания, пока я буду пробовать.

***

Акт 1, сцена 2. Наморщив лоб, сжимая вспотевшие ладони, Татьяна садится за столик в своей спальне, собираясь писать письмо Евгению. Написав первое слово, она останавливается. Как же писать мужчине, с которым она встретилась-то один-единственный раз вечером, на днях, внизу, у окна оранжереи — наблюдательного пункта застенчивой девы, и при этом, хоть она не сводила с него глаз, взгляд ее не поднимался выше блестящих пуговиц на его сюртуке? И этот прилив тепла: она хочет что-то выразить. Она встает и просит няню приготовить чаю. Няня приносит к чаю ватрушки. Татьяна хмурится и вновь принимается писать. Ей мерещится его образ, вот он становится тоньше, съеживается, отдаляется. Любовь свою — вот что она хочет выразить. Она поет.

***

Ветер стучит ставнем, скрипучее гусиное перо Евгения проворно бежит по листу бумаги, словно плывет, виляя плавником, маленькая рыбка. «Дорогой батюшка, я давно уже хотел многое вам сказать, но не решался. Быть может, у меня хватит смелости изло-

---

© 1986 by Susan Sontag, first printed in THE NEW YORKER Magazine. Reprinted with the permission of the Wylie Agency, Inc.
© М. Гальперина. Перевод, 1999

жить все в письме. Быть может, наедине с листом бумаги я окажусь смелее». Начав письмо такими словами, Евгений будет изо всех сил стараться оттянуть решительное объяснение. Это будет обличительное письмо, если только Евгению хватит духу его написать. Оно будет очень длинное. Евгений подбрасывает полено в огонь.

***

Ночь перед повешением Дюмана, десять минут первого, после особой трапезы под аккомпанемент гимнов и песен о свободе, которые его товарищи в соседних камерах будут петь до рассвета, чтобы его поддержать. Дюман сидит на каменном полу камеры, площадью три на четыре, подтянув колени к груди, на коленях у него листок бумаги, огрызок карандаша зажат между тремя изувеченными пальцами левой руки — правую ему сломали — и медленно, старательно выводит слова последнего письма. «Когда ты прочитаешь эти строчки, меня уже не будет в живых. Мужайся. Я спокоен. Мбангели и я, мы оба умираем в уверенности, что наша жертва не напрасна. Не горюй обо мне слишком долго. Я хочу, чтобы ты снова вышла замуж. Утешь бабушку. Поцелуй детей». В этих строках содержалось нечто большее, в нетвердых печатных буквах было что-то еще, и оно как раз являлось самым главным. Письмо подходит к концу: «P.S. Милая доченька, помни всегда, что отец твой любит тебя и хочет, чтобы ты выросла такой же, как твоя мать. Дорогой мой сын, прошу тебя, позаботься о матери, ей будет очень нужна твоя помощь, и учись хорошо, чтобы быть готовым занять свое место в нашей борьбе».

***

Подумать только, ведь все те безыскусные письма она писала между делом, отрываясь ненадолго от мучительного сочинения сложных романов и эссе, которые принесли ей скорую славу, а теперь вот вышло собрание ее писем в двух томах, и, говорят, это лучшее из всего, что было ею написано. Привлекают и зачаровывают не только ее вдохновенные строки, всех трогает идиллическая картина любящей семьи, из которой вышла такая женщина. Неужто такие дружные семьи до сих пор существуют? Даже в наши дни? Никто не знал о раздраженных письмах к сестре, которые муж покойной сжег в барбекю. Мир устал от разочарований, от разоблачений, мир изголодался по образчикам честности. Наш мир. Никто лучше мужа ее не знает, ни один человек не знает, какой героиней она показала себя в последние месяцы своей ужасной болезни, когда опухоль мозга лишила ее речи, и он стал писать письма за нее, от ее имени, письма, которые она написала бы, если бы могла писать. Как страж ее репутации, он теперь может наконец погрузиться в ее работу, чего при жизни она ему никогда не позволяла. Он будет таким же требовательным, как она. Кто-то, какой-то неведомый профессор, принялся за ее биографию; неизвестно еще, стоит ли с ним сотрудничать. Газетный репортер с Дальнего Востока пишет ему слезливое письмо о «невосполнимой потере для литературы». Он отвечает, завязывается переписка. Может, это ее давний любовник? Из Гонконга приходит пакет с ее письмами, шестьдесят восемь писем, перевязанных красной ленточкой. Эти письма он читает с изумлением. Удар с того света: это не та женщина, которую он знал.

***

Акт 1, сцена 2. Татьяна залпом выпивает чай, который принесла ей няня. Запустив левую руку в вырез сорочки, она потирает прелестное плечо. Она только начала писать. Восторженный порыв, в котором хочется выплеснуть свои чувства, сам по себе должен служить наградой, но ей мало этого, ей уже необходимо получить ответ. «Вы даже не взглянули на меня», — пишет Татьяна на первой странице. А в середине второй страницы она пишет: «Я пишу тебе сейчас, чтобы спросить, думал ли ты обо мне когда-нибудь?» Потом она плачет и (не в поэме и не в опере, нет — в жизни) начинает письмо сначала. А в опере ее охватывают чувства и уже не оставляют до конца.

***

А вот и я, а вот и мои бессмертные чувства, по крайней мере мне они кажутся бессмертными, и ясно, что всего этого запросто могло не быть. Мы могли не встретиться.

Мы встретились благодаря пожару, нет, ничего серьезного, в шестиэтажном доме, где мне посчастливилось найти комнату с твердой арендной платой. Жилец с пятого этажа, обкурившись марихуаной, поджег свой диван, набитый конским волосом. Пошел дым, едкий черный дым, ничего серьезного. Я дрожала на улице без пальто, а ты скармливал мелочь газетному автомату, тебя интересовала «Таймс». Увидев, что я тебя разглядываю, ты расспросил меня о пожаре. Ничего серьезного. Мы обогнули пожарные машины и зашли в кофейню через дорогу. Это было в январе прошлого года, теперь я умираю от того, насколько все серьезно. Почему ты ушел? Неужели меня не задевает его холодность? Что это за белый лист передо мной на столе? Я села писать тебе письмо: можешь ли ты меня полюбить опять? — но, вероятно, так и не напишу.

***

Письмо, которое не было отправлено, — привидение письма.

Письмо, которое не пришло, — привидения двух других разновидностей. Письмо, которое потерялось (на почте). Письмо, которое не было написано, но она утверждает, что написала, только оно наверняка потерялось (на почте). Почте доверять нельзя. Нельзя доверять отправителю.

***

Написать вообще — значит высказать вообще все. Это момент откровения. Поэтому она взвешивает каждое слово, сочиняя в уме письмо. Но письмо, которое существует только в голове, все равно уже письмо. Говорят, Артур Шнабель мысленно играл на рояле.

***

Акт 1, сцена 2. «Я к вам пишу, — Татьяна начала все сначала — она нашла верный тон, — чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать».

Лампа на столе мигает. Или это луна, дрожащая луна становится ярче?

Ложись спать, дитя мое, бормочет старая няня.

Ох, няня, милая, ох-ох-ох…

Но она не ищет утешения на груди своей доброй милой няни.

Что, дитя мое, что с тобой?

Няня, мне душно, открой окно.

Дряхлая старуха спешит исполнить приказанье.

Няня, я озябла, принеси мне шаль.

Та в замешательстве застывает у окна.

Ох-ох-ох…

Хочешь, я спою тебе, дитя мое?

Нет, няня, это я должна петь. Девичьим сопрано. Оставь меня, няня, милая, старенькая моя няня, я должна петь.

***

В этом письме плохие новости.

Даже не знаю, с чего начать. Сначала казалось, что все не так плохо. Мы не теряли надежды. Положение ухудшилось только под конец. Я надеюсь, что ты достойно встретишь удар. Если бы ты знала, как тяжело писать, и т. д.

***

Почему люди больше не пишут писем? (Многое можно сказать по этому поводу, даже не упоминая о телефоне.) Просто люди не желают тратить на это время; как прави-

ло, это отнимает много времени, потому что им не хватает уверенности. Как только они заносят авторучку над чистым листом бумаги, начинаются сомнения. Первичный избыток материала никак не удается легко и быстро перевести в слова, которые бы соответствовали… чему соответствовали бы? Снова сомнения. Приходится писать черновик.

А письмо потом кажется таким… однобоким, что ли. Или идет недостаточно быстро. Очень не терпится скорее получить ответ.

***

Эта плохая весть еще хуже. Это уже по-настоящему плохая весть, из тех, что требуют определенной церемонности. Он написал слова утешения таким помпезным, официальным языком, что письмо мне показалось просто душераздирающим.

***

В отличие от влюбленных, в отличие от близких друзей дети и родители никогда не приходят в восторг или в отчаянье, внезапно открыв, что они могли не встретиться. И могут не расставаться, за исключением тех случаев, когда расставанье уже произошло. Евгений подбирается к сути своего послания:

«Вы были щедры ко мне, батюшка, и, несомненно, желали мне только добра. Не сочтите меня неблагодарным за то ежемесячное содержание, которое вы мне назначили с тех пор, что я закончил свое обучение. Но так же, как вы всегда поступаете сообразно вашим принципам, я должен впредь всегда поступать сообразно своим». Холодное письмо (тон, который он пытается найти, — нечто вроде туманной искренности) превращается в страстное и неистовое.

***

«Гонконгские письма», как окрестил их вдовец, раскрыли ему глаза на любовную связь, длившуюся десять лет, и на изощренный разврат, склонности к которому он и не подозревал в своей супруге. Сексуальные отношения любовников подробно описывались, равно как и легкость, с которой его жена могла получать удовольствие в разлуке с любимым в любой момент, полностью одетая, на людях (болтая за коктейлем, читая перед публикой свои произведения), осторожно прижавшись к чему-нибудь и просто вспомнив то грубое удовольствие, какое они дарили друг другу. А «он» — всегда «он» — упоминается из письма в письмо уважительно, как и его подкупающая неприхотливость и несексуальное покровительство, без этой тихой гавани она не могла бы писать. Господи! Так вот чем было для нее его неприлично пламенное обожание? Отлынивание от супружеских обязанностей? Ну, теперь уж он покажет когти — совершить убийство на почве ревности никогда не поздно. Он покупает билет до Гонконга.

***

А сорокатрехлетний служащий из Осаки в поврежденном самолете, который кружит, теряя высоту, пикируя прямиком на скалы, сумел превозмочь ослепительно белую вспышку животного ужаса и, вырвав из блокнота листок, подобно Дюману тоже пишет прощальное письмо жене и детям. Но в его распоряжении только три минуты. Другие пассажиры — кто визжит, кто стонет; кто-то молится, упав на колени, а на головы им сыплются дождем пакеты и чемоданы, подушки и пальто. А он уперся коленями в переднее сиденье, чтобы не свалиться в проход, левой рукой придерживая портфель, на котором пишет, быстро, но разборчиво; он завещает детям слушаться мать. Жене своей объявляет, что ни о чем не жалеет, «мы жили полной жизнью», — пишет он и просит ее смириться с его смертью. Он подписывает письмо в тот момент, когда самолет переворачивается вверх дном, он успевает засунуть письмо в карман пиджака, и его швыряет перед носом соседа в окно головой; наступает благословенное забытье. Когда его разбитое тело обнаруживают на поросшем кедрами склоне, среди пятисот с лишним трупов, находят это письмо, и служащий «Японских авиалиний» с покрасневшими глазами вручает его

жене погибшего. Письмо публикуют на первых страницах газет. Вся Япония, как один человек, утопает в слезах.

***

Ее письма были аккуратно выровнены по признаку одиночества. Разлука стала поводом, случаем и оправданием для того, чтобы писать письма.

Вот фрагмент одного письма ко мне:

«Вскоре после этого я провела месяц на благоухающем лавандой островке у побережья Далмации. Я нашла комнату в рыбацкой хижине и таких же, как я, туристов, которые мне понравились. С ними я и проводила большую часть времени: мы ныряли в аквалангах с моторной лодки, взятой напрокат, устраивали пикники с жареной скумбрией и свежевыпеченным плоским хлебом — называется «лепинья» — в тени сосен на полуострове; рассказывая о своей жизни, мы долгими вечерами сидели в портовом кафе. Я уехала первой, до того, как они разъехались, кто в Хьюстон, кто в Лондон, кто в Мюнхен; и когда пароход отошел от пристани, я усиленно замахала рукой. «Пишите! — закричала я. — Пишите!»

Первым, кого я снова увидела, был адвокат из Техаса, я встретила его следующей весной в Женеве. Мы много друг другу писали. Он поддразнил меня: «Ты так орала «Пишите!», как будто мы тебя бросаем одну, а ведь это ты нас бросила, ты захотела уехать». Моя гордость была задета. С тех пор я ему не пишу».

***

И снова мне (отрывок): «...Не подумай, что я так говорю от недоверия или черствости. Или что я отрекаюсь от тебя. Но человек живет плохо оттого, что боится жить один».

***

В письмах к другому, не ко мне, она позволяла себе лирическое тремоло.

С четырьмя дромадерами дон Педро д'Альфарубейра обошел весь мир и восхитился им. Он сделал то, о чем я всегда мечтал. Было б у меня три дромадера! Или два! Это я пишу, оседлав своего конька. Я вижу мир со всеми его чудесами. Вот что я всегда хотел делать в своей одной и единственной жизни. Но помимо этого я еще хочу поддерживать связь. Поддерживать связь хочу.

С тобой. И с вами.

***

«Надеюсь, батюшка, вас обрадует известие, — добавляет Евгений, — о том, что я расплатился со своими карточными долгами». Он хотел, чтобы это прозвучало саркастически, но выходило так, будто он старается умаслить старика. Почему, ну почему он опять пытается завоевать расположение отца? Та часть письма, в которой несостоявшийся поэт описывает свою беспутную жизнь, должна быть исполнена в темпе presto, в стиле вызова на дуэль.

***

На самом деле в падающем самолете пишет еще один пассажир — четырнадцатилетняя девочка, которая, возвращаясь в Токио из Осаки, где она гостила у тети и замечательно провела выходные на спектаклях Такарацука, начинает писать тете благодарное письмо. Когда пилот делает первое хриплое объявление, она поднимает ручку, вздрагивает, потом снова опускает ее, чтобы вместо благодарности написать: «Я боюсь. Я боюсь. Помогите помогите помогите».

Буквы неразборчивые. Ее письмо так никогда и не найдут.

***

Вот саше со старыми письмами. Старые листья... я собиралась их перечитывать. Они от моего бывшего мужа. Мы были женаты семь лет и поскольку думали, что наш брак будет вечным, то устроили мне годовой академический отпуск, я получила оксфордскую стипендию, мы расстались на учебный год и каждый день посылали друг другу синие карточки авиапочты. В те далекие дни никто не пользовался трансатлантической телефонной связью. Мы были бедны, он был скуп. Обнаружив, что могу без него жить, я постепенно отдалялась от него. Но все равно писала каждый вечер. В течение дня я мысленно сочиняла ему письмо, я все время в мыслях с ним разговаривала. Видите ли, я так к нему привыкла. Я чувствовала себя такой защищенной. Я не ощущала себя отдельной личностью. Все, что я видела, пока мы были порознь, я старалась запомнить, чтобы ему описать, и мы никогда не расставались больше чем на несколько часов, только на то время, когда он уходил преподавать, а я учиться. Мы были ненасытны. Бывало, что у меня мочевой пузырь чуть не лопался, а я не хотела прерываться или прерывать его, и он, продолжая разговор, мог сопровождать меня в туалет. Бывало, возвратившись за полночь с вечеринки, как в те степенные времена преподаватели величали свои сборания, мы просиживали в машине до рассвета, забыв зайти в собственную квартиру, — так увлечены были обсуждением его противных коллег. Столько лет этого безумного дружеского трепа! С тех пор как все это кончилось, прошло уже втрое больше времени. Интересно, хранит ли он мои письма. Или, может, чтобы укрепить отношения со своей второй женой, он бросил их в камин? Целый год после развода я почти каждое утро просыпалась с глупой улыбкой удивления и облегчения от того, что я больше не его жена. После этого я ни с кем уже не чувствовала себя такой защищенной. Это неправильно — чувствовать себя полностью защищенной. Я не могу, я не перечитываю тех писем. Но мне нужно думать о них, думать о том, что они лежат себе в шкафу, в коробке из-под обуви. Они — часть моей жизни, моей мертвой жизни.

***

Акт 1, сцена 2. «Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селенья я никогда не знала б вас, не знала горького мученья. Души неопытной волненья смирив со временем (как знать?), по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать». Чувство Татьяны бесспорно. Но каким образом оно может вызвать ответное чувство в другой груди? Каковы законы возгорания? Она может говорить только о своих чувствах — бесспорно, ее собственных, пришедших к ней из слезливых эпистолярных романов о любви, столь любимых ею. Об избранности: «Другой!.. Нет, никому на свете не отдала бы сердца я! То в вышнем суждено совете... То воля неба: я твоя; вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой; я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой...»

Залоги, обещанья — разве страсть, с которой мы их даем, только подтверждая силу того, кто ей сопротивляется, это не страсть забвения? Неукротимая сила этой страсти необходима нам, чтобы закрыть двери и окна разума и освободить место чему-то новому. Татьяна откидывается на спинку стула, дрожа от холода и покрываясь испариной, и проводит рукой по лицу. Ничто в благоуханном детстве, прошедшем среди серебряных березок, не подготовило ее к такому внезапному сужению мира. Она тщетно пытается вызвать в памяти образ своей милой сестрицы, своих уютных добрых родителей. Но целый мир сжался до одного лишь образа Евгения, его мрачного, мятежного лица. Когда все уже будет позади, пусть он растает в лунном свете, пусть испарится, как сопрано духов. Без забвения нет блаженства, нет радости, нет надежды, нет гордости, нет *настоящего*. Без забвения не может быть ни отчаяния, ни унижения, ни тревоги, ни вожделения, ни *будущего*.

***

Иные мольбы о любви, иной вид неуверенности в себе.

Когда я в первый раз тебя увидел, на шее у тебя был белый шарф, на волосах твоих лежал солнечный зайчик, на тебе была блуза в полоску, льняные брюки и сандалии. Поглядывая с террасы кафе на Пьяцца дель Пополо, я увидел, как ты подходишь. Я не подумал, что ты прекрасна. Весело рассказывая о том, как ты провела ночь в кутузке за то, что, получив от полицейского штрафную квитанцию за превышение скорости, порвала ее на мелкие кусочки, ты села и заказала лимонный шербет. Я увидел тебя и подумал: если я не смогу сказать «я люблю тебя», я погиб. Но не сказал. Вместо этого я собираюсь тебе написать. Самый слабый ход.

Теперь, когда я вижу, как ты прекрасна, твое лицо неотвязно меня преследует. Твои глаза, как будто с выпуклого экрана, следят за мной. Я не хочу говорить тебе, что ты прекрасна. Надо мне подумать о чем-нибудь другом. Обычай и мое пристрастное сердце требуют, чтобы я тебе льстил. Выклянчивал у тебя чувства. Мне хочется повторять эти благословенные слова: любовь, люблю, любить.

Я получила письмо от близкого друга. Неделю не распечатывала. Оно лежало на ночном столике и тлело. Конверт, на котором написано имя случайного знакомого, я вскрыла сразу же, пока поднималась по лестнице, уверенная, что письмо в нем не может ни взволновать меня, ни ранить.

Вынужден сообщить, что я пишу мелким почерком, таким мелким, что на первый взгляд его и разобрать-то невозможно, но это не так. Такой почерк можно расценить как нежелание быть узнанным, как отказ от человеческого общения; но я хочу, чтобы ты меня узнала, ведь я для того и пишу тебе, солнышко мое.

Любовь моя, утром я получил твое чудесное письмо (напечатанное на машинке) и спешу ответить. Пожалуйста, пиши еще.

Еще поднатужься — вот смысл твоей просьбы. Я сижу в своей норе за кухонным столом и размышляю, что бы такого написать. При этом я стираю ладонью пыль с машинки, накручиваю на палец прядку, трогаю подбородок, подношу руку к глазам, потираю нос, отбрасываю волосы со лба, как будто ради этого я и села за стол, а не ради листка бумаги, заправленного в пишущую машинку. Может быть, моя попытка написать тебе окажется неудачной, но совсем не пытаться в данном случае тоже означает потерпеть неудачу.

Конверт с черной полосой по краю пришел из Германии, в нем было отпечатанное на машинке сообщение о смерти моего милого знакомого, о которой я узнала по телефону еще неделю назад. Мне было бы легче вскрывать почту, если бы существовал единый цветовой код. Черный конверт — смерть. (Кристоф умер в сорок девять лет от второго инфаркта.) Красный — любовь. Синий — нетерпение. Желтый — гнев. А конверт с каймой цвета, который называется «увядшая роза», — может, доброта? Почему-то я все время забываю о том, что существуют и такие письма: выражение бескорыстной доброты.

Привет, привет, как поживаешь, как поживаешь, у меня все прекрасно, у меня все хорошо, а ты как, а как там…

А ты, мой милый?

***

Акт 1, сцена 2. Вздыхая, трепеща, Татьяна продолжает писать письмо, пестрящее ошибками во французских словах (должно быть, она волнуется). Она слышит себя, свои слова. И соловьиные рулады. (Я уже говорила, что в саду соловей?) Уже светает, но ей еще нужен мерцающий свет лампы. Она поет свою любовь. Или, точнее, это поет оперная певица, поющая партию Татьяны. Хотя Татьяна совсем еще молоденькая девушка, ее партию часто исполняет какая-нибудь перезрелая прима, чей голос никогда уже не будет звучать как надо. Он должен плыть. Но если старательно произносить каждую фразу,

голос едва ли будет течь или плыть: его как будто специально сдерживают или, наоборот, подхлестывают. К счастью, это хороший спектакль. Голос парит. Татьяна пишет. И поет.

***

Я больше не могу без твоих писем и не выхожу из дому. Неужели я когда-то была беспечной и легкомысленной? Теперь я влачу за собой длинную тень, и зелень вянет, когда я прохожу мимо.

Я сижу в четырех стенах, жду твоего ответа. Мой самовольный домашний арест оказался самым длинным сроком заключения в моей жизни. Иногда я ложусь спать уже поздним утром, почти днем, после того как приносят почту: дневной сон у заключенных называется убыстрением времени. Но твое письмо придет.

***

Я пишу твое имя. Два слога. Две гласные. Твое имя распирает тебя, оно тебя больше. Ты отдыхаешь в уголочке, спишь; твое имя тебя будит. Я пишу его. Тебя не могут звать никак иначе. Твое имя — это твой сок, твой вкус, твой привкус. Назови тебя другим именем — и ты исчезнешь. Я пишу его. Твое имя.

***

«Друг мой! Друг мой! Вы — это все, что у меня осталось, моя единственная надежда, мой друг! Только вы можете меня спасти. Я хочу приехать к вам, быть рядом с вами, быть подле вас. Я не буду вам мешать, не буду приходить, отвлекать от работы, мне только надо знать, что за стеной моей комнаты есть еще живой человек. Вы. Мне нужно ваше тепло. Меня уничтожили! Я разбит, я растерзан! После этого кошмарного года мне нужно прийти к вам — к вам под крылышко! Вы могли бы найти мне комнату? Какую угодно, мне нужен только стол и вид из окна, то есть окно, откуда можно что-то увидеть, кроме стены, но пусть даже окно будет с видом на стену — это не важно, коль скоро я буду рядом с вами. Вы спасете меня, вы укажете, что мне делать, как мне жить. И не могли бы вы одолжить мне денег на билет? Мне ничего не нужно, я не буду ни о чем вас просить, я больше не потревожу вас — мне бы только очутиться здесь, это я вам твердо обещаю. Кто лучше меня поймет, как вы нуждаетесь в уединении? Я восхищаюсь вашей независимостью, вашей выдержкой! И вашим благородным сердцем. Если вы будете моей путеводной звездой, я стану таким же независимым. Я буду сам готовить еду, если понадобится, я привык сам о себе заботиться, но если бы вы нашли в деревне кого-нибудь, кто бы присматривал за моим нехитрым хозяйством, мне было бы еще легче сидеть в своей комнатке, смотреть в окно и безмятежно думать о вас, никогда не пытаясь вас обеспокоить. Вы единственный человек, к которому я могу обратиться, — но ведь вы и единственный человек, кто мне нужен. Вы помните нашу первую встречу, и как волоски медных ламп сияли над нами? Вы тогда все поняли. Вы всегда меня понимали. Пожалуйста, сделайте чудо. Сотворите его! Спрячьте меня! Найдите мне комнату!»

Я нашла ему комнату, комнату в соседнем доме, на холме над дюнами. И я написала ему, что из окна он увидит деревья и простор, и детей, запускающих змеев, и что мы тоже будем их запускать.

«Это почерк сумасшедшего», — сказал мне друг, которому я показала то письмо с чересчур крупно выведенными буквами после того, как автор его умер. Нет, не сумасшедшего, а ребенка: дети тоже пишут такими большими буквами, водят не кистью, а всей рукой, от плеча. ДОРОГАЯ МАМОЧКА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ ВСЕМ СЕРДЦЕМ. Я ВСЕГДА БУДУ ТЕБЯ ЛЮБИТЬ.

Я нашла ему комнату. А он так никогда и не приехал.

***

В натуральную величину под цифрой один (иллюстрация) и в увеличенном виде ниже, под цифрой два (то же самое, представлен образец письма, используемого Ричар-

дом Энтоном в двадцатые годы, в частности, для защиты рукописи от нескромного взгляда. Профессор Иоахим Грайхен установил, что большинство этих текстов при ближайшем рассмотрении оказались черновыми набросками прозаических произведений, которые Энтон позже дополнил и опубликовал. Несмотря на то что около тысяча девятьсот тридцать первого года он вернулся к своему обычному почерку, изображенному на следующей странице под цифрой три (то же самое), он все же имел обыкновение варьировать размер букв. Например, в наиболее личной корреспонденции он часто пользовался очень крупными печатными заглавными буквами.

МНЕ НУЖНО. МНЕ ХОЧЕТСЯ. МНЕ НУЖНО. МНЕ ХОЧЕТСЯ.

***

Люблю мягкий климат. Лежу себе возле бассейна. Мои письма — это дневник. Я делаю вклад: помещаю свою жизнь в чужую. В твою. Надвигается летняя гроза. Надо ли описывать погоду (или пейзаж), чтобы посредством описания погоды (пейзажа) изобразить свои неурядицы? Когда я пишу, мне спокойнее. Я мямлю что-то невразумительное, меня колотит сексуальная дрожь.

***

Желание мимолетно, а почта работает медленно. Это запаздывание приводит к тому, что мои письма устаревают уже в момент написания, делая неправдой все, что я пишу. Ведь даже когда я пишу, принимая во внимание все подробности твоего последнего письма, где-то уже существует соответствующее письмо от тебя, написанное в ответ на мое предыдущее письмо, и в нем сказано что-то новое. В тот момент, когда я пишу, есть письмо, которое я еще не читала. Бог писем развлекается за наш счет. Наши с тобой письма перекрещиваются, а вот наши руки и ноги — нет.

***

Размышления примадонны:

«Я обожаю посетителей и терпеть не могу ходить на приемы. Я обожаю получать письма и даже их читать. Но я терпеть не могу писать сама. Я обожаю давать советы, но терпеть не могу, когда мне советуют, и никогда не следую сразу никакому мудрому совету».

Иногда в письма вложены фотографии, которые примадонна с удовольствием подписывает. Всегда ваша, пишет она. С наилучшими пожеланиями. Ваш друг. От всей души. С любовью. Да, совсем чужим людям — но они ведь горячие поклонники, — вот и я говорю: совершенно чужим людям, — и она пишет: С любовью.

***

Письма иногда служат для того, чтобы держать человека на расстоянии. Но некоторые могут ради этого написать целую уйму писем — по крайней мере одно, а бывает, что и два в день. Раз я пишу тебе, мне не нужно тебя видеть. Трогать тебя. Касаться языком твоей кожи.

***

Поначалу он пишет главным образом о своем удивительном, теперь уже легендарном открытии, об этой «шестиклассовой» системе брака на близлежащем острове Мортимер. Он счастлив. Она это чувствует. И она счастлива за него и говорит ему об этом. И он это чувствует — чувствует, что она желает ему счастья и с радостью предоставила бы ему вечность на эту работу, чтобы он не отрывался от своего дела, не думал о ней и не беспокоился. И он, казалось, еще сильнее в нее влюблялся в процессе переписки, он так жаждал быть рядом со своей корреспонденткой, но все же не вернулся в Англию (впрочем, и она не смогла к нему приехать); потом переписка оборвалась. Последнее письмо Тревора пришло через месяц после того, как Элизабет узнала из телеграммы, что он умер,

на двадцать пятом году жизни унесенный болотной лихорадкой. Она скупо изложила нам этот факт, практически без комментариев, и оставила нас — как и сама на полвека осталась — в безмолвии, с незаживающей раной и несбывшимися возможностями. Кто знает, могли ли они быть счастливы когда-нибудь потом?

***

Я не могла написать ему, что хочу развестись, нет, только не в письме. Мои письма должны быть о любви. Мне пришлось дожидаться, когда придет время вернуться. Он встретил меня в аэропорту, выбежал за ограждение, как только я сошла по трапу. Мы обнялись. Получили багаж, дошли до стоянки. Тут-то, в машине, прежде чем он успел включить зажигание, я ему все и выложила. Мы сидели в машине и говорили. Мы плакали.

Конечно, должно быть легче говорить «нет», или «довольно», или «никогда» в письме. Легче, гораздо легче, чем смотреть в несчастное, потемневшее лицо. А говорить «да»? Да.

***

Акт 1, сцена 2. Татьяна перечитывает свое письмо и ставит подпись. На бумаге следы слез, некоторые слова зачеркнуты — это не важно, это ведь не школьное сочинение. Пусть остается как есть. Она запечатывает его.

Встает солнце. Татьяна дергает шнур звонка, призывая сонную няню, которая уверена, что ее чувствительная девочка просто поднялась раньше обычного, и велит старушке отдать письмо внуку, чтобы тот поскорее отнес его их новому соседу. Кому? Кому? Татьяна молча указывает на милое имя на конверте.

А что же Евгений? Татьянин Евгений? Бледный, худой, угрюмый, в дорогих заграничных туфлях, он в тот вечер был неразговорчив, а ведь все его очень ждали. Возлюбленный всегда представляется одиноким тому, кто любит. Но Евгений (Евгений Евгения) и в самом деле такой одинокий и несчастный, каким Татьяна рисует его в своем воображении.

Таков он, Евгений (мой Евгений), написавший высокомерное письмо на шести страницах, которым он обрывает всякие отношения с отцом. В сердце его, клянется он, с этой минуты и до самой смерти не будет места любви.

Но потом он узнает, что отец умер (получил ли он перед смертью письмо Евгения?), и — здесь мой рассказ подключается к общеизвестному — возвращается в Петербург на похороны, приводит в порядок дела, собирается за границу и получает известие о том, что старший брат его отца при смерти (как недолговечны эти сердитые старички!), прибывает, как велит ему долг, в усадьбу дяди, в глушь, чтобы увидеть старика уже в гробу, и решает остаться в имении до тех пор, пока ему не наскучит (может ли деревенская жизнь восстановить поэтический дар?), остается один, но после месячного уединения, поддавшись на уговоры соседа, неохотно дает затащить себя на скромный вечер в доме местного дворянского семейства, там две дочери, простой семейный ужин — ну, разве кое-кто из соседей. Он обратил внимание на грациозную фигурку на подоконнике зимнего сада и подумал: если бы я мог влюбиться, то именно в такую девушку. Ее меланхолический вид он счел… аристократичным.

А потом он получает Татьянино письмо, он тронут, но еще больше жалеет ее за безыскусную невинность, ибо изгнал любовь из своего воображения. Он перечитывает письмо, вздыхает, он не хочет ее обижать. На исходе дня, самого долгого в жизни Татьяны, скачет к ее дому — он найдет ее в саду — с тем, чтобы объяснить ей, как можно учтивее, что не имеет намерения жениться и испытывает к ней исключительно братские чувства. Он не пишет Татьяне письма. Она не настолько его увлекла. Он все говорит ей в лицо.

***

Так же, как ты находишь в себе мужество писать мне, я нахожу в себе мужество читать твое письмо. Не воображай, будто я думаю над каждой строчкой, но я, кажется,

поняла, почему тебе трудно мне писать. (Видишь ли, ты мне позволил себя узнать.) Это оттого, что каждое письмо ты пишешь, словно впервые в жизни.

***

Евгений не знает, что после их разговора в саду Татьяна заболевает, что она едва не умерла. От стыда, от горя. Но спустя два года от бывшего однокашника он услышал, что она вышла замуж, притом удачно (в самом деле, ее муж — генерал, человек порядочный и к тому же давний друг семьи Евгения), и теперь живет в Петербурге.

Может быть, он не вспомнил об этом, когда еще через два года получил приглашение посетить Греминых? Когда генерал представлял его своей молодой жене, Евгений сначала не узнал в этой величавой и прекрасной княгине замкнутую и ранимую девушку, которой когда-то отказал в саду ее родителей. Ее глаза видят, но не смотрят. Они не спрашивают ни о чем.

Люстры, канделябры.

Незаметно для себя он начал часто бывать в особняке Греминых, старался встретить Татьяну в опере, на других приемах, но их общение сводилось лишь к обмену любезностями. Иногда ему удается набросить ей на плечи меховую накидку. Она с достоинством кивает — как это расценить? Порой ему кажется, что она не просто так прикрывает муфтой лицо. Евгений в смятении; он не сразу признается себе в том, что любит ее, любит невыразимо. Что эта любовь ниспослана свыше. Он знает это потому, что хочет ей написать. Не в этом ли ключ к тайне его иссушенного сердца? Теперь он смешон — пускай. И вот как-то ночью он до зари сочиняет эпистолярный вопль о любви — на четырех страницах. На следующий день пишет второе письмо. Потом третье.

И он все ждет и ждет ответа.

Что стало с письмом, которое она прислала ему четыре года назад? Он даже не удостоил его чести быть сожженным, оно просто где-то затерялось. Ах, если бы оно было у него сейчас, если бы лежало в бумажнике, потертое на сгибах и мокрое от его слез!

Пожалуйста, напишите мне, всего одно письмо, просит он кротко во время их последней встречи. Он застал ее в слезах: Татьяна больше не таится. Выйдя замуж, она определила свою судьбу, хотя никогда не переставала его любить. Он бросается к ее ногам.

Письма не будет.

Она ничего не забыла.

Будущего нет.

***

И вот я делаю глубокий вдох. Я готовлюсь, я готова, я не решаюсь. Вот сущность того, что меня сжигает. Она в моих ладонях, в моих словах.

Включи галогеновую лампу. Темновато в комнате.

Любовь моя, пожалуйста, пиши мне еще и еще. Твои письма найдут меня всегда. Можешь писать мне своим настоящим, бисерным почерком. Я буду держать его на свету. Я увеличу его своей любовью.

■

ЕЖИ ПИЛЬХ

Монолог из норы

ПОВЕСТЬ

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

Нора обустроена по вкусу ее обитателя. Как он сам любит говорить: уютная, прилично обставленная землянка. О подвальном характере помещения свидетельствуют типичные, хотя и находящиеся на заднем плане элементы: голые, испещренные потеками, в клочьях осыпающейся штукатурки стены, оконце под потолком, чугунная раковина с латунным краном, пальто и прочая одежда на вбитых в стену гвоздях, паутина труб.

А царящую здесь атмосферу уюта создают мебель и домашняя утварь. Все предметы (матрас на ножках, этажерка, диван, холодильник, кресло) ничем не примечательны, хотя, пожалуй, — учитывая специфику места, в котором они находятся, — отмечены своеобразной изысканностью. На просцениуме, обратной стороной к зрителю (так что ему виден лишь мертвенный отсвет экрана) — телевизор.

Обитатель норы постоянно ораторствует перед телевизором, беседует с телевизором, пьет за здоровье телевизора, ссорится с телевизором. Даже в тех случаях, когда может показаться, будто он обратился к кому-нибудь или к чему-нибудь другому, он обращается к телевизору; возможно даже, он заключает телевизор в страстные объятия либо нянчится с ним, как с младенцем.

Кроме того, он время от времени поглядывает на часы, указует пальцем вверх или вниз, впадает в состояние притворного умиления или непритворной ярости, поет, приводит сам себе резонные доводы и т. д. и т. п. Словом, делает что может, а чересчур много — признаемся честно — он и не может.

Между его обличьем бомжа, притом бомжа опустившегося, и утонченной, порой вычурной манерой излагать свои мысли — пропасть, вопреки видимости чрезвычайно легко преодолимая.

*

...это самое, Отче наш, хлеб наш насущный даждь нам днесь. Аминь... На нынешнем историческом этапе мой народ обуян тщетной заботой о своих бедренных артериях. Проявляя озабоченность незавидной участью своих бедренных артерий, мой народ в очередной раз доказывает, что не утратил исторического чутья. О чем говорят последние данные? О чем говорят последние сообщения? Пожалуйста. Перечисляю. Пенсионер из Гожова перерезал бедренные артерии двум напавшим на него хулиганам. Владелица земельного участка под Варшавой прострелила бедренную артерию забравшемуся к ней в огород воришке. Солдат польских миротворческих сил погиб оттого, что однополчанин случайно перебил ему штыком бедренную артерию. Геновефа К. во время трапезы, сопровождавшейся обильными возлияниями, так неудачно ткнула кухонным

© 1996 by Jerzy Pilch and Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS
© К. Старосельская. Перевод, 1999

ножом своего сожителя Марьяна С., что тот вследствие кровотечения из поврежденной бедренной артерии скончался на месте. Председатель Верховной контрольной палаты погиб в автокатастрофе, поскольку острый обломок кузова угодил ему в бедренную артерию. Осколок разбитой бутылки рассек бедренную артерию известного поэта Бернарда М., в результате чего польская литература понесла очередную невосполнимую потерю. Почти так же погиб контролер краковского Управления предприятий городского транспорта Анджей Р. Пожалуйста... Я перечислил. А ведь это всего лишь горстка самых последних данных. А ведь это только те случаи, о которых мой народ официально проинформирован. А о скольких перерезанных бедренных артериях мой народ ничего не знает? О скольких смертельных кровотечениях моему народу не сообщается по тем или иным причинам? Сколько искромсанных бедренных артерий, вопрошает мой народ, окружено заговором молчания? Сколько таковых скрывает и запрещает предавать огласке якобы несуществующая цензура? Да их тьма-тьмущая, отвечает мой народ, несть им числа. Взять хотя бы, с вековечной мудростью замечает он, взять хотя бы одну только мертвую статистику. Я с этим согласен. Статистика мертва, ибо колонки бездушных цифр как вампиры высосали из нее артериальную кровь...

Но шутки в сторону. Если бы здесь на полу — да, на этом самом полу — уложить всех моих соотечественников, которые скончались за истекшие сутки в результате повреждения бедренной артерии, я бы просто не смог встать с кресла. До сортира, прошу прощения, не смог бы добраться...

А Граха Петербург? А Граха Петербург? Она бы как до меня добралась? Как бы ей удалось над грудами обескровленных трупов распростереть млечные крылья своего попечительства? Каким образом она бы кормила меня, бедняжка?

Другое дело я сам, бывает, испытываю пресыщение. Когда она наливает мне очередную стопку горькой настойки или когда разламывает на дольки плитку превосходного шоколада, изготовленного из молока, текущего прямо со швейцарских Альп, или даже когда улыбается своей излучающей собачью преданность улыбкой, я, случается, ощущаю кратковременную пресыщенность и иной раз охотно перегрыз бы ей бедренную артерию. Не подумайте чего: я прекрасно к ней отношусь, порой даже для разрядки пересказываю себе во всех подробностях историю нашего бурного знакомства и тем не менее время от времени испытываю острое желание на нее наброситься, швырнуть на заваленные покойниками плитки из ПВХ, содрать колготки и впиться в ее божественное бедро. Да, у меня возникает низкопробное, точно вчерашний триллер, желание выпустить кровь из Грахи Петербург, а когда все будет кончено — спрятать ее среди прочих обескровленных трупов. Иногда мне хочется проделать это холодно. С ледяной расчетливостью. Какого черта ждать, пока я, потеряв над собой контроль, впаду в состояние аффекта? Какого черта ждать, покуда меня окутает черная вуаль безумия? Какого черта ждать? Какого черта опять ждать? Я и так всю жизнь ждал. Ждал, пока вырасту, ждал, пока закончу институт, ждал трамвая, ждал последних известий, ждал прогноза погоды, ждал крушения коммунизма. Ждал нерадивых официантов и открытия винных магазинов. Ждал ордера на квартиру и ждал взяток от своих пациентов. Ждал, пока куплю тебя, мой цветной кинескоп «Тринитрон»! Ждал девиц из агентства «Досуг», и ждал, пока моя бывшая жена вылезет из ванны, и ждал, пока Гомулка потеряет власть. Ждал, пока Герек потеряет власть. Ждал, пока Ярузельский потеряет власть... Ждал, пока Усатый Народный Вождь придет к власти. И ждал, пока Усатый Народный Вождь власть потеряет. Ждал, пока наша команда забьет гол. Ждал, пока пройдет похмелье, и ждал, пока первая рюмка ударит в голову. Господи! Не хотелось бы поминать Твое имя всуе, но я ждал кофе, ждал обеда, ждал апельсинов, ждал колбасу, а когда колбаса была по карточкам — ждал карточек на колбасу. Ждал театральную передачу по понедельникам, матча по средам и «Коломбо» по четвергам. Ждал в очереди за сигаретами, ждал, когда выйдет «Тыгодник повшехны»[1]. Ждал визита Папы Римского, ждал смерти Брежнева, ждал, когда человек вы-

[1] Католический еженедельник либерального толка; в ПНР придерживался оппозиционной правительству линии. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

садится на Луне. Ждал телефонного звонка, ждал письма, ждал билета. Ждал, пока подтвердится мой диагноз, ждал, пока подействует прописанный мною антибиотик, ждал, пока спадет температура. Ждал, пока пройдет насморк, головная боль, пока прекратится тошнота и рвота. Ждал заграничного паспорта, ждал самолета, ждал поезда. А когда поезд не отъезжал от перрона, ждал обещанных, уже поданных резервных автобусов. А когда обещанные, уже поданные резервные автобусы не отъезжали, ждал якобы обеспеченного организаторами ночлега в местном ПТКО[1]. А когда якобы обеспеченного организаторами ночлега в местном ПТКО мне не предоставляли, ждал, пока все это не полетит в тартарары. Что же, и теперь прикажете ждать? Ждать, пока меня кондрашка не хватит? Пока не поедет крыша? Пока я не озверею? Ждать, да? Спокойненько ждать, покуда я не рехнусь? Фиг вам, не надейтесь! Пусть только сюда войдет — я брошусь на нее как оголодалый зверь...

Граха Петербург всегда приходит во время передачи «Спокойной ночи, малыши». Хоть чем-то нам удалось облагородить наш союз. Значительное, можно сказать, духовное достижение... Без семи семь... Граха Петербург сейчас раскладывает на столе пеструю пластиковую сумку с надписью «Feiner Rauchen Milde Sorte»... Сейчас набивает ее разными вкусными вещами... Бутылка горькой настойки... Швейцарский шоколад... Кошерная антистрессовая минералка... Китайский суп в пакетике... Сейчас она моет руки... Сейчас поправляет макияж... Еще несколько минут — и она величавой поступью направится вниз, в подполье моих радостей и печалей. Еще несколько минут — и она снизойдет с седьмого этажа.

Семью этажами выше находится квартира, в которой когда-то я проживал со своей женой и своим неудачным сыном. В канун восьмидесятых, когда я спустился в подполье моих радостей и печалей, там осталась моя очаровательная жена и мой неудачный сын. В середине восьмидесятых, когда моя благородная жена ушла и мой неудачный сын тоже ушел, наш дом опустел. Ветер небытия гулял по комнатам. В канун девяностых, когда я вытащил Граху Петербург со дна, я и сам на некоторое время (неосмотрительно, ох, неосмотрительно) вылез из своей норы. Добрых шесть-семь месяцев я лицезрел не вызывающую сомнения шаровидность мира с высоты седьмого этажа. Вскоре, однако, ведомый инстинктом самосохранения, я вернулся обратно. Граха же Петербург осталась в моей бывшей квартире. Живет себе поживает в горних высях; я регулярно выдаю ей деньги на карманные расходы, а она навещает меня каждый день во время передачи «Спокойной ночи, малыши». Ибо эта передача благотворно действует на мою расшатанную нервную систему, и я проявляю исключительную терпимость. Раньше такого не бывало, и даже, по совести говоря, раньше бывало совсем наоборот. Раньше «Малыши» пробуждали во мне наидичайшие инстинкты. При виде Микки Мауса во мне вскипала ярость. Я ненавидел Утенка Дональда. Я только что не плевался, когда на экране появлялся Мишка Ушастик. Я осыпал грязной бранью Воробья Чикчирика. Бедняжку Винни-Пуха — стыдно сказать, как я обзывал. Но это все в прошлом. Человек развивается и меняет взгляды. Сейчас, когда начинаются «Малыши», я становлюсь милым и симпатичным, как мультик. Я слежу за перипетиями Волка и Зайца и добродушно улыбаюсь. Да, да. Не фыркаю с отвращением — добродушно улыбаюсь. Граха Петербург приносит лакомства, кормит меня и, если после «Спокойной ночи» или «Новостей» показывают сериал, в котором завязываются отношения между дамой в возрасте и зеленым юнцом, остается до конца серии...

Я слышу ее шаги. Идет. Спускается с горних высей. Приближается. Бедренная артерия Грахи Петербург приближается ко мне на небезопасное расстояние.

Ты ошибаешься, моя безошибочная контрольная таблица, никакое это не помешательство... Я в здравом уме и знаю, что говорю. Каждый день и каждую ночь, в неких конкретных обстоятельствах, в результате повреждения бедренной артерии истекают кровью от одного до нескольких десятков моих соотечественников. Истекают кровью на скомканных простынях, на лестничных площадках, в камышах, на диванах, на газонах, в

---

[1] Польское туристско-краеведческое общество.

придорожных канавах, на коврах и на паркете. Зеленая карта Польши темнеет от светлой артериальной крови.

Еще раз повторяю: никакое это не помешательство и не idée fixe. Некоторую роль тут, быть может, сыграл мой профессиональный опыт. Однако, посмотрев с другой стороны, позволю себе сказать, что, будучи противником теории заговоров как основополагающего фактора истории, я тем не менее на сто процентов убежден в существовании заговора против наших бедренных артерий. Мой народ, впрочем, считает, что верно и то и то. Или, точнее, поскольку верно одно, верно и другое. То есть, по мнению моего народа, поскольку теория и практика заговоров в истории вещь известная, существует и заговор, направленный против бедренных артерий моего народа. На данном этапе история ополчилась на самый уязвимый участок кровеносной системы Третьей Речи Посполитой. Выходит, мой народ не только сторонник заговорщицкой теории истории, но и сторонник и приверженец заговорщицкой теории медицины. Ну а в том, что существует географический заговор, мой народ убежден с того времени, когда — протерев глаза — уразумел, какие ему достались земли. Уже первые праславяне, едва успев обособиться, свято уверовали, что местоположение их отечества было бы иным, не будь тайного заговора.

— Какой заговор? Чей заговор? Что значит — чей! Это самое... Что значит — какой! Известно чей! Известно какой! На свой лад, концы с концами тут сходятся, есть во всем этом своеобразная, но, как ни крути, железная логика. Раз уж столетья назад в неких праславянских кругах на ура было принято утверждение, будто достигший подножья Карпат ледник отступил в результате национально-освободительного подъема местных племен, а подъем этот, в свою очередь, был использован определенными кругами в собственных интересах, из чего неопровержимо следует, что ледник отступил в результате историко-географического заговора, то почему нынешнее утверждение, будто бедренная артерия всегда была ахиллесовой пятой поляков, должно звучать менее достоверно?

*

И потому, когда я прикасаюсь к этому самому месту, когда я невольно словно бы беспрерывно ласкаю свое левое бедро, никакой это не рефлекс и не вредная привычка и уж конечно не симптом аутоэротизма. Это защитная реакция. Я защищаю свои бедренные артерии, защищаю наружную артерию и защищаю внутреннюю, оберегаю их от острия, которое в любой момент может в них вонзиться. Не стану скрывать: я работал в системе здравоохранения. На заданный персонажем некоего классика вопрос «кто ж я таков именно?» я мог бы, перефразируя этого же классика, ответить: я один участковый врач[1]. Двадцать лет я вдыхал запах антисептики в поликлиниках, диспансерах, амбулаториях, приемных покоях и медпунктах. Я часто менял место работы, но запах везде был одинаков: запах перевязочных материалов и стерилизационных растворов, запах вскрытых брюшных полостей и влажных рентгеновских снимков. Запах сочащейся из-под бинтов крови и запах смертного пота. Извечный трупный запах медицины.

Я выбрал медицину, хотя меня тянуло к литературе. Выбор, понятное дело, неудачный; впрочем, это не означает, что было бы лучше, если бы я медицине предпочел литературу. В литературе — вне всяких сомнений — я бы тоже ничего не добился.

— Пойми меня правильно: я вовсе не пытаюсь выставить себя этаким несчастным страдальцем, не похваляюсь ребяческим пессимизмом, школярской убежденностью в бессмысленности жизни, не упиваюсь безнадежностью. Я не выворачиваю перед Тобой своего почерневшего от несбывшихся надежд нутра и не заставляю Тебя восхищаться его содержимым. Погляди, о прекраснейшая из женщин, знакомящая нас с прогнозом погоды, погляди, сколь прекрасны потроха мои в своем трагизме! Нет, я даже в литературе терпеть не могу мрачных монологов с физиологическими подробностями. Конечно, жизнь меня порядком измордовала, но все удары судьбы сносил мужчина. Человек, я бы сказал, обязан быть мужчиной.

---

[1] «Я один коллежский асессор» — *Ф. М. Достоевский.* Записки из подполья.

*

Я выбрал медицину, хотя с медициной у меня никогда не было ничего общего. Да и что общего я бы мог иметь с медициной, если у меня с самим собой нет ничего общего? Это тоже искаженная цитата из одного классика. Классик, правда, не русский, но это не важно. От медицины у меня осталось умение распознавать собственные недуги, от литературы — любовь к классикам, главным образом русским классикам, а также к перефразированию цитат из произведений русских классиков.

Я был врачом, а теперь в некотором смысле стал пациентом. А если точнее — выздоравливающим.

Эта комфортабельная и прилично обставленная землянка — моя больница, мой санаторий и моя амбулатория. Это моя послеродовая палата, моя поликлиника, мой вытрезвитель, моя детоксикация, моя реанимация, мой наркологический диспансер. Иногда мне кажется, что я слышу доносящиеся из коридора шаги медсестер, шарканье больничных шлепанцев, звяканье дезинфицируемых хирургических инструментов. Мне чудится, что я нахожусь в забытой Богом и ординаторами палате, лежу под вечной капельницей: кто-то когда-то воткнул жизнетворную, а может быть, смертоносную иглу в мое предплечье и не собирается ее вытаскивать.

Здесь я обретал пристанище после многодневных гнусных издевательств над собственной персоной. Здесь я приходил в себя. Здесь я возвращался к жизни. Сюда моя неотразимая в физическом смысле жена с помощью моего неудачного сына спроваживала мое бесчувственное тело и, правду говоря, запирала его (тело мое) на ритуальные три дня — пока не воскреснет. Первый день я лежал в темноте и сдерживал внутреннюю дрожь. На второй день я зажигал свет и читал популярную литературу. На третий день я слушал Шуберта и когда, слушая Шуберта, доходил до фортепьянного трио си мажор соч. 99, это означало, что я оклемался.

Вначале я попадал сюда несколько раз в году, примерно раз в квартал, потом каждые два месяца, каждый месяц, несколько раз в месяц, два раза в неделю, три раза в неделю, пока наконец не застрял основательно. Вначале, как я уже сказал, сюда приволакивала мое бесчувственное тело моя благородная жена с помощью моего неудачного сына, потом, когда моя благородная жена от меня ушла, мне иногда помогали дальние родственники, потом добросердечные соседи, потом я сам сюда возвращался и сам отсюда уходил. Я сам себя сюда спроваживал, моя истерзанная душа волокла сюда мое оплеванное тело, мое оплеванное тело вело сюда мою мятущуюся душу, окутывало ее собой, обуздывало и сдерживало, ибо она (моя душа) неизменно рвалась отлететь. Со временем — хотя это звучит нелогично — уходы стали более редкими, а возвращения — более частыми.

Звучит нелогично, но, в конце концов, перед кем я, это самое, мечу пресловутый бисер? Кого хочу убедить? Контрольную таблицу! Да с каких это пор, тысяча чертей, логика сделалась сильной стороной действительности, которой управляет «Счастливый случай»? Вы исчерпали свой лимит времени: пи, пи!

Звучит это нелогично, но было именно так, а не иначе. Я выходил из подполья все реже, а возвращался все чаще, возвращался неизменно, возвращался перманентно, возвращался с маниакальным упорством, пока наконец не свершилось предначертанное мне — жизнь в подполье — и я остался тут sensu largo[1]...

Вообще-то, при моих скромных потребностях, устроился я с комфортом... В начале здесь был только матрас... Как сказано в Библии: в начале был матрас, и голые стены возносились над матрасом. А теперь пожалуйста — чем не уютный изолятор, где можно годами лечить похмелье, именуемое жизнью? Каждый из находящихся здесь предметов — память об одном из моих исключительно низких падений. Всякий раз, когда я поднимался после исключительно низкого падения, у меня возникало острое желание опереться на что-то материально-устойчивое, и тогда я непременно оснащал свою нору каким-нибудь новым предметом. Речь идет вовсе не о банальной компенсации ущерба, не о

[1] В широком смысле (*лат.*).

лихорадочном возмещении потерь. Разумеется, я терпел ущерб и нес потери. Некогда принадлежавшие мне бесчисленные бумажники, сумки, зонты, очки, авторучки затерялись — увы, безвозвратно — среди темных извивов моих путей. Но дело отнюдь не в том, что воскресал я после своих падений обедневшим, допустим, на один чемоданчик. Да, я воскресал обедневшим на один чемоданчик, но отсутствие чемоданчика было ничто по сравнению со всеобъемлющей пустотой. Я пробуждался в пустоте, пустота была вокруг, и сам я был пустотой. Я даже не замечал отсутствия чемоданчика, ибо чувствовал себя так, будто лишился всего.

— Если я скажу Тебе, что чувствовал себя совершенно голым и беззащитным, если я так Тебе скажу, это будет всего лишь пустая фраза. Уверяю Тебя, уверяю Тебя, велеречивая дикторша: малый, который после бурно проведенного вечера не может отделаться от ощущения, что он пересекал оживленный и многолюдный перекресток в одних только растянутых до безобразия, грязноватых, зассанных в паху пээнэровских кальсонах, даже не подозревает, сколь изысканно и богато был одет. Уверяю тебя, божественная заря... Моя нагота была стократ постыднее. Мой позор был квинтэссенцией всех позоров. Окружающая меня толпа была совокупностью всех толп. На мне не было одежды, на мне не было кожи, на мне не было плоти. Меня не поддерживал позвоночник, ребра не защищали легких, да и легких не было, не было воздуха, не было меня... Медленно, очень медленно я возникал из зыбкой прозрачности. И тогда любой — в особенности новый — предмет, формой своей выбивавшийся из привычного и оттого незамечаемого повседневного антуража, казался чистым источником среди песков пустыни. Я прикасался к предмету, прикасался к субстанции, прикасался к этажерке с книгами, и она отвечала мне тем же. Так возрождалось первое чувство, чувство осязания, и материализовалась кожа, тело мое вновь облекалось кожей...

*

Этажерка, кстати, появилась здесь летом 1989 года и служит свидетельством моего падения, произошедшего в пивной «Европа». Так уж случилось: когда в Польше пал коммунизм, я пал в «Европе». Каламбур не ахти какой, но слово не воробей... Ну а если быть точным, падение, о котором идет речь, началось в пивной «Европа», а закончилось в ресторане «Новый» на Гжегожецкой улице. Буфетом я обзавелся в 1990 году после президентских выборов, ознаменовав таким способом славный путь моего падения, начавшийся в ресторане «Фемида» на Гродской, пролегший через «Гавелку», «Три рыбки», «Эрмитаж» и там же, в «Эрмитаже», завершившийся взятием последних вражеских редутов. Диван — памятник, воздвигнутый мне, павшему на дне рождения моего друга Отступника в 1991 году от Рождества Христова...

Кстати говоря, мой друг Отступник снабжает меня антипапскими листовками... А также держит в курсе всяческих проявлений нетерпимости. Последний раз, например, он безапелляционно заявил, что славящаяся объективностью радиостанция Би-би-си, которую он слушает много лет, под влиянием римско-католического империализма утратила свою пресловутую объективность, поскольку вместо сугубо объективного слова «папа» употребляет теперь субъективное выражение «святой отец»...

И как мне к этому относиться?.. Что прикажешь об этом думать, языческий мой алтарик, золотой ты мой, отлитый из серег... да что я говорю... серебряный ты мой, сотворенный из электронов агнец. Может, подскажешь наконец, что мне думать, купина моя неопалимая, что, хоть и горишь вечным пламенем, не сгораешь... Да, именно так: горишь, но не сгораешь...

*

В следующем году, то есть через год после приобретения дивана, я в честь вертевших и крутивших меня смертоносных водоворотов в Бермудском треугольнике, расположенном между «Курьей ножкой», «Флорианом» и «Виленским», приобрел холодильник. Да, чудом избежав невероятных опасностей, которые подстерегают неприкаянных путников внутри этого чертова треугольника, я приобрел холодильник.

В том же году пришел черед антиквариата. Я обзавелся креслом. Это не просто кресло, а одновременно и обелиск, увековечивающий память о падениях, каковые я претерпел, пока топал по Блоням, через Чихы Кончик, по берегу Рудавы аж на вершину Холма Костюшко. До самого верха Холма Костюшко я, правда, не добрался, но, вне всяких сомнений, сверзился с него в пропасть. Как можно свалиться с вершины, на которую не поднялся, известно только тем, кто на собственном опыте познал горечь этого парадокса: ни разу не взобравшись на вершину, они тем не менее падали с нее многократно.

В 1993 году я упал еще более загадочным образом. Не помню ни с чего началось, ни чем закончилось мое падение. Не помню ни альфы, ни омеги, ни начала, ни конца программы. Не помню, что это было: «Чаю или кофе?» или «Ночное бдение без бутылки». Не знаю, в каких именно географических пунктах я падал. Может, меня опять поглотила пучина Бермудского треугольника? Может быть, ничегошеньки не ведая, я спал сладким сном трупа на поле боя вблизи городской психушки? Может быть, моя душа отделялась от тела в двух шагах от дома? Может быть, она отделялась в ближайшем баре «Новоселка»? Не знаю и по сей день не могу докопаться до истины. И — в ознаменование загадочности этого сюжета — я, не пожалев заначки, купил себе сотовый телефон.

С тех пор я, так сказать, окончательно и бесповоротно осел на месте. И уж боже меня упаси высунуть нос из своего подполья, когда близится час очередного грандиозного падения, грандиозного, подчеркиваю, ибо о мелких падениях и говорить нечего, мелкие падения — ткань, нить и основа нашего существования.

Сидение на месте дает гарантию единства места. А единство места — это, хо-хо, это очень много. Соблюдать единство места значит знать, где ты находишься, а если ты знаешь, где находишься, у тебя появляются кое-какие шансы продержаться.

*

Почему ее нет?.. Почему до сих пор нет Грахи Петербург? Почему она опаздывает? Господи, почему ее нет? Господь милосердный, что через минуту выслушает вместе со мною краткую сводку последних известий, Господь милосердный, я, это самое, стараюсь не поминать Твое имя всуе, но прежде чем Ты выслушаешь краткую сводку последних известий, соблаговоли выслушать и меня. Выслушай меня и сделай так, чтобы Граха Петербург пришла и принесла мне разную вкуснятину. И сделай так, чтобы она пришла до прогноза погоды...

Представляем краткую сводку последних известий. Что слышно? Что слышно? Каковы важнейшие новости часа? О чем говорят последние сообщения? Пожалуйста. Излагаю. Использование гиен в качестве радикального средства для ликвидации трупов предложил депутат кенийского парламента. Поскольку токующие пингвины в период спаривания выглядят все одинаково, решающую роль в том, кому самка отдаст предпочтение, играет пенье самца, напоминающее ослиный рев. Встреча парламентариев обеих палат началась с аперитива «Бельведер». Как сообщают некоторые западные агентства, Линда Эванс старше своего нынешнего друга музыканта Янни на двенадцать лет.

— А теперь гость вечерней программы. Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Кто вы по профессии?

— Я снайпер; специализация — случайные прохожие.

— Минутку, минутку, тут что-то не так. Что он говорит? Господи, что он говорит? Что он говорит моему народу? Что он говорит лично мне?

— Он говорит, что его жизнь потеряла смысл, поскольку он умеет только убивать и ничего, кроме как убивать, делать не умеет.

— Я научился убивать и умею только убивать.

— Как в таком случае ему помочь? Как помочь этому бедолаге? Может, отправить его на курсы переквалификации? На курсы менеджеров, маклеров или маляров?

— Нет. Он говорит, что научился убивать и умеет только убивать.

— В таком случае, может быть, устроить его на работу в какую-нибудь антитеррористическую группу?

— Он не выдержит. Ребята из антитеррористических бригад целыми днями, неделями, месяцами и годами тренируются, упражняются, стреляют по мишеням и палят холостыми патронами и целыми днями, неделями, месяцами и годами мечтают об одном: чтоб наконец по-настоящему кого-нибудь застрелить, а он не выдержит и застрелит кого-нибудь раньше времени, его научили убивать, и он говорит, что умеет только убивать. Ничего больше он не умеет.

— Может, в таком случае определить его на должность палача?

— Нельзя его определить на должность палача — ведь мы, европейцы, решительно выступаем за отмену смертной казни. Он снова повторяет, что умеет только убивать. И еще он говорит, что не хочет войны. Он хочет мира. Он за мир на всей земле.

— В таком случае, вероятно... надо... его убить?..

— Да, надо его убить.

— Но кто, кто мог бы его убить?

— Лучше всего было бы, если б его убил какой-нибудь другой снайпер, на которого тоже напала хандра, потому что он научился убивать, умеет убивать и ничего больше не умеет. Другого снайпера мог бы убить третий снайпер. Третьего снайпера мог бы убить четвертый. Четвертого — пятый. Пятого — шестой, и так до победного. Хорошо бы согнать всех расклеившихся снайперов в одно место — скажем, в олимпийскую деревню — и устроить грандиозные соревнования, это было бы какое-никакое решение вопроса. Да, это был бы неплохой выход.

— Но! Но! Но! Но!

*

Но главной новостью вечерних известий было нечто другое... А вот и нет... А вот и нет... Я вовсе не имею в виду последние сообщения, касающиеся бедренных артерий. Это, конечно, тоже. Но я о другом хочу сказать. Я имею в виду новость, представляющую интерес не столько для меня, не столько для моего народа, не столько для Тебя, Господи, сколько для Грахи Петербург, больше того — словно исключительно для нее предназначенную.

— Как сообщают некоторые западные агентства, Линда Эванс старше своего нынешнего друга музыканта Янни на двенадцать лет...

Граха просто обожает сообщения подобного рода. Граха Петербург живо интересуется сериалами, фильмами, видеоклипами и даже почерпнутыми из жизни историями, в которых *она* гораздо старше *его*. Граха много читает на эту тему, однажды даже показала мне специальный альбом с вырезками. Кто знает, возможно, в этом альбоме была и фотография Линды Эванс с музыкантом Янни, моложе ее на двенадцать лет. Не помню. Но там были другие фотографии, например, там точно была фотография Элизабет Тейлор с последним мужем, который моложе ее на двадцать лет, и фотография Лайзы Миннелли с Билли Стритчем, который моложе ее на шестнадцать лет... и фотография профессора Марии Шишковской с писателем и скульптором Яном Стемпенем, который моложе ее на семь лет... Граху Петербург, стоит ей прослышать о любовной паре, в которой она старше, а он моложе, охватывает странное возбуждение, и она немедленно заводит специальную карточку. Кстати, где-то здесь валялась такая карточка, листок с исторической справкой, список зрелых женщин, живущих со значительно более молодыми мужчинами, перечень, охватывающий период от древних времен до сегодняшнего дня...

Пожалуйста... вот таблица, заполненная корявым почерком Грахи Петербург... Анна из Ягеллонов — Стефан Баторий, десять лет разницы. Мария Лещинская — Людовик XV, семь лет. Станислав Август Понятовский — Генриетта Софья Пушет, шестнадцать лет... Пожалуйста... прекрасный результат... Далее... Жорж Санд — Фридерик Шопен, семь лет (не знал); Элеонора Дузе — Габриеле Д'Аннунцио, пятнадцать лет... Айседора Дункан — Сергей Есенин, семнадцать лет.. Гала — Сальвадор Дали, десять лет... Йоко Оно — Джон Леннон, девять лет. Марта Месарош — Ян Новицкий, восемь лет... и тут еще вырезанное из газеты фото Яна Новицкого. Почему, собственно, Граху Петербург это так интересует? И вообще, почему ее еще нет? Господи, да что же это такое? Господи, отзовись нако-

нец из глубины кинескопа или вообще сделай что-нибудь, ускорь шаги Грахи Петербург или выпрями ее жизненный путь, если она дала крюка.

*

Чтобы все было ясно. Чтобы не осталось никаких сомнений. Я не верю. Решительно не верю, что Юрий Гагарин побывал в космосе. Плохая острота? Пускай, но я ее не вычеркну. Нарочно не вычеркну, как говорится у Федора Михайловича. Я не верю, что Гагарин был в космосе. Однако верю рассказам других космонавтов, которые — в это я верю — там побывали и которые — верю — испытали ощущение, будто на них кто-то смотрит. Засунутые в герметические контейнеры, они летели в лишенном каких бы то ни было характеристик пространстве, испытывая ощущение, что это пространство смотрит на них, что оно их видит. Я хорошо помню ту передачу, кстати, она была не так уж давно, но не в этом дело, дело в том, что и мне иногда кажется, будто моя каюта, подполье моих радостей и печалей, летит — не вросла в землю, а летит, летит во вселенском просторе, который на меня смотрит.

Явственно, совершенно явственно я ощущаю на себе твой укоризненный взор. Не кори меня! Не смотри на меня с укором! Не смотри на меня с укором невооруженным глазом, но и через свои жидкокристаллические линзы с укором не смотри. Это она заслуживает укоризны... Ну где она? Ни слуху ни духу. А через минуту прогноз погоды. Может быть, что-нибудь стряслось? Может быть, с ней произошел несчастный случай? Может, электрический разряд поразил ее бедренную артерию? Может, ее укусил клещ? Может быть, смертоносный клещ впился в ее бедренную артерию? Если так, то так. Если нет, то нет. Если до сих пор не пришла, пускай не приходит вовсе. Или — ладно уж — пускай придет после прогноза погоды.

А с прогнозом погоды — известное дело... Их две, и обе что ни вечер танцуют для меня перед картой погоды... Одна танцует во вторник, другая танцует в среду, одна танцует в четверг, другая танцует в пятницу. Одна танцует в субботу, другая отплясывает в воскресенье. Одна брюнетка, другая блондинка... У одной в фамилии есть что-то мрачно-демоническое... Фамилия другой звучит на французский лад. В особенности та, вторая, с французской фамилией, весьма-весьма... очень даже ничего... Сама фамилия, если ее выговаривать на польский манер, производит сокрушительное впечатление, фонический, я бы сказал, эффект: Гражина Де-е-е, Гражина Аде-е-е, Гражина Паде-е-ение. О прекраснейшая из телеведущих! Солнце плоти моей! Благоприятный прогноз и попутный ветер! Она не предсказывает погоду. Она воспевает схватки атмосферных фронтов, она — солистка, возносящая хвалу массам знойного воздуха, она — танцовщица с неограниченным набором телодвижений. От умеренных до порывистых. Да. Всякий раз, глядя на танцующую перед картой погоды Гражину Падение, я чувствую, как в моем детородном органе начинает бушевать антициклон...

С Грахой Петербург я познакомился через агентство «Досуг». Мое общение с женщинами всегда было отмечено, скажем так, некоторой суетливостью. После того как меня покинула моя благородная жена, спешка в такого рода делах усугубилась. А с тех пор как я обзавелся сотовым телефоном, приобрела просто паническое ускорение. Во всяком случае, появление на польских землях службы знакомств стало для меня наглядным и ощутимым доказательством того, что моя страна освободилась от московского ига. Иных доказательств независимости — кроме борделей — я не заметил.

Возможно, впрочем, я не прав, ведь мои наблюдения субъективны. В конце концов, я смотрю на нашу рождающуюся в непростых условиях демократию из глубины своей норы, с подвальной перспективы. Однако, в конце концов, взгляд мой устремлен оттуда же, откуда и твой, божественная пропагандистка прокладок: из недр своих потрохов, со дна своего черепа, из темницы своего тела.

Я уж не говорю, что взираю на этот мир не только так же, как ты, но и так же, как взирает на него весь наш народ. Ведь наш народ сразу после работы, едва переступив порог, как был — в пальто, в шляпе, с портфелем — алчно бросается к телевизору и нажимает кнопку. Мертвенное свечение растекается, словно туман, по всему простран-

ству между Одрой и Бугом, от Карпат до Балтики разносится голос юной теледивы, дочери немолодой теледивы (или наоборот), мой же народ застывает перед твоим экраном, будто извечный монумент телезрителя.

О том, например, что мы обрели независимость, я и мой народ узнали благодаря телевидению. То есть телевидение проинформировало нас об обретении независимости, а возникающие на польских землях, как грибы после дождя, агентства «Досуг» подтвердили факт, что на этот раз телевидение не врет.

Честно говоря, несколько раньше я узнал о том, что являюсь гражданином тоталитарного государства, тоже благодаря телевидению. Включаю я в один прекрасный день телевизор, гляжу, а там разгул тоталитаризма: маршевая музыка, первомайские демонстрации и маневры братских армий стран — участниц Варшавского договора. Хо-хо-хо, думаю я себе, нехорошо, ой, как нехорошо. И почувствовал, что я категорически против Варшавского договора. И сделал то, чего в любой другой ситуации ни за что бы не сделал. И сделал то, чего никто из вас, уважаемые дикторы и дикторши, никогда бы не сделал. И сделал то, чего весь мой народ никогда не делал и делать не станет. А именно: выключил телевизор. Да, да, я выключил телевизор и отправился в ванную, где нежилась в горячей воде моя бывшая жена. Присев на краешек ванны, я взглянул на высовывающиеся из раствора целебной соли божественные груди моей жены, и моя политическая ориентация в очередной раз претерпела изменение. Я посмотрел на бюст моей жены и почувствовал, что я — за Варшавский договор. Да ведь этот бюст, на который я смотрю, подумал я, прекраснейший из бюстов стран-участниц... Почему же в таком случае я должен быть против Варшавского договора? Если в пределах досягаемости моих органов чувств находятся самые изумительные буфера Варшавского договора, то стремление ликвидировать Варшавский договор для меня равносильно самоубийству! Получается, что я и эти живописные буфера хочу уничтожить! Получается, что я подрываю собственную, в высшей степени привилегированную позицию, отказываюсь от сущей драгоценности, легкомысленно сбрасываю нешуточный козырь!

И, произведя этот беглый, но глубокий анализ, я вернулся в гостиную, сел на диван и включил телевизор. Спустя несколько лет одна из вечно молодых телеведущих сообщила, что Варшавский договор перестал существовать. Утрату привилегированного положения человека, в пределах досягаемости которого обретался прекраснейший бюст Варшавского договора, я пережил сравнительно безболезненно. Моя жена покинула меня до того, как Варшавскому договору пришел конец.

После ее ухода — повторяю — в моей сексуальной жизни возобладала спешка. Банальная реакция брошенного мужчины, который чрезмерной активностью старается доказать себе и миру, что он такой участи отнюдь не заслужил, и даже совсем наоборот. Стыдно признаться, но и я не избежал этого прискорбного этапа — *этапа лихорадочной суеты.*

*

С Грахой Петербург я познакомился следующим образом: позвонил однажды в агентство «Досуг» и, как обычно, заказал русскую девушку. Тот, кто пользовался услугами подобных учреждений, хорошо знает, как это делается. Вы опрокидываете четыре по пятьдесят, поднимаете трубку и, сглотнув слюну, набираете номер.

— Агентство, слушаю вас, — отзывается на другом конце строгий дамский голос.

— Алло? — неуверенно говорите вы.

— Да, это агентство, я вас слушаю, — строгий тон становится еще строже.

— Алло? Агентство? — прерывающимся по тысяче элементарных причин голосом вы предпринимаете следующую отчаянную попытку завести разговор.

— Да, я вас слушаю, это агентство «Досуг», чем могу быть полезной? — тон вашей собеседницы неожиданно смягчается и становится дружелюбным.

— Скажите, а... что... что вы готовы, так сказать, предложить?

— Наше агентство располагает девушками на любой вкус.

Услыхав такой ответ, вы, как правило, умолкаете, притом умолкаете оскорбленно.

«С какой стати, — думаете вы, — меня подозревают, будто я интересуюсь платной любовью? Да ведь я, — ваше возмущение усиливается, — спрашивая, что́ мне готовы предложить, мог иметь в виду что-нибудь возвышенное, например список издательских новинок или программу культурных телепередач». Однако через минуту от возмущения не остается и следа, вы капитулируете и смиряетесь с тем, что ваши грязные намерения разгаданы.

— А нельзя ли поконкретнее? — упавшим голосом спрашиваете вы.

— Конечно, пожалуйста, — теперь в тоне вашей собеседницы появляются деловые нотки, предшествующие окончательной сделке. — В данный момент мы можем вам предложить... значит, так: блондинка, двадцать три года, бюст номер три, брюнетка, двадцать пять лет, бюст номер четыре... двадцать семь лет, бюст номер шесть, восемнадцать лет, бюст номер три, и тридцать лет, худощавая, но элегантная...

Что касается меня, то, выслушав такого рода литанию, я всегда задаю ритуальный вопрос:

— А есть ли у вас девушки, говорящие по-русски?

После такого вопроса в трубке неизменно происходит взрыв поистине интернациональной эйфории.

— Ну конечно же, ах, как я рада, что вы лишены предрассудков. Есть у нас девушки, говорящие по-русски, исконные россиянки, очень, ну просто очень элегантные!

*

И тогда, в тот памятный субботний вечер, все было именно так. События следовали одно за другим в стандартном, довольно вялом ритме. Я принял четыре по пятьдесят, взял трубку и набрал номер. Ответивший мне голос был дамским и строгим; суровость его сперва крепчала, затем начала ослабевать. В определенный момент, когда ясно обозначилось, что моя собеседница знает, зачем я звоню, я по иррациональным причинам возмутился, хотя можно также сказать, что возмущение мое носило характер исключительно рациональный. В конце концов, человек, которого уличили в том, что он потрафляет самым низменным своим инстинктам, имеет право — да нет же, это его священный долг! — возмущаться, отнекиваться и отпираться. Обман — пусть даже самообман — в данном случае способствует облагораживанию и даже одухотворению плотской материи. Вдобавок этого требуют правила хорошего тона. Неписаный закон savoir-vivre[1] гласит: отправляясь в бордель, надевай ничего не выражающую маску парламентского обозревателя. И хорошо воспитанные люди это правило соблюдают. Ба, некоторые джентльмены, даже оказавшись в известной ситуации, старательно облагораживают ее словоизвержением. Голая трудяга уже лежит в постели, а они стоят над ней и произносят долгие, выспренние и зачастую проникнутые праведным возмущением тирады. И это хорошо. И мое возмущение, сколь абсурдным и вместе с тем ритуальным оно бы ни показалось, было совершенно уместным. Вскоре, впрочем, от него не осталось и следа, я капитулировал и спросил, что мне могут предложить, терпеливо выслушал длинный перечень размеров бюстгальтера, осведомился о цене и с ценой согласился...

Да-да, у меня есть деньги. Откуда у меня деньги? А у него? Откуда у него деньги? Где он взял деньги? Ответить на этот вопрос я предоставляю моему народу. Мой народ должен знать ответ на вопрос, который без устали задает. Откуда у меня деньги? Откуда у него деньги? Откуда у нее деньги? Откуда у них деньги? Откуда у него деньги? — спрашивает мой народ. Откуда у него бабки? Где этот голодранец столько настриг? Не из зарплаты же отложил? На чем разбогател? Просидел пару лет в Штатах? Зашиб на кукурузе? Продавал по спекулятивной цене металлолом? Крал? Жульничал? Угадай! Угадай! Гадайте да угадаете!

Возвращаясь к нашим баранам: я спросил, что мне могут предложить, осведомился о цене, выслушал длинный перечень размеров бюстгальтера и, как обычно, поинтересовался девушками, говорящими по-русски. И тут первая неожиданность... Без тради-

[1] Умение жить (*франц.*).

ционной интернациональной эйфории, правда, не обошлось, но уж какая-то дохловатая она получилась. Минутная пауза, явное замешательство, похоже, нету, хотя... в принципе есть, ну конечно есть — русская, блондинка, худощавая, но очень элегантная. Подходит, сказал я, жду.

Через полчаса явилась весьма привлекательная особа.

— Откуда вы? — спросил я по-русски.

— Из Петербурга, — на моем родном языке ответила она. — Я хорошо говорю по-польски — у меня дедушка был поляк.

Дедушка был поляк.

Информация о дедушке-поляке, признаться, меня огорчила. Сговорились они, что ли? У всех до единой дедушка был поляк. Каждая известная мне русская потаскуха, подвизающаяся на польских землях, имела дедушку-поляка, все упрямо твердили, что их родной дедушка был поляком, и все клялись памятью своего дедушки-поляка, офицерской саблей, или графским титулом, или усами своего дедушки-поляка, отчего невольно приходило на ум, будто речь всякий раз идет об одном и том же Дедушке-Поляке, Всеобщем Дедушке-Поляке, Архидедушке-Поляке, который полвека назад, так сказать, вдоль и поперек перепахал империю.

Дедушка-поляк — да ради бога, не вижу тут ничего особенного, и даже наоборот: у меня у самого, в конце концов, дедушка поляк. Но Петербург — Петербург в этой истории был элементом новым, крайне оригинальным и волнующим. Петербургская барышня Мандельштама в подлиннике мне еще не читывала. А если какая-нибудь из моих предыдущих, скажем так, чтиц и была жительницей Петербурга, она от меня этот факт скрыла.

Все они, с пугающе тоталитарным единодушием убеждая меня в существовании Дедушки-Поляка, с одинаковой непреклонностью настаивали на том, что родились в Вильно или во Львове. Они приезжали из Перми, Ухты, Архангельска и клялись, что прибыли из Вильно или из Львова. Приезжали из Тамбова, Калуги, Ставрополя и утверждали, что их отчий дом — Львов или Вильно. Прибывали из Риги, Минска или Киева и заявляли, что всю жизнь прожили в Вильно либо во Львове, а также что их дедушка был поляком.

Бесхитростный, в общем-то, способ разжигания архетипических вожделений моего народа. Известно, что вековая мечта поляка — увидеть литвинку в таком наряде, в каком с мужчиной повстречаться неприлично. «Едва прикрыта грудь холстинковым нарядом, но плечи юные открыты были взглядам. Литвинка поутру так рядится обычно, но повстречаться так с мужчиной неприлично»[1]. Да-да... Увидеть литвинку. Пусть даже обрусевшую литвинку. Либо украинку... И пускай с недоразвитым чувством национальной гордости... А тут на́ тебе... А тут на́ тебе... Экий сюрприз. Не Львов. Не Вильно. Петербург!

— Откуда вы? — еще раз, на всякий случай по-русски, спрашиваю я.

— Из Петербурга, — повторяет она и снова заверяет, что свободно говорит по-польски, и вообще просит, чтобы мы беседовали по-польски, поскольку желает усовершенствовать свою близкую к совершенству польскую речь.

— Хорошо, — в последний раз по-русски говорю я, — хорошо, о'кей, о'кей, — и, чертовски взволнованный, кидаюсь к этажерке, достаю Федора Михайловича в подлиннике, подсовываю ей под нос, и — читай, читай — ласково поощряю (все-таки по-русски).

— О нет... Исключено...

Не ищите в этом извращений. Ничем таким и не пахло. Не было никаких предосудительных сексуально-литературных эксцессов. Никаких танцев нагишом под аккомпанемент бессмертных строф Владимира Маяковского. Никаких стриптизов с поэмой Пушкина в зубах. Никакой маскировки эрогенных зон томиком рассказов Ивана Бунина. Никаких сдавленных выкриков в кульминационные моменты «Незнакомки» Блока. Просто мне нравилось, когда девушки читали вслух. Приходили они обычно на два часа, со-

---

[1] *Адам Мицкевич.* Пан Тадеуш.

рок пять минут из которых, то есть ровно академический час, отнимало у нас чтение русских классиков.

Не помню, говорил ли я уже о своей любви к русской классической литературе. Да-да, я русофил и всегда был русофилом. Я был русофилом даже в ту пору, когда мой народ томился под московским игом. Хотя мое русофильство в ту пору могло показаться неуместным и весьма легкомысленным. Моим любимым писателем был тогда Федор Достоевский, мои воображаемые партнерши звались русскими именами: Света, Надя, Настенька, в закоулках незнакомых городов, по которым мне случалось бродить во сне, я узнавал окраины Москвы или Хабаровска. Однако после того как мой народ освободился от московского ига, мое русофильство эволюционировало. Свелось это в основном к следующему: воображаемые Светы, Нади и Настеньки время от времени материализовались, являлись в мою нору по телефонному вызову, усаживались на диван и читали мне моего Федора Михайловича в подлиннике. Федора Михайловича, а также Венедикта Ерофеева, Андрея Платонова и других выдающихся писателей.

Прекрасные то были часы, ведь бескостная русская речь восхитительно звучит в женских устах. Обсуждать русских классиков с дамами практически не удавалось, поскольку бедняжки, как правило, даже фамилий своих гениев не знали. Одна только Света, Надя, Настенька, когда я дал ей прочесть «Палату № 6» Антона Чехова, начала, запинаясь, что-то бубнить и вдруг ни с того ни с сего выпалила с просветлевшим взором:

— Да, Чехов великий писатель.

Только и всего. От других и такого нельзя было услышать. Я с этим смирился: видимо, к нам прибывает не слишком образованный эротический рабочий класс. Опять, получается, география нас, поляков, подкузьмила. Сами посудите... Московского ига нет, свобода есть, все есть... ан нет, не все: коли тебя, бессчастный поляк, предположим, возьмет охота поболтать с русскоязычной гастарбайтершей о классике, отправляйся в Берлин, Париж, а то и в сам Тель-Авив. Вечно нам быть на Востоке — даже если останемся на Западе. Лично я, повторяю, с этим смирился. Настоящие, начитанные петербуржанки едут за хлебом на настоящий Запад, к нам же, на фальшивый Запад, тянутся фальшивые львовянки и фальшивые вильнянки с менее глубокими гуманитарными познаниями. Я с этим смирился. Ладно уж. Но читать, черт побери, все умели! Даже те, что прибывали из запорожских степей! Скверно, правда, но читали все до единой. А эта — нет! А эта чрезвычайно привлекательная особа — нет! Ни бум-бум! Ни бе ни ме! Русского алфавита не знает! Я ей подсовываю Федора Михайловича, а она — молчок! Да и как ей читать Федора Михайловича, когда она русские буквы не то что сложить — различить не может! Потому что, как незамедлительно выясняется, эта россиянка, которая по-русски читать не умеет, — полька! Потому что выясняется, что эта Света, Надя, Настенька — Граха! Рискнувшая — в своем стремлении зашибить деньгу — прикинуться жительницей Петербурга.

На что она рассчитывала? Хороший вопрос, король телевикторин! Очень хороший вопрос, сочинитель заковыристых загадок! Сколько опер написал Иоганн Себастьян Бах? В каком месяце произошло восстание декабристов? Кто был последним президентом Чехословакии? На что она рассчитывала? Очень хорошие вопросы, очень хитроумные вопросы, господин Лис! В награду, господин Лис, предлагаю со мною выпить... Ваше здоровье... На что она, это самое, рассчитывала? На бессловесную любовь она рассчитывала, вот так-то. Полагала, что меня исключительно русская плоть интересует, русская кожа, русские волосы, русские ноги, русский запах. Блестящий — согласитесь, — блестящий по сути и очень чувственный расчет. Только вот ошибочка вышла... Ну да ладно. Посидели. Поговорили. По-польски. Граха Петербург — так я ее шутки ради стал величать. Как дела, Граха Петербург? Что для вас, Граха Петербург, самое важное в жизни? А в Бога ты, проказница, веришь? Поболтали о том о сем, попили чайку и через час — прощай, лицедейство! Прощай, Граха, прощай навсегда. Но какое там... Какое там навсегда...

Примерно через месяц возвращаюсь я сюда, возвращаюсь после ничем не примечательного падения, захожу по дороге в бар «Новоселка» выпить сто пятьдесят граммов

горькой на последние, сажусь, заказываю, гляжу — за соседним столиком Граха Петербург потягивает кока-колу! Я разделываюсь со своими ста пятьюдесятью, быть может чуть быстрей обычного, поскольку на меня накатывает непредусмотренное желание побеседовать с дамой. Я ей кланяюсь, улыбочка, улыбочка, тост на расстоянии, следующий тост тоже на расстоянии, но уже с намеком на возможность радикального сокращения оного расстояния. Соответственно сокращаю расстояние. Ради бога извините, не позволите ли к вам подсесть? Подсаживаюсь, приглядываюсь и что же я вижу? Граха Петербург пребывает в состоянии беспросветного отчаяния.

Любопытная штука: женщина, с который вы завязываете главный роман вашей жизни, к исходу первого часа этого романа почти всегда впадает в состояние беспросветного отчаяния. Почти всегда плачет — Граха Петербург плакала. Почти всегда не имеет средств к существованию — Граха Петербург не имела средств к существованию. Почти всегда ей некуда деваться — Грахе Петербург некуда было деваться. Почти всегда у нее необыкновенно гладкая кожа — у Грахи Петербург кожа была такая гладкая, что, хотя в баре «Новоселка» царил полумрак, тело Грахи, я бы сказал, излучало благородное матовое сияние.

Она потеряла работу в агентстве из-за того, что позволила — ну прямо как малое дитя — провести себя какому-то там — правда, исключительно коварному — инспектору.

— Он чудно так на меня смотрел, но я думала: клиент как клиент, смотри сколько влезет, мне-то что. Потом зачастил — я даже вроде бы к нему привыкла, а он стал говорить, стал говорить... — рыдала Граха, горько очень рыдала, — он стал говорить, что меня любит.

— Нельзя было верить, Граха, ты ж не ребенок... Нельзя было верить...

— Я ему абсолютно не верила, не верила ни одному слову, но чуточку все-таки верила. А потом он сказал, что не только меня любит, но и... короче, что у него есть определенные принципы... Ну, понимаешь...

— По совести признаться, не понимаю...

— Он меня уговаривал... уговаривал, чтобы я во имя этих самых принципов согласилась... Чтобы согласилась отказаться известно от чего, ну, ты понимаешь...

Он так долго ее уговаривал, что в конце концов бедняжка сдалась. Да. Граха Петербург отказалась известно от чего, а лжеклиент вытащил из папки и с нечеловеческой скрупулезностью заполнил, пункт за пунктом, бланк протокола о правонарушении...

— Что мне делать? Что мне теперь делать? — рыдала Граха Петербург, слезы катились по ее щекам, в баре «Новоселка» становилось все сумрачнее, а я ощутил неодолимую потребность коснуться ее лежащей на пластиковой поверхности стола руки.

И я коснулся ее руки. Я вообще впервые к ней прикоснулся, потому что несколько недель назад, когда она изображала из себя жительницу Петербурга, я — взбешенный — даже до ее руки не дотронулся. А, чего там говорить. Я коснулся ее руки, и мы мгновенно попали в сети чреватой далеко идущими последствиями телесной зависимости. Наша кожа соприкоснулась и мгновенно, как говорит Чеслав Милош, слюбилась. И не только кожа.

Тогда и свершилось мое посвященье
Потому что будто созданные друг для друга
Не только гениталии наши и кожа слюбились
Но и сон ее рядышком владычествовал мною

— Что было дальше? Дальше нечего рассказывать. Дальше рассказывать стыдно.

Я прикоснулся к Грахе Петербург, я посмотрел на нее и понял, что с такой потрясающей женщиной я мог бы неистовствовать даже на самом канцерогенном линолеуме! И мы таки неистовствовали даже на самом канцерогенном линолеуме! Мы с ней неистовствовали на скомканных простынях, в камышах, на диванах, на коврах и на плитках из ПВХ. Наши бедренные артерии, наплевав на все, переплетались. Мы неистовствовали и теряли последние остатки нашей духовности, и наша духовность, хоть ей и было стыдно за нас, была тут совершенно беспомощна.

— Героический труд по облагораживанию собственных слабостей?

— Да-да, мы пытались облагородить... Без толку. Все впустую. Все попытки коту под хвост. Мы совершали титанические усилия, чтобы зажить по-людски, мы мечтали хоть однажды куда-нибудь выбраться, куда угодно, в кино, в театр или, допустим, на вернисаж. Но были не в состоянии — бессильные, мы лишь трепыхались в когтях плотского вожделения!

— А мир чтения? Великие идеалы человечества? Дискурсивные формы межчеловеческого общения?

— Да, мы погружались в мир чтения, обращались к великим идеалам человечества, примеривались к дискурсивным формам межчеловеческого общения. Тщетно... На прогулку! Слышите, многоуважаемая? На прогулку! Не удалось пойти! На прогулку! Целое лето мы мечтали пойти погулять! Не тут-то было. Мы ни разу не смогли выбраться на прогулку!

Сейчас я понимаю, в чем дело. Только сейчас я уразумел старую истину: хищные звери не прогуливаются, они бросаются друг на друга, они друг дружку пожирают... Совместные прогулки, взаимное неторопливое пережевывание без особого аппетита не сочетались с природой наших натур. Наши клыки, наши когти, наша наэлектризованная кожа обрекали нас на исключительную прожорливость. Наши конечности по своей анатомии не были приспособлены для прогулок. Наши конечности по своей анатомии были приспособлены единственно для взаимного переплетения. А нижние наши конечности по своей анатомии были, кроме того, приспособлены для бегства. Для бегства от себя...

Поначалу мы глядели друг на друга с алчной нежностью, затем — с несколько меньшей нежностью, потом в наших взглядах появилась задумчивость, отчаяние и в конце концов — ненависть, со дня на день растущая ненависть... Как любая пара случайных любовников, мы на протяжении нескольких месяцев испытали все эмоциональные состояния, известные человечеству.

Знаю: то, что я сейчас скажу, прозвучит вульгарно, но мне всегда казалось, что гастролирующие на польских землях женщины делятся на тех, которые изображали любовный экстаз, изображают любовный экстаз и будут изображать любовный экстаз. Теперь же, после знакомства с Грахой Петербург, я убедился, что на польских землях гастролируют также женщины, которые любовного экстаза не изображают, но это не дает оснований отрицать, что в вопросах секса церковь права. Как любит говорить мой друг Отступник: «Крайне неприятно, когда римско-католическая церковь оказывается права, но что поделаешь, если это так?»

Незадачливый секс приводит к извращениям, секс успешный — к попаданию в зависимость... А зависимость от чужого тела — увы, без сомнения, без малейшего сомнения — куда сильнее, чем, скажем, зависимость от бутылки горькой настойки.

Так вот, наша кожа перестала соприкасаться.

Мы отдалились на безопасное расстояние высотою в семь этажей... Освободив Граху от обязанности страстной любовницы, я перевел ее на должность не менее ответственную — платонического снабженца... Ежедневно во время передачи «Спокойной ночи, малыши» она приносит мне лакомства. Когда же — как сегодня — она мне лакомств не приносит, я обращаюсь к собственным тайным запасам.

— Здоровье дежурного диктора. Здоровье контрольной таблицы! — Тем более что таблица вскоре исчезнет, и через час-другой на сером экране появится кровавая, пульсирующая и дразнящая полоса. Кровавая, пульсирующая и дразнящая — ни дать ни взять бедренная артерия.

Ах, Граха, Граха... Знатное запустение произвела ты в дому моем[1]... Нет, не подумайте, что меня донимают всякие там глюки. Мне никогда не казалось, что, например, вовсе не телевизор, а моя собственная, соединенная со мной кабелем печень стоит на столике и передает экономические обзоры. Мне никогда не казалось, что это мои почки лежат там, распространяя голубоватое свечение и транслируя программу новостей куль-

[1] Цитата из «Тренов» Яна Кохановского: «Знатное запустение в дому моем стало, когда,/ драгая Оршуля, тебя в нем не стало!»

туры «Пегас». Хотя... что правда, то правда: мне постоянно кажется, будто ты, седовласый, в неизменном твидовом пиджаке, знаток культурной проблематики в широком смысле этого слова, вот-вот высунешься ко мне и безапелляционно заявишь, что, по твоему мнению, мотив алкоголизма литературой исчерпан окончательно.

— Прошу меня извинить, но, случайно услыхав ваши рассуждения, я могу сказать только одно: мотив алкоголизма литературой исчерпан полностью...

— Что за банальное упрощение. Демагогия чистой воды. Возьмем главную проблему — похмелья, или отходняка. Ведь еще никто надлежащим образом не описал этот феномен, никто не произвел — хотя бы бегло — его типологию. Существование, как известно, мука мученическая. Похмелье, усугубляя муку существования, все же проходит, то есть умаляет муку существования, ибо в основе похмелья заложен прогресс — медленный, но прогресс, — а также постепенное улучшение самочувствия, ergo[1], тот, кто не хочет в жизни стоять на месте, а также стремится непрестанно улучшать свое самочувствие, должен пребывать в состоянии перманентного отходняка. Вы обратили внимание на такой парадокс? Не обратили, но стыдиться тут нечего: никто ни на Западе, ни на Востоке этого не заметил. А разновидности похмелья, типы, категории? Отходняк как отходняк, говорите вы, чуть послабее, чуть покруче... Не обнажайте свое духовное убожество, уважаемый, постесняйтесь классиков. Привожу первые попавшиеся примеры. Пожалуйста. Внимание! Отходняк-голодень, отходняк-сухостой, отходняк-трусишка, отходняк-людоед, отходняк-снега Килиманджаро, молитвенный отходняк, отходняк — герой труда, отходняк — колотун, 928-метровый отходняк, прикидный отходняк, отходняк-задира, отходняк — довольствуйся малым, отходняк — новая жизнь, отходняк-соня, отходняк — вечный соня, отходняк — укромная норка, лисья, мышья нора... Отходняк мой... В нору глубже закопаюсь... Эх, батько...

Я ж вам — батьке-атаману —
Слезно жалиться желаю
Если не сыщу талану
Вострy саблю изломаю

Пику в сине море кину
Зашвырну бердыш в камору
В нору глубже закопаюсь
В запорожскую краину

*

Если не сыщу талану... Глубже в нору закопаюсь. В нору... Тут можно выстроить целую систему разъяснений. Тут можно дать такие разъяснения, каких до сих пор ни мы не сформулировали, ни Запад, ни даже русские классики. Потому что недостаточно сказать: молитвенный отходняк, то бишь впадение в религиозный экстаз. Отходняк-трусишка, то бишь боязливость и неуверенность. Прикидный отходняк, то бишь неодолимая потребность обновления гардероба. 928-метровый отходняк, то есть: от ближайшего кабака вас отделяют ровно 928 метров. Отходняк-рекордсмен, то есть страстное желание установить спортивный рекорд, господин Теннисист. Да-да, этого недостаточно. Надо брать глубже. Возьмем первый из вышеперечисленных: отходняк-голодень... Каковы его конституциональные основы? Гипертрофированный аппетит и жажда? Извините, но вы проявляете прямо-таки исключительную склонность упрощать то прекраснейшее, что связывает человека с бутылкой. Так вот: отходняк-голодень — одна из самых симпатичных и в определенном смысле самых благородных разновидностей похмелья. Хотите знать, при чем тут благородство? Отвечаю: голодень открывает для вас чувственное многообразие мира. Речь, разумеется, идет о чувстве вкуса.

Вечером в канун отходняка-голодня вы засыпаете немым, оглушенным и начисто лишенным способности что-либо воспринимать. В число чувств, которые вам в тот день отказали, попало и чувство вкуса. Вы, это самое, понятия не имеете, что вчера пили на-

[1] Следовательно (*лат.*).

последок: чистую, виски или «Рябиновку». А может быть, албанский коньяк, который неведомо кто принес? А может, «Зубровку» — ведь «Зубровка» все время стояла на столе, никто не выказывал желания хвататься за эту последнюю соломинку, а теперь — интересное дело: бутылка из-под «Зубровки» пуста. А может, это были традиционно завершающие вечер четыре банки пива? А может быть, как велит обычай, рюмочка ликера? Лежите, значит, вы в постели, предаетесь такого рода мучительным размышлениям и, не в состоянии докопаться до истины, силитесь отыскать на языке хотя бы воспоминание о вкусе, след последней капли, но, как сказал поэт, душа моя, не тщись напрасно. Вы не знаете, просто-напросто не знаете, какой на вкус была последняя жидкость, которую вы в себя вливали. И именно на фоне этого вкусового мрака с особой яркостью проявляются достоинства голодня. Ибо голодень — это, понятное дело, голод, квинтэссенция голода, это вкус, вкус отчетливый и острый, как заточенное безумцем лезвие бритвы. Ибо голодень — это кусок колбасы, немедленно, прямо в холодильнике, обмокнутый в горчицу и немедленно — голова в полярных недрах холодильника — там же, в холодильнике, пожираемый, это яичница с той же колбасой, кофе, булка, бутерброд с сыром и медом, но надолго этого не хватит, добавим еще кусок пиццы, и гамбургер, и порцию сосисок по дороге на работу... собственно, продолжать нету смысла, и без того ясно: отходняк-голодень — это день гигантской жратвы, это истерическая чувствительность ко вкусу, к запаху еды. А нора, как и отходняк, — истерическая чувствительность ко вкусу и запаху одиночества.

Граха, Граха, приди. Граха, утешь меня сколь можешь, явися средь присных или сном, или тенью, иль как смутный призрак[1].

А алкоголизм сам по себе? Кто такой алкоголик? В каком случае вы можете назвать себя алкоголиком? Самые светлые умы не одно столетье тщетно пытались определить в этой материи границу между видимым и невидимым. А вот я знаю. Я знаю, когда можно назвать себя алкоголиком. Ты алкоголик, если после обеда, выковыряв из зубов мясное волоконце и позабавившись им вволю, покатав туда-сюда языком, начинаешь понимать, что этот крохотный кусочек мяса после окончательной обработки на шлифовальных, токарных, фрезерных станках, бесчинствующих в твоей полости рта, — что этот ошметочек определенно напоминает тебе маленький бутылец, миниатюрную поллитровку, сувенирную бутылочку. О! Ты явственно ощущаешь кончиком языка махонькую пробочку, горлышко и даже поверхность малюсенькой этикетки, и когда, продолжая работать языком, ты прочитаешь на этикетке название, это будет означать, что ты... существуешь. Горькая настойка. Да, ты существуешь. А ее нет и никогда не будет. Граха, где ты? Слышишь, Граха? Музыка проникает в мою душу и в мою плоть. Моя грыжа слушает Шуберта, тающие у меня под кожей таблетки эспераля, позабыв о божьем свете, слушают Шуберта, горящее нутро погружается в волны его симфоний, диабет, ревматические боли и едва пульсирующие бедренные артерии наслаждаются фортепьянным трио си мажор соч. 99.

Граха, где ты? Не волнуйся, Граха, в конце концов нас обязательно примут в НАТО. А когда нас примут в НАТО, твои, Граха, ноги будут самыми прекрасными во всем Атлантическом пакте. Граха... это самое... Атлантического пакта прекраснейшая нога...

■

[1] Цитата из «Тренов» Я. Кохановского.

ЖАН-КЛОД ПЕНСОН

Стихи

Перевод с французского Е.ТУНИЦКОЙ

***

Впервые в Ментоне я побывал подростком
мы лазали по горам
круто спускающимся к морю
я осваивал Гёльдерлина
и представлял себя в Греции или на островах
в то время здесь часто звучала русская речь
проходя вблизи казино
где собирались местные эмигранты
я всякий раз представлял, как они тоскуют о Черном море
о тех местах куда уже не вернутся
я вовсе их не жалел
если я и учил тогда русский
то лишь потому что смутно симпатизировал советской стране
сидя под соснами я открывал для себя вперемешку
Ленина Пикассо и Колтрейна
я возбуждался от запаха эвкалипта
в компании девочек по вечерам
когда мы спускались с вершины
через террасы садов
под лягушачьи напевы
звучавшие из потаенных тенистых углов
по берегам водоемов
как многие подростки
я старательно передавал поэтическим языком
свое восприятие ландшафта
и получались стихи в жанре «Тель Кель»[1]
(поскольку этот журнал изучался мною усердно):

Светлячки-пантографы
плывут по поверхности водоема
копируя свое отчаяние на грифельном фоне ночи
потолок небес по-заморски черен
почти алжирский теплый вечер
смешивает голоса собак и лягушек
ночь на побережье
насыщена змеистым светом
неоновых вывесок и парковых фонарей
мы смешиваемся с ней
в поисках вечного горения

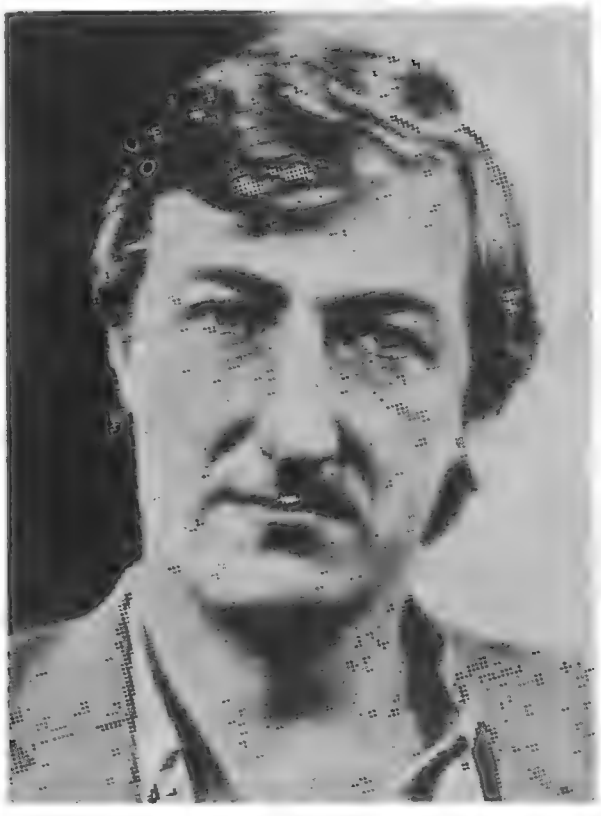
---

[1] Известный французский эстетико-философский и поэтический журнал «Tel Quel».

© J.-C. Pinson, 1990
© Е. Туницкая. Перевод, 1999

с тех пор красоты поизносились как и везде
декорацию увенчали жилые массивы
сквозь горы пробилась автострада
возраст обязывает и я предпочитаю
испытывать ностальгию по старой Ментоне
сидя в своем кабинете
и перечитывая страницы
воспоминаний
которые ей посвятил Набоков
здесь же он описал
памятный майский день, порт Сен-Назер
и свое отплытие в Нью-Йорк

■



ДЖУЛИАН БАРНС

Вспышка

РАССКАЗ

Перевод с английского Л. МОТЫЛЕВА

1. Петербург

Это была его старая пьеса, написанная во Франции еще в 1849 году. Тогда российская цензура запретила публикацию, и пьеса была напечатана только в 1855 году. Ее впервые поставили еще семнадцать лет спустя, и эти пять спектаклей в Москве полностью провалились. Теперь, через тридцать лет после написания пьесы, актриса спросила по телеграфу его разрешения на новую постановку в Петербурге. Он согласился, мягко оговорившись, что эта давняя вещь писана не для сцены. Он добавил, что пьеса недостойна ее таланта. Это была ничего не значащая любезность — ведь он еще не имел случая увидеть ее игру.

Пьеса, как большинство его сочинений, была о любви. И в литературе, как в жизни у него, любовь не удавалась. Любовь могла с меньшим или большим успехом пробуждать добрые чувства, льстить самолюбию или очищать кожу — но счастья она не дарила; всегда мешало несоответствие чувств или намерений. Такова уж природа любви. Конечно, она удавалась в том смысле, что была источником сильнейших ощущений жизни, делала его свежим, как весенний цвет, а потом колесовала, как отступника. Она вела его от вышколенной щепетильности к относительной отваге, хотя отвага эта была довольно умозрительного свойства и ей трагикомически не хватало воли к действию. Любовь учила его наивной жадности предвкушения, горькой обездоленности провала, стону сожаления и глупой нежной памятливости. Уж он-то знал, что такое любовь. Он знал также, что такое он сам. Тридцать лет назад он придал свои черты Ракитину, рассуждающему о любви на сцене: «По-моему, Алексей Николаич, всякая любовь, счастливая, равно как и несчастная, — настоящее бедствие, когда ей отдаешься весь...» Все эти мысли цензура пустила под нож.

Он предполагал, что она будет играть главную героиню — Наталью Петровну, замужнюю женщину, которая влюбляется в учителя своего сына. Но она выбрала роль Верочки, воспитанницы, которая, как водится в пьесах, тоже влюбляется в учителя. Сыграли премьеру; он приехал в Петербург; она посетила его в «Европейской гостинице», где он остановился. Она со страхом ожидала встречи, но была очарована «элегантным и милым дедушкой». Он обращался с ней как с ребенком. Что в этом удивительного? Ей было двадцать пять, ему шестьдесят.

Двадцать седьмого марта он отправился на представление своей пьесы. Хоть он и прятался в глубине ложи, его узнали, и после второго действия зрители начали выкрикивать его фамилию. Она пришла к нему, чтобы вывести его на сцену, но он отказался и поклонился публике из ложи. После третьего действия он явился к ней в уборную, взял ее за руки и подвел к газовому рожку. «Верочка... — сказал он. — Неужели эту Верочку я написал?! Я даже не обращал на нее внимания, когда писал... Все дело в Наталье Петровне... Вы живая Верочка...»

© Julian Barnes, 1996, first printed in THE NEW YORKER Magazine.
© Л. Мотылев. Перевод, 1999

2. Реальное путешествие

Итак, любовь к своему же творению? Верочка на сцене, освещенная огнями рампы, Верочка за кулисами, освещенная газовым рожком, — его Верочка, тем более желанная теперь, что он проглядел ее в своей пьесе тридцать лет назад? Если, как порой утверждают, в любви человек всецело обращен на себя, если предмет ее в конечном счете не важен, потому что влюбленный ценит лишь возникшие в нем самом чувства, то существует ли закругленность более складная, чем любовь драматурга к своему персонажу? Кому нужно вторжение реальной женщины, реальной *ее*, освещенной солнцем ли, рампой ли, огнем ли сердца? Вот фотоснимок Верочки, одетой словно для школьных уроков, кроткой и привлекательной, с живыми глазами и повернутой к нам доверчивой ладошкой.

И если подобное смешение произошло, причиной тому была она. Годы спустя она писала в воспоминаниях: «Я священнодействовала... Мне совершенно ясно представлялось, что Верочка и я — одно лицо...» Стоит ли удивляться, что именно эта «живая Верочка» тронула его вначале; и ее тоже, возможно, вначале тронуло нечто несуществующее — автор пьесы, каким он был давным-давно, тридцать лет тому назад. Учтем к тому же, что он наверняка переживал эту любовь как последнюю в своей жизни. Он был уже стар. Где он ни появлялся, всюду его приветствовали как некое явление, как представителя былой эпохи, уже сказавшего свое слово. За границей его облачали в мантии и вешали ему на грудь ленточки. В свои шестьдесят лет он был стар не только по возрасту, но и по сознательному решению. Год или два назад он написал: «После 40 лет суть жизни сводится к одному-единственному слову: *самоотречение*». Он уже прожил полтора этих срока. Ему было шестьдесят, ей двадцать пять.

В письмах он целовал ей ручки, целовал ей ножки. Послал ей золотой браслет с награвированными вдоль внутренней стороны двумя их фамилиями. «Я... почувствовал, — писал он, — как я искренне полюбил Вас. Я почувствовал... что Вы стали в моей жизни чем-то таким, с которым я уже никогда не расстанусь». Написано в общепринятых выражениях. Стали ли они любовниками? Вряд ли. Для него это была любовь, замешенная на самоотречении, любовь, чьи восторги именовались «если бы» и «могло бы статься». И подобно тому, как до возраста самоотречения доказательством или по крайней мере свидетельством в пользу изъявляемого чувства служит мужская сила, — эрекцию в зал для дачи показаний! — так в поздние годы, в годы увядания, плотская немощь служит признаком одряхления сердца.

Но всякая любовь нуждается в путешествии. Всякая любовь символически сама есть путешествие, и этот символ требует воплощения. *Их* путешествие произошло двадцать восьмого мая 1880 года. Он жил тогда в своем орловском поместье и настойчиво приглашал ее в гости. Она не могла приехать — спектакли, гастроли; даже ей в двадцать шесть лет приходилось платить дань самоотречению. Но ей предстояла поездка из Петербурга в Одессу; путь пролегал через Мценск и Орел. Он сверился с расписанием. Было три поезда из Москвы в этом направлении. Двенадцать тридцать, четыре и восемь тридцать — курьерский, почтовый и пассажирский. Прибытие в Мценск соответственно в десять вечера, четыре тридцать утра и девять сорок пять утра. Затевая роман, следовало считаться с прозой жизни. Прибудет ли любимая вместе с почтой или будет тащиться с малой скоростью? Он убеждал ее отправиться курьерским, сообщая более точное время остановки в Мценске — девять пятьдесят пять вечера.

В этой пунктуальности было нечто забавное. Его собственная неточность была притчей во языцех. Одно время он демонстративно носил с собой чуть ли не дюжину часов, что не мешало ему немилосердно опаздывать. Но двадцать восьмого мая он, дрожа как юноша, стоял на перроне маленького мценского вокзала и ждал курьерского. Стемнело. Он вошел в поезд. От Мценска до Орла было сорок пять верст.

Все эти сорок пять верст он просидел в ее купе. Смотрел на нее, целовал ей руки. Поцеловать ее в губы не решился — самоотречение. Или, может быть, попытался поцеловать в губы, а она отвернулась — обида, унижение. К тому же, в его возрасте, банальность случившегося. А может быть, он поцеловал ее, и она ответила ему с такой же горячностью — удивление и захлестывающий страх. Что предпочесть, мы не знаем; его

дневник был потом сожжен, ее письма тоже не сохранились. Мы располагаем только его письмами, о степени точности которых говорит то обстоятельство, что эта майская поездка там отнесена к июню. Мы знаем, что у нее была попутчица, некая Раиса Алексеевна. Что она делала? Прикинулась спящей? Встала у окна, словно обладала устройством ночного видения? Укрылась за томиком Толстого? Промелькнули сорок пять верст. Он сошел с поезда в Орле. Она сидела у окошка, махала ему платочком, и курьерский поезд уносил ее в Одессу.

Увы, даже этот платочек — художественный вымысел. Но главное состоит в том, что у них все-таки было свое путешествие. Впоследствии его можно было вспоминать, улучшать, переводить из разряда «если бы» в нечто действительное, осязаемое. Вновь и вновь, до самой смерти он мысленно возвращался к этому путешествию. Оно в определенном смысле было у него последним — последним путешествием сердца. «...вся Ваша жизнь впереди, — писал он, — моя позади — и этот час, проведенный в вагоне, когда я чувствовал себя чуть не двадцатилетним юношей, был последней вспышкой лампады».

Хотел ли он этим сказать, что у него была почти полноценная эрекция? Наше столетие презирает предыдущее за его умолчания и общие места, за все эти вспышки, искры, огни и иносказательные ожоги. Любовь — никакая не лампада, боже упаси, это напряженный член и влажное влагалище, рычим мы на этих полуобморочных, самоотрекающихся людей. За чем дело стало? Ну же! Смелей, вы, члено-клиторобоязненное племя! *Ручки*, видите ли, целовал. Совершенно ясно, что́ он хотел целовать на самом деле. Ну, и почему нет? Да хоть бы и в поезде. Там даже лучше: знай только держи язык где нужно, и качка вагона все за тебя сделает. Туктук-туктук, туктук-туктук!

Когда вам последний раз целовали руки? А если недавно, то смогли ли вы понять, хорошо он это делает или плохо? (А еще лучше спросить: когда вам в последний раз *писали* о том, что целуют ваши руки?) Вот аргумент в пользу мира самоотрекающихся. Если мы накоротке с удовлетворением, они были накоротке с желанием. Если мы накоротке с числами, они были накоротке с отчаянием. Если мы накоротке с похвальбой, они были накоротке с памятью. У них было целованье ножек, у нас есть сосанье пальчиков на этих ножках. Вы все еще предпочитаете нашу сторону неравенства? Может, вы и правы. Попробуем тогда его упростить: если мы накоротке с сексом, они были накоротке с любовью.

А может быть, все это совершенно неверно и мы просто-напросто принимаем за чистую монету условности эпистолярного стиля? Может быть, целованье ножек как раз и означало сосанье пальчиков? Он, помимо прочего, писал ей и так: «...целую Ваши ручки, ножки и все, что Вы мне позволите поцеловать... и даже то, что не позволите». Ведь правда, тут все совершенно ясно — как отправителю, так и адресату? И если так, то, возможно, придется неравенство заменить на равенство и сделать вывод, что близость сердец тогда понималась столь же грубо, как и сейчас.

Как бы то ни было, насмехаясь над изысканными недотепами прошедшей эпохи, мы должны быть готовы к издевкам века грядущего уже над нами. Почему-то мы позволяем себе об этом не думать. Мы верим в эволюцию, но только в такую, которая нами заканчивается. Мы не хотим продолжать ее дальше наших солипсистских персон. В старой России люди любили мечтать о лучших временах, и мы считаем эти мечты своим лавровым венком. Чем доказываем только свою ограниченность.

Ее поезд двигался к Одессе, он проводил ночь в орловской гостинице. То была двухполюсная ночь — прекрасная, потому что в мыслях у него была только она, и мучительная, потому что мысли эти не давали ему заснуть. Терпкая чувственность самоотречения взяла над ним власть: «...вдруг замечаю, что мои губы шепчут: «Какую ночь мы бы провели...» На что наш практический и раздражительный век отвечает: «Ну и сел бы на следующий поезд! И нацеловался бы вволю во все места!»

Так поступить было бы опасно. Он должен был оберегать невозможность любви. Поэтому он предлагает ей экстравагантное «если бы». Он признается ей, что перед самым отправлением поезда его «подмывала уж точно *отчаянная* мысль» — умыкнуть ее. Искушение, естественно, было преодолено — в игру вступило самоотречение: «...звонок раздался — и ciao! — как говорят италиянцы». Но представьте себе, что было бы в

газетах, приведи он в исполнение свой мгновенный план! «СКАНДАЛ В ОРЛОВСКОМ ВОКЗАЛЕ», — самозабвенно воображает он. Если бы. «Вчера здесь произошло необыкновенное происшествие: писатель Т. (а еще старик!), провожавший известную артистку С., ехавшую исполнять блестящий ангажемент в Одессе, внезапно в самый момент отъезда, как бы обуян неким бесом, выхватил г-жу С-ну через окно из вагона, несмотря на отчаянное сопротивление артистки» и т. д. и т. д. Если бы. Подлинность мига — платочек, которым она, возможно, махала ему в окно, свет газового фонаря на вокзале, возможно, падавший на его старческие седины, — переиначена в мелодраму и фарс, в газетное зубоскальство и «отчаянность». Соблазнительное «если бы» обращено отнюдь не в будущее; оно надежно упокоено в прошлом. «...звонок раздался — и ciao! — как говорят италиянцы».

Он использовал и другой тактический прием: форсирование будущего, с тем чтобы доказать невозможность любви в настоящем. Уже сейчас и при том, что между ними «ничего» и не было, он смотрел на неслучившееся с некоторого отдаления: «А если мы и увидимся через два, три года — то я уже буду совсем старый человек, Вы, вероятно, вступите в окончательную колею Вашей жизни — и от прежнего не останется ничего». Два года, полагал он, превратят старого человека в совсем старого; а колея, и весьма банальная, уже ждала ее: за кулисами бренчал шпорами и всхрапывал по-лошадиному Н. Н. Всеволожский, гусарский офицер. Как странно пригождается порой эффектная форма тощему и сутулому штатскому!

Не стоит нам уже припоминать Верочку — наивную, несчастную воспитанницу. Воплотившая ее актриса была женщиной богемного склада, крепкой телом и темпераментной. Она уже была замужем и искала развода; всего в ее жизни было три брака. Ее письма не сохранились. Делала ли она ему авансы? Была ли хоть чуточку влюблена в него? Или, может быть, была влюблена больше, чем чуточку, но обескуражена его предвкушением неудачи, его чувственным самоотречением? Может быть, она не меньше, чем он, была скована его прошлым? Если для него любовь всегда означала поражение, почему в ее случае должно быть иначе? Если ты вышла замуж за фетишиста женской ступни, не удивляйся, когда увидишь его свернувшегося калачиком в твоем шкафчике для обуви.

М. Г. Савина — Верочка («Месяц в деревне»). 1879 г.

В письмах к ней, говоря об этом путешествии, он не раз поминал некий замок или задвижку — le verrou. Что это было — замок на двери купе? на ее губах? на ее сердце? Или замок на его плоти? «Вы знаете по мифологии, каково было положение Тантала», — писал он. Положение Тантала в подземном царстве было таково, что он мучился от неизбывной жажды; он стоял по горло в воде, но стоило ему наклонить голову, как вода отступала. Должны ли мы заключить отсюда, что он пытался поцеловать ее, но стоило ему приблизиться, как она отстранялась, отворачивала влажные губы?

С другой стороны, год спустя, когда все отстоялось и стилизовалось, он пишет ей так: «Вы мне говорите в конце Вашего письма: «Крепко целую Вас». Как? Так, как тогда, в эту июньскую ночь, в вагоне железной дороги? Этих поцелуев я — сто лет проживу — не забуду». Май превратился в июнь, робкий воздыхатель — в счастливого любовника,

насладившегося множеством поцелуев; к замку, оказывается, можно подобрать ключ. Где же, черт возьми, правда? Нам, теперешним, подавай чистую правду, без примеси, но чистой она никогда не бывает: то секс примешивается к чувству, то чувство к сексу.

3. Воображаемое путешествие

Он путешествовал. Она путешествовала. Но *они* больше не путешествовали ни разу. Она приезжала к нему в имение, плавала в пруду — «петербургская русалка», — а когда уехала, он назвал в ее честь комнату, где она ночевала. Целовал ей ручки, целовал ей ножки. Они переписывались до самой его смерти, после которой она оберегала его память от вульгарных интерпретаций. Но сорок пять верст — это было все, что они проехали вместе.

Они могли отправиться в новое путешествие. Если бы... если бы. Он был большим гурманом этого «если бы», и потому они не отправились. Они отправились в условно-прошедшем.

Она вышла замуж во второй раз. Н. Н. Всеволожский, гусарский офицер, клац, клац. Когда она в письме спросила его, какого он мнения о ее выборе, он ушел от ответа. «...Теперь уже поздно спрашивать моего мнения на этот счет. *Le vin est tiré — il faut le boire*»[1]. Спрашивала ли она его как собрата по искусству, что он думает о не слишком обязывающем браке, в который она собиралась вступить с человеком, имевшим с ней мало общего? Или вопрос значил нечто большее? Может быть, она предлагала ему свое собственное «если бы», наталкивала его на мысль посоветовать ей дать жениху отставку или по крайней мере приглашала подумать о такой возможности?

Но «дедушка», который сам никогда не был женат, уклоняется от подобного совета. *Le vin est tiré — il faut le boire.* Что это за манера — в ключевые эмоциональные моменты укрываться за иноязычными фразами? На французском или итальянском, видно, легче отыскать отчуждающий, мягкий эвфемизм, дающий возможность выйти из игры.

Разумеется, санкционировать ее бегство из-под венца означало бы допустить слишком серьезное вторжение реальности, настоящего времени. Он отсекает все это: вино надо пить. Дав такое указание, можно вернуться к своим фантазиям. В следующем письме, двадцать дней спустя, он пишет: «...а я, с своей стороны, мечтаю, как было бы хорошо проездить с Вами вдвоем хотя с месяц — да так, чтобы никто не знал, кто мы и где мы...»

Это нормальные мечтания эскаписта. Вдвоем, инкогнито, не стесненные во времени. Это также, конечно, медовый месяц. Куда, спрашивается, ехать на медовый месяц утонченным людям, людям искусства? Конечно же, в Италию! «А представьте-ка, — дразнит он ее, — следующую картину: Венеция, напр., в октябре (лучший месяц в Италии) или Рим. Ходят по улицам — или катаются в гондоле — два чужестранца в дорожных платьях — один высокий, неуклюжий, беловолосый и длинноногий — но очень довольный, другая стройненькая барыня с удивительными (черными) глазами и такими же волосами... положим, что и она довольна. Ходят они по галереям, церквам и т. д., обедают вместе, вечером вдвоем в театре — а там... Там мое воображение почтительно останавливается... Оттого ли, что это надо таить... или оттого, что таить нечего?»

Неужто его воображение почтительно останавливалось? Наше не останавливается — куда там. Нам в нынешнем веке все предельно ясно. Дряхлеющий господин в дряхлеющем городе проводит фальшивый медовый месяц с молоденькой актриской. Гондольеры, плеща веслами, доставляют их в отель после интимного ужина, звуковое сопровождение — оперетта, и надо ли говорить, что происходит потом? Речь идет, мы помним, не о реальности, так что не стоит принимать во внимание немощь пожилой и размягченной алкоголем плоти; мы надежно упрятаны в условном наклонении и укутаны теплым дорожным пледом. Так что, если бы... если бы... тогда бы ты ее трахнул, не так ли? Кончай отнекиваться!

Фантазия о венецианском медовом месяце с женщиной, все еще находящейся меж двух мужей, чревата, если ее развивать, некоторыми опасностями. Конечно, поскольку ты с твоим самоотречением вновь отстранился от нее, вряд ли ее воображение воспла-

---

[1] Вино откупорено — надо пить (*франц.*).

менится настолько, что в одно прекрасное утро ты обнаружишь ее сидящей на чемодане у твоих дверей и томно обмахивающейся паспортом. Нет, более реальна опасность испытать боль. Самоотречение означает уклонение от любви и, соответственно, от боли, но даже в этом уклонении есть свои ловушки. Больно будет, к примеру, мысленно сопоставить венецианское каприччо твоего почтительного воображения и неминуемую реальность ее грядущего медового месяца с гусарским офицером Н. Н. Всеволожским, который будет непочтительно трахать ее каждую ночь и который ведать не ведает ни о венецианской академии изящных искусств, ни о дряхлении плоти.

Чем лечится боль? Временем, твердят старые мудрецы. Но ты знаешь лучше. Ты достаточно умудрен, чтобы понимать, что время не всегда ее лечит. Образ любви как ярко вспыхивающей и печально гаснущей лампады не совсем верен. Попробуй лучше шипящий газовый рожок, который обожжет, если сунуть в него руку, и который, что много хуже, дает свет — резкий, болезненный, безжалостный свет, выхватывающий худого старика, что стоит на провинциальном перроне перед тронувшимся поездом, глядит на желтое окно и трепетную ручку, уплывающие из его жизни, идет несколько шагов вслед за составом, вагон за вагоном ныряющим во тьму, фиксирует взгляд на красном фонаре хвостового вагона, не отводит глаз, пока фонарь не превращается в рубиновую планету на ночном небе, потом поворачивается и обнаруживает, что освещен все тем же вокзальным газом, одинокий человек, которому осталось только пережидать в номере затхлой гостиницы, притворяться, что приобрел, когда на самом деле потерял, тешить бессонницу уютными «если бы», а потом вернуться на вокзал и вновь стоять в одиночестве в более милосердном свете, но перед менее радостным путешествием — те же сорок пять верст, но в обратном направлении. На поездку из Мценска в Орел, которую он будет фетишизировать до конца своих дней, постоянно отбрасывает тень вторая, нигде не упомянутая поездка из Орла в Мценск.

И вот он предлагает еще одно воображаемое путешествие, снова в Италию. Теперь она уже замужем, но эта перемена в ее положении не обсуждается. Вино надо пить. Она едет в Италию — вероятно, с мужем, хотя он не справляется о ее попутчиках. Он одобряет поездку хотя бы по той причине, что она позволяет ему предложить альтернативу — на этот раз не мятежный медовый месяц, а спокойное путешествие в безболезненном условно-прошедшем. «Я прожил во Флоренции — много, много лет тому назад (в 1858 году) — десять прелестнейших дней». Время при таком использовании становится анестезирующим средством. Это было так много, много лет тому назад, что ему «еще сорока лет не было» — и значит, основа жизни не свелась еще к самоотречению. «Она [Флоренция] оставила во мне самое поэтическое, самое пленительное воспоминание... а между тем я был там *один*... Что бы это было, если бы у меня была спутница, симпатическая, хорошая, красивая (это уж непременно)...»

Так вполне безопасно. Воображением можно управлять, используя дар ложной памяти. Позже, уже в нашем столетии, политические руководители его страны весьма успешно будут вымарывать людей из истории, убирая их с фотографий. А пока — вот он сидит, склонившись над своим альбомом воспоминаний и аккуратно вклеивая в них фигуру красивой спутницы. Лепи его сюда, этот снимок кроткой, привлекательной Верочки, и любуйся черной тенью, которую отбрасывает под омолаживающим светом лампы твоя седая голова.

4. В Ясной Поляне

Вскоре после встречи с ней он поехал в гости к Толстому, который взял его на охоту. Его посадили в лучшую засидку, над которой обычно пролетало много бекасов. Но в тот день небо ничего ему не подарило. От засидки Толстого то и дело доносился выстрел; вот еще один; вот еще один. Словно все бекасы слетались к Толстому на ружье. Это казалось закономерным. А он подстрелил всего одну птицу, да и ту собаки не смогли найти.

Толстой презирал его с самого начала; считал человеком бесхребетным, колеблющимся, женственным, считал изящным пустомелей и легковесным западником; потом привечал его, не выносил его, провел с ним неделю в Дижоне, ссорился с ним, прощал

его, ценил его, гостил у него, вызвал его на дуэль, привечал его, презирал его. Вот как Толстой выразил ему сочувствие, когда он лежал во Франции смертельно больной: «Известия о вашей болезни... ужасно огорчили меня, когда я поверил, что это серьезная болезнь. Я почувствовал, как я вас люблю. Я почувствовал, что, если вы умрете прежде меня, мне будет очень больно».

Самоотречение в его стиле вызвало бы в то время у Толстого только презрение. Позднее Толстой пришел к своему варианту самоотречения, обрушился на похоть и блуд и призвал искать спасения в крестьянской простоте. Путного ничего не вышло — он был иначе устроен. Кто-то может обвинить его в обмане, в том, что его самоотречение было фальшивым; но, скорее всего, он просто не смог. Его плоть противилась самоотречению. Тридцать лет спустя он умер на железнодорожной станции. Его последние слова были вовсе не «...звонок раздался — и ciao! — как говорят италиянцы». Завидовал ли преуспевший в самоотречении тому, кто не преуспел? Есть порода бывших курильщиков, которые отказываются от предложенной сигареты, но говорят: «Дымите в мою сторону».

Она разъезжала; работала; жила с мужем. Он попросил ее прислать гипсовый слепок со своей руки. Он много раз целовал подлинную руку; почти в каждом письме целовал воздушный ее образ. Теперь он мог прильнуть губами к гипсовому подобию. Что же, гипс менее бесплотен, чем воздух? Или он хотел претворить свою любовь и ее плоть в памятник? Его просьба может вызвать ироническую улыбку: уж если снимать слепок, то с руки писателя, которая вывела бессмертные строки, и обычно это делается после его кончины.

Он углублялся все дальше в старость, зная, что эта женщина была — и уже перестала быть — его последней любовью. И, поскольку форма была делом его жизни, не вспоминал ли он теперь первую свою любовь? Тут ведь он был специалист. Считал ли он, что первая любовь задает тон человеческой жизни до самого конца? Либо ты воспроизводишь затем все тот же тип любви, фетишизируя некие ее свойства, либо, наоборот, она становится для тебя предостережением, ловушкой, контрпримером.

У него первая любовь случилась пятьдесят лет назад. Княжна Шаховская. Ему было четырнадцать, ей — двадцать с чем-то; он боготворил ее, она обращалась с ним как с ребенком. Это озадачивало его, пока он не узнал причину. Она была любовницей его отца.

Через год после охоты на бекасов у Толстого он приехал в Ясную Поляну еще раз. Был день рождения Сони Толстой, и дом был полон гостей. Он предложил, чтобы каждый вспомнил счастливейший миг в своей жизни. Когда подошла его очередь в затеянной им самим игре, он с возвышенным видом и знакомой всем меланхолической улыбкой объявил, что счастливейшим мигом в его жизни был миг любви — когда глаза любящих встретились. «Такое было со мной однажды — возможно, дважды». У Толстого этот ответ вызвал раздражение.

Потом, когда молодежь потребовала танцев, он показал парижскую новинку. Скинул пиджак, засунул большие пальцы себе под мышки и пустился выделывать коленца — вскидывал ногу, мотал головой, тряс седой шевелюрой под хлопанье и одобрительные возгласы; хватал воздух, вскидывал ногу, хватал воздух, вскидывал ногу, пока наконец не рухнул в кресло без сил. Номер имел большой успех. Толстой записал в своем дневнике: «Тургенев cancan. Грустно».

«Однажды — возможно, дважды». Это о ней сказано — «возможно, дважды»? Возможно. В предпоследнем письме он целует ей руки. В последнем письме, написанном слабеющей рукой, поцелуев нет. Он пишет: «Я не меняюсь в своих привязанностях — и до конца сохраню к Вам те же чувства».

Конец наступил через шесть месяцев. Гипсовый слепок с ее руки хранится сейчас в Государственном театральном музее в Санкт-Петербурге — городе, где он в первый раз поцеловал ее живую руку.

■

ДОНАЛД БАРТЕЛМИ

В музее Толстого

РАССКАЗ

Перевод с английского С. БЕЛОВА

Мы сидели в музее Толстого и горько плакали. Бумажными слезами — по щекам сбегали струйки серпантина. Наши взгляды снова и снова устремлялись к портретам. Они висели слишком высоко. Мы вызвали директора и потребовали, чтобы их повесили пониже — хотя бы дюймов на шесть. Директор опечалился, но пообещал все сделать.

Когда они перевесили портреты, как мы просили, мы решили еще раз пройтись по экспозиции. В музее, кстати, находится почти тридцать тысяч портретов графа Толстого. Долго всматриваться в лицо на портрете — занятие невыносимо тяжелое. Слишком много потаенных страстей открывается твоему взору.

Толстой в юности

В Старогладковской, 1852 (?)

Толстой по-русски означает «толстый». Его дед имел обыкновение отправлять свое белье на стирку в Голландию. Его мать не знала ни одного скверного слова. В юности Толстой сбрил себе брови. Он надеялся, что когда они снова отрастут, то станут кустистее. В 1847 году Толстой впервые подхватил гонорею. Однажды его укусил в лицо медведь. В 1885 году он стал вегетарианцем. Он завел привычку время от времени пригибаться назад — чтобы вызвать к своей особе дополнительный интерес.

Я сидел в музее Толстого и ел сандвич. Музей сделан из камня — множество затейливо обработанных камней. Если смотреть на музей с улицы, создается впечатление, что кто-то поставил одна на другую три каменные коробки, причем каждая последующая

© 1987 by Donald Barthelme
© С. Белов. Перевод, 1999

Охота на тигра, Сибирь

Сюртук Толстого

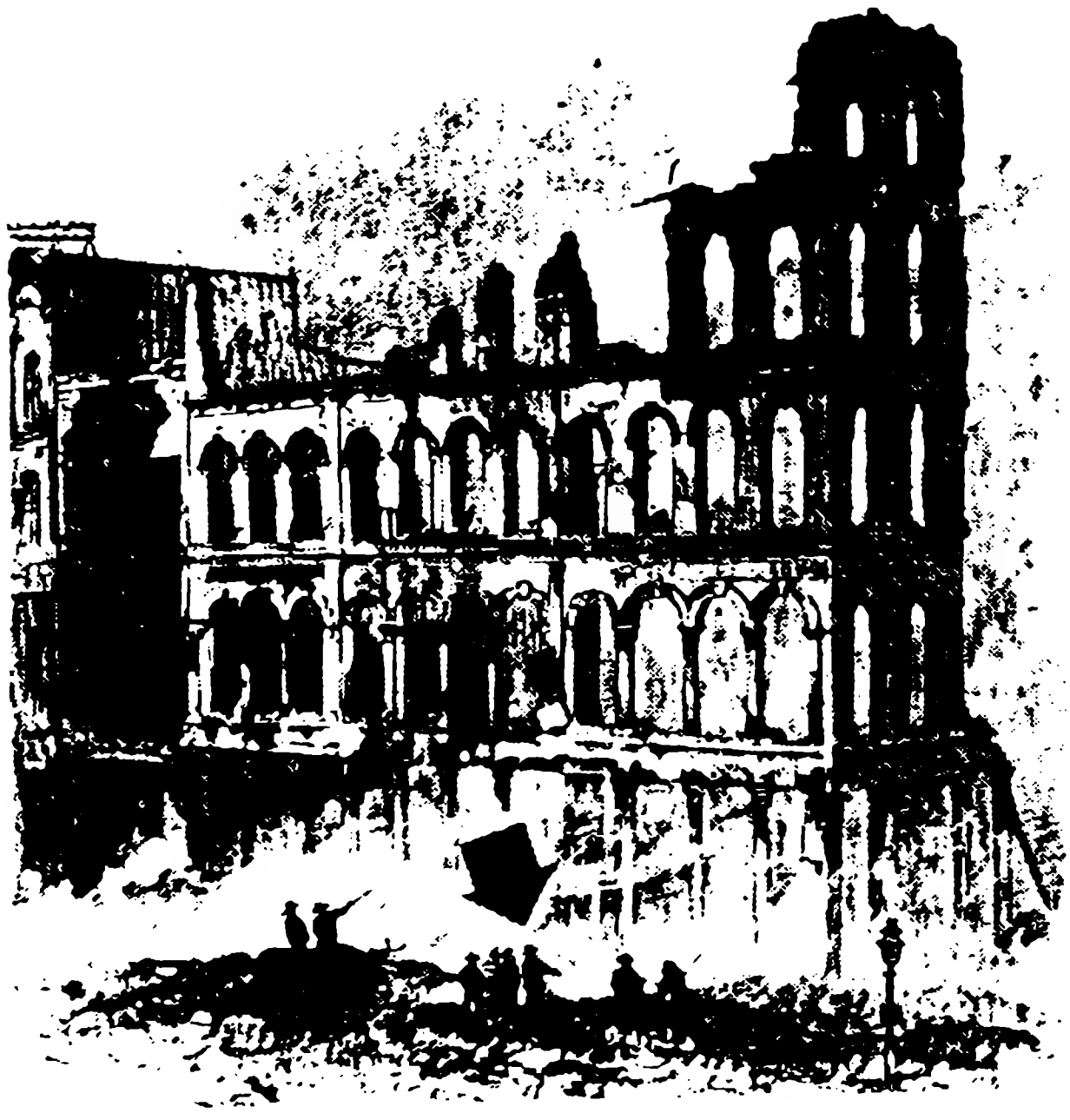
больше предыдущей. Первый, нижний ярус, — коробка для обуви. Второй — коробка из-под виски, ну а третий, самый большой, напоминает коробку, в которую в универмаге вам упаковывают пальто.

Третий, верхний ярус устроен необычно, и посетители обсуждают это на все лады. Пол там стеклянный, и видно все, что происходит внизу. Возникает ощущение, будто ты куда-то плывешь.

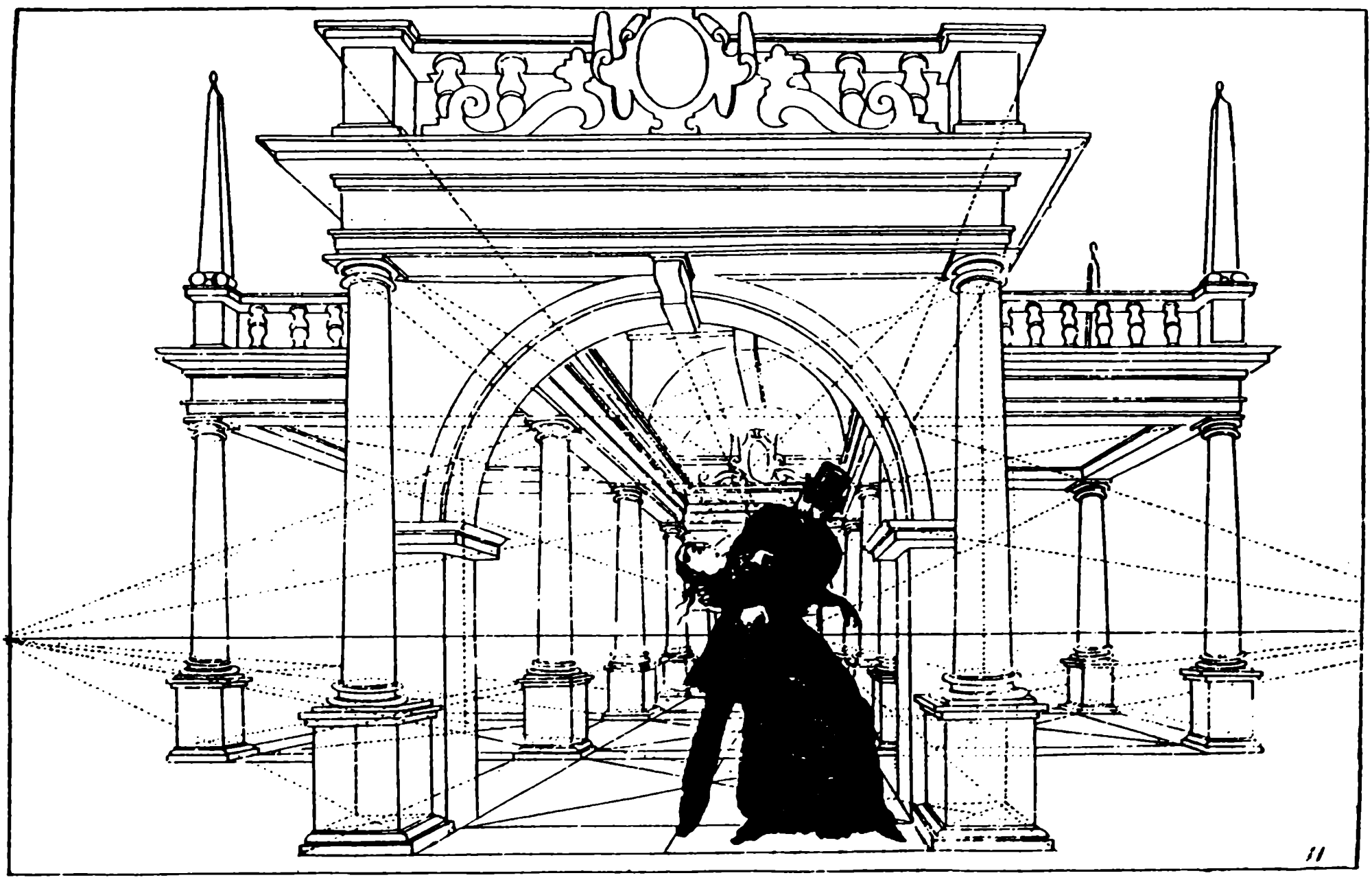
Если смотреть на здание с улицы, то кажется, что оно вот-вот обрушится и раздавит тебя. Тем самым архитектор хотел подчеркнуть непререкаемый моральный авторитет графа Толстого.

На первом этаже плотники извлекали из контейнеров новые портреты графа Толстого. На контейнерах было написано красным: «Не кантовать».

Служители музея расхаживают с лотками, на которых высятся стопки чистых носовых платков. Ни в одном музее мира у посетителей не возникает такого желания поплакать, как здесь. Вы только прочитайте название одной из работ графа Толстого: «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят», и у вас на глазах выступят слезы. Сколько тут искренней, всепоглощающей любви! Вот и стоят посетители перед витриной с этим произведением и плачут, плачут... Да и те, кому случилось посмотреть в глаза писателю на одном из его многочисленных



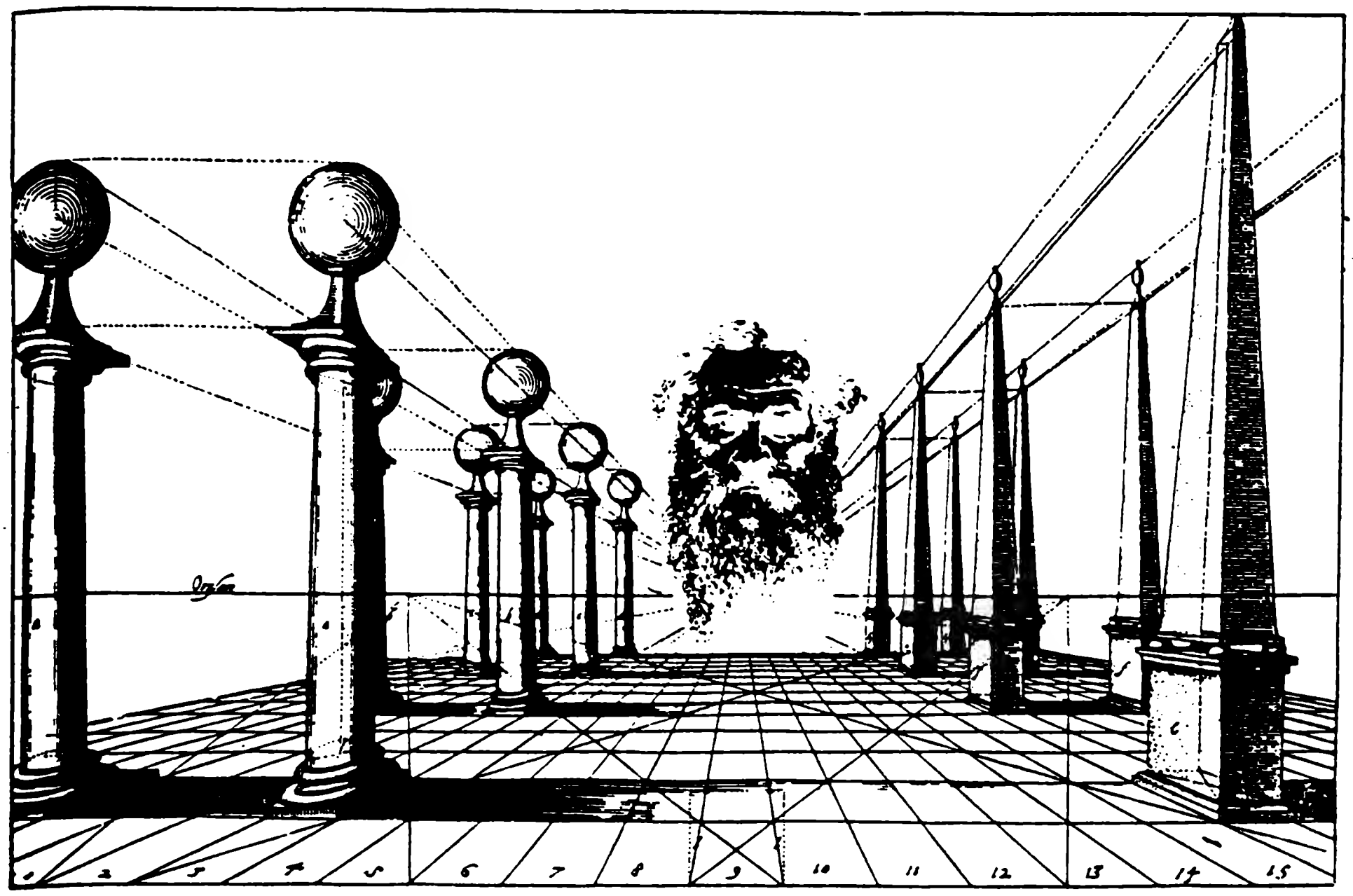
Катастрофа (стрелкой указан Толстой)



Павильон Анны — Вронского

портретов, начинают всхлипывать. Один из посетителей сказал, что у него возникает ощущение, будто он нашалил и был застигнут на месте преступления отцом, который взирает на тебя сразу из четырех дверей.

Я сидел в музее Толстого и читал его рассказ. Один архиерей плывет по морю на корабле, и кто-то рассказывает ему об островке, на котором живут в уединении три старца. По словам рассказчика, старцы эти отличаются поразительной набожностью. Архиерея охватывает желание встретиться со старцами и поговорить с ними. По его настоянию корабль поворачивает к этому островку и бросает близ него якорь. Архиерей от-



Музейная площадь с монументальной головой (закрыто по понедельникам)

правляется на берег в лодке. Он знакомится со старцами, и те рассказывают гостю, как почитают Всевышнего. Они знают лишь одну молитву, которая звучит так: «Трое вас, трое нас, помилуй нас». Архиерей сообщает им, что это неправильная молитва, и пытается обучить старцев молитве «Отче наш». Обучение идет с большим трудом. Только к вечеру старцы кое-как запоминают слова молитвы. Архиерей возвращается на корабль довольный, что научил старцев правильно молиться. Корабль продолжает свой путь. Архиерей сидит на корме и вспоминает о своем посещении острова. Вдруг он обращает внимание на странный свет за кормой. Оказывается, это три старца, взявшись за руки, движутся по морю, словно посуху, стараясь догнать корабль. Крайние старцы отчаянно машут свободными руками. Поравнявшись с кораблем, они хором обращаются к архиерею: «Забыли, раб Божий, забыли твое ученье». Молитва «Отче наш» вылетела у них из памяти, и они хотят, чтобы архиерей снова напомнил им слова. Но архиерей, перекрестившись, отвечает: «Доходна до Бога ваша молитва, старцы. Не мне вас учить. Молитесь за нас, грешных». Он кланяется старцам в пояс, а те, взявшись за руки, отправляются назад, на остров, по морю, словно посуху.

Рассказ очень просто написан. Говорят, в его основе народное предание. Было что-то похожее и у Блаженного Августина. Я был ошеломлен странной остраненной красотой этой истории.

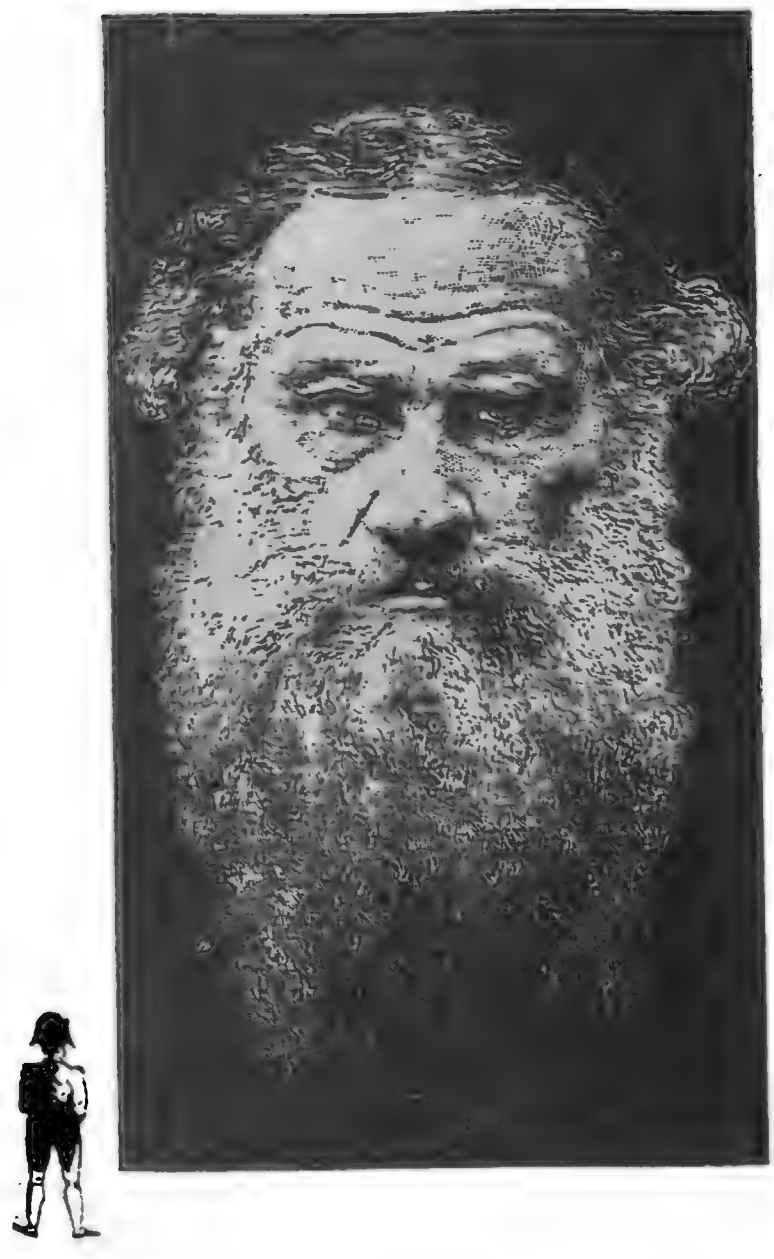
Великая печаль охватила семьсот сорок одного воскресного посетителя музея Толстого. Их вниманию была предложена очередная лекция по работе Толстого «Зачем люди себя одурманивают?». Под влиянием красноречия выступавших аудитория сильно загрустила. Наверное, лекторы были убедительны.

Люди разглядывали маленькие портретики Некрасова, Тургенева, Фета, которые висели между больших портретов Толстого.

На площади у музея зловещего вида музыкант играл на деревянной свирели, а двое детей не спускали с него глаз.

Мы имели возможность ознакомиться с 640086 страницами собрания сочинений Толстого (юбилейное издание). Кто-то говорил, что Толстой им ни к чему, кто-то, напротив, выражал радость от того, что он жил и творил. «Для меня это источник постоянного вдохновения», — признался один из посетителей.

У меня на этот счет мнение так и не сформировалось. Когда я стоял в зале «Лето в деревне», на глаза мне пару раз набегала пелена. Впрочем, я решил добраться до зала «Утро помещика». Может, это окажет на меня жизнеутверждающее воздействие.



ПОЛЬ РЕБУ, ШАРЛЬ МЮЛЛЕ

Из книги «В стиле...»

Перевод с французского А. БОГДАНОВСКОГО

От редакции

Полю Ребу и Шарлю Мюлле было по тридцать лет, когда в 1907 году в издательстве «Грассе» вышла их первая совместная книга «В стиле...», имевшая огромный успех и давшая счастливый старт только что родившемуся издательству. Это была первая ласточка французской литературной пародии XX века — жанра, в котором работали такие мэтры, как Марсель Пруст, Жорж Перек, Раймон Кено, Патрик Бессон и многие другие. Героями (или «жертвами») острого пера этого тандема, заставлявшего смеяться всю читающую Францию, были не только классики мировой и французской литературы — Шекспир,Толстой, Расин, Бодлер, Метерлинк, Д'Аннунцио, но и не столь знаменитые писатели, шаржи на произведения которых намного пережили оригинальные тексты.

Сотрудничество Ребу и Мюлле, успевших опубликовать в соавторстве еще две книги из серии «В стиле...», прервала смерть Шарля Мюлле, погибшего на фронте в 1914 году. Судьба Поля Ребу оказалась более счастливой: он жил долго и написал много романов, биографий и критических статей. В 1998 году, спустя более девяноста лет после первой публикации, «Грассе», ставшее одним из самых крупных французских издательств, выпустило книгу, в которой собраны совместные сочинения этих двух писателей.

Иван Прощелыгович Гузкин, став по смерти матери, Кузьмы Васильевны Потанглевской, наследником значительного состояния, а позднее и владельцем имения Бутербродово, родовой вотчины его отца, генерала Димитрия Ивановича Гузкина, находившейся в Куропеевском уезде Муравеевской губернии, долгое время жил той так называемой рассеянной жизнью, которую люди его круга считали единственно достойной себя и которая состояла в самом бессовестном разврате, то есть в одурманивании себя пьянством, в поездках туда — в те ярко освещенные, блещущие зеркалами *заведения*, где большую часть дня и всю ночь беспрестанно пилось шампанское и водка, лились ликеры в рояли и шел блуд с теми погрязшими в грехе несчастными женщинами, которых обрекала на постоянное попрание законов божеских растленная власть законов человеческих, именно тех законов, которые мужчины, курящие табак и пьющие вино, в сладострастии эгоизма сами установили для себя.

И жизнь эта продолжалось до тех пор, пока 6 января 1885 года, в самый канун Рождества, не произошло события, нарушившего привычно неизменный и ровный ход ее. Его приятель и собутыльник Николай Новгородович Мулагов, напившись допьяна, накурившись вдосталь и до хрипоты наоравшись песен, счел, что будет *забавно*, если его запрут в леднике *фешенебельного* ночного ресторана. Наутро его нашли мертвым — окоченевшим и закосневшим в грехе. Стыд и отвращение, родившиеся в душе Ивана Прощелыговича при этом зрелище, переменили его решительно. Он роздал бедным все, что принято было считать *удобствами* его роскошной городской квартиры: калорифер, туалетную и ванную комнаты, ватерклозет и лифт, стал носить деревянные калоши, ибо сделался вегетарианцем, и ему гадко и стыдно было теперь пользоваться мехом и кожей убитых животных. Земли свои он разделил между крестьянами, уничтожил все запасы дров и угля и сжег библиотеку, поскольку книги заключали в себе вредоносные идеи, разжигая дурные страсти, ведущие к еще более дурным болезням, и прививали влечение к питью вина и курению табака.

Наконец он вырыл на Невском проспекте ямку и закопал в ней свои перчатки, карманные часы, пенсне — все эти вещи, выдуманные людьми, противоречили естественной жизни, потому что животные, которые одни только этой естественной жизнью жили, обходились без них.

В ту минуту, когда Гузкин заравнивал ямку, уличная девица окликнула его:

— Мужчина, угостите даму спичкой.

Иван Прощелыгович взял руки этой несчастной и поцеловал их. Та отпрянула в испуге. Тяготевшее над нею проклятие ее ремесла лишило ее способности различать добро и зло.

— Отвяжись от меня, старый черт! Свинья ты противная! Чтоб тебе как собаке издохнуть, чтоб тебе все кишки повыворотило! — кричала она, оборачиваясь на бегу.

Этот поток брани не смутил Гузкина.

— Не бойся, моя голубушка, — сказал он. — Я хочу увести тебя со стези порока.

— Лучше три копейки дай. Квасу напьюсь.

— Я дам тебе добрый совет и денег не возьму, — ласково упрашивал ее Гузкин.

При этих словах слезы блеснули в покрасневших глазах проститутки, да и немудрено было заплакать: покуда они с Иваном Прощелыговичем говорили, стоя на проспекте, снег, беспрестанно валивший с самого начала зимы, совсем выстудил воздух.

Потом проститутка, вытерев лицо рукавом своего красного канаусового *бешмета*, сказала:

— Ладно, папаша, я согласная.

И Гузкин привел к себе это падшее создание.

С того дня он всякое утро бывал на Невском. И всякое утро, завидев на панели проститутку, подходил к ней, знакомил ее со своими взглядами, а потом вел к себе. Через три месяца у него в избе набралось уже девяносто девиц, покончивших со своим темным прошлым. Они жили там просто и открыто, в согласии с тем, каковы были природа и истина прежде, покуда современная софистика и чудовищные ужасы царизма не отравили умы и души людей. С утра до ночи Иван Прощелыгович неустанно подавал им пример. Всем сердцем восприняв учение духоборов, он и барышень убедил в том, что одежда есть безнравственное и лицемерное измышление, потворствующее греху, пьянству и курению. И, под сенью животворящего креста, все они стали ходить совсем без платья, как и подобает существам простым и чистым, не в пример тем, о которых в Писании сказано: «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». И воскресшие для новой жизни девицы соперничали друг с другом в благочестии, и присутствие их сообщало избе постоянное благоухание святости.

Но с течением времени Гузкин стал замечать, что воспитанницы его хиреют и чахнут. И однажды ночью, когда он лежал, подложив под голову старый котелок, заменявший ему мягкую подушку, на которой, как известно, истинно верующему плохо спится, его осенило: «Верные и вдохновляющие меня социологические теории Генри Джорджа и Спенсера учат, что люди, предававшиеся мирским и мерзким порокам, пившие, курившие, блудодействовавшие или же принимавшие морфин, не способны так вот сразу, за здорово живешь, очиститься от этой скверны. Отвыкание должно происходить постепенно».

«И в самом деле, — сказал он себе. — Если плотское влечение есть привычка, все эти женщины, прежде тешившие свою похоть несколько раз на дню, а то и ежечасно, могут даже умереть, если вдруг в одночасье лишатся этой отравы».

Поднявшись, он подошел к лежанке, где спала Катерина Самоваровна, и совершил плотский грех с нею, а потом с Тетенькой Михайловной, с Верой Ефремовной, с Вазелиной Васильевной, с Агриппиной Нероновной и с Оленькой, прозванной Камчаткой. После чего вернулся к себе, подложил под голову котелок и уснул. Наутро он вновь принес себя в жертву, но уже не шесть раз, а пять. На следующий день его хватило лишь на четырех. Так и шло.

И вот каждую ночь он исполнял свой подвиг, несмотря на то что сил становилось все меньше. В конце концов Гузкин понял, что одного его явно недостаточно и что, с другой стороны, ему, раздавшему все свое имение бедным, уже не добыть обитательницам избы иного пропитания, кроме селедки с капелькой прованского масла.

Тогда он решился прибегнуть к помощи нескольких своих знакомых, в чьих достоинствах не сомневался. И по вечерам они стали сходиться в его избе, принося каждый по рублю, и, облачась в костюмы духоборов, принимать участие в деле духовного возрождения. А поскольку многие из них по ошибке захаживали в дом по соседству, где жил местный поп, мерзко скаредный о. Сергий, Иван Прощелыгович укрепил и над своей дверью икону и затеплил перед нею красную лампадку.

ИГОРЬ ВОЛГИН

ИЗ РОССИИ — С ЛЮБОВЬЮ?

«Русский след» в западной литературе

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

28 марта 1824 года одесский наместник граф М. С. Воронцов, поверяя российскому министру иностранных дел К. В. Нессельроде свои педагогические раздумья относительно вверенного их общему попечению Александра Пушкина, с неодобрением отзывался о восторженных поклонниках названного сочинителя. Ибо они, эти безответственные сладкопевцы, поддерживают в неопытном молодом человеке ложное убеждение, будто бы он — замечательный писатель. «Между тем как он, — строго указывал граф, — только слабый подражатель малопочтенного образца». Сам «малопочтенный образец» был обозначен в скобках: лорд Байрон.

Выбор, впрочем, был невелик. Юная российская словесность без особой застенчивости обращала свои взоры туда, куда она только и могла их обратить. Но Гарольдов плащ оказался плохо приспособленным для российских морозов, может быть, именно поэтому период ученичества не затянулся надолго. Минул совсем небольшой исторический срок — и мощная эманация художественной энергии устремилась в противоположном направлении. Русская аура, выражаясь слогом О. Мандельштама, стала «наплывать» на западные литературы, меняя что-то в их строении и составе. Это магическое мерцание чужой речи было столь завораживающим, что побудило одного из корифеев новой словесности мягко предостеречь европейскую публику: «Достоевский, но в меру!»

К исходу нынешнего столетия, на заре своей поспешившего возвестить о разрыве «всех связей» с предшествующей историей, вдруг обнаруживается, что мировой ресурс русской классики далеко не исчерпан. Более того: *архаический* опыт русского золотого века становится тем актуальнее, чем громче звучат голоса о новом «постмодернистском» сознании, о безграничной моральной свободе, о том, что отныне — как, впрочем, и было предсказано — решительно «все позволено». Оказывается, «русский след» в зарубежной словесности вовсе не затерялся; правда, он являет себя не прямо и, как правило, в довольно затейливом виде.

Европейские и американские писатели XX века — от Хемингуэя до Борхеса, от Фицджеральда до Сартра, от Томаса Манна до Камю — испытали не только воздействие повествовательной техники Достоевского и Толстого (о чем можно было бы говорить отдельно). В большей или меньшей степени они старались «держать в уме» некоторую сумму метафизических сомнений и экзистенциальных тревог, занимавших, как это принято считать, их российских предшественников. Отсюда — постоянные возвращения к «вечным сюжетам» русской классической прозы, которые мощно преображались иной художественной волей и иной культурной средой; отсюда — «выпуклая радость узнаванья», те тайные переклички и ауканья, которые свидетельствуют не столько о правоте компаративистов, сколько о духовном единстве человечества, общности его страданий и надежд.

С некоторых пор, однако, можно наблюдать знаменательные сдвиги внутри самой этой литературной парадигмы. Происходит то, что можно было бы назвать переориентацией архетипических повествовательных моделей. Точно так же, как некогда марксизм выстраивал по своему просветляющему ранжиру все события всемирной истории, так и ныне «фрейдистская поправка» вносится во все мировое художественное наследие. В определенном ключе трактуются тексты от Гомера до Бродского: в них вдохновенный интерпретатор не без удовольствия обнаруживает до-

---

© И. Волгин, 1999

казательства сугубой правоты *венской делегации*. Доминирующими мотивами человеческой деятельности все больше признаются те,что связаны с проблемами «телесного низа». Моральное самочувствие героев зависит преимущественно от степени благополучия именно в этой сфере. Понятно, что обсуждение в подобном контексте так называемых «проклятых» вопросов (которые без особой натяжки могли бы именоваться также вопросами «русскими»), как-то: добра и зла, нравственного выбора и свободы, а еще пуще — совести и долга, представляется в высшей степени неуместным и даже заслуживающим насмешки.

И все же, как сказано, «русская тема» время от времени возникает в литературном сознании Запада. При этом в зону художественного внимания попадает не только та или иная «идея», восходящая к российским истокам. Нет, помимо канонических текстов в поле литературной игры втягивается сама личность автора: мифологизированный русский *писатель* (или, если угодно, русский исторический человек) становится законным персонажем современной западной прозы.

Именно этот историко-культурный сюжет объединяет представленных здесь и в остальном ни в чем не схожих между собой зарубежных писателей. Все они не новички в литературе, все обладают достаточно громкими именами. Общее меж ними лишь то, что российская словесность притягивает их неизъяснимо, если не в качестве образца, то, во всяком случае, как повод для размышлений.

Существенно также и то, что взгляд, на нас направляемый, направлен именно с Запада. И хотя англичанин Джулиан Барнс или американка Сьюзен Сонтаг имеют, казалось бы, больше оснований слыть западными писателями, нежели близкий географически (да, пожалуй, и исторически) к нашим палестинам поляк Ежи Пильх или чрезвычайно отдаленный от них южно-африканский прозаик Дж. М. Кутзее, для всех них Россия — это принципиально *не*-Запад. Она существует отдельно и автономно — как нечто внеположное привычному укладу западной жизни. И вместе с тем она как бы заключает в себе момент всеобщности, такую универсальную духовную категорию, без учета которой Европе, Америке (Южной Африке etc.) труд самопознания давался бы с большими изнурениями и, возможно, имел бы несколько иной результат.

АНДЕГРАУНД ПЛЮС АНДЕГРАУНД

Уже само название рассказа Ежи Пильха «Монолог из норы» прозрачно корреспондирует с «одноименными» «Записками из подполья». В польской версии метафора как бы овеществляется, причем некоторые подробности подпольного существования — в нынешнем его варианте — обретают подчеркнуто медицинский оттенок: «Эта комфортабельная и прилично обставленная землянка — моя больница, мой санаторий и моя амбулатория. Это моя послеродовая палата, моя поликлиника, мой вытрезвитель, моя детоксикация, моя реанимация, мой наркологический диспансер». Надо ли объяснять, что герой по профессии врач? Его умозаключения относительно собственного жилища не лишены и экзистенциального смысла: «...чем не уютный изолятор, где можно годами лечить похмелье, именуемое жизнью?»

Подпольный Достоевского более зол; Подпольный Пильха более ироничен. Первого безмерно уязвляет его положение в мире; второму на это, кажется, «глубоко наплевать». Его истинная привязанность — телевизор: важное удобство, которого был лишен обреченный на визуальное одиночество незадачливый петербургский чиновник. Но у Достоевского собственное воображение героев столь же всесильно, как и серийные телевизионные чары: полагаем, автора «Записок из подполья» можно было бы причислить к основоположникам виртуального реализма.

В отличие от классического Подпольного герой Ежи Пильха состоял некогда в браке («Моя неотразимая в физическом смысле жена», — деловито сообщает польский анахорет, что, надо признать, звучит очень забавно). Он, как говорилось, вполне примирен с жизнью или, во всяком случае, не пытается бежать от нее. Свидетельством чему служит купленный на последние деньги сотовый телефон. В отличие от своего петербургского собрата, страдающего от унижений, связанных с поиском случайной подруги (у Достоевского поиск этот имеет не столько сексуальный, сколько «протестный», самоутвердительный смысл), герой Пильха прибегает — с помощью все того же телефона — к широкодоступным услугам фирмы «Досуг». «Во всяком случае, — заявляет повествователь (рискуя навлечь на себя ужасные подозрения в антипатриотизме), — появление на польских землях службы знакомств стало для меня наглядным и ощутимым доказательством того, что моя страна освободилась от московского ига. Иных доказательств независимости — кроме борделей — я не заметил». Признание тем более знаменательное, если вспомнить, что, скажем,

пан Врублевский в «Братьях Карамазовых» соглашается выпить за Россию исключительно в границах до 1772 года.

В «Монологе из норы» присутствуют и другие исторические реалии — причем, так сказать, разных геополитических ориентаций. К ним насмешливый монологист также относится без особого пиетета. И если грудь своей бывшей жены он готов почесть лучшим бюстом стран — участниц Варшавского договора, то и ноги любовницы — при перемене политических обстоятельств — имеют шанс сделаться «самыми прекрасными во всем Атлантическом пакте».

Да, сугубо чувственная связь «полуподпольного» персонажа «Монолога» — большого любителя российской словесности — с худощавой call-girl, которая, учитывая литературные пристрастия героя, усиленно выдает себя за уроженку Петербурга, мало напоминает почти лишенный сексуальных обертонов поединок в «Записках из подполья». Но присутствие «в кадре» российской литературы[1] — от Пушкина до Венечки Ерофеева включительно (в этой связи любопытна польская оркестровка наших национальных алкоголических тем), — это присутствие получает здесь двойное оправдание.

Разумеется, польский роман (в смысле не текст, а любовь) протекает в иных декорациях и в другом историческом времени. Но, с одной стороны, здесь используется архетипическая матрица «Записок из подполья» — для того чтобы, отталкиваясь от классического сюжета, затеять свою собственную литературную игру. А с другой — «лоб в лоб» сталкивается авторитетная для мирового культурного сознания «русская духовность» с ситуацией, иронически сниженной, профанируемой, заведомо пародийной. («Никаких стриптизов с поэмой Пушкина в зубах. Никакой маскировки эрогенных зон томиком рассказов Ивана Бунина. Никаких сдавленных выкриков в кульминационные моменты «Незнакомки» Блока».) Автор как бы балансирует между академической ссылкой и культурологическим фарсом, вернее, соединяет то и другое в пространстве фразы. И если поэзия (в широком смысле) — это «одна великолепная цитата» (которая имеет, в сущности, единый первоисточник), стоит ли тратить усилия на распознавание вариантов?

«НЯНЯ ПРИНОСИТ К ЧАЮ ВАТРУШКИ...»

В рассказе Сьюзен Сонтаг «Сцена письма» цитата служит отправной точкой для моделирования целого ряда ситуаций, причиной или следствием которых является эпистолярный акт. Последний, как правило, демонстрирует высокую степень напряжения душевных сил. Письма родственные, любовные, предсмертные и т.д.: здесь важен сам процесс порождения эпистолярного текста, странная привычка фиксировать на бумаге то, что не всегда выразимо посредством грамматических форм. Среди мировых сюжетов осведомленный автор без труда находит классический русский пример. Письмо Татьяны к Онегину, равно как и его «ответный» — увы, безнадежно запоздавший — ход обставлены такими подробностями, которые, стань они известны создателю романа в стихах, безусловно вызвали бы у него чувство художественного умиления. «Она (Татьяна. — *И.В.*) встает и просит няню приготовить чаю. Няня приносит к чаю ватрушки. Татьяна хмурится и вновь принимается за работу». Текст «Онегина», как видим, усовершенствован самым положительным образом.

В 1831 году будущий министр народного просвещения Сергей Семенович Уваров переложил на французский стихотворение Пушкина «Клеветникам России». «Стихи мои, — замечает по сему поводу ободренный поэт, — послужили Вам простою темою для развития гениальной фантазии. Мне остается от сердца Вас благодарить за внимание, мне оказанное, и за силу и полноту мыслей, великодушно мне присвоенных Вами». Утонченная вежливость может соперничать с не менее утонченной насмешкой.

Весьма любопытна у Сонтаг реконструкция гипотетического письма Онегина к его престарелому отцу: подобного текста, насколько помнится, не сыщешь в романе. Не будем, однако, буквоедами: можно ли воспрепятствовать затекстуальному ветвлению чужого сюжетного древа? Валерия Брюсова, взявшего на себя труд завершить «Египетские ночи», не остерег грозный окрик В. Маяковского. («Бояться Вам рожна какого? / Что / против — Пушкину иметь? / Его кулак / навек закован / В спокойную к обиде медь».) Если же брать более близкие примеры, вспомним,

---

[1] Герой Ежи Пильха, заявляя, что у него «с самим собой нет ничего общего», спешит добавить: «Это тоже искаженная цитата из одного классика. Классик, правда, не русский, но это не важно». Между тем приведенная мысль «снова» тяготеет к русским источникам. Например, к О. Мандельштаму:

У чужих людей мне плохо спится
И своя-то жизнь мне не близка.

что американская (да, кажется, и российская) публика не без удовольствия отнеслась к появлению литературной и телевизионной версий продолжения знаменитого романа Маргарет Митчел[1].

Игры с литературными персонажами, выведенными за пределы авторского воображения и включенными в сферу другого творческого сознания, — это мировая традиция. Культура домысливает самое себя; она размыкает границы произведения и делает релятивным сам канонический текст. Все больше уже сотворенных художественных миров втягивается в это бесконечное филологическое ток-шоу, где главный приз всегда достается ведущему. Литература, как алхимический дракон, начинает пожирать собственный хвост. Нельзя исключить, что единственной моделью будущего искусства станет его внутренний диалог. Тем самым оно засвидетельствует собственную самодостаточность и эстетическое равнодушие ко всему, что не является им самим.

Центон есть *бонтон* современной словесности — как на Западе, так, следует это признать, и на Востоке. Но если автор волен, словно некий дух, вторгаться в чужое художественное пространство и извлекать из него собственную выгоду, что может помешать ему проникнуть в интимнейшие тайны самих творцов? Писатель — как человек — давно уже сделался *читательски* интересен. Тем паче когда он — не условная романическая фигура, а вполне узнаваемое историческое лицо. Как, например, в рассказе Джулиана Барнса «Вспышка», где предметом изображения является поздняя страсть шестидесятилетнего Ивана Сергеевича Тургенева к двадцатипятилетней Марии Гавриловне Савиной. Такой возрастной разрыв *волнителен* сам по себе; волнение усиливается, если в роли страдальца оказывается создатель «Отцов и детей».

ПОСЛЕДНИЕ РАДОСТИ

Надо отдать справедливость автору: он знает источники. (Немалая для писателя доблесть, ибо известны примеры, когда знаменитое тыняновское «я начинаю там, где кончается документ» истолковывалось в том смысле, что знакомство с самим документом вовсе не обязательно.) Воспоминания Савиной, письма Тургенева и т.д. щедро введены в текст (сами фигуранты не названы при этом по имени — в твердой надежде на то, что западный интеллектуал угадлив не меньше российского). Фактическая сторона рассказа не вызывает сомнений. Что же касается попутных авторских комментариев, они по-своему замечательны.

Дж. Барнс вовсе не следует той традиции сентиментального биографизма, которой предпочитают придерживаться некоторые отечественные авторы. Не отрицая подлинности и силы «последней любви» Тургенева, он начисто устраняет ее *поэтическое* истолкование и переносит сюжет на сугубо *практическую* почву.

Русская литература, поднаторевшая в деле срывания «всех и всяческих масок», не сумела, однако, довести свое назойливое правдоискательство до логического конца. Она стушевалась и стыдливо обошла чисто эротическую сторону вопроса. Точнее говоря, не сделала эту сторону предметом своих забот. Даже у Толстого, «духовидца плоти», наличествуют тут досадные пробелы. (Хотя, кажется, трудно усомниться в эротизме «Анны Карениной» или «Отца Сергия».) Пушкинская максима, связанная с перлюстрацией его супружеских писем, «никто не должен быть принят в нашу спальню», была понята расширительно. Что, надо полагать, сильно задержало наметившийся было литературный прогресс.

Ныне «в нашу спальню» имеют удовольствие заглядывать все кому не лень. Российские авторы делают это с не меньшей охотой, чем иностранцы: так, наконец, преодолевается вековая отсталость. Повествователь, избегнувший общей привычки и сдержанный в своих изобразитель-

---

[1] Не только люди, но и предметы могут в подобных случаях жить вполне самостоятельной жизнью. «Что стало с письмом, которое она прислала ему четыре года назад? — горестно вопрошает Сьюзен Сонтаг по поводу все той же татьяно-онегинской переписки. — Он даже не удостоил его чести быть сожженным, оно просто где-то затерялось. Ах, если бы оно было у него сейчас, если бы лежало в бумажнике, потертое на сгибах и мокрое от его слез!» Имело бы смысл обратиться в этой связи к самому автору романа:

Письмо Татьяны предо мною:
Его я свято берегу.

Правда, не исключено, что автор лукавит, ибо в восьмой главе заявлено совершенно обратное:

Та, от которой он (т.е. Онегин. — *И.В.*) хранит
Письмо, где сердце говорит.

Не уточняется, правда, находится ли указанное послание в бумажнике героя и потерлось ли оно на сгибах. Можно предположить, что своим легкомысленным отношением к вопросу о месте хранения письма Пушкин сам подвиг позднейших сочувствователей на их топографические гипотезы.

ных средствах, достоин сожаления: он подобен розовощекому амуру, который суетливо задергивает полог алькова, прикладывая пухлый палец к неосквернённым устам.

То, о чем говорит Джулиан Барнс (и, главное, *как* он об этом говорит), вряд ли шокирует современного российского читателя, давно адаптировавшегося к словарю и «сексуальному безудержу» западной беллетристики. (Тем паче что он, читатель, неплохо знаком с авторами, еще отважнее трактующими те же материи на языке родных осин.) Интересно другое.

Нет ничего более отдаленного от «манеры письма» Ивана Сергеевича Тургенева, чем та стилистика, которую Дж. Барнс избрал для обсуждения поздних, исполненных горечью вожделений автора «Первой любви». Дж. Барнс сомневается (и справедливо) в том, что Тургенев и Савина стали любовниками. С другой стороны, едва ли не единственным препятствием для такого счастливого оборота событий служит, по Барнсу, то предполагаемое им обстоятельство, благодаря которому герой чувствует себя не вполне уютно, лишась, как выразился бы Карамзин, «способности грешить». Автор оценивает ситуацию без этих вышедших в тираж жантильностей и эвфемизмов. «Эрекцию в зал для дачи показаний!» — восклицает неумолимый дознаватель и диагност. Правда, нет абсолютной уверенности в том, что это собственно авторская речь.

Ибо последовательно проведенный в рассказе «физиологический» взгляд на происходящее — возможно, добросовестная цитата «из чужого» (плебейского, назовем его так) сознания, которое спешит низвести все виды душевной деятельности к безусловным рефлексам и обожает ставить точки над i. Похоже, сам автор пытается дистанцироваться от «ультрабазаровских» трактовок любовных перипетий века минувшего. Приводя эпистолярные строки Тургенева об их с героиней кратком свидании в идущем из Мценска в Орел (и дальше — в Одессу) курьерском — «этот час, проведенный в вагоне, когда я чувствовал себя чуть не двадцатилетним юношей, был последней вспышкой лампады» (рассказ Дж. Барнса недаром называется «Вспышка»), автор раздумчиво добавляет: «Хотел ли он этим сказать, что у него была почти полноценная эрекция?» (Вопрос, надо полагать, заданный от лица все тех же угрюмых ревнителей истины.) Трудно оспорить подобную версию. Равно как и трудно не согласиться с тем, что тургеневское признание допускает несколько большую вариативность.

Дискуссия, затеянная (или искусно поддержанная) Дж. Барнсом, любопытна скорее в терапевтическом, нежели в эстетическом плане. И не в силу того, что медицинский (в данном случае геронтологический) ее аспект не может стать предметом художественного исследования: литературе, как известно, доступно все. И даже не потому, что употребление специальной терминологии применительно к интимной жизни отечественных классиков может покоробить девственный слух российского читателя или уязвить его патриотические чувствования. Новейшая словесность закалила этого читателя до такой степени, что он давно не страшится никаких лингвистических или, положим, нравственных испытаний. Дело, конечно, не в этом. Но следовало бы принять в расчет внутреннее сопротивление текста.

Пушкинское «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...» являет высочайшую степень свободы — в той деликатной сфере, которая была табуирована временем и культурным обычаем — в области сугубо сексуальных переживаний. Пушкин тем не менее сумел сказать *все*. И сделал он это с той потрясающей откровенностью, которая, будучи принципиально невыразима на языке тогдашней культуры, «вдруг» стала внутренним содержанием и формой этого языка. «Перевод» текста в любую другую «систему речи» имел бы один результат — величайшее опошление.

Искусство не совпадает с жизнью и не равноприродно ей. Искусство — это великий эвфемизм, который знает о жизни больше, чем она подозревает сама о себе.

Новейшие литературные технологии — и у нас, и на Западе — предполагают «на выходе» ничем не ограниченную меру вербальной свободы. Между тем некоторые писатели, не отказываясь от этого блага, как бы догадываются о его художественной ущербности и неполноте. Не потому ли намеренно грубо (можно даже сказать, провокационно) обозначив эпатирующий предмет, Дж. Барнс делает ряд тонких психологических наблюдений, которые позволяют развернуть тему таким образом, как если бы упомянутый эпатаж вовсе не имел места.

«Он должен был оберегать невозможность любви», — говорит писатель о своем герое, тоже писателе, и это подразумевает гораздо большее, чем то, что первоначально имелось в виду. Отнюдь не «мужская» робость (вернее, не только она) руководила автором «Стихотворений в прозе» и тогда, когда он впервые увлекся Савиной, и тогда, когда «за кулисами бренчал шпорами и всхрапывал по-лошадиному Н. Н. Всеволожский, гусарский офицер». Это мучительная боязнь сделать неверный шаг, нравственно ошибиться, фраппировать ту, которую, наверно, устраивала эта платоническая и лестная для нее игра. А главное — страх в его возрасте и положении показаться смешным. Все это было, пожалуй, серьезнее иных подозреваемых преград. Сексуальная тайна Тургенева (если отнести к таковой его «странный» роман с Полиной Виардо и отношения с

дочерью последней) имеет помимо прочего и метафизический смысл. Что же касается «последней любви», кто знает, не повторилась ли между партнерами сцена, изображенная Чернышевским в «Русском человеке на rendez vous»[1]? И если бы один из персонажей не был при сем Тургеневым, привлекла бы эта *обыкновенная история* внимание литературной общественности?

ТРАГЕДИЯ ОШИБОК

(Достоевский и его двойники)

Еще одному сюжету из русской (как водится, писательской) жизни суждено было воплотиться на английском языке. Роман букеровского лауреата, гражданина Южно-Африканской Республики Дж. М. Кутзее «Хозяин Петербурга» (в настоящей журнальной публикации — «Осень в Петербурге») снискал многочисленные похвалы. Западные критики высоко оценили как художественные намерения автора, так и способ их исполнения. Появление русского перевода более чем оправданно. Ибо главное действующее лицо романа — Федор Михайлович Достоевский.

Поразительнее всего, что роман об осеннем, 1869 года, Петербурге появился в той части земного шара, глядя на карту которой один из чеховских персонажей замечает: «А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарища — страшное дело!» И впрямь: что *им* Гекуба? Самому автору «Преступления и наказания» никогда бы не взбрела в голову фантазия, что он сподобится стать героем южноафриканской прозы. Но дух веет где хочет.

Сочинение Дж. М. Кутзее — ни в коем случае не биографический роман. И даже не роман исторический, хотя, казалось бы, действие его разворачивается в конкретном времени и реальном пространстве. Это скорее «вариации на тему». Темой же остается загадка русской (в данном случае опять же писательской) души. Принцип романного действования, избранный автором, освобождает его от каких-либо обязательств внешнего правдоподобия.

Нет смысла напоминать читателю, что осенью 1869 года Достоевский отнюдь не обретался в Петербурге, а проводил свои дни в городе Дрездене с молодой женой и только что родившейся дочерью Любой, спасаясь от кредиторов и усердно трудясь над сочинением «Вечного мужа». И что внезапная и таинственная кончина пасынка, Павла Исаева, по причине чего писатель, собственно, и ринулся из Дрездена в северную столицу, никак не могла иметь места в указанное время, ибо, как справедливо замечено переводчиком, Павел Александрович Исаев скончался в 1900 году в возрасте пятидесяти четырех лет. И уж совершенно невозможно личное знакомство автора «Бесов» с Сергеем Геннадиевичем Нечаевым, который как раз в эти осенние дни готовил в Москве убийство студента Иванова. Его же, Нечаева, Достоевский при всем, положим, желании не мог лицезреть и двумя годами раньше — на заседаниях «Лиги мира и свободы» в Женеве, где прототип Петруши Верховенского не имел возможности присутствовать ни под каким видом.

Не будем также задерживаться на описании Дж. М. Кутзее таких печальных событий, как студенческие беспорядки в Петербурге, сопровождаемые пожарами: осенью 1869 года в столице все было спокойно.

Излишне также объяснять, что к Паше Исаеву, сыну своей покойной жены Марии Дмитриевны, Достоевский относился, выражаясь его словами, *со складкой*. Паша нередко раздражал его своей безалаберностью и фатовством. Правда, как раз в те дни, на которые падает безвременная (романная) кончина двадцатитрехлетнего Павла Александровича, последний не без усердия выполняет в столице комиссии по изданию «Идиота». И его приемный отец спешит отметить сыновьи заслуги в послании к А. Н. Майкову: «Поблагодарите его, голубчика, за его старания. Напишу ему. (И как он поумнел, судя по его письму!)». И Достоевский выполняет обещание, посылая «любезнейшему другу моему Паше» деловые, но исполненные родственной приязни эпистолы. «Одно скажу, что люблю тебя по-прежнему и более всего рад тому, что ты сумел поставить себя на порядочную ногу». Будущий автор «Подростка» не забывает о своем родительском долге. Но, конечно, ни о какой безумной отцовской страсти, которая, собственно, и движет поступками героя, говорить не приходится.

Впрочем, все это не важно. Согласимся в одном: в романе действует очень интересный персонаж. По странной случайности он носит фамилию Достоевский.

---

[1] Напомним это место, где автор статьи иронически пересказывает сюжет тургеневской «Аси»: «...и вот Ромео говорит своей Джульетте... и что же он говорит ей? «Вы предо мною виноваты, — говорит он ей: — вы меня запутали в неприятности, я вами недоволен, вы компрометируете меня, и я должен прекратить мои отношения к вам; для меня это очень неприятно с вами расставаться, но вы извольте отправляться отсюда подальше».

Вообще, изъятие исторических лиц из жестко закрепленных за ними исторических обстоятельств и помещение их в другие ситуативные модели (порой весьма отличающиеся от знакомой мифологемы) — это вполне *современно*. Версии создаются применительно даже к сакральным сюжетам: вспомним «Мастера и Маргариту» или «Последнее искушение Христа». Что же говорить о несакральных (но, бывает, часто сакрализованных) фигурах, свобода перемещения которых в культурном пространстве ограничена лишь воображением автора? (Ближайший пример — «Чапаев и Пустота» В. Пелевина). В этом отношении Достоевский ничем не хуже других.

Если писатель изображен как литературный герой, он по ходу дела вроде бы обязан писать. В этой связи нас посвящают в таинства творческого процесса, а также предлагают образчики текстов, якобы принадлежащих автору «Бесов». Это довольно рискованный ход.

Ибо Достоевский — читаем. Причем не только на страницах романа, где сообщается, что покойному мужу квартирной хозяйки, у которой жительствовал Паша Исаев, нравились «Бедные люди». И где амбициозный Нечаев с недоумением вопрошает своего собеседника, как это ему удалось написать своего Раскольникова. Для нас, признаться, это тоже остается загадкой.

Гениальность (или хотя бы одаренность) того, кто уже выразил себя текстуально, опасно *еще раз* подтверждать на письме.

Одно дело — пытаться реконструировать личность художника (которая, как всякая личность, неосязаема и поэтому поддается разным прочтениям), другое — *дописывать* «Египетские ночи». Ведь всегда существует возможность сличить продолжение с оригиналом. И тут непрошеный соавтор имеет шанс удостоиться благодарности типа той, которую Пушкин адресовал Уварову.

Но для Дж. М. Кутзее, по-видимому, совершенно не важно, захотят ли читатели сравнивать то, что пишет *его* Достоевский, с Достоевским, так сказать, натуральным. Будучи очень чуток *к звуку* эпохи, к запечатленному в языке «шуму времени», он, следуя порой за романной манерой автора «Бесов», не стремится быть большим католиком, чем папа. Для него тексты, якобы сотворенные его героем, только знак, символ совершающейся на наших глазах творческой жизни, условное обозначение того, что могло бы происходить в глубинах писательского подсознания. И нам ничего не остается, как судить художника по законам, им самим над собой признаваемым.

Дж. М. Кутзее пишет роман, что называется, «по мотивам»: он приглашает читателя опознать систему культурных кодов, сигнализирующих о том, что герой в самом неотдаленном будущем займется сочинением «романа-предупреждения»[1].

Такие указания разбросаны по всему тексту.

Выясняется, что покойный пасынок Достоевского имел приключение в Твери: ухаживал — разумеется, самым благороднейшим образом — за несчастной полупомешанной, за хромоножкой Марьей Тимофеевной Лебядкиной. (Теперь у читателя не должно оставаться сомнений, откуда в «Бесах» взялся этот персонаж.) Так реальные лица вступают в литературную связь с персонажами романическими: жанр «Осени в Петербурге» допускает любые контаминации.

«Советник Максимов», допрашивающий Достоевского по делу о смерти Павла, сильно смахивает на известного следователя по имени Порфирий Петрович. С другой стороны, убитый Сергеем Нечаевым Иванов — нищий-соглядатай, полицейский агент — ничего общего ни с реальным студентом И. И. Ивановым, ни тем более с созданным «по его подобию» Шатовым не имеет. Тут значимо *имя*. Так же, как значимо имя Ставрогина, который сам не удостаивает появиться в романе, но зато присутствует косвенно — в качестве кода-названия одной из глав.

Ставрогина, впрочем, читатель поджидает уже давно. С того самого мига, когда в повествование вступает Матрена. (Имя, разумеется, тоже знаковое.) Дочь квартирной хозяйки, естественно, не могла не сдружиться с молодым постояльцем (то есть с Павлом Исаевым); само собой, она была неравнодушна к нему. Вот все, о чем более или менее достоверно может узнать безутешный отец, поселившийся там же. Однако воображение рисует Достоевскому иные картины (которые он тут же спешит перенести на бумагу): пасынок его развращает Матрену самым изысканным способом. Он занимается любовью в ее явном или тайном присутствии, приготовляя тем самым ее собственное падение. В отличие от «настоящего» автора «Бесов», сумевшего избегнуть подробностей даже в знаменитой главе «У Тихона», романный Достоевский рисует любовные эпизоды с дотошностью неофита. Справедливости ради следует заметить, что эти изображения мало

---

[1] Это укоренившееся за романом «Бесы» определение направлено на то, чтобы акцентировать главным образом его «дидактический» аспект. Между тем огромное количество заложенных в романе Достоевского художественных смыслов отнюдь не сводимо к чисто прагматической цели, пусть даже самого высокого исторического порядка. С другой стороны, любое произведение искусства в принципе обладает «предупреждающим фактором», во всяком случае, в той мере, в какой творец выражает свое понимание должного.

чем отличаются от тех сцен, где в аналогичной роли выведен сам Достоевский и где он является весьма деятельным лицом.

Мрачным Эросом веет от этих страниц. (Сексуальная жизнь приносит русскому писателю, как мы убедились в случае с Тургеневым, мало радости.) Мучительное сожительство будущего автора «Бесов» с Анной Сергеевной, квартирной хозяйкой Павла (и, следовательно, его измена другой Анне, оставшейся в Дрездене с грудным младенцем на руках), носит, так сказать, чисто служебный характер. (Несмотря даже на то, что Федор Михайлович как порядочный человек вежливо предлагает Анне Сергеевне прижить с ним ребенка.) Анна Сергеевна подозревает, что она промежуточная инстанция, что это отчаянная попытка со стороны ее постояльца хоть таким способом приблизиться к любимому сыну. А во-вторых, это дальний заход — к догадывающейся об их отношениях Матрене. «Ты хочешь через меня дотянуться до нее!..» — восклицает проницательная Анна Сергеевна.

Итак, весь пафос «Осени в Петербурге» — в стремлении художественно воспроизвести обстоятельства, которые *могли бы* предшествовать появлению великого романа. Дж. М. Кутзее — в сослагательном наклонении — как бы домысливает ситуации, которые являются провокативными по отношению к известному тексту. Это поиск предполагаемых, потенциальных (можно даже сказать, метафизических) источников «Бесов». Это попытка реконструировать чужое писательское самосознание при помощи собственных художественных средств. И попытка эта, как всякий смелый эксперимент, заслуживает внимания.

Но вот что любопытно. По мере того как читатель все глубже погружается в тусклую, унылую атмосферу осеннего Петербурга (как говорил Достоевский, самого *умышленного* города на земле), по мере того как все больше захватывает его «бесовское» кружение героев и движение криминальной интриги, тем реже он вспоминает, что главным действующим лицом является Достоевский. То есть об этом, конечно, не дает забывать славное имя героя, но сам он, как это ни странно, вызывает читательский интерес вовсе не потому, что является его обладателем. Человек, изображенный в романе Дж. М. Кутзее, — смятенный, бегущий людей, скорбящий о своем нелепом отцовстве, — этот герой заслуживает сочувствия сам по себе. Автор порой ошибается в деталях[1], но он чрезвычайно чуток к пространству, он с удивительным вкусом воспроизводит внутренний ритм чужой — петербургской — жизни, ощущает ее сумрачную тональность, ее трагедийный подтекст. Дух «достоевского и бесноватого» Петербурга витает над сценой. И эпизоды «сошествия во ад» — в сырые подвалы, где обитают проститутки и голодные дети (и одновременно таится готовый извергнуть клеветы подпольный печатный станок), эти проходы в глубину петербургских трущоб выдержаны в стилистике русского городского романа. Возможно, «эффекту присутствия» в немалой мере споспешествует как бы заимствованный у русской прозы язык: хотелось бы верить, что это заслуга не только прилежного переводчика.

Нечаев приводит Достоевского на дроболитную башню — место гибели Павла. По спиралеобразной лестнице они поднимаются на самый верх. Они бродят меж ржавых механизмов, вдыхая «запах испражнений и заплесневелого камня». Достоевский вцепляется в поручень и старается не глядеть вниз. «Эпилептикам это очень даже знакомо — приближение к самому краю, заглядывание вниз, душа кренится, одна и та же мысль безумно, точно колокольный звон, колотится в голове: «Время придет к концу, и смерти больше не будет». Фантасмагория происходящего усиливается тем обстоятельством, что неясно, как именно умер Павел. Самоубийство, гибель от рук полиции и, наконец, убийство, совершенное Нечаевым и его друзьями, — все эти версии в равной мере правдоподобны.

«Он сжимает поручень крепче, встряхивает головой, отгоняя головокружение. Метафора — экий вздор! Есть только смерть, ничего больше. Смерть есть метафора небытия. Смерть есть смерть. Не следовало мне сюда приходить. Теперь до скончания дней эта картина будет призрачным видением стоять перед моими глазами: мерцающие под дождем кровли Санкт-Петербурга, вереница крошечных фонарей вдоль кромки воды».

Эта картина, пожалуй, запомнится и чита-телям.

Так реалии «натуральной школы» соединяются с сюром. Впрочем, нам уже это знакомо: вспомним хотя бы «Двойника».

Перевоплощения, переодевания, двоения и т. д. — все эти признаки карнавала (в нашем случае довольно зловещего) присутствуют в сочинении Дж. М. Кутзее. Герои облачаются в чужие одежды и принимают чужие обличья. Достоевский надевает на себя белую пару своего покойного сына (жадно вдыхая при этом запах его подмышек). Что касается Сергея Геннадиевича, он во-

---

[1] Например, относит «Золотого петушка» к сочинениям И. А. Крылова, замечает кандалы на ногах недавно арестованной чухонки и т. д. Но таких накладок в романе, если принять во внимание иностранное происхождение автора, на удивление мало.

обще является в женской одежде, с густо напудренным фурункулезным лицом. Каждый немного не тот, за кого он себя выдает; каждый готов подчеркнуть двусмысленность своего положения в мире. Момент неопределенности, играющий столь важную роль в поэтике Достоевского, сообщает повествованию Дж. М. Кутзее еще более выраженные «русские» черты.

Ту же функцию, очевидно, призваны исполнять многочисленные «карамазовские» разговоры в романе, которые кажутся порой несколько натянутыми и отвлеченными. Заметим, что диалоги подобного рода у «настоящего» Достоевского всегда чрезвычайно конкретны. «Слезинка ребенка» — это не этическая абстракция, а реальное происшествие: это история мальчика, растерзанного барскими псами.

«Что до жизни потусторонней, в нее он не верит. Он полагает, что вечность ему предстоит коротать на берегу какой-то реки, среди бесчисленного скопища других мертвых душ, ожидающих барки, которая не приплывет никогда. Воздух будет холодным, сырым, черные воды будут плескать о берег, одежды истлеют на нем и спадут к ногам, и сына он больше никогда не увидит». Можно, конечно, не соглашаться с такой *нехристианской* трактовкой «религиозных воззрений» Достоевского. Однако при этом нам могут указать на тот образ вечности, которая предстает в виде закоптелой, «с пауками» свидригайловской бани. И мы вынуждены будем признать, что эта параллель совершенно уместна.

Пушкин не зря говорил о странных сближениях.

Известно суждение, что русский роман должен быть достаточно длинным, ибо он предназначен для неспешного чтения долгими зимними вечерами. На Южную Африку это наблюдение, кажется, нераспространимо. Между тем роман Дж. М. Кутзее (будем считать, все-таки имеющий отношение к типологии «русского романа») также рассчитан на медленное и вдумчивое прочтение. Разумеется, это не массовая литература. Роман требует от читателя внимания, проницательности и некоторой ориентированности в мировом культурном пространстве.

И здесь еще раз стоит задуматься о том, какую роль играет русская классика в духовном существовании Запада. Точнее — в самоощущении его интеллектуальных элит.

Было бы преувеличением утверждать, что эта роль особенно велика. Тем не менее изо всех мировых литератур Нового времени, пожалуй, только российская словесность остается (пусть и в неявном виде) эталоном, точкой отсчета и внутренней мерой.

Но с этим связана одна знаменательная метаморфоза.

РОССИЯ КАК МИФ

Есть признаки того, что отечественная литература лучшей своей поры (то есть XIX — начала XX в.) со своими — преимущественно трагического склада — творцами превращается в одну из современных мировых мифологий. Наподобие того, как античные и библейские мифы питали культуру Средних веков, Ренессанса и отчасти Нового времени, так и классическое российское искусство делается источником для мировых обобщений. Воплощенные в слове (и в биографиях сочинителей) русская трагедия и русская судьба выступают как некий урок «для всех остальных» — тех, кому придется если не усвоить (невозможно «извне» впитать чужой исторический опыт), то хотя бы иметь его в виду.

Конечно, сказанное можно квалифицировать как лестное для национального самолюбия обольщение. Но важнее, какую цену приходится за это платить.

Мы уже имели случай заметить[1], что Россия все чаще причисляется к сонму исторических маргиналов, завершивших свою мировую судьбу. И что у нас есть немалые шансы сделаться греками третьего тысячелетия, которые за умеренную мзду будут водить интуристов по руинам некогда цветущей культуры, по нашим взятым под опеку ЮНЕСКО метафизическим Парфенонам: Пушкину, Достоевскому, Толстому и т. д. Неужели для того, чтобы культура сделалась мифом, страна, ее породившая, вынуждена сойти с мировой исторической сцены?

Ответ на этот вопрос может дать наше ближайшее предстоящее. Только тогда станет окончательно ясно, не прервалась ли духовная пуповина и являемся ли мы, как прежде, великой культурной державой. Или же наше прошедшее стало «античным мифом» — в том числе и для нас самих. И мы пребываем уже не внутри него, а вовне.

В глазах современного Запада русский сюжет завершен. Возможно, для нынешнего западного сознания Россия еще какое-то время останется тем, чем Запад некогда был для нее: *«страной святых чудес»*. Но любивший повторять эти слова Достоевский имел в виду именно западный миф. Он полагал, что отделенная от этого мифа западная реальность неудержимо стремится к гибельному концу. По счастью, он ошибался. Остается надеяться, что это заблуждение повторится: теперь уже применительно к нам.

---

[1] См.: *Игорь Волгин*. Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом. М., 1998. С. 572.

ИГРА В БИСЕР

Высокий международный статус русской литературы аксиоматичен и не нуждается в доказательствах — вроде любви к ней художника Александра Стеффеса, который свои картины-медитации по ее мотивам выставляет в Кёльне — художественной столице Европы. Мир давно и охотно прямо и опосредованно потребляет здешнюю вербальную продукцию — у нее есть фирменный знак и рынок.

В этом смысле русской литературе повезло больше, чем русскому «изо». И дело не в количестве признанных мировых гениев; еще неизвестно, кто кого переборет: Толстой с Достоевским и, скажем, Чехов с Набоковым — Кандинского, Шагала, Малевича и Кабакова — или наоборот. Несопоставим уровень институционального признания и самооценки. Русская литература уже больше ста лет входит в элиту национальных литератур Земли и так себя и чувствует (независимо от конкретных достижений на конкретных исторических этапах), а изобразительное искусство то, крутанувшись на шарнире авангардизма, гордо поменяет при коммунистах свой провинциальный статус на резервационный, «зазаборный», то вновь, как в наши дни, опять же торжествуя, вернет себе провинциальный.

Может, разница объясняется и тем, что все же большинство гениальных и просто больших писателей жили в основном на родине и писали по-русски и о русском, роняя лучи своей славы на национальную почву, а художественные гении в основном эмигрировали, как бы отрекаясь и от здешней масштабной шкалы, и от «русских березок» — предпочитая национальную идентификацию интернациональной.

Творчество Александра Стеффеса интересно скорее не как феномен, а как симптом. Перед нами типичный западный «салон-авангард» — и по стилевой вторичности (что, впрочем, свойственно постмодерну в целом), и по безупречному вкусу (то есть эксплуатации уже адаптированных культурой эстетических представлений), и по стандартному, «квартирному» размеру вещей (моя нью-йоркская галеристка, еще в самый разгар «русского бума» озабоченная проблемой реализации работ, при каждой встрече умоляла делать их «размером поменее», что заодно означало и «ценою подешевле»). Интересно, что Стеффес создает свои квазииллюстрации в начале 90-х, в разгар рецессии, когда русский бум на Западе закончился, а русское, да и не только русское — вообще современное, так называемое «актуальное» искусство продавалось плохо. Да и вся новоявленная Россия со своими путчами вышла из моды и снова, в качестве правопреемницы СССР, стала лишь пугалом. В этой ситуации художник обращается к русской литературной классике XIX века, которая имеет устойчивый спрос и давно основательно вписалась в тамошние культурные алгоритмы. То есть перед нами та самая красота, которая перманентно спасает мир посредством постижения загадочной русской души, иррациональные метания которой (в отличие от аналогичных движений страны обитания этой души) находят стабильно сочувственный спрос у рационального Запада. К тому же западное искусство, особенно изобразительное, давно живет под колпаком постмодерна, с его табу на всякую там духовность, а именно этого добра в нашей литературе, как известно, всегда хватало. И, соответственно, апелляция к ней однозначно маркирует месседж художника и вызывает усиленное ответное сочувствие у зрителя. Дело не только в том, что ныне «духовке» в качестве запретного плода свойственна особая притягательность, но и в том, что существует объективная потребность организма культуры в пище такого рода. И именно данный плод во многих тамошних культурных диетах считается качественным, натуральным, если доставляется из наших садов, приготовляется на нашей кухне или по ее рецептам. Не случайно, например, Чингиз Айтматов, с его своеобразными трактовками духа и веры, приспособленными, казалось, специально к застойному «реальному социализму» и ментальности советской интеллигенции, теперь, когда интерес к его произведениям на родине упал, стал одним из любимейших писателей объединенного немецкого народа.

Если говорить о собственно живописи Стеффеса, то мастеровитый художник, умеющий ра-

© С. Файбисович, 1999

ботать в разных стилях, прекрасно чувствующий цвет и пластику, вполне правоверно следует канонам и циркулярам раннего постмодерна, которые в обязательном порядке предписывали цитатность, стилевые напластования, столкновение визуального с вербальным, утонченного с примитивным etc. Скажем, в иллюстрации к «Запискам охотника» Тургенева виртуозно и старательно выписанное птичье крыло работы Дюрера помещено в контекст минималистской живописи, рассказ Чехова «В цирульне» интерпретирован в духе московского концептуального соц-арта, а гончаровский «Обломов» срифмован с чем-то вроде живописной версии конструктивизма. В результате в сочетании с подразумеваемым духовным посылом возникает резонанс разноприродных, но все же общих мест, который при известном скептицизме может стимулировать некоторое сочувствие к пафосу набоковских филиппик по поводу немецкой пошлости. Правда, Набокова возбуждали ее, так сказать, кичевые проявления, а мы имеем дело с куда более изысканными и утонченными — салонными. Посему вполне характерными представляются и ареал репрезентации этой живописи — выставки в кельнских библиотеках, и отзывы на нее.

— Тонкий и богатый мир, встречающий нас... воздействует на нас с помощью игры красок и форм, ибо ему присуща таинственная динамика и одновременно — сдержанность.

Или:

— ...живопись — это магическое письмо, которое, пользуясь цветными пятнами вместо слов, передает внутреннее видение мира: загадочного, иллюзорного, чудесного мира; живопись имеет что-то общее с мыслями, мечтами, поэзией...

Правда, сии славословия несколько зашкаливают — пробуждают желание грудью встать на защиту художника: «Ну, это вы, дорогие немецкие геноссе, чересчур. Вас бы приобщить к глазуновско-шиловским откровениям, не говоря уже о кавказских вершинах пошлости, — и сказанное было бы в самую точку. А вы, бедолаги, обречены оттягиваться на, в сущности, добротном, качественном искусстве, способном рефлексировать и деликатно вписываться в художественные и социокультурные дискурсы своего времени».

У нас все наоборот. Даже у вполне культурно ангажированной публики, имеющей вкус и глаз, совсем другой тренинг, и ей современное европейское салонное искусство может сгоряча показаться дерзким формальным вызовом и чуть ли не кощунством по отношению к литературному достоянию нации. Слишком разная оптика — удручающе велик «у них» и «у нас» разрыв представлений о том, что, собственно, такое современное искусство. И тут нет нашей вины, а есть наша беда. В том же Кёльне, небольшом, в сущности, городишке, — один из лучших в мире музеев современного искусства (музей Людвига) с роскошной экспозицией американского поп-арта и лучшими работами всех немецких звезд (Бойс, «новые дикие» и т.д.); десятки галерей представляют (и продают) и то, что уже стало классикой современного мирового искусства, и то, что репрезентирует его новейшие течения, а ежегодная кельнская художественная ярмарка — одна из самых больших и престижных в мире. И т.д. и т.п. А в столице России до сих пор нет музея современного искусства (говорят, скоро будет — Церетели устроит), зато есть музеи Рериха и Шилова. А бурное «оскульптуривание» городского пространства по своему формальному и идейному наполнению смахивает на шабаш идолопоклонников. Так что нам остается завидовать даже посетителям кельнских библиотек. Их возможности и способности потреблять (пусть и с энтузиастическим перехлестом) искусство, где литературные месседжи одной страны и одного века переплавляются в живописные изыски другой страны и другого века, превращая авторов разных времен и народов в участников общей, столь милой немецкому сердцу, игры в бисер.

С. ФАЙБИСОВИЧ

■

АЛЕНА ЗЛОБИНА

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ

ЖОЗЕ САРАМАГО. **Евангелие от Иисуса**. «ИЛ», 1998, № 5, 6. Перевод Александра Богдановского

Эта статья была уже написана и поставлена в план первого номера, когда пришло сообщение: Жозе Сарамаго награжден Нобелевской премией. Естественно, что роман «Евангелие от Иисуса» — и так, заметим, привлекший внимание публики и критики — вызвал в этой связи волну нового, отчасти ажиотажного интереса. Что до меня, то я искренне рада за писателя, которого люблю и ценю.

В 1982 году, то есть почти за десять лет до «Евангелия от Иисуса», Жозе Сарамаго выпустил исторический роман «Воспоминания о монастыре», среди бесчисленных персонажей которого — как реальных, так и вымышленных — помянут и некий «Мануэл Матеус, по кличке Сарамаго»: он мелькает на мгновение в длинной процессии приговоренных к аутодафе... Только сам автор может ответить, придумал ли он это имя или обнаружил в обширных архивах «Святейшей службы» — ведь документы, в отличие от людей, «всегда остаются целы вопреки всем пожарам и землетрясениям»; что же касается напрашивающегося вопроса о его родстве с тем осужденным на покаяние Сарамаго, то читатель вынужден довольствоваться насмешливой отговоркой: «Поди знай, какое будет от него потомство», — возможно, ответ затерялся во тьме веков? Впрочем, фактическая сторона дела интересна лишь с точки зрения простого человеческого любопытства — с точки зрения художественного смысла в любом случае ясно, что Жозе Сарамаго имел в виду заявить о своей принадлежности к старинному роду еретиков.

Однако в рамках того романа заявление воспринималось не терминологически, а, так сказать, синонимически: одна короткая лексема как бы заменяла целый семантический ряд, включающий в себя антиклерикализм, гуманизм, свободомыслие и смелость, Галилея и Джордано Бруно, Яна Гуса и Жанну д'Арк, привычную неприязнь к инквизиции с ее «охотой на ведьм»... ну и так далее по списку; тем более что «Воспоминания о монастыре» в общем вписываются в гуманистическую традицию. Роман «Евангелие от Иисуса» показал: Сарамаго действительно еретик, причем из самых отчаянных; только надо сразу уточнить, что слово «отчаянный» в данном случае является производным от «отчаяния»...

К сожалению, мы не имеем возможности рассмотреть творчество писателя в целом: на русский переведены только три романа. Делать общие выводы из таких оснований, конечно, рискованно. Но прочитать наличествующие тексты «насквозь» и выстроить некий ряд... впрочем, он выстраивается сам, и достаточно отчетливо, так что смысл каждого отдельного произведения оказывается как бы дополнен и уточнен другими, а вместе они составляют путь, который начинается бунтом против земной несправедливости и приводит к возмущению против несправедливости небес...

Первый роман — «Поднявшиеся с земли» (1980, рус. перев. 1982). Позволив себе легкую натяжку, можно сказать, что это вообще первая прозаическая вещь Сарамаго. Поскольку фактический его дебют — роман «Грешная земля» (1947) — был расценен как неудача, после чего молодой автор надолго оставил художественную словесность. Всерьез обвинять в этом недоброжелательных критиков, конечно, не стоит; приписывать определяющую роль политической ситуации в Португалии: салазаровской диктатуре, цензуре et cetera — как это делает Е. Васина в предисловии к «Воспоминаниям о монастыре» — тоже, на мой взгляд, не вполне справедливо. Ведь

© А. Злобина, 1999

Сарамаго ушел не в монастырь, а в газетную журналистику, которая в силу своей актуальности подвергается особенно бдительному цензурному досмотру, — это во-первых. А во-вторых, если писатель имеет реальную потребность писать, то и пишет — хоть в стол, хоть для самиздата, уж мы-то знаем! И потому осмелимся утверждать, что Жозе Сарамаго вернулся к писательству именно тогда, когда созрел для него. Произошло это действительно сразу после падения салазаровского режима, и надо заметить, что пьеса «Ночь» (1974) получилась еще вполне журналистской: своего рода драматургический репортаж о том, как сотрудники столичной газеты спешно готовят утренний выпуск, главная и единственная новость которого — свершающаяся в эти самые часы революция. Рецензенты естественным образом ожидали, что автор и дальше будет заниматься «актуалкой», и ошиблись: этим радостным эмоциональным выплеском дело ограничилось.

Роман «Поднявшиеся с земли» стал как бы первым шагом в прошлое, покамест еще довольно близкое: действие начинается в 10-е годы нашего столетия и доходит до середины 70-х. Однако открывающаяся нам реальность почти лишена примет «индустриального века»: три поколения крестьян провинции Алентежо — самой бедной и отсталой области Португалии — живут словно вне времени. Перебирая картины их тусклого, грязного, голодного быта, заполненного почти рабским трудом, российский читатель может, пожалуй, вспомнить родимый «физиологический очерк» — и не только потому, что крестьянские тяготы всюду, в сущности, одинаковы, но и в силу авторского отношения. «Во всем мире не сыщешь другого народа, который тянул бы лямку так же рьяно, как наш» — эта фраза, хоть и взята из «Воспоминаний о монастыре», столь же уместна в предшествующем романе; так вот, насчет первенства можем поспорить.

Однако ж «физиологический очерк» был нацелен именно на настоящее — имея в виду улучшение будущего. Сарамаго обращается к прошлому, поскольку его проще вывести из-под прицела злободневных интересов, а соответственно, найти в исторически конкретном времени и месте приметы той внеисторической неизменности, которая определяется грустными словами «удел человеческий». Правда, на первый взгляд может показаться, что об экзистенциальных вопросах речь здесь не идет: сюжет описываемой «экзистенции» вроде как сводится к элементарной формуле «Не до жиру — быть бы живу». Но в том и дело, что на низшем уровне существования экзистенциальный и социальный бунты суть едины: когда люди так придавлены к земле многовековым гнетом, главный смысл, цель и назначение их бытия — *с земли подняться*. Распрямить от рожденья согнутые спины и стать в полном смысле прямостоящими. Но чуть только эта цель оказывается достигнута — в рамках ли романа или в наличной действительности, — она тут же теряет свою значимость и цену. Больше того: если человек останавливается на достигнутом, то достижение оборачивается поражением.

Роман «Воспоминания о монастыре» рассказывает про следующий шаг. Действие его отнесено в более отдаленное прошлое — в первую половину XVIII века; пространство расширено: вместо одной провинции — вся страна. Соответственно увеличились и пространство социального гнета, и степень бесправия угнетенных, однако главная тема первого романа здесь стала побочной. Вернее сказать, она передоверена мощному народному хору, тогда как солистам поручены совершенно иные мотивы. Музыкальные обозначения возникли, заметим, не случайно: и по построению, и по звучанию роман действительно напоминает многоголосую вокально-симфоническую композицию. Текст льется плавным и неостановимым мелодическим потоком, из грандиозных tutti выделяются отдельные «группы инструментов», ансамбли и соло — одним даются лишь краткие эпизоды, являющиеся чем-то вроде обращения основных лейтмотивов, другие ведут свои темы от начала и до конца... Ведущих трое: священник Бартоломеу Лоуренсо ди Гусман — подлинное историческое лицо, в значительной степени пересозданное автором, и полностью вымышленная пара — отставной солдат Балтазар и его жена Блимунда; их цель — *подняться над землею*.

Мечта о полете была извечно присуща человеку — и не только мечта: издавна предпринимались и попытки сконструировать воздухоплавательные машины. Не знаю, принадлежал ли реальный Бартоломеу Лоуренсо к числу таких мечтателей-изобретателей, но не сомневаюсь, что описанную в книге «механику» подъема изобрел за него автор: слишком уж она причудлива для XVIII века и слишком символична. «Крылья» пассароле дает «эфир»: вещество, из которого состоят звезды небесные и «воли людские»; в момент смерти (а иногда и в момент слабости) воля покидает тело, чтобы улететь к звездам, — вот тут-то ее и можно поймать и поместить в специальный сосуд. «Ловлей» воль занимается ясновидящая Блимунда, в то время как Балтазар строит саму машину. Сарамаго показывает весь процесс иронически-подробно, вдаваясь в мельчайшие детали, и за его нарочитой обстоятельностью стоит уверенность художника, который может себе позволить немного поиграть с читателем: продемонстрировать совершенно фантастическую кон-

струкцию, по определению не способную двинуться с места, а затем силой своего изобразительного дара поднять ее в воздух, заставив нас безусловно поверить в этот невозможный полет... Но дело в другом.

«Люди суть ангелы, родившиеся без крыльев, в этом вся красота, родиться без крыльев и обзавестись ими, на то и дан нам мозг, а дан мозг, будут даны и крылья», — восторженно восклицает Бартоломеу Лоуренсо; но к восторгу примешивается недоуменное беспокойство: «Если машина полетит, что же мне делать потом?» Отвечать на этот вопрос ему не придется — «потом» он погибнет, преследуемый «Святейшей службой», а прежде в безумии и страхе попытается сжечь пассаролу: «Если суждено мне гореть на костре, так уж лучше на этом». Однако драматизм сюжетной ситуации не отменяет драматизма проблемы; напротив, она выводит сюжет за рамки времени, понуждая читателя взглянуть на прошлое из нашего настоящего, когда люди в самом деле обзавелись крыльями, поднялись над землей, и что же? А ничего: многовековая мечта, будучи достигнута, обернулась в лучшем случае привычным удобством воздушного транспорта, а в худшем — бомбами с неба. И таким образом возвышеннейшая, горделивая цель, к которой стремятся герои, получает в приправу горечь тщеты — той самой, что всегда скрыта в словах «удел человеческий».

Но есть и горшия тщеты. Возносясь в небеса, отец Бартоломеу хоть на миг преисполняется счастьем чувствовать себя «любимым чадом Господним»; на земле он мучается, не зная, в какого господа верить. Ибо жить без веры не может — так же, как не может принять позицию «credo, quia absurdum» или найти приемлемые ответы на неразрешимые вопросы... Страстные теологические поиски, в которые погружен герой, получают в романе форму, соответствующую представлениям времени; точнее сказать, мятежный священник отталкивается от тех религиозных постулатов, которые воспринял буквально при рождении и которые перестали удовлетворять его ищущий ум и алчущее сердце. Реальный Бартоломеу Лоуренсо ди Гусман был признан еретиком — у Сарамаго он сам в ужасе ощущает себя еретиком, когда отвергает один из главнейших христианских догматов, Троицу, и говорит: «Бог един». «Он почувствовал себя одиноким, точно в пустыне... его знобило, словно он был наг, все тело саднило, словно кожу свою он оставил в материнском чреве»... Писателю проблема троичности вполне безразлична, он, похоже, готов присоединиться к простодушно-разумным словам Балтазара: «Может, Бог един в одном лице, может, в трех, а то и в четырех, особой разницы не видно»; впрочем, отец Бартоломеу, начав с догматических частностей, постепенно добирается до «вечных вопросов», не ограниченных рамками времени или религиозной системы. И самый сущностный из них таков: когда наступит наконец (если наступит) час последнего суда, где будут взвешены все добрые деяния и все грехи людские и вынесены все приговоры, — «кому выпадет на долю покарать или помиловать самого Бога»? И вот этот вопрос волнует Жозе Сарамаго не меньше, чем его героя; собственно, им и вдохновлено «Евангелие от Иисуса» — кощунственная и страстная книга, в которой автор берет на себя роль судьи.

Проблема теодицеи от века терзает людей, не способных ни жить без высшего смысла, ни принять жестокую несправедливость дольнего мира ради «неевклидовой» справедливости мира горнего. Как совместить «слезинку ребенка» с милосердием и всемогуществом Господа? У Бога власти меньше, чем у квартального надзирателя, утверждает неканонически верующий Бердяев; и даже Достоевский, отнюдь не склонный спорить с церковью, устами Ивана предъявляет Вседержителю счет за невинную кровь, столь неопровержимо чудовищный, что и кроткий Алеша проникается бунтовской яростью... Жозе Сарамаго шел к своему бунту последовательно и постепенно, выстраивая (или мне это только кажется?) три романа как своеобразный экзистенциальный эксперимент.

В первом человек должен был подняться с земли, то есть выполнить свою социальную задачу, в принципе выполнимую, но недостаточную. Во втором эта задача, сохраняя свою ценность, отступала на общий план, а вперед выходили интеллектуальные цели — тоже потенциально достижимые и тоже не удовлетворяющие душу, которая взыскует не физического, а метафизического неба. Так шаг за шагом обитатель земной, горизонтальной поверхности вписывался в привычную иерархическую вертикаль, поначалу как бы не учитываемую, но чем дальше, тем более значимую... И чем дальше, тем шире делался охват пространства, потому что евангельская земля, хоть и занимает, наверное, меньше квадратных километров, чем Португалия, в европейском сознании знаменует собой весь мир; впрочем, здесь же плоскость особенно просто сужается до точки. В христианской традиции это точка опоры для креста, в еретическом «Евангелии от Иисуса» — точка опоры для борьбы. С Богом.

Да, старинное слово «богоборец» является наиболее подходящим определением для Жозе

Сарамаго. Человека воцерковленного его идеи, безусловно, шокируют — и не без оснований; даже мне, вполне равнодушной к церковным догматам, случалось в какие-то моменты вздрагивать и восклицать мысленно: «Ну, это уж слишком!» Надо, впрочем, сразу уточнить, что богоборческий запал Сарамаго направлен только против ветхозаветного Бога, а с Богочеловеком он не спорит, напротив — я еще не встречала романа, который был бы проникнут такой мучительной любовью и таким страстным состраданием к Иисусу. Можно даже сказать, что он борется с Отцом за Сына, кстати напомним, что богоборчество есть именно ересь, и самая горькая. Потому что еретик-богостроитель заменяет ортодоксальную религию некой собственной верой, может быть, не менее благодатной, нежели обетования церкви, тогда как богоборец не находит ни утешения, ни справедливости: его удел — заведомо безнадежный бунт. Разумеется, в том случае, если он не уповает на дьявола, который (существует мнение) располагает равной с Богом властью, а может, вообще уже одержал победу в извечной битве за человека.

У Сарамаго с дьяволом отношения сложные и не вполне проясненные. Начать с того, что именно он, явившись к Марии под видом нищего, возвещает грядущее рождение Иисуса и подает загадочное знамение: насыпает землю в глиняную чашку, в которой ему подана была еда, — и пригоршня праха земного, пройдя сквозь его пальцы, наполняется странным сиянием, напоминающим про имя падшего: Люцифер... Правда, при этой первой встрече мы еще не знаем, *кому* поручена роль вестника: его облик окутан покровом тайны, тень — или, вернее, свет — которой осеняет и ожидаемого ребенка; о том, что Иисус — сын Божий, Богоматерь узнает значительно позже. Как, впрочем, и читатель. Да и вообще писатель отнюдь не стремится сразу обнаруживать свои намерения. Его богоборческий пафос раскрывается ближе к финалу, а до того читатель волен не замечать намеков на концептуальный спор с Писанием. Сюжетные несовпадения с каноном — другое дело, они заметны сразу, но до поры воспринимаются не как бунт, но просто как художественный вымысел, естественный в романе и тем более позволительный, что Евангелия оставляют широкий простор для фантазии: между Рождеством Иисуса и его выходом на служение зияет лакуна...

Вымысел Сарамаго на редкость убедителен. Тому причиной, понятно, талант — замечательный дар реалистического описания, силой которого текст получает необычайную плотность, подчас сгущающуюся буквально до материальности плоти; отметим кстати великолепный перевод Александра Богдановского, сохранившего и объемную весомость слова, и медленный, мощный, затягивающий ритм, сходный с движением широководного потока... Реалистическое письмо — всегда в некотором смысле обман: художник придает своей фантазии облик подлинности, заставляя читателя поверить в ее «настоящесть». Известно, что машинистка Томаса Манна, перепечатав «Иосифа и его братьев», сказала: «Ну вот, теперь хоть знаешь, как все было на самом деле». Возможно, Сарамаго держал в памяти этот литературный анекдот, когда сопровождал один из эпизодов чуть ироническим комментарием: «Есть в жизни такие мгновения, которые следует запомнить, сберечь и охранить от времени, а не только запечатлеть буквами на бумаге... красками на холсте или на фотографии, на кинопленке, на видеокассете, — важно, чтобы тот, кто прожил и пережил эти мгновения, смог бы навсегда передать их своим потомкам, а те увидели бы их своими глазами, подобно тому как мы, в наши дни, пришли в Иерусалим, чтобы нашим, собственным нашим глазам предстал этот мальчик, Иисус, сын Иосифа, кутающийся в куцее одеяльце, глядящий на дома священного города и славословящий Господа Бога... Было это, не было, так было или не так. Было, скажем мы, все так и было». И хотя критик по долгу службы обязан не путать реальность с «буквами на бумаге», художественная реальность, созданная Жозе Сарамаго, столь неопровержимо реальна, что порой ловишь себя на простодушном и неуместном ощущении: «Теперь хоть знаешь, как все было на самом деле»... И лишь поймав читателя в сию заманчивую ловушку, писатель открывает ему свои цели; но когда они наконец обнаруживаются, становится ясен и тот путь, по которому нас вели с самого начала.

Первым значимым смысловым поворотом оказывается вифлеемское избиение — эпизод, всегда меня смущавший (в том самом, богословском смысле): как могло случиться, что рождение Спасителя стало причиной гибели невинных младенцев? Святые евангелисты оставляют вопрос без ответа, вместе со Святым семейством навсегда покидая залитый кровью Вифлеем. И думал ли упрежденный ангелом Иосиф о горе других родителей, обойденных вышней опекой, — неизвестно... Сарамаго — как может вначале показаться — просто заполняет беспокоящий пробел, восстанавливает то, что пропустили Лука с Матфеем. В его «Евангелии...» Иосиф до самой смерти несет на себе груз вины за эти смерти: ведь он мог бы предупредить город о близящейся расправе, но, охваченный животным страхом за своего мальчика, не подумал о чужих. Еженощный кошмар преображает преступное недеяние в действие: мирный плотник, никогда не бравший в руки оружия, видит себя среди воинов, идущих исполнять Иродов приказ... И когда римляне отправ-

ляют его в итоге на крест — ни за что, просто заодно с иудейскими повстанцами, — он принимает несправедливую казнь как справедливую кару: «Не все ли равно, за какую вину взыщется?..» Сыну неведом сюжет отцовских снов и конкретная их причина, но причину, так сказать, общего порядка он знает, ибо спрашивал и получил ответ: «Однажды я позабыл о своем долге, или даже еще хуже... я и не вспомнил о том, что обязан был сделать». Этот невозвратимый долг — вместе со страшными видениями — и достается Иисусу в наследство. «Бедный мальчик: словно от нестерпимой боли, он извивается и корчится на земле, в пыли, он угрызается виной за деяние, которого не совершал, но главным виновником которого, пока жив, будет считать себя... Забегая вперед, скажем, что поток этих мучительных и не принесших облегчения слез навсегда останется в глазах Иисуса влажным скорбным отблеском, и будет постоянно казаться, что он только недавно и неутешно плакал...»

Эти неизбывные терзания поначалу воспринимаются в категориях земной нравственности — как голос совести, заглушить который человек не может, а иногда и не хочет, предпочитая свою муку преступному забвению, новому преступлению то есть. Но постепенно в них проявляется другой, метафизический смысл: присущая человеку способность страдать и каяться, признавать свою вину и нести кару противопоставляется абсолютной «нераскаянности» преступного Бога, который не способен ни к любви, ни к милости, который жаждет только власти и крови... Иисус у Сарамаго — сын Божий и сын Человеческий. Человек учит его человечности; Бог вынуждает служить своим бесчеловечным целям. И земной отец, терзающийся смертью вифлеемских младенцев и представляющий в кошмарных снах, что он «ищет убить» собственного сына, как бы принимает на себя грех Отца небесного — подлинного виновника избиения, уберегшего Иисуса лишь для того, чтобы потом безжалостно принести в жертву.

Христианская формула жертвенности — «Агнец Божий», — сохраняя свою абсолютную значимость, получает совершенно иное значение: Бог обрекает сына смерти, потому что ему мало бессловесных агнцев и прочих тварей, которых без счета убивают на его алтаре... Картина «резни и бойни», царящей в Иерусалимском Храме, выписана со свойственной Сарамаго подробной реалистической точностью, благодаря которой наше абстрактное знание исторического факта — Закон требовал заклания жертвенных животных — облекается буквально в плоть и кровь: «На двух больших каменных столах готовят и разделывают... бычков и тельцов, баранов, овец, козлов и коз. Рядом со столами — столбы со вделанными в них свинцовыми крюками, с которых свисают уже освежеванные туши, и бешено мельтешат над ними ножи, секачи, тесаки, топоры, мелкозубые пилы и прочее оружие из арсенала живодерен, и воздух пропитан дымом и смрадом горящей кожи, испарениями пота и крови... А перед алтарем... стоит босой, в полотняном хитоне священник, ожидая, когда левит подаст ему голубок. Вот он берет одну из них, вот несет к углу алтаря и там одним движением отделяет ей голову от туловища. Брызжет кровь. Священник окропляет ею нижнюю часть алтаря, потом кладет обезглавленную тушку на особый желоб, чтобы стекла по нему вся кровь... Вторая горлица удостоится большей чести — она станет жертвой всесожжения. Священник, поднявшись туда, где горит священный огонь, сворачивает голову голубке, кропит ее кровью помост... и вырывает у нее внутренности. Никто не обращает внимания — слишком ничтожна эта смерть, и только Иосиф, задрав голову, пытается различить во всеобъемлющем дыму и чаду дым своей жертвы... но вряд ли удастся это плотнику — горящая в пляшущих языках пламени выпотрошенная тушка так жалка... что не заполнит и дупла в зубе Господа...»

В традиционной (даже и внерелигиозной) интерпретации поворотные пункты библейского сюжета знаменуют собой этапы гуманизации сознания: остановив нож, занесенный над Исааком, Бог Израиля отменил человеческие жертвоприношения; отдав людям свою жизнь и кровь, Богочеловек претворил живую кровь богослужения в мистическую — вино причастия. Сарамаго берет за точку отсчета другой, более ранний эпизод, с которым связан один из самых «безответных» и смущающих вопросов священной истории: почему принята была жертва Авеля, а жертва Каина отвергнута? Этим же, по существу, вопросом терзается юный Иисус, приготовивший пасхального агнца, но не способный отдать его смерти: «Почему Бог не хочет, чтобы окропили его алтарь молоком, соком самого бытия... почему нельзя бросить на алтарь, как в борозду пашни, пригоршню пшеничных зерен?» Вот именно потому, что Бог кровожаден, отвечает Жозе Сарамаго. И решительно развертывает привычную схему движения в обратную сторону, рассматривая заклание «Агнца Божия» как начало нового жертвенного кровопролития, продолжавшегося века и по масштабам своим несравнимого со всеми бывшими прежде. Вослед за Иисусом и апостолы умерли мученической смертью, за ними последовали сотни страстотерпцев, а после утверждения церкви счет пошел на тысячи и миллионы. И такова была воля Господа, разумеется, заранее знавшего все цифры и имена.

А цель — власть, стремление выйти за границы маленькой Иудеи и навязать свой культ всему человечеству. Пророкам с такой задачей не справиться — тут нужно что-нибудь экстраординарное, «чтобы продрало по-настоящему, вывернуло наизнанку, перетряхнуло все... чувства. Например, сын Божий на кресте...» Идея, как мне кажется, слишком прямолинейная и, пожалуй, ведущая к упрощению целого. Да и вообще образ Бога — как ни дико смотрится рядом с Богом привычное литведческое словцо, другого не подберешь, — так вот, образ Бога, на мой взгляд, нельзя причислить к достижениям Сарамаго. Сниженный и лексически и идеологически, нарочито травестированный, почти пародийный, он был бы вполне уместен в ироническом тексте типа «Восстания ангелов» (а он, кстати, и похож на франсовского Демиурга), но плохо сочетается с серьезностью «Евангелия от Иисуса»: слишком мелок, элементарен, а потому несоизмерим с заданным трагедийным масштабом и трагедийной высотой. И эта несоизмеримость портит не только две сцены, в которых он участвует непосредственно, — она рикошетом бьет по всему роману, снижая и расстраивая его строй... Причины травестирования, впрочем, понятны: во-первых, писатель просто не хотел сообщать злу художественную масштабность и тем самым его возвеличивать; во-вторых, если б он изобразил своего могущественного, жестокого и кровавого Бога в стилистике, соответствующей его грозной мощи, получилось бы нечто древнеязыческое. Но дело же не исправится оттого, что мы признаем: Сарамаго был, по существу, в безвыходном положении; вернее сказать, сам себя в это положение поставил, выстроив слишком жесткую идеологическую схему.

Вдобавок жесткость рождает противоречия, и не менее острые, нежели противоречия традиционной теологии. Потому что богословы смиренно признают: «Неисповедимы пути Господни» — и таким «неевклидовым» способом заполняют разрыв между аксиоматической добротой Вседержителя и царящим в мире злом. А Сарамаго решительно отвергает кредо абсурда, но рассуждает строго логически: если мир несправедлив и жесток, то, значит, таков его творец. И именно эта логика парадоксальным образом ведет к логическим несоответствиям. Перечислять и оспаривать их все я не буду: мне более чем нравится *роман* «Евангелие от Иисуса», мне близки некоторые (даже многие) мысли писателя и дороги некоторые его чувства, но признавать за его теологическими построениями право конкурировать с Писанием... нет, об этом речь не идет, разумеется. Поэтому коснусь лишь тех смысловых неувязок, которые нарушают *художественную* структуру текста.

«Сын мой, ты уже знаешь, в чем состоит твой долг и обязанности, выполняй их и благословен будешь в глазах Господа, но постарайся также отыскать в душе своей и такие долг и обязанности, что неведомы прочим, не записаны в Законе», — говорит Иосиф мальчику Иисусу; но откуда б им в душе человеческой взяться? Как может стать человечным создание абсолютно бесчеловечного Создателя? И как могло возникнуть милосердное учение Христа, если человек обречен «делать лишь то, что угодно Богу...», а Богу новая религия не нужна — он, как говорилось, жаждет только власти?

Впрочем, христианство из романа фактически исключено. Почти как в «Мастере и Маргарите», где автором учения сначала вроде бы объявлен Левий Матвей («Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты Бога ради свой пергамент», — рассказывает Иешуа), а под конец выясняется, что записи этого единственного ученика вообще нечитаемы. Но с Булгакова спросу нет, ибо ему, в сущности, нет дела до Бога: его герой — Дьявол. «Евангелие от Иисуса» — иная история: тут автор обязан (ну хоть отчасти!) раскрыть содержание Благой Вести, которую принес Иисус. Однако...

Иисус-человек изображен Сарамаго с пронзительной любовью, болью и жалостью; Иисус-Богочеловек, сам еще не знающий, кто он, и постепенно осознающий свою особую природу, показан с той поразительной художественной достоверностью, которая заставляет верить вымыслу писателя даже тогда, когда смысл вызывает возражения. Или в данном случае романная версия не противоречит евангельскому смыслу и можно спокойно согласиться: «все так и было»? Юноша, которого Бог обещал призвать, когда «придет время», покамест не раскрыв зачем, жил в напряженном ожидании и несмело творил чудеса — по непредумышленному порыву чистой души, просто желая отблагодарить, помочь, спасти. Сначала наполнял сети рыбаков рыбой, потом нашел в себе силу, чтобы укротить бурю: «...видя вокруг себя смятение и ужас, видя, что волны перехлестывают через борта, заполняя баркасы водой, что мачты сломаны и паруса сорваны, а дождь хлещет с таким остервенением, что его одного хватило бы, чтобы потопить даже императорскую галеру, так вот, видя все это, он сказал себе: Несправедливо будет, если спутники мои погибнут, а я останусь жив, тем более что Господь укорит меня: Ты мог бы спасти их, но не спас,

мало тебе, значит, отца?! — и, от этого мучительного воспоминания вскочив на ноги, словно под ним была твердая земля, а не ходуном ходящая палуба, он запретил ветру и сказал морю: Уймись! Стихни!» Да, лично я вполне готова поверить в такого Иисуса — еще не признанного Сына Божия, прозревающего и испытывающего свою благодетельную власть... Но вот замысел Господень объявлен наконец, и должен явиться Иисус Христос — основатель христианства, а его в «Евангелии от Иисуса», по сути, нету.

Даже чисто количественно, по числу страниц, эта — основная, что ни говори — часть жизни Иисуса занимает в романе очень незначительное место. Можно, конечно, придумать оправдания типа того, что роману интересно заполнять лакуны, описывать «недосказанное», а как раз история мессианского служения Иисуса показана в Евангелиях вполне подробно, и с домыслами в нее не вторгнешься, — но не будем передергивать: ведь на самом деле Сарамаго совершенно не стесняется домысливать и изменять канон. Причина в другом: в идейной конструкции, утверждающей всевластие Бога и невозможность выйти из его воли. И этой конструкции Христос не нужен: его замещает беспомощный жертвенный агнец, нелюбимый Сын Божий, принужденный играть назначенную роль, тем более для него мучительную, что он, веривший в благость Господню и готовившийся к высокой миссии, в момент своего призвания узнает вдруг, как бесконечно жесток Отец; он, не сумевший отдать на смерть одного агнца, он, неизбывно терзавшийся гибелью двадцати пяти вифлеемских младенцев, знает теперь: кровь, что будет пролита во имя его, «затопит весь мир». «Я — пастырь, посох которого гонит на жертву и правых и виноватых, спасенных и погубленных, и кто же спасет меня от мук совести...» И единственная свобода, оставленная герою этого «Евангелия...», — это свобода нравственного выбора. Благородного, но, увы, бесплодного бунта. Ибо, попытавшись выйти из роли — умереть не как Сын Божий, а как полоумный мятежник, выдающий себя за Царя Иудейского, — он, распятый, видит, как разверзаются небеса, как улыбается торжествующий Бог, и понимает: «...от начала начал расчислено было, что жизнь его оборвется именно так». Ибо Богочеловек, как и любой человек, может только исполнять Замысел — «причем и когда думает, что всецело повинуется ему, и когда уверен, что противоречит».

На самом деле противоречие заключено в этом утверждении: противоречие художественному смыслу романа, поскольку Сарамаго отлично понимает разницу между Ветхозаветным законом и Новозаветным учением — недаром же Иисус у него воплощает в себе высшую человечность. И мне кажется, что книга только выиграла бы, если б автор дал своему герою побольше самостоятельности, позволил высказать милосердные обетования и заложить основы христианской веры *вопреки* воле Отца. А ему предоставлена всего одна робкая попытка — как кажется, просто для проформы, потому что нельзя же, действительно, совсем выпустить из виду Нагорную проповедь; но едва лишь он произнес слова утешения, исторгшие «слезы радости» у тех, кто внимал ему, как Бог «спохватился» и... И в результате получается, что Иисус у Сарамаго как бы не дорастает до Христа.

Конечно, изобразить Бога (или хоть Богочеловека) соразмерно его масштабу — задача не просто сложная, а, может быть, вообще для человека невыполнимая. Но дело опять же не только в художественной сложности, но и в идейной постановке задачи. «Евангелие...» Жозе Сарамаго абсолютно пессимистично — это трагедия без катарсиса, без просветления и очищения; собственно, это завязка многовековой трагедии, которую обречено разыгрывать человечество. И потому Иисус в романе не может вырасти в Мессию, как не может одержать победу — пусть посмертную, пусть частичную. Его удел — умереть в беспроглядном отчаянии, выкрикнув свой последний завет: «Простите ему, люди, ибо не ведает он, что творит». А удел человеческий — жить без надежды.

Или какой-то намек на утешение в финале все же присутствует? Кровь Распятого собрана в глиняную чашку — ту самую, что приняла некогда светоносную землю знамения... В средневековом предании эта чаша, вместившая божественную кровь — Sang real, то есть единственно подлинную, реальную кровь, — известна как Saint Graal, Святой Грааль: сакральная цель рыцарских поисков. Сарамаго, конечно же, не пытается напрямую связать реликварий апокрифа со своим символом: беглая, неявная отсылка к самой таинственной, самой «прикровенной» из христианских святынь может быть прочитана как указание на то, что в мире есть некие священные тайны, придающие смысл нашим поискам... И здесь пришла пора поговорить о вестнике, чьи руки дали свет земной глине, — о Люцифере.

Понятно, что Жозе Сарамаго не будет осуждать ангела-богоборца. Поначалу даже кажется, что писатель назначает падшему роль доброго бога (или полубога), старающегося защитить тварей земных от произвола Создателя. Ему передано то из нарицательных именований Христа, которое всех определенней обозначает земное попечение о людях, — Пастырь; к этому Пастырю

поступает в подпаски мальчик Иисус, и они вместе пасут огромное стадо, которое усердно плодится и размножается, не боясь ни жертвенного алтаря, ни даже обыкновенной сковородки, коей от века обречены овцы и козы... Но развивать обозначенную тему Сарамаго не стал: возможно, помешала заданная сюжетная канва или жесткие рамки идеологической схемы, требующей, чтоб Пастырь тоже был подвластен Богу, а может быть, придавил-таки груз традиции, по которой Дьявол являет собой воплощение зла?

Но хотя персонаж и оказался как бы недоделан, с ним все же связана одна из основных мыслей романа: утверждение святости земли, всех естественных земных трудов, вообще земной жизни. Надо заметить, что уважение к простому мирному труду всегда было свойственно Сарамаго — то есть про «всегда» говорить не могу, но в двух предыдущих романах оно присутствует. В «Евангелии от Иисуса» постоянная тема приобретает новый смысл: если в Евангелиях занятия Иосифа, Андрея, Симона — плотник, рыбаки — только названы, то здесь они показаны во всех конкретных ремесленных подробностях, а в целом воспринимаются почти как символ *нормальной*, простой и правильной жизни, в силу нормальности своей противостоящей беззаконию небес; «пастырские» работы Иисуса и его наставника — символ более отчетливый и значимый. На вопрос мальчика: «Если ты не продаешь шерсть, если молока и сыру у нас больше, чем мы вдвоем можем съесть и выпить, если ты не торгуешь агнцами и козлятами, зачем тебе стадо, которое все прибывает, так что в один прекрасный день заполонит собой всю землю?» — Пастырь отвечает: «Раз стадо здесь, кто-то должен заботиться о нем, оберегать от алчных, вот я это и делаю». То есть смысл падения Люцифера в том, что он пал *на землю*. И Иисус у Сарамаго тоже хотел бы служить не Царствию небесному, а миру земному: как пастырь, оберегающий покой своего стада. И может быть, сбереженная кровь Агнца — это разлитое в мире причастное вино чистой человечности, которая и является реальной целью человеческих поисков?..

Как бы то ни было, круг замкнулся: не найдя опоры в небе, мысль писателя вернулась на землю, чтобы обрести те устойчивые основания, что дает жизнь. Это — твердыня земных чувств, простая правда которых не нуждается в оправдании идеей и насилие над которыми нельзя оправдать никакой идеей. Любовь — отца к сыну и сына к отцу, мужчины к женщине и женщины к мужчине, брата к брату и друга к другу; совесть; долг; справедливость... И все это правильно, верно, неоспоримо. Но ничуть не помогает справиться с тем неоспоримым фактом, что «нет правды на земле» — кому-кому, а Жозе Сарамаго про то напоминать не требуется. Ну а если «правды нет и выше» — замкнувшийся круг становится замкнутым кругом: кругом того ада, в котором живет и мучается богоборец.

...Следующий за «Евангелием от Иисуса» роман писателя называется «Во имя Господа». Судя по названию, он каким-то образом продолжает тему; было бы очень интересно узнать каким.

■

У книжной витрины

ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ШТЕРНБУРГ

«Словно все в последний раз». Эрих Мария Ремарк

Wilhelm von Sternburg. «Als wäre alles das letzte Mal». Erich Maria Remarque

Kiepenheuer & Witsch, 1998

Эта книга — первая подробная биография Эриха Марии Ремарка (1898—1970), известного немецкого писателя, ставшего для современных читателей воплощением «нового романтизма». Ее написал В. фон Штернбург, теле- и радиожурналист, автор монографий о Арнольде Цвейге, Лионе Фейхтвангере, Конраде Аденауэре. По мнению рецензентов, фон Штернбургу удалось создать достаточно полное и объективное жизнеописание Ремарка. Детально восстановлен политический фон событий. Подробно рассказано об отношениях писателя с женщинами, чьи имена сами по себе привлекают внимание: Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Элизабет Бергнер. Не обойдена стороной и такая мрачная проблема, как злоупотребление алкоголем. Следует особо отметить, что в книге впервые публикуются многие материалы из архива Ремарка, в частности его письма и дневники.

ИЭН С. МАКНИВЕН

Лоренс Даррелл

Ian S. MacNiven. Lawrence Durrell

Faber & Faber, 1998

Подробная, беспристрастная биография известного английского писателя Лоренса Даррелла (1912—1990), автора тетралогии «Александрийский квартет».

Даррелл неоднократно заявлял, что ни разу в жизни не испытывал наслаждения — только скуку. Тем не менее он вел весьма бурную жизнь, дружил с Генри Миллером (который называл его «вонючим гением») и Анаис Нин. Книга Макнивена — попытка разобраться, совместимы ли гений и злодейство.

Рецензенты отмечают, что Макнивен кропотливо отделил зерна истины от измышлений Даррелла и его современников, создав масштабное, богатое деталями и событиями биографическое повествование. Заслуга автора в том, что, не оправдывая Даррелла, он рисует объективную картину происходившего.

УИЛЬЯМ ТРЕВОР

Смерть летом

Willam Trevor. Death in Summer

Viking, 1998

Новый роман известного ирландского писателя Уильяма Тревора вполне можно отнести к жанру триллера. Но в то же время это исследование феномена превращения нормального человека в злодея. Как и в предыдущих произведениях, Тревор создает неоднозначные, глубокие образы, выстраивает напряженный психологический конфликт. Критики находят в его творчестве «чеховскую» и «диккенсовскую» ноты.

Проблема главного героя книги, Таддеуса, в том, что он по природе своей не способен любить — во всяком случае, так ему кажется. Женился он по расчету — впрочем, на весьма милой женщине, которую ценил и уважал. Когда у них родилась дочь, Таддеус ощутил, что привязывается к малышке... Но по несчастной случайности жена Таддеуса погибает. Ребенку нужна няня. И вот в доме появляется Петти — сирота, выросшая в приюте. Она одержима любовью-ненавистью к немолодым мужчинам — таким, как Таддеус. В конце концов Петти похищает ребенка...

Критика отмечает виртуозный стиль Тревора: «Кажется, будто из-под его пера не может выйти ни одной несовершенной фразы».

ИСААК БАШЕВИС ЗИНГЕР

Тени над Гудзоном

Isaak Bashewis Singer. Shadows on the Hudson

Farrar, Strauss and Giroux, 1998

В американском издательстве опубликован перевод написанного в 50-е годы романа лауреата Нобелевской премии Исаака Башевиса Зингера. Сюжет его не совсем типичен для Зингера. Книга повествует о жизни евреев — выходцев из Польши. Писатель не хотел, чтобы при его жизни эта книга выходила на английском языке, так как в ней дается весьма жесткая оценка нью-йоркского общества, американской культуры и, главное, самой еврейской общины. Действие книги частично происходит в Израиле, который писатель называет «страной безбожников» и где литература переполнена «идо-

лопоклонничеством, прелюбодеянием, кровопролитием, злобными измышлениями, сплетнями, вульгарностью, издевательством и пустой болтовней». Нью-Йорк предстает в романе городом, где царят разложение нравов и моральный упадок, а прогулку по Бродвею автор сравнивает с сошествием в преисподнюю. Критика отмечает, что в этом романе отражено то ощущение пустоты, которое царило в душах и умах еврейских эмигрантов из Европы, оказавшихся в чужом для них мире.

Всемирная академия культуры: нетерпимость

Под ред. Франсуазы Барре-Дюкрок

Académie universelle des cultures: L'Intolérance. Sous la direction de Françoise Barret-Ducrocq

Editions Bernard Grasset, 1998

Писатели, философы и историки (Жак ле Гофф, Эли Визель, Поль Рикер, Жаклин де Ромилльи, Умберто Эко, Воле Шойинка, Хорхе Семпрун и др.) приняли участие в проходившем недавно в Париже Международном форуме по проблемам нетерпимости — религиозной, расовой и этнической. В книге собраны тексты представленных ими докладов.

Всемирная академия культуры объединила специалистов различных областей, для того чтобы подробно изучить феномен, который с новой силой заявил о себе в конце века. Чем порождена нетерпимость? В чем она проявляется? Существуют ли политические и религиозные пути решения этой проблемы?

Авторы не только анализируют сложившуюся ситуацию, но предлагают свои варианты выхода из нее.

ШАРЛЬ ДАНЦИГ

Большая книга о Дюма

Charles Dantzig. Le grand livre de Dumas

Les Belles Lettres, 1997

Эта книга вышла следом за «Большой книгой о Прусте» и скомпонована аналогично: изобилие иллюстраций и цитат, музыкальный раздел, истории из жизни писателя и около двух десятков статей. Они написаны не столько специалистами, сколько поклонниками Дюма и пронизаны добродушным юмором, ибо о таком писателе иначе не расскажешь. В мир Дюма можно попасть по-разному: например, пойти по тематическому пути — Дюма и женщины, Дюма и деньги, Дюма и Наполеон. Либо начать с решения кроссворда. Или погрузиться в изучение обширного списка экранизаций, история которых ведет отсчет с 1898 года: знаменитые мушкетеры стали героями более сотни фильмов. Читатели, склонные к аналитическим размышлениям, сразу найдут здесь пищу для ума: как можно почти одновременно создать два таких совершенно разных образа, как д'Артаньян и Эдмон Дантес?

МАРИАННА ФРЕДРИКС

Симон

Marianna Fredricks. Simon

Wolfgang Krüger Verlag, 1998

Швеция, вторая мировая война. Одиннадцатилетний мальчик Симон остается один после гибели своих близких. Жизнь заставляет его раньше времени повзрослеть, осознать и понять все, что происходит вокруг него, и искать собственный путь в жизни. В психологическом романе Марианны Фредрикс описано, как ребенок-аутсайдер ищет дорогу в мир, где нет бесприютности и несчастий. Роман отмечен немецкой критикой и занимает одну из первых позиций в списке бестселлеров за 1998 год (журнал «Шпигель»).

МАРК СТРЭНД

Сама себе буран

Mark Strand. Blizzard of One.

Alfred A. Knopf, 1998

Для американского читателя имя Марка Стрэнда не нуждается в комментариях — это один из самых знаменитых поэтов нашего времени, удостоенный высокого титула «Поэт-лауреат», известный также как мастер перевода. Его новая книга, «Сама себе буран», получила высокую оценку критики. В одноименном стихотворении речь идет о снежинке, влетевшей в комнату: она-то и есть «сама себе буран». Рецензенты видят в этом образе квинтэссенцию мировоззрения Стрэнда: он идет к универсалиям через универсальное, и даже конкретная снежинка для него — целая вселенная.

■

■АВСТРИЯ

НЕЗАБЫВАЕМАЯ СИССИ

Недавно в Австрии проходили мероприятия, посвященные 100-летию со дня гибели императрицы Елизаветы Австрийской, которую чаще называют ее уменьшительным именем — Сисси. Всему миру Сисси знакома главным образом по серии художественных фильмов, в которых роль императрицы сыграла тогда еще совсем молоденькая Роми Шнайдер. Именно эта роль сделала ее знаменитой. В связи с печальной годовщиной был выпущен целый ряд книг, так или иначе связанных с этой темой. Среди них — мемуары итальянского анархиста Луиджи Лучени, убившего императрицу ударом шила, а также новые биографические исследования. Но наибольший интерес вызвала публикация поэтических дневников самой Сисси. Они долгое время считались утерянными и были найдены совершенно случайно. Стихотворения императрицы открывают новые, неизвестные даже самым дотошным биографам черты ее характера. Привычный до сих пор образ Сисси во многом был схож с образом английской принцессы Дианы — несоблюдение придворных обычаев, несчастливый брак, оригинальный вкус и даже причуды, связанные с диетой. Перед читателем дневников предстает не избалованная любимица публики, а суровый и безжалостный критик, не щадящий своих близких и окружающий мир. Сисси называет своего супруга, императора Франца Иосифа, «чистокровным ослом», невестку сравнивает с жабой, а российскую императорскую семью — со стадом бабуинов. Сама монархия представляется ей «старым дубом, готовым развалиться на куски». Стихотворения проникнуты чувством горького разочарования в жизни. Императрица пишет, что с радостью превратилась бы в блоху, от чьих укусов тела великосветских дам и господ покрылись бы язвами. Читая эти строки, поневоле задаешься вопросом: не дрогнула ли бы рука Луиджи Лучени, знай он об истинных настроениях Сисси? Императрицу и ее убийцу роднил дух бунтарства.

Елизавета Австрийская (1837 — 1898)

(Журнал «Лир»)

■ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НЕМЕЦКИЙ РЕВАНШ

То, чего немцы не смогли добиться силой оружия в мировых войнах, происходит мирным путем: германский бизнес все крепче утверждается на берегах Альбиона. Особенно заметно это в издательском деле, издавна считавшемся бастионом «английскости». Немецкий концерн «Бертельсман», приобретший несколько месяцев назад крупнейшее издательство англоязычного мира «Рэндом хаус», стал самой крупной издательской фирмой в мире. Это известие ошеломило многих европейских издателей. Они не без основания опасаются, что немецкая группа, имеющая свои филиалы по всей Европе, приберет к рукам издательства и других стран. Ведь во Франции, например, уже и так отчетливо видна тенденция к гиперконцентрации книжных издательств...

Газета «Файнэншл таймс» с тревогой пишет, что после приобретения «Рэндом хаус» годовой оборот «Бертельсмана» превысил полтора миллиарда долларов. Это обстоятельство очень волнует британских издательских работников, многие из которых оказались теперь служащими германской фирмы.

Британцы бьют тревогу не зря: в США уже более 50% книжного рынка находится в руках иностранных издателей.

■ФРАНЦИЯ

ПОРТРЕТЫ ВОЖДЕЙ

Рецидив «полевения», наблюдаемый в последнее время в странах Восточной Европы, отразился и на книжном рынке. Издатели вдруг стали проявлять повышенный интерес к истории коммунистического движения и его лидеров. Во Франции почти одновременно увидели свет три биографических исследования. Героями книг Жан-Жака Мари стали Троцкий и Сталин; известный историк Элен Каррер д'Анкосс выпустила обширную биографию Ленина.

Жан-Жак Мари пишет о молодых годах Сталина и Троцкого — от рождения до революции 1905 года. Автор пытается понять, как сформировались убеждения и черты характера, которые со временем превратят двух провинциалов и к тому же «инородцев» в правителей России и лидеров мирового коммунистического движения. В трактовке Жан-Жака Мари Троцкий и Сталин отнюдь не выглядят злодеями или идеологическими фанатиками.

Что касается труда Э. Каррер д'Анкосс, то ее концепция более традиционна. Ленин представлен в книге интеллектуалом-западником, стремившимся вырвать Россию из пут «азиатского варварства», и в то же время заговорщиком, считавшим демократические институты инструментом для захвата власти. Критики отмечают, что книга Элен Каррер д'Анкосс, рисующая портрет цельного, сильного, целеустремленного человека, сумевшего добиться поразительных политических успехов, несмотря на все ее достоинства, является анахронизмом. Возможно, они ошибаются и новое исследование жизненного пути Ильича окажется «очень своевременной книгой».

ВКУСНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Давно подмечено, что о характере людей можно судить по их кулинарным пристрастиям. Вспомним героиню Золя, которая признавалась: «Я люблю мужчин, потому что люблю трюфели». В издательстве «Пти Меркюр» вышла серия из шести книг — «Литературные рецепты». Это не простое собрание кулинарных рецептов, а настоящее исследование гастрономических вкусов авторов и их героев. Посмотрим, что и под какими соусами ели Малларме, Перек, Дюрас и многие другие: может быть, тогда нам будет легче понять, что их восхищало, удивляло, ранило. Сколько чувственности вложила Колетт в описание приготовления миндального молока, «услады души и губ!». Виалатт напоминает, как «необходим человеку чудесный суп... неисчерпаемый источник вечного насыщения». Не оставлены без внимания и блюда фантастической и ритуальной кухни, например, «паштет из крыс, волшебный пирог Ослиной шкуры», в котором запечено колечко принцессы...». Жионо утверждал, что чувствует «восторг людей,

Сборник литературных рецептов издательства «Пти Меркюр»

(Журнал «Лир»)

которым подан суп из томатов и братства». Радость сердца рождает стремление поделиться хлебом с ближним. Чтение литературных рецептов делает нас друзьями авторов, «жадно вкушающих жизнь».

НОВОСТИ ИЗ МИРА КИНО

Рауль Руиз собирается снимать новый фильм по роману Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Одну из главных ролей сыграет звезда мирового кинематографа Катрин Денёв.

На экраны вышел фильм «Лулу на мосту» — режиссерский дебют известного писателя Пола Остера. Остер — не новичок в кинематографе, но до сих пор он ограничивался написанием сценариев. Главную женскую роль в фильме сыграла Мира Сорвино. Роль главного героя была первоначально предложена Сальману Рушди, который дал согласие, но впоследствии вынужден был отказаться от участия в съемках из-за угроз исламских экстремистов.

По материалам журналов «Кензен литтерер», «Лир», «Магазин литтерер» (Франция).

РОМАНЫ, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров журнала «Паблишерс уикли» (США) от 14 декабря 1998 г.

1. **Tom Wolfe.** A MAN IN FULL.
2. **David Baldwin.** A SIMPLE TRUTH.
3. **Tom Clancy.** RAINBOW SIX.
4. **Stephen King.** BAG OF BONES.
5. **James Patterson.** WHEN THE WIND BLOWS.
6. **Anne Rice.** THE VAMPIRE ARMAND.
7. **Mary Higgins Clark.** ALL THROUGH THE NIGHT.
8. **Danielle Steel.** MIRROR IMAGE.
9. **Barbara Kingsolver.** THE POISONWOOD BIBLE.
10. **Arthur Golden.** MEMOIRS OF A GEISHA.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ГОНСАЛО ТОРРЕНТЕ БАЛЬЕСТЕР (GONZALO TORRENTE BALLESTER; род. в 1910 г.) — испанский прозаик, драматург, литературовед, театровед; лауреат Национальной премии по литературе (1981), премии Сервантеса (1985) и многих других литературных премий. Его перу принадлежит около двадцати романов; среди них «Сеньор приезжает» («El señor llega», 1957), «Offside» (1963), «Сага/фуга о Х. Б.» («La saga/fuga de J.B.», 1972), «К сожалению — Филомено» («Filomeno a mi pesar», 1988), «История очарованного короля» («Crónica del rey pasmado», 1990) и др. Автор ряда исследований: «Панорама современной испанской литературы» («Panorama de la literatura española contemporanea», 1956), «Дон Кихот как игра» («El Quijote como juego», 1975), нескольких сборников рассказов и пьес. В переводах Г. Торренте Бальестера на испанском языке изданы «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, собрание сочинений Ж. Сименона, стихи Р. М. Рильке и др.
Роман «Дон Хуан» печатается по изданию «Don Juan». Barcelona, Ed. Destino, 1963.

ЮДЖИН О'НИЛ (EUGENE O'NEILL; 1888 — 1953) — американский писатель, поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии (1936). Автор пьес «К востоку, на Кардифф» («Bound East for Cardiff», 1916), «За горизонтом» («Beyond the Horizon», 1920; Пулицеровская премия), «Косматая обезьяна» («The Hairy Ape», 1922), «Негр» («All God's Chillun Got Wings», 1924), «Любовь под вязами» («Desire Under the Elms», 1925), «Траур — участь Электры» («Mourning Becomes Electra», 1931), автобиографической драмы «Долгий день уходит в ночь» («Long Day's Journey into Night», 1940), «Душа поэта» («A Touch of the Poet», 1943) и др. Пьесы О'Нила с успехом ставились в московских театрах (Камерный театр — «Негр», «Любовь под вязами», Театр им. Вл. Маяковского — «Душа поэта» и др.).
Публикуемые стихи взяты из книги «Стихотворения» («Poems 1912 — 1942», New Haven, Yale University Library, 1979).

ДЖОЗЕФ МАЙКЛ КУТЗЕЕ (JOSEPH MICHAEL COETZEE; род. в 1940 г.) — южно-африканский писатель, критик, лингвист. Автор повести «Сумрачная земля» («Dusklands», 1974), романов «Из глубины страны» («From the Heart of the Country», 1977), «В ожидании варваров» («Waiting for the Barbarians», 1980; удостоен премии Джефри Фабера и премии Д. Т. Блейка), «Жизнь и время Михаэла К.» («The Life and Times of Michael K.», 1983; Букеровская премия и французская премия «Prix Etranger Fémina»), «Мистер Фо» («Foe», 1987); три последних романа в русском переводе изданы в 1989 г.; «Железный век» («Age of Iron», 1990; премия «Книга года», присуждаемая еженедельником «Санди экспресс»), а также сборника критических статей «Белое письмо» («White Writing», 1988), посвященных литературе ЮАР.
Роман «Осень в Петербурге» издан в Англии в 1995 году («The Master of Petersburg», London, Minerva).

КЭРОЛ РУМЕНС (CAROL RUMENS) — английская поэтесса и прозаик. Автор книг стихов «Странная девушка в ярких одеждах» («Strange Girl in Bright Colours», 1973), «Неисполненная музыка» («Unplayed Music», 1981), «Шепот звезд» («Star Whisper», 1983), «Прямой набор» («Direct Dialling», 1985), «Зелень заснеженного пляжа» («The Greening of the Snow Beach», 1988), «Из Берлина в небеса» («From Berlin to Heaven», 1989), «Фарфоровое небо» («Best China Sky», 1995), «Чудесная диета» («The Miracle Diet», 1998), романа «Парк Платона» («Plato Park», 1987). По-русски стихи Кэрол Руменс печатались в журнале «Новая Юность» (1998, № 30).
Публикуемые стихи взяты из книги «Шкурные мысли» («Thinking of Skins: New and Selected Poems». Newcastle, Bloodaxe Books, 1993).

СЬЮЗЕН СОНТАГ (SUSAN SONTAG; род. в 1933 г.) — американская писательница, критик, культуролог. Автор романов «Благодетель» («The Benefactor», 1963), «Набор смерти» («Death Kit», 1967), сборника рассказов «Я и т. д.» («I, et cetera», 1978), сценария фильма «Дуэт для каннибалов» («Duet for Cannibals», 1970) и др. Перу С. Сонтаг принадлежат также работы по эстетике, философии культуры, эссе, в том числе «Стили радикальной воли» («Styles of Radical Will», 1969), «О фотографии» («On Photography», 1977), «Болезнь как метафора» («Illness as Metaphor», 1978), «Под знаком Сатурна» («Under the Sign of Saturn», 1980), эссе «Против интерпретации» («Against Interpretation»; рус. перев. в «ИЛ», 1992, № 1), «Думать наперекор себе. Размышления о Чоране» («ИЛ», 1996, № 4), «На пути к Арто» («ИЛ», 1997, № 4). Сборник переводов ее избранных эссе 60—70-х гг. «Мысль как страсть» издан в 1997 году (М., Русское феноменологическое общество).
Рассказ «Сцена письма» («The Letter Scene») был опубликован в журнале «Нью-Йоркер» («The New Yorker») в 1986 г.

ЕЖИ ПИЛЬХ (JERZY PILCH; род. в 1952 г.) — польский писатель. За первую свою книгу, сборник рассказов «Признания создателя нелегальной эротической литературы» («Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej», 1988), удостоен почетной награды Фонда имени Костельских. Автор повестей «Список блудниц» («Spis cudzołożnic», 1993), «Тысяча спокойных городов» («Tysiąc spokojnych miast», 1997) и сборников фельетонов «Отчаяние из-за утраты повозки» («Rozpacz z powodu utraty furmanki», 1994), «О глупости, питии и умирании» («Tezy o głupocie, piciu i umieraniu», 1997).
Повесть «Монолог из норы» («Monolog z lisiej jamy». Kraków, UNIVERSITAS) издана в Польше в 1996 г.

ЖАН-КЛОД ПЕНСОН (JEAN-CLAUDE PINSON; род. в 1947 г.) — французский философ и поэт. Автор ряда трудов по философии; на русский язык переведена его книга «Гегель, право и либерализм» («Hegel, le droit et le libéralisme», 1989).
Публикуемые стихи взяты из сборника «Я здесь живу» («J'habite ici». Seyssel, Éditions Champ Vallon, 1990).

ДЖУЛИАН БАРНС (JULIAN BARNES; род. в 1946 г.) — английский писатель, автор романов «Метроленд» («Metroland», 1980), «До того как мы встретились» («Before She Met Me», 1982), «По-

пугай Флобера» («Flaubert's Parrot», 1985), «Глядя на солнце» («Staring at the Sun», 1986), «История мира в 10 1/2 главах» («A History of the World in 10 1/2 Chapters», рус. перев. в «ИЛ», 1994, № 1), «Дикобраз» («Porcupine», «ИЛ», 1995, № 6), сборника рассказов «Через Ла-Манш» («Cross Channel»; рус. перев. в «ИЛ», 1998, № 11).
Рассказ «Вспышка» («The Revival») был опубликован в журнале «Нью-Йоркер» («The New Yorker») в 1996 г.

ДОНАЛД БАРТЕЛМИ (DONALD BARTHELME; 1931—1989) — американский прозаик. Дебютировал сборником новелл «Возвращайтесь, доктор Калигари» («Come Back, Dr.Caligari», 1964). Автор повести «Белоснежка» («Snow White», 1967), романов «Мертвый отец» («The Dead Father», 1975), «Парадиз» («Paradise», 1986) и многих сборников новелл. В «ИЛ» напечатаны рассказы «Восстание индейцев», «Стеклянная гора», «Critique de la vie quotidienne» (1997, № 2).
Рассказ «В музее Толстого» взят из сборника «Сорок рассказов» («Forty Stories». New York, G. P. Putnam's Sons, 1987).

ВОЛГИН ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ (род. в 1942 г.) — писатель-историк, профессор, доктор филологических наук, академик РАЕН, президент Российского общества и Фонда Достоевского. Автор поэтических книг «Волнение», «Кольцевая дорога», «Шесть утра» и др., а также монографических исследований «Достоевский-журналист: "Дневник писателя" и русская общественность» (1982), «Последний год Достоевского» (1986), «Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в документах» (1992), «Метаморфозы власти. Покушения на российский трон в XVIII—XIX вв.» (1994), «Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом» (1998) и др. Работы переводились на многие иностранные языки.

ФАЙБИСОВИЧ СЕМЕН НАТАНОВИЧ (род. в 1949 г.) — художник. Начиная с 1987 г. — участник многих экспозиций за рубежом, десяти персональных выставок в Нью-Йорке, Чикаго, Кёльне и Москве. Многие работы находятся в известных музейных и частных коллекциях США и Западной Европы. С 1993 г. выступает как публицист. В «ИЛ» опубликованы его статьи «Вызов» (1994, № 8), «Слово о «больших» и «малых» художниках...» (1994, № 11).

ЗЛОБИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА — литературный и театральный критик, автор многих статей, публиковавшихся в периодической печати. Лауреат премий журналов «Новый мир» (1995) и «Знамя» (1996).

■Переводчики:

БОГОМОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА — литературный критик, переводчик, кандидат филологических наук. Автор статей по истории испанской и латиноамериканской литератур, публиковавшихся в периодических изданиях, в том числе в «ИЛ». В ее переводе издавались произведения Х. Л. Борхеса («ИЛ», 1988, № 10), И. Альенде («ИЛ», 1989, № 6), «Аргентинские сказки», эссе разных лет О. Паса («ИЛ», 1991, № 1), роман «Райские псы» А. Поссе («ИЛ», 1992, № 8-9), эссе М. Варгаса Льосы из книги «Правда в вымыслах» («ИЛ», 1997, № 5) и др. Лауреат премии «ИЛ» (1991).

РОГОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1930 г.) — переводчик, литературовед. Переводил поэтов английского Возрождения, английских романтиков, китайских поэтов эпохи Тан, французских символистов, рассказы Э. А. По. В «ИЛ» в его переводе напечатаны рассказ «Невеста или тигр?» Ф. Р. Стоктона (1997, № 12) и статья «О переводе заглавий» (1998, № 4).

ИЛЬИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1948 г.) — переводчик с английского. В его переводе издавались романы «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Под знаком незаконнорожденных», «Бледное пламя», «Ада», «Прозрачные вещи» В. Набокова, «Король былого и грядущего» Т. Х. Уайта, «Волшебная сказка Нью-Йорка» Д. П. Донливи, «Каббала» Т. Уайлдера, «Чернее некуда» Н. Марш, «Вообрази себе картину» Дж. Хеллера («ИЛ», 1998, № 2).

ГАЛЬПЕРИНА МАРИЯ ИОСИФОВНА — в 1997 году окончила Литературный институт имени А. М. Горького, отделение художественного перевода. Перевод рассказа Сьюзен Сонтаг «Сцена письма» («The Letter Scene») — часть ее дипломной работы.

СТАРОСЕЛЬСКАЯ КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА — переводчик с польского. В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Домбровской, М. Хороманьского, Т. Конвицкого и др. В «ИЛ» напечатаны переводы романов «Черти» Т. Новака (1975, № 3, 4), «Камень на камень» В. Мысливского (1986, № 7— 9), «Чтиво» Т. Конвицкого (1996, № 1), «Ханеман» С. Хвина (1997, № 12), документальной повести «Опередить Господа Бога» Г. Кралль (1988, № 4), повестей «Врата рая» Е. Анджеевского (1990, № 1), «Красивые, двадцатилетние» М. Хласко (1993, № 12), рассказов М. Хласко (1991, № 9) и П. Хюлле (1994, № 11), глав из книги «Семилетка, или кто украл Польшу» Я. Куроня и Я. Жаковского (1998, № 10). Лауреат премии «ИЛ» (1986).

МОТЫЛЕВ ЛЕОНИД ЮЛЬЕВИЧ (род. в 1955 г.) — переводчик с английского. В его переводе издавались романы «Неестественные причины» Ф. Д. Джеймс («ИЛ», 1992, № 11-12; совместно с И. Бернштейн и Г. Чхартишвили), «Завещание Оскара Уайльда» («ИЛ», 1993, № 11) и «Процесс Элизабет Кри» П. Акройда («ИЛ», 1997, № 5), «Бедные-несчастные» А. Грея («ИЛ», 1995, № 12), книга американского историка Дж. Стефана «Русские фашисты» (М., 1992), рассказы А. Грея («ИЛ», 1996, № 9), А. Конан Дойла, Г. Бейтса, стихи Р. Киплинга и др.

БЕЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1949 г.) — литературный критик, переводчик. Автор книг «Современный американский роман о войне» (1987), «Бойня номер икс» (1991). В его переводе публиковались романы и повести «Упадок и разрушение» И. Во, «По найму» Л. П. Хартли, «Где-то совсем рядом» Н. Гордимер, «Медный кувшин» и «Шиворот-навыворот» Ф. Энсти, «Кони, кони...» К. Маккарти («ИЛ», 1996, № 10), сказочный сериал «Страна Оз» Л. Ф. Баума и др. Его статьи по англоязычным литературам печатались в различных изданиях, в том числе в «ИЛ» (1983, № 6; 1987, № 9; 1989, № 3 и др.).

живопись **с**кульптура **г**рафика

линия-арт

галерея **с**овременного **и**скусства, **м**осква

«линия-арт»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭКСПОЗИЦИИ

«Рождественский калейдоскоп»

с 25 декабря 1998 г. по 13 января 1999 г.

Елена Белоус
Анастасия Немоляева
Георгий Ананьев
Ирина Русакова
Татьяна Спасоломская
Николай Туркин
Надежда Ананьева
Татьяна Соколова-Эпик
и др.

«Зеленое Золото»

с 14 января по 7 февраля 1999 г.

ЖИВОПИСЬ

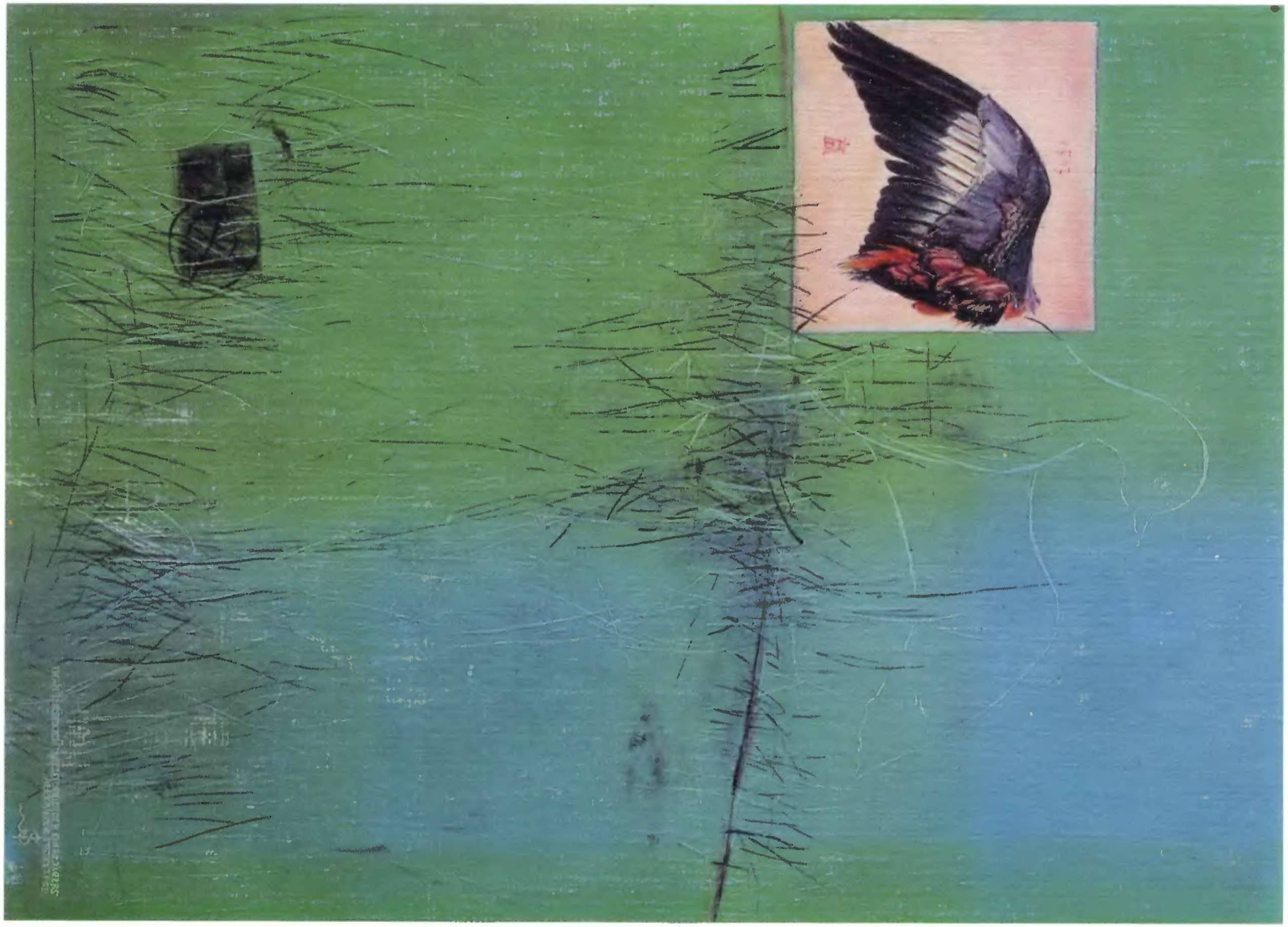
Михаил Рудаков
Игорь Кислицын
Валерий Сахатов
Римас Бичюнас
Ионас Даниляускас
Ионас Чепонис

СКУЛЬПТУРА

Олег Слепов
Андрей Ковальчук
Евгений Верещагин

Адрес Галереи:
Пятницкая ул., д. 41, стр. 1
(левое крыло
особняка)

Галерея открыта для посетителей
с 12 до 20 час.
по предварительным заявкам.
Тел./факс **953-3624**; **201-2603**



ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1999, №1, 1 — 256.

ИНДЕКС 70394